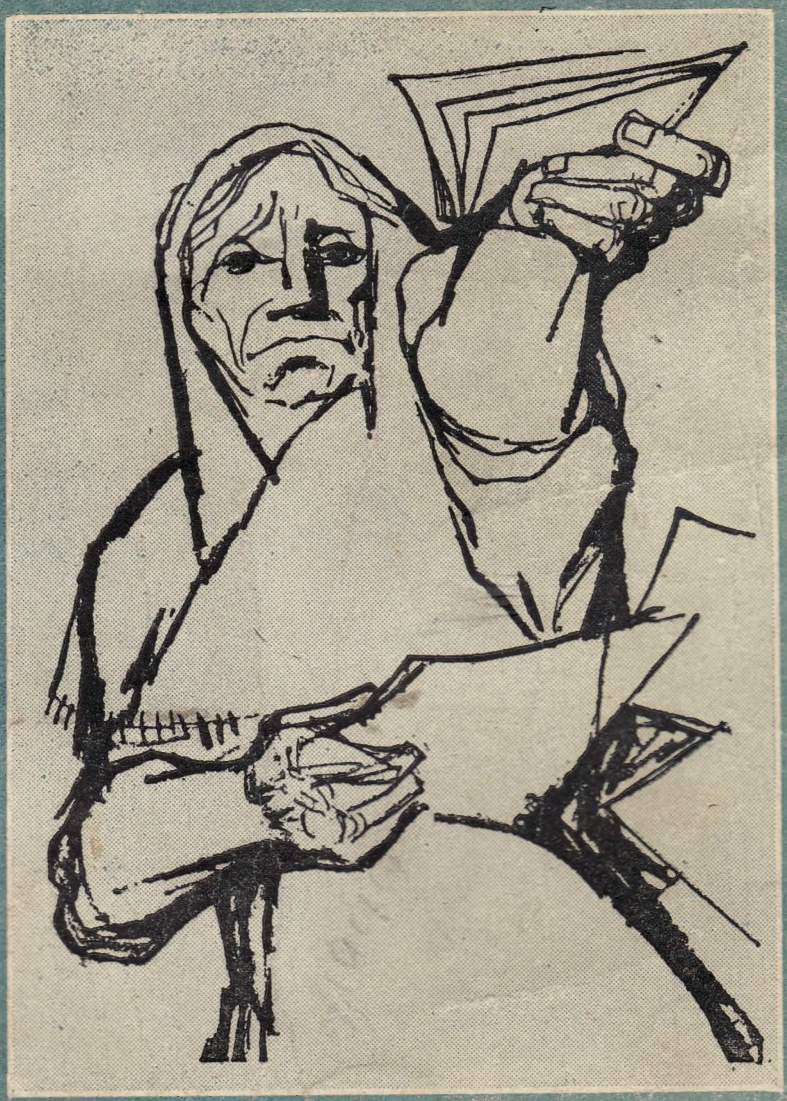
ИНОСТРАННАЯ *литература*



12
1957

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

Спутник Мира

ИРЖИ ШОТОЛА — В космос! (Стихотворение) 3

МИХУ ДРАГОМИР — Планета моих рук (Стихотворение) 4

ИВАН КОЛАРОВ — Советский человек (Стихотворение) 5

ЛЕОН ПАСТЕРНАК — Eppur si muove! (Стихотворение) 5

ВАНГЕЛЬ ГЬЕЧИ — Спутники (Стихотворение) 6

ПАВЕЛ КОГОУТ — Такая любовь (Пьеса). Предисловие С. Образцова 7

ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС — Стихи 55

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ АСТУРИАС — Все они были американцами! (Рассказ) 61

ЯНЬ ЧЭНЬ — Звезды Кремля (Стихотворение) 79

ФЕРДИНАНД ОЙОНО — Старый негр и медаль (Повесть) 81

НИКОЛАЕ ЛАБИШ — Познанье жизни (Из поэмы) 161

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Дым (Рассказ) 166

КРИТИКА

ЮЛИУС ДОЛАНСКИЙ — Великий Октябрь и чешская литература 185

П. ДЖОРДЖЕСКУ — Михай Бенюк — народный поэт Румынии 192

П. БАЛАШОВ — Свобода выбора и историческая необходимость 196

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ — О Джозефе Конраде . . 205

12

1957

ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

Ел. РОМАНОВА — Заметки о современном американском романе 210
В. БАЛАХОНОВ — Человек приходит в мир . 217
С. ИВАНЬКО — Книга по истории китайской литературы 222
Вл. КРИВЦОВ — О китайской литературе наших дней 225

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

П. ПАЛИЕВСКИЙ — Встреча молодых литераторов 228

ПУБЛИЦИСТИКА

Человек покоряет космос

ТАУФИК АЛЬ-ХАКИМ — Великая надежда . . 231
ФРЭНК ХАРДИ — Первый шаг 233

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ГОРДОН ШАФФЕР — Великая идея объединяет 234

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Л. КАЦОШВИЛИ — Чарльз Уайт 237

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Д. Затонский — Секрет неувядающей молодости. ◇ И. Чернявская — За большую литературу для маленьких ◇ М. Мендельсон — Воспоминания о Синклере Льюисе. ◇ М. Михелевич — Новая Болгария. ◇ Арни Бергманн — Книга об исландских рыбаках. ◇ Сергей Львов — Под камуфляжем. ◇ И. Винниченко — Предсмертное слово Асуэлы. ◇ М. Кавтарадзе — «Высшие животные». ◇ В. Буняев — Талантливый художник пролетариата. ◇ М. Рымжа — Несколько польских вопросов. ◇ Н. Никулин — «Страна поднялась». ◇ С. Майзельс — Мнимые противники. ◇ Р. Белоусов — Голос юности 245

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 261

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1957 год (№№ 1—12) 282

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 288

На обложке. Рисунок Армина Мюнха (ГДР) из цикла «Мать».

Спутник Мира

Иржи Шотола

В КОСМОС!

Перевод с чешского Якова Белинского

Алюминиевый птенчик, летящий сквозь звездную бездну,
балансирующий, как акробат, в черной выси небесной
меж зеленой звездой и паденьем, один во вселенной,
тихо-тихо клюющий над крышей канатик антенный,—
грустно в небе тебе, ни воды, ни травинок там нету,
лишь два зернышка воздуха с теплой планеты,
той, что кружится в космосе, близкая и живая;
к ней тебе не вернуться — ты в пыль обратишься, сгорая,
в отзвеневшую звездную пыль обратишься, сгорая.

Знаешь, птенчик, у нас есть закон, исполняемый строго:
если надо, мы шлем — как тебя — человека в дорогу;
с острым щупальцем разума, бурям и штормам навстречу,
он уходит во тьму — мореход, открыватель, разведчик,
и, быть может, погибнет, с глухими стихиями споря,
и навеки исчезнет в снегах ли, в бушующем море,
но увидит магнитные горы, омытые светом,
и вдали, за собой — корабли, устремленные следом.

Алюминиевый птенчик, антенну клюющий над крышей,
беспокойный искатель, стремящийся в космос бездонный,
ясно слышат твой голос далекий людей миллионы,
за тобой поднимаясь все выше и выше.

Миху Драгомир

ПЛАНЕТА МОИХ РУК

Перевод с румынского Р. Сефа

Огненное сердце через космос мчится —
Мной одушевленный неживой металл.
Наконец земная пройдена граница,
Наконец свершилось то, о чем мечтал.

Звездной пылью щеки мне посеребрило.
Рассекаю вечность — только суток свист.
Я разрушил цепи, я — почти светило,
Я, тот самый старый сентименталист.

Поднимал я пашню разумом и сталью,
Мир избороздил я вдоль и поперек,
Из земли я вышел, над землею встал я
И перешагнул я за земной порог.

Созидал я зданья, книги и моторы,
Корабли на море, травы на лугу.
Запрудил я реки, покорил я горы,
А теперь планеты создавать могу.

Там, внизу, откуда сердце запустили,
Счастья и надежды расцвели цветы.
Так лети свершеньем небывалой были,
Олицетвореньем вековой мечты!

Знай, с тобою вместе через свет галактик
Наших достижений мчатся чудеса.
Яростный романтик, самый дерзкий практик,
Я тебя из праха поднял в небеса.

Обновить порядок жизни неизменный,
То, о чем мечтали предки в старину,
Я давно задумал. Так скажи вселенной:
Ожидайте скоро гостя на луну.

Огненное сердце в космосе бездонном,
Вечного движенья яркий, славный свет,
Утверди в науке новые законы
И далеким звездам передай привет!

Здесь, под этим небом, я стоял бывало.
Млечный путь дорожкой стлался голубой...
Долгие века свою звезду искал я
Среди миллиардов звезд над головой.

Звездными ночами ждал — случится небыль:
Вдруг ее увижу, прослежу полет...
Не нашел — так сделал. И запело небо.
Я мечтал, чтоб пело,— и оно поет.

Сквозь тысячелетья, через все преграды,
От поверий древних я шагнул сюда.
Пусть одна,— я знаю, вспыхнут мириады
Над планетой правды, чести и труда.

Иван Коларов

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Перевод с болгарского Павла Железнова

Кто первый поднял над планетой
стяг кумачовый огневой,
под лозунгом: «Вся власть Советам!»
пошел вперед — на труд, на бой?

Кто спас от гибели народы?
Кто разгромить фашистов мог?
Кто руку братскую нам подал,
чтоб край наш не был одинок?

Кто первым расщепленный атом
заставил дать для жизни плод
и, даль пронзая дерзким взглядом,
идет стремительно вперед?

Кем спутник дан Земле в награду?
Кто победил в двадцатый век
междупланетные преграды?
Все он — советский человек!

Ты, больше всех для мира сделав,
за дружбу стран стоишь горой!
Строитель гордый, воин смелый,
советский человек — герой!

Леон Пастернак

EPPUR SI MUOVE!*

Перевод с польского Александра Голембы

Кайзера трон и престол Николая
пали под натиском яростной силы;
а ведь недавно, борьбу начиная,
горсточкой были мы — в Польше, в России!

Минуло несколько десятилетий,
меньше, чем жизнь одного поколенья:
ныне народы глядят в изумленье —
спутник-надежда взлетел над планетой!

А ведь недавно мы были горсткой.
Герои гибли в петле пеньковой...
. . . . . .
Не смейся, скептик, и не упорствуй:
Eppur si muove!

* «А все-таки она вертится!» — слова Галилея перед судом инквизиции.

Вангель Гьечи

СПУТНИКИ

Перевод с албанского Бориса Дубровина

У времени знамена славы
Мы взяли не для красоты:
Мы их взметнули величаво
Над высью неба и мечты.

Полет их дерзок и отважен,
Они — пусть след их словно нить —
Сумели будущее наше
Светлее солнца озарить.

И за мечтою дерзновенной,
Чтоб тайн постигнуть существо,
Во имя жизни во Вселенной
Ушло живое существо.

И коммунизм не за горами,
И путь к нему ведет прямой,
Когда уже — в дороге с нами
Те, что обходят шар земной!

Павел Когоут

Такая любовь

Пьеса в двух отделениях.

Перевод с чешского Н. Аросевой и С. Шмераль

ПО ЗАКОНАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ

«Нет ли у вас новой хорошей современной пьесы? Просто не знаем, что репетировать».— «К сожалению, нет. Была одна, да из нее автор уже киносценарий сделал, теперь боимся ставить».— Такой или приблизительно такой разговор почти неизбежно возникает между руководителями двух театров, как только они встречаются друг с другом.

Случилось так, что те функции, которые в девятнадцатом и даже начале двадцатого века целиком принадлежали театру, теперь выполняются и кинематографом и телевизором. Возникла, окрепла, выработала новые каноны кинодраматургия. Возникло и с каждым годом все шире и самостоятельнее развивается телевидение, и уже намечаются формы драматургии телепередач, отличных и от театра и от кино.

Все это не могло не повлиять на театр, заставляя, как и всегда в ходе его развития, искать новые средства выразительности, а следовательно, и новые формы драматургии. Диффузия между зрелищными искусствами неизбежна, и одновременно неизбежно и стремление найти жанровые границы каждого зрелищного искусства. Здесь-то и лежат причины того, что драматург, разрабатывая тот или иной сюжет, иногда бездумно адресует свое произведение сразу и в кино и в драматический театр, а то и в оперетту или инсценирует сугубо бытовой роман, стараясь втиснуть его в условную форму классического балета, и только полное отсутствие сборов, то есть окончательный необжалуемый суд зрителя, показывает на ошибку, совершенную драматургом или инсценировщиком. Но иногда драматург, пишущий для театра, стремится найти такие выразительные средства или такой драматургический прием для решения своей темы, который, с его точки зрения, хорош и верен только для драматического театра, то есть театра, в котором актер общается со зрителем непосредственно, а не через экран кино или телевизора.

В поисках новых форм театральной драматургии неизбежны ошибки, и они совершались многими, но тем не менее поиски эти будут продолжаться, так как они продиктованы жизнью, то есть всей суммой процессов, происходящих в огромной семье зрелищных искусств, в которой есть и дедушки, и внуки, и дяди, и двоюродные братья, и племянники.

Пьеса чешского драматурга Павла Когоута «Такая любовь»—одна из пьес, которая по всему своему драматургическому строю адресована только театру. Общение актера со зрительным залом является в ней не только приемом, но и сюжетной необходимостью, так же как и абсолютно органичное присутствие на сцене автора, в сюжете пьесы играющего роль судьи.

Автор, стоящий как бы над героями, существует и присутствует в каждом романе и каждой повести. Присутствовал он когда-то и в классической драматургии древности. Его мысли, его мнение о героях излагались Хором. В дальнейшем автор скрылся за монологами героев, а к концу девятнадцатого века и вовсе исчез из сюжета, так как почти исчезли даже монологи.

Пока молодая кинодраматургия не рисковала перерезать пуповину, соединявшую ее с драматургией театра, автор не вмешивался в развитие сюжета и мнения своего ни о поступках героев, ни об их характерах кинозрителям не сообщал. Но как только пуповина была перерезана, как только кинодраматургу стало ясно, как близко киноискус-

ство стоит к повествовательной литературе, за экраном раздался голос автора и во многих картинах прозвучал так органично и оказался так нужен, как этого нельзя было даже предположить.

Но мы знаем случаи, когда так же органично действовал автор и внутри театральной пьесы. «Воскресение» во МХАТ'е — это не просто удачная инсценировка. Это великолепная пьеса, великолепный драматургический прием, позволивший раскрыть тему толстовского произведения так, как ее невозможно было бы раскрыть, ограничив словесное действие только диалогами героев.

Мхатовское «Воскресение» не одиноко. Новая драматургия и у нас, и за границей не раз прибегала к различным приемам изложения сюжета и темы, не применявшимся в драматургии девятнадцатого века, в том числе и к введению в сюжетную ткань авторских ремарок, раскрывающих тему кусков, сцен, картин.

Пьеса «Такая любовь» построена в форме свидетельских показаний героев, каждое из которых раскрывает не только причину уже свершившихся фактов, но и придает самим фактам совершенно новый и неожиданный смысл, потому что судьей каждого факта, каждого диалога и каждого поступка героев является автор.

Читается эта пьеса с очень большим интересом, и я уверен, что если ее хорошо сыграть на сцене театра, то смотреться и слушаться она будет с неменьшим волнением.

Волнение это возникает не потому, что автор придумал новый драматургический прием, а потому, что в своеобразной форме он ставит очень серьезные вопросы, являющиеся основной темой его творческой жизни.

Павел Когоут молодой автор. Ему около тридцати лет. Он поэт. Вот уже лет пять как лирические стихи Когоута являются одними из самых любимых стихов чехословацкой молодежи. Стихи о любви, но любовь эта не слюнявая, не «голубая». Это лирика комсомольца, солдата, это лирика сегодняшнего человека.

Первую свою пьесу Когоут написал всего несколько лет тому назад. Называлась она «Хорошая песня», и у нас, в Советском Союзе, была поставлена в Ленинграде Николаем Павловичем Акимовым. Тема пьесы была определена Когоутом строчкой из стихотворения Щипачева — «Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Иначе говоря, речь шла о том, что любовь — это не пустяки, в жизни человеческой занимает огромное место и, следовательно, требует рассмотрения пристального и обращения с собой чуткого, серьезного и осторожного.

Казалось бы, следующая пьеса «Сентябрьская ночь», ставящая вопрос о человеческих взаимоотношениях в армии, не имеет ничего общего с первой пьесой. Но это только на первый взгляд. В обеих пьесах автора волнует все та же основная для него тема: в новом социалистическом обществе человеческие взаимоотношения должны быть прежде всего человеческими, предельно чуткими, и всякое их нарушение есть преступление перед человеком, а следовательно, и перед всем обществом.

«Сентябрьская ночь» вызвала большие дискуссии, во-первых, потому, что этот вопрос был поставлен в ней резко и круто, а во-вторых, еще и потому, что сам вопрос был важный, нужный и необходимость решения его ощущалась зрителями как безотлагательная.

Полемика вокруг новых произведений Когоута возникает почти неизбежно, потому что и стихи, и пьесы, и выступления его бывают лучше или хуже, но они всегда искренни, молоды, по-молодому азартны.

«Такая любовь» — это пьеса о молодых. Ее герои того же возраста, что и автор.

Тема пьесы — любовь. Любовь и брак. Ее сюжет несложен. И хотя одна из героинь гибнет, но обстоятельства, приведшие ее к смерти, к самоубийству, вовсе не исключительные. Наоборот, если бы не смерть, никто бы, пожалуй, и не осудил никого из фактических виновников гибели девушки. В этой, сознательно выбранной, обычности фактов, диалогов, положений и заключена сила убедительности.

Многие современные пьесы на аналогичную тему страдают фальшивым морализированием и ханжескими выводами, неправдоподобными, чисто теоретическими «благородными» поступками, когда человек ради некоего абстрактного благородства возвращается к нелюбимой жене, «чтобы не разрушать семью», хотя такая склеенная семья ничего, кроме ада, не сулит; или «ради сына» амнистируется «раскаявшийся муж», хотя такой прощённый папа вряд ли будет хорошим отцом.

Ничего этого не требует Когоут, потому что такие требования, как это ни странно, не только фальшивы, но и бесконечно мелки. Их легко выполнить, но никого они ни от чего не спасают.

Когоут требует гораздо бо́льшего. Абсолютного внимания к человеку. Абсолютной чуткости и, следовательно, борьбы со всем, что рождено во взаимоотношениях между людьми эгоизмом, эгоистической любовью, стяжательством сердца.

Поступки тех, кого обвиняет автор, не подлежат гражданскому суду. В них нельзя найти юридических моментов преступления, но тем опаснее они и тем суровее суд

автора, потому что судит он по высшим законам человеческой этики, по законам социалистической морали.

Мне хочется думать, что советские театры поставят «Такую любовь» и что зрители, уходя со спектакля, будут взволнованно спорить о вещах серьезных и важных, о любви и честности, об эгоизме и ханжестве, о принципиальности фальшивой и настоящей.

Пьеса Когоута суровая и одновременно добрая, потому что автор любит человека любовью требовательной.

С. ОБРАЗЦОВ.

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Не думайте, что люди ходят в театр только развлечься. Их тянет туда естественное желание заглянуть в душу других и судить о самых тайных их помыслах. Пойдем сегодня им навстречу: не будем разыгрывать спектакль, откажемся от таких ненужных шаблонов и деталей, как постановка или декорация. Попытаемся на глазах у публики обнажить и противопоставить судьбы нескольких людей, обращаясь к самим зрителям, взывая к их опыту и чувствам так недвусмысленно и активно, что они увидят, в конце концов, в пьесе самих себя. Успех будет тем большим, чем меньше будет аплодисментов, чем больше обидятся зрители.

Поэтому публику встречает поднятый занавес и пустая сцена с темной, унылой скамьей, обращенной спинкой к залу, и высоким креслом возле кулис. Перед началом действия на скамье усаживаются поочередно четыре ничем не примечательные фигуры: они явно погружены в собственные мысли. Удар гонга, свет в зале гаснет, сцена освещается. Двое молодых людей и две молодые женщины встают со скамьи. Из зала на сцену поднимается человек в мантии судьи. Все садятся. Человек в мантии раскладывает на широком подлокотнике кресла бумаги. Некоторое время он сосредоточенно перебирает их, потом взглядывает на головы четырех людей, неподвижно обращенные в глубину сцены.

1

Человек в мантии. Можете курить! *(Никто не пошевельнулся. Человек в мантии снова перебирает документы, повторяет).* Можете курить! *(Высокий юноша — Петрус — и старшая из женщин — Петрусова — нервно, не поворачивая головы, закуривают).* Ну-с, так... Начинается слушание дела Матисовой и других. Суд общественности предъявляет вам обвинение в антиобщественных действиях, результат которых — нервное потрясение, с одной стороны, разрушение семьи — с другой, смерть человека — с третьей. Все это — не считая прочего ущерба, который трудно измерить. Обвиняемая Матисова. «Л...» — это Людмила?

Лида. Лида.

Человек в мантии. Обвиняемая Лида Матисова, год рождения 1934, студентка юридического факультета, признаете ли вы себя виновной?

Лида. Да.

Человек в мантии. Обвиняемый Петр Петрус, год рождения 1929, ассистент кафедры семейного права, признаете ли вы себя виновным?

Петр. Я... я не знаю...

Человек в мантии. Но есть же у вас какое-то мнение по этому делу?

Петр. Да... Нет.

Человек в мантии. Обвиняемая Лида Петрусова, год рождения 1926, врач, признаете ли...

Петрусова. Нет!

Человек в мантии. А вы, обвиняемый Милан Стибор, год рождения 1932, конструктор, вы...

Выкрик из зала. Нет!

Человек в мантии *(укоризненно глядя в зал)*. Вы признаете себя виновным?

Стибор. Да...

Выкрик из зала. Нет! Нет!

Человек в мантии *(в публику)*. Я забыл предупредить о том, что само собой разумеется: проявления согласия или несогласия...

Выкрик из зала. Я его мать.

Стибор *(встает, поворачивается к залу, умоляюще)*. Мама!

Мать *(с места)*. Вы же — человек! Не требуйте от матери, чтобы она сидела, как мраморная статуя, если она знает, знает! Не он — я знаю, как все произошло, я знала, что это случится, потому что я — мать. И ваша мать знала о вас больше, чем вы сами! Он не скажет правды, потому что у него слишком доброе сердце, и если вы хотите узнать правду, не лишайте меня слова. Если вы не позволите говорить матери, значит нет и не будет правды на земле!

Человек в мантии *(задумывается, потом кивком головы разрешает Стибору сесть, подходит к рампе)*. Подите сюда, гражданка. С чего-то надо начинать.

2

В то время как он помогает Матери подняться на сцену, глубина сцены темнеет. Стиборова, потеряв из виду сына, утрачивает уверенность в себе.

Человек в мантии. Старайтесь не отвлекаться и вспомните, прошу вас, все важнейшие подробности. Бывают незначительные детали, роль которых в ходе событий многократно возрастает.

Мать. Не бойтесь, я ни о чем не забуду. Как можно! Вам кажется, что я хожу, говорю, вы уверены, что я ем и сплю, — но это только по инерции. Моя жизнь замерла после этих событий. Они вновь и вновь возникают передо мной в строгой последовательности. Это тем тяжелее, что я ничего не могу изменить — будто я зритель в театре, где ставят знакомую трагедию.

Человек в мантии. Прошу прощения, но меня прежде всего интересуют факты, и если ваши чувства...

Мать. Простите... Когда-то я изучала литературу, и после смерти мужа вся моя жизнь сосредоточилась только на Милане и на книгах. Милан тоже упрекал меня в склонности к... что я порой мыслю слишком сложно. Я постараюсь... Хотя сейчас, поймите...

Человек в мантии. Понимаю. Если бы мы не понимали особенностей друг друга, города состояли бы не из домов, а из неприступных крепостей. Как это все началось?

Мать. Вот видите, я уверяла, что знаю все, но тут... Вы должны представить себе — двадцать лет мы жили с Миланом одни. Он знал: ради него я не вышла вторично замуж, чтобы никто чужой не вошел в его жизнь. Наши доходы — доходы учительницы! Я бегала по урокам, и поверьте... но важно не это...

Человек в мантии. Это важно.

Мать. Поверьте, что порой я питалась одной литературой, ведь есть прежде всего надо было мальчику. Он понимал это. Понимал, чего мне стоило его образование, и я должна сказать — сын отплатил мне за все сторицей. Никогда, никогда между нами не было тайн, пока... Двадцать третьего июля я шла домой, пешком, не торопясь; Милан уже с весны работал и по вечерам. Так он мне говорил. Начался дождь. У трамвайной остановки был навес... к несчастью...

Кинопроекция: открывается перспектива бесконечно длинной вечерней улицы. Дождь. Стиборова стала в тени под навесом. Человек в мантии отвернулся, его фигура слилась с черным фоном кулис. Монотонно плещет теплый ливень. К трамвайной остановке подбегают Лида Матисова и Милан Стибор. Они отряхиваются, переводят дух.

Стибор. Ну как?

Лида. Отлично.

Стибор. Прохладно — возьми мой пиджак!

Лида. Нет, нет. Он намокнет.

Стибор уже накинул пиджак ей на плечи. Лида кутается и молчит.

Стибор. Лида, ну что в этом хорошего?

Лида. В чем?

Стибор. Прокуренное кафе и мокрые улицы. Из грязи в лужи. Что мы будем делать зимой?

Лида. Лепить снежных баб.

Стибор. Лида! Я больше не могу!

Лида. Не можешь? Чего не можешь?

Стибор. Держать тебя за руку, гладить твои волосы, целовать... Я же не мальчишка... Боже мой, я не умею высказать! Лида, я не каменный. Я не могу без тебя, понимаешь? И вот... теперь тебя увезет трамвай... и...

Лида. Так поедем вместе.

Стибор. А потом простимся перед общежитием? Не все ли равно?

Лида. Но что я могу сделать? Что мы можем?

Стибор. Выходи за меня замуж!

Лида. Опять!..

Стибор. Выходи за меня.

Лида. Милан!

Стибор. Я уже двадцать пять лет Милан.

Лида. Я говорила тебе и вчера и позавчера: что ты выдумал? Мы знакомы только три месяца.

Стибор. Мой товарищ ухаживал за девушкой десять лет, а через три месяца после свадьбы развелся. Почему нам не сделать наоборот?

Лида. Это абсурд! Ты меня совсем не знаешь!

Стибор. Вернее, ты меня не любишь. Не любишь!

Лида *(растроганно гладит его по голове)*. Разве ты не видишь?

Стибор. Почему же тогда?.. Еще два года в общежитии, никого у тебя здесь нет, а потом пошлют в провинцию... и снова будешь одна. Ведь ты же умная!

Лида. Горе от ума?

Стибор *(упрямо)*. Ты сказала, что любишь меня! Ведь любишь?

Лида. Не сердись!

Стибор. А я тебя — страшно! Когда мы вместе — я про себя считаю, через сколько минут ты уйдешь. А уйдешь — и я все боюсь, что не вернешься, что любовь твоя исчезнет. Это мучение, а не жизнь! У меня и работа не клеится, вчера я напортил... Ты должна выйти за меня! *(Лида невольно улыбается; его упрямство трогает ее. Он это чувствует и продолжает с еще большей горячностью)*. Когда двое любят, им надо быть вместе как можно больше, чтобы любовь росла и крепла...

Издалека доносится шум трамвая.

Лида. А что скажет твоя мама?

Стибор *(Разве теперь это препятствие для него?)*. Что ей за дело?

Лида. Ты прогрессируешь. В конце концов, может быть, перестанешь говорить так цветисто?

Стибор. Если ты выйдешь за меня, я готов говорить только да и нет, а то и вовсе молчать. Лида...

Л и д а. Мой трамвай идет...

С т и б о р. Я поеду с тобой.

Л и д а. Нет, нет! Дай мне... я должна... немного подумать...

Возвращает ему пиджак, но он не надевает его, выходит с Лидой под дождь, глядит на нее.

С т и б о р. Лида...

Л и д а *(неожиданно целует Милана)*. Смотри у меня, не простудись...

Поднимается на площадку вагона, трамвай трогается. Милан машет вслед рукой, потом поворачивается и сталкивается лицом к лицу с Матерью. Запинается.

С т и б о р. Мама... я...

М а т ь. Что мне за дело?

3

Проекция гаснет. Тьма поглотила и трамвайную остановку, и дождь, и Мать. Смущенный Стибор надевает пиджак. Появляется Человек в мантии, задумчиво покачивая головой.

Ч е л о в е к в м а н т и и. Это вышло не очень тактично.

С т и б о р. Я не мог знать, мне и в голову не пришло, что случайно...

Ч е л о в е к в м а н т и и. Я говорю о факте. Дело не в том, что она слышала, а в том, что вы вообще так выразились. Я предполагал, что вы иначе относитесь к матери, если учесть, с каким трудом...

С т и б о р. Перестаньте, пожалуйста. Я знаю, что для меня значит мать! Если бы я был поэт... Я не поэт, но я даже стихи ей писал... Только...

Ч е л о в е к в м а н т и и. Только?

С т и б о р. Бывает, что мы просто не понимаем друг друга. Вы когда-нибудь любили?

Ч е л о в е к в м а н т и и. Позвольте, вопросы задаю я.

С т и б о р. Хорошо, но согласитесь, что я, я сам должен выбрать, с кем буду жить, сидеть за одним столом, делить горе и радость...

Входит Мать.

М а т ь. Я никогда не требовала от него...

С т и б о р. Не требовала, но...

Ч е л о в е к в м а н т и и. Как вы любите слово «но».

С т и б о р. Но... *(в отчаянии машет рукой и уходит)*.

М а т ь. Жаль, что я рассказала вам о его юности. Вы, вероятно, думаете, что я принадлежу к числу матерей, которые хотят вмешиваться даже тогда, когда дети должны решать сами. Вы неправы. Я сама пела ему песни, пробуждающие первое чувство. Я давала ему Бржезину, Пушкина, Уитмена. Значит, я предвидела, что когда-нибудь он захочет найти свою поэзию,— я говорю о любви, о земной любви.

Ч е л о в е к в м а н т и и. Это сказано... хм, с большим чувством. А считались ли вы с тем, что он женится?

М а т ь *(вздыхает)*. Признаюсь, мои представления были более эгоистичными. Я думала — в интересах сына, конечно, — что при его требовательности он будет... дольше искать...

Ч е л о в е к в м а н т и и. И дольше останется с вами.

М а т ь. И дольше... да. Но, уверяю вас, когда появилась Лида, я не сказала ему ни слова.

Ч е л о в е к в м а н т и и. Несмотря на то, что его слова причинили вам боль.

М а т ь. Несмотря на это. Я ничего не показала Лиде, хотя... хотя сомневалась, не скрою. И правильно делала, потому что все же оказалось...

Человек в мантии. Не надо забегать вперед.

Мать. Хорошо. Но я даже сумела поговорить с ней перед свадьбой, очень интимно, как с родной... дочерью. Милана не было дома, и я пригласила Лиду на чашку чаю. «Лида, — сказала я ей, — надеюсь, вы себя чувствуете здесь как дома»...

Кинопроекция: комната, занавес, картина на стене. Лида сидит у столика, Стиборова садится напротив. Весь разговор идет в интимном, дружеском тоне.

Лида. Да.

Мать. Я предлагала Милану: если он захочет, я могу со временем переехать от вас.

Лида. Он ни за что не согласится.

Мать. Согласится! Две женщины под одной крышей — это никогда не приводило к добру. *(Смеется)*. Теперь вы для него важнее.

Лида. Ну, не говорите!

Мать. Так лучше, Лидушка. Я вечно баловала его, пора вам сменить меня. Ведь вы его любите так же сильно, как и я, не правда ли?

Лида. Можете не беспокоиться. *(Роняет блюдце, оно разбивается. Быстро подбирает осколки, мать помогает ей)*. Не сердитесь.

Мать. За что? *(Смеется)*. Все это уже ваше. Посуда бьется, девочка, к счастью, а я вам желаю много счастья!

Лида *(растроганно)*. Спасибо...

4

Проекция погасла, исчезли и мебель и женщины. Входит Милан в черном костюме, с букетом. Он расстроен, поглядывает на часы. Отвечает машинально.

Человек в мантии. Хорошо с ней побеседовала ваша матушка.

Милан. Хорошо.

Человек в мантии. Что Лида об этом рассказывала?

Милан. Ничего. Они встретились тайно от меня, и Лида сдержала слово.

Человек в мантии. А мать проговорилась? Но вы куда-то торопитесь! На похороны?

Милан. У меня сегодня свадьба.

Человек в мантии. Простите, но по вашему виду этого не заметно.

Милан. Я не знаю, что с Лидой.

Человек в мантии. Как что с Лидой?

Стибор. Она должна была прийти с подругой к нам. И не пришла. Я послал за ними в общежитие такси, но их и там не было. И здесь нет.

Кинопроекция: уголок комнаты ожидания в отделе регистрации браков. Тихо звучит хор Дворжака «На дороге белые цветы». Негромкий голос в репродукторе: «Прошу войти брачащихся гражданина Стибора и гражданку Матисову».
Входит взволнованная Мать.

Стибор. Нет их?

Мать. Нету.

Стибор. Что могло случиться?

Мать. Не знаю, но надеюсь — что-то серьезное.

Стибор. Мама!

Мать. Милан, ты не замечаешь, над нами уже смеются! Регистратор спрашивает, не я ли невеста. Я здесь единственная женщина!

Стибор. Может быть, она пошла за чем-нибудь... *(Он облегченно вскрикивает)*. Майка! *(Входит высокая, коротко остриженная девушка, ро-*

весница Лиды). Это — ее подруга. Моя мать. Что с вами, где Лида? Скорей!

Майка. Разве Лиды здесь нет?

Стибор. Нет... Куда она пошла, когда?

Майка. Ее не было дома со вчерашнего вечера, я думала, она заночевала у вас...

Стибор. Ничего не понимаю...

Мать. А я, кажется, начинаю понимать.

Голос из репродуктора. Прошу войти брачащихся гражданина Стибора и гражданку Матисову.

Стибор *(внезапно решился)*. Я иду в полицию.

Уходит. Мать бежит за сцену.

Мать. Простите, у нас произошло нечто серьезное...

5

Музыка умолкает. Проекция гаснет. На сцене стоит только пораженная Майка. Когда к ней подходит Человек в мантии, она делает движение в сторону кулис, но останавливается; отвечает недоверчиво, неохотно, погруженная в свои мысли.

Человек в мантии. Гражданка Грабетова?

Майка. Вы меня знаете?

Человек в мантии. Не более, чем нужно для дела. Где она может быть?

Майка. Понятия не имею.

Человек в мантии. Была ли она в последнее время нормальной?

Майка. Была нормально задумчива.

Человек в мантии. Готовилась к свадьбе?

Майка. Конечно!

Человек в мантии. Они с Миланом не поссорились?

Майка. Понятия не имею. Как будто нет.

Человек в мантии. Не замечали ли вы признаков... Не думала ли она о самоубийстве?

Майка. Что за глупости! *(Уходит возмущенная)*.

Человек в мантии. Придется самой Матисовой разъяснить все это. Лида Матисова!

Кинопроекция: комната общежития, окно с видом на город. В полутьме видна двухспальная тахта, у которой застелена одна половина. Лида Матисова, в юбке и блузке, причесывается перед маленьким зеркалом. Ее жакет висит на спинке стула, туфли под стулом. Светает.

Человек в мантии. Кто вы такая и что здесь делаете?

Лида *(вздрагивает, потом упрямо)*. Видите — причесываюсь!

Человек в мантии. В вашем положении, Матисова, я говорил бы спокойнее.

Тахта скрипит, проснувшийся Петр Петрус садится и протирает глаза.

Человек в мантии *(неприятно удивлен)*. Кто этот мужчина?

Лида. Тс-с...

Не обращая больше на него внимания, старается быстро надеть туфли и жакет, чтобы уйти раньше, чем Петрус окончательно проснется. Но не успевает.

Петр. Лида!

Лида стоит, он сидит, оба не двигаются. Потом Петр протягивает к ней руки; Лида подходит, пожимает их, подсаживается. Сидят, прильнув лицом к лицу.

Петр. Лида, я видел страшный сон... Мне снилось, будто все это мне приснилось. Лидочка, что с тобой? Почему ты молчишь?

Лида *(опомнилась, гладит его)*. Ничего... я думаю...

Петр. Сейчас... Нет, Лида, сейчас еще не надо. Подумать нам придется, хоть и не хочется, но времени впереди много. *(Ложится на спину и привлекает ее к себе)*. Когда мы с тобой расстались? В октябре, кажется? Как это было в письме?

Лида. «Вычеркнуть друг друга из жизни...»

Петр. Зачем ты это написала?

Лида. Я знала — так будет лучше.

Петр. Знала — и не сказала мне. На вокзале ты говорила так... естественно, смеялась, даже прощаться не захотела!

Лида. Ненавижу прощаться!

Петр. Когда поезд ушел, я побрел по шпалам — далеко, за станцию, и там... Представь себе, поцеловал рельсы!

Оба счастливы и растроганы.

6

Проекция гаснет. Человек в мантии нетерпеливо ожидает подходящую к нему Матисову.

Человек в мантии. Я с нетерпением жду ваших объяснений.

Лида. Мне нечего объяснять. Петр был моей первой и самой большой любовью. Но мы оба были так молоды... я не хотела связывать его, не верила, что он тоже... и только поэтому порвала с ним, когда уезжала из Праги на пять лет. Иметь его и не иметь — это не жизнь! Уж лучше «вычеркнуть»!

Человек в мантии. Я имею в виду...

Лида. Вы имеете в виду то же, что и я. Но я уверена, что здесь все в порядке. Я его люблю, я все еще люблю его. Я это чувствовала. Когда я вчера встретила его, то поняла — он позовет меня. И я его не оттолкну. И когда шла, знала, что останусь с ним. Вероятно, я еще не могу себе представить всех последствий. Но знаю, что это было правильно, а для меня всегда главное — чувствовать себя правой. Впрочем, я никому не обязана давать отчет.

Человек в мантии. Де-юре, конечно, но де-факто? У нас есть много поводов предполагать, что гражданин Стибор вас любил со всей присущей ему искренностью. Кажется, вы не сдерживали его чувств, а наоборот, поощряли, что и привело к логическому завершению: к намерению узаконить ваши отношения с тем, чтобы он мог беспрепятственно, гм... осуществлять свои супружеские функции — вы меня понимаете?

Лида. Он хотел на мне жениться, и я согласилась, потому что он хороший человек и потому что я его... потому что я ничего против него не имела...

Человек в мантии. Матисова! В протоколе записаны ваши слова. *(Листает бумаги)*. На вопрос Милана Стибора: «Ты меня не любишь?» вы ответили: «Разве ты не видишь?», а на его настойчивое «Лида!» сказали: «Смотри у меня, не простудись». Эти слова, произнесенные соответствующим тоном и подкрепленные поцелуем, означают приблизительно одно и то же. Разве из всего этого, как и из других фактов, он должен был сделать вывод, что вы всего-навсего «ничего не имели против него»?

Лида. Вы намного старше меня. Скажите, вам никогда не случалось отвечать определеннее и серьезнее, чем вам бы хотелось, только для того, чтобы не причинять страданий?

Человек в мантии. Иными словами, вы определяете сущность своего отношения к нему как сострадание. И сообщаете, что вы его не любили в полном смысле этого слова.

Лида. Нет, не так! Я любила...

Человек в мантии. Так что же — любили или не любили?

Лида. Пожалуйста, не кричите... Любовь, вероятно, сложнее... Вы никогда не были влюблены?

Человек в мантии *(ворчит)*. Позвольте... спрашивать буду я. Итак, вы его скорее любили, чем не любили. Хорошо мы поняли друг друга? В таких случаях решающими являются дальнейшие обстоятельства. Осведомленность о его чувстве, данное слово, бережное отношение к его престижу...

Лида. Послушайте! Вы что, любитель вивисекции? Разве мало я сама себя мучаю? И Петра я измучила, он пошел проводить свой первый семинар, и мое молчание утром тревожило его больше, чем... У входа на факультет он остановился...

Кинопроекция: тротуар перед порталом с колоннами. Позднее утро. Издалека доносится разноголосый повседневный шум. Моросит дождь. Лида делает несколько шагов вперед, потом медленно возвращается к стоящему Петру.

Петр. Лида! Лида, чего ты боишься?

Лида *(внезапно падая духом)*. Позора...

Петр. Послушай, Лида, но разве мы живем в средние века? Разве это позор — не выйти за человека, которого не любишь? А выйти за него — как это называется?

Лида. Но я ему...

Петр. Он заморочил тебе голову до того, что ты поверила, будто его любишь. Слава богу, ты вовремя разобралась. Конечно, приятного мало, но все же так лучше и для него и для тебя.

Лида кладет ему голову на плечо.

Человек в мантии. Эй, молодые люди!

Петр *(в порыве чувства гладит ее волосы)*. Лидочка, ты моя умная, ты моя печальная. Как ты можешь сегодня мучиться? *(Продолжает тише и серьезнее)*. За четыре года много воды утекло... Я еще не сказал тебе...

Лиду испугала новая нотка в его голосе, она подымает голову.

Лида. Ты меня любишь?

Петр. Люблю.

Лида. Значит, ты сказал мне самое главное.

Целуются среди бела дня.

Человек в мантии. Промокнете!.. Вас кто-нибудь увидит... *(Но они все целуются, не замечая, как мимо проходит Майка Грабетова: увидев их, она окаменела)*. Ну вот, пожалуйста...

Майка. Боже мой, Лида... что это...

Человек в мантии. Она «нормально задумчива».

Майка. А это ассистент Петрус?

Человек в мантии. Не имею представления. Продолжайте, пожалуйста.

Машет рукой, чтобы она ушла со сцены. Влюбленные уже не целуются, они держатся за руки и глядят в глаза друг другу. Петрус восторженно шепчет.

Петр. Сегодня я буду читать для тебя.

Лида *(ищет платок в сумочке)*. Как я об этом узнаю?

Петр. Как? Ну, например... например, я подам тебе условный знак, ладно? Хотя бы вот так — положу руку на галстук... *(оба смеются)*. Лида, Лида, ты всегда превращаешь меня в мальчишку... но это чудесно!

Увидал в ее сумочке фотографию, быстро вытащил.

Лида. Отдай!

Петр. Не отдам! Чтобы ты всегда была со мной.

Лида. Разве можно быть больше с тобой, чем я? *(Вытирает мокрые глаза, смотрится в осколочек зеркала)*. Я в порядке?

Петр. В наилучшем порядке!

Еще раз целуются.

Лида. Ни пуха ни пера!

Уходит. Петр провожает ее глазами, потом идет следом. Человек в мантии пытается его остановить.

Человек в мантии. Послушайте, друг мой...

Но к Петрусу уже подходит широкоплечий парень. Он стряхивает воду со шляпы и дружески берет Петруса под руку.

Тошек. Ну как, товарищ Петрус? Сегодня твоя первая лекция?

Петр. Честь труду, товарищ Тошек!

Тошек. Только — надолго ли ты к нам?

Петр *(слегка обеспокоен)*. А в чем дело?

Тошек. Китай-то не за горами.

Петр. Какой Китай?

Тошек. Петрус, да я ведь о твоей поездке. О тебе уже запрашивали.

Петр *(понял, просиял)*. А, вы про это! Чудесная погода, не правда ли?

Тошек *(взглянул на мокрую улицу, потом на Петруса)*. Да ведь льет...

Петр *(удивленно улыбаясь)*. И верно...

7

Петрус входит в здание факультета. Тошек задерживается, остановленный жестом Человека в мантии.

Человек в мантии. Свидетель Антонин Тошек, год рождения 1911, работник отдела кадров факультета.

Тошек. Все точно.

Человек в мантии. Вы знаете ассистента Петруса?

Тошек. Да... Конечно, только по документам, это у нас новый кадр. Но он приехал к нам из Брно, а на характеристики из Брно можно положиться, там работает толковый товарищ...

Человек в мантии. Что написано в характеристике?

Тошек. Судя по характеристике, Петрус — сознательный и честный человек. Основал там парторганизацию, полгода работал на стройке, вел кружок политграмоты. К тому же он исключительно одаренный ученый. Знаете, я не специалист, но семейное право...

Человек в мантии. Меня прежде всего интересует он сам...

Тошек. А в чем дело? Есть что-нибудь компрометирующее?

Человек в мантии. Об этом-то я вас и спрашиваю.

Тошек. Ах так. Нет! Как я уже сказал, мне он кажется весьма положительным, и я не удивляюсь, что его выбрали для поездки в Китай. У него все данные.

Человек в мантии. Какие?

Тошек. Я уже сказал: политически зрелый, способный, упорный...

Человек в мантии. Дальше?

Тошек. Здоровый, с характером...

Человек в мантии. Еще?

Тошек. Женатый.

Человек в мантии *(удивленно)*. Женатый?

Тошек. Женатый. В такие командировки мы стараемся посылать женатых. Это для него большой плюс...

Человек в мантии. Весьма относительный...

Вспыхивает кинопроекция: в глубине сцены — кабинет, где происходит семинар. Двадцать человек аплодируют вводному слову Петруса. Петрус сидит верхом на стуле, лицом к слушателям. Речь его становится все более одушевленной, так как он обращается прежде всего к Лиде.

Петрус. Сменялись правители, сменялись поколения, сменялись общественные системы. А женщины страдали по-прежнему. Потом наступил день, когда они вместе со своими отцами, возлюбленными и мужьями разгромили Бастилию. В этот вечер под гром «Карманьолы» им казалось, будто отныне и для них засияла свобода и равенство, будто теперь они сами будут творить свою судьбу, бороться за свое счастье, свою любовь. *(Он уже не может сидеть, опершись коленом о сиденье, судорожно сжимая рукой спинку стула).* Но капитализм обманул их и предал так же, как их предавали все предшествующие общественные формации. Он окружил женщин стеной общественных преград, замуровал в гробницу предрассудков. Лживая мораль сделала их сердца еще голоднее, чем нужда сделала их желудки; эта лживая мораль превратила их в добровольных рабынь, заставляла выходить замуж не по велению чувства, а по требованию родителей, церкви, класса или простой условности. *(Петрус встает, глядит туда, где, по его предположению, сидит Лида).* Этот строй умер, погребен, уничтожен без возврата. Социализм освободил и руки и сердца. Но это не означает, что все изменилось по мановению волшебной палочки. *(Как бы невольно берется за галстук).* Есть еще женщины, готовые вступить в брак только для того, чтобы не погрешить против каких-то норм общественной жизни. Но ведь именно наше общество стоит на их стороне и будет поддерживать любой бунт против остатков бесчеловечного прошлого. Базой, исходной точкой и мерилом всех человеческих отношений должна быть отныне и навеки любовь, и только любовь!

8

Под бурные аплодисменты проекция гаснет. Взволнованный Петрус, механически поправив галстук, опускает руку, причесывается и зажигает сигарету.

Человек в мантии. Вы имели успех.

Петрус *(скромно)*. Надо себя сдерживать. Я увлекаюсь, а ведь на семинарах прежде всего должны говорить слушатели.

Человек в мантии. Кстати, вы не знаете, где Лида?

Петрус. Я жду ее.

Человек в мантии. Мне кажется, она пошла к Стибору.

Петрус. Ах!

Человек в мантии. Вы бы стали ее отговаривать?

Петрус. Нет, наоборот, но...

Человек в мантии. Но сначала вы собирались ей кое-что сообщить?

Петрус. Да. *(Нервно поглядывает на дверь).*

Человек в мантии. Она, конечно, узнает.

Петрус. Хорошо, но поймите! Она должна услышать об этом от меня.

Человек в мантии. Почему же она до сих пор не услышала? Или у нее плохой слух?

Петрус. Послушайте, не можете ли вы разговаривать в другом тоне? Я не прохвост и в любое время могу объяснить и обосновать все свои поступки.

Человек в мантии. Меня интересует именно это.

Петрус. Вчера у меня было ужасное настроение... по ряду причин... Когда я встретил Лиду, мы оба потеряли голову. Я — материалист, но в этой встрече было нечто... нечто необыкновенное. Вы должны знать,

что Лида была... была моей самой большой любовью. Когда она уехала, когда потом написала мне, я страдал, как раненый зверь. А вчера страдала Лида, я это видел. Но вместе с тем я понял, что нужен ей, что она хочет меня, а я — ее. Мы почувствовали что-то... что-то...

Человек в мантии. Для ученого ваши определения недостаточно точны.

Петрус. Полагаю, и вы когда-нибудь любили. Были вы тогда в состоянии точно формулировать свои переживания?

Человек в мантии. Продолжайте.

Петрус. Мы сидели и держали друг друга за руки. Молча. Словно сами не верили этому. Я хотел ей сказать... и не смог. Просто не смог, и не стыжусь этого. А потом случилось... как пять лет тому назад в горах. И я нисколько, ничуть не стыжусь этого. Потому что я люблю ее — если только вам понятно, что это такое!

Человек в мантии. Что вы собираетесь теперь делать?

Петрус. То, что мне приказывает моя совесть.

Человек в мантии. Жму вам руку.

Кинопроекция: окно маленького кафе, с надписями на стекле. Под окном столик, два стула. Лида сидит; Стибор со свадебным букетом в руке стоит нерешительно, потом садится за столик. Молчат. Подлетел официант. Приподнял букет, положенный Стибором на столик, и, непрерывно болтая, сметает со стола. Радио передает веселую музыку.

Официант. Вот зарядил дождь, правда? Что поделаешь, ноябрь берет свое. Хорошо еще, сердечко нас греет, не так ли? Чашечка кофе, думаю, не повредит?

Оба кивают головой, официант исчезает. Им хочется поговорить, но Стибор ждет, что скажет Лида, а Лида не может вымолвить ни слова. За окном гремит трамвай, из-за соседних столиков доносится говор и смех. Официант приносит кофе и — по собственной инициативе — пирожное. Снова сыплет словами.

Официант. Два мокко из Ориноко и кое-что на зубок. Организму полезно, талии не испортит, не так ли?

Лида и Стибор не возражают. Официант по-своему истолковывает их молчание и моментально приносит сатирический журнал.

Официант. Даме... Смех — не грех!

Человек в мантии *(подчеркнув первое слово)*. Барышня ничего не заказывала.

Официант *(глядя на них, ударяет себя по лбу)*. Пардон, я думал, вы — супруги... дурак... увидел цветы...

Исчезает, но заколдованный круг прорван. Милан берет в свои ладони руку Лиды, которая взяла было ложку.

Стибор. Лида! Ты ведь понимаешь, каково мне. Быть может, я должен был обидеться, кричать или... но я пока ничего не понимаю...

Лида. Милан...

Стибор. И не хочу понимать, Лида. Я люблю тебя. Не буду ни о чем спрашивать — ни теперь, ни потом. Я на все согласен. Поженимся без этих формальностей, без матери... Нет, Лида, ты несправедлива к ней, но и это не имеет для меня никакого значения, потому что...

Лида. Милан! Я не могу... Мне очень тяжело сделать тебе больно...

Стибор. А ты скажи мне все-таки...

Лида. Я... люблю...

Стибор. Кого?

Лида. Его. Ты знаешь... Его перевели сюда, и мы встретились... Милан! Милан, мы с тобой еще мало знаем друг друга, ты же понимаешь, как все это... Вот уж действительно горе от ума! Мне не нужно твоего прощения, только пойми меня...

Пауза.

Стибор *(хочет заговорить, но не может — горло перехватило, откашливается, потом хрипло)*. Я повторяю... Ни о чем тебя не спрошу... Я согласен на все...

Лида. Я была у него!

Стибор *(хрипло)*. Ты свободный человек. Что было до свадьбы — меня не касается. Мы поженимся и начнем новую...

Лида *(ошеломленная и подавленная нечеловеческим самоотвержением Милана, в отчаянии прерывает его)*. Милан, ради бога, как ты можешь? Я никогда не сделала бы этого, если бы... Все случилось только потому, что мы с ним давно уже... Как мог бы ты жить со мной после этого, Милан?

Стибор *(из последних сил)*. Лида, я люблю тебя...

Лида. Но я тебя не люблю... Я тебя не...

Встает с рыданиями и убегает. Стибор секунду стоит, как изваяние, потом в нем просыпаются безграничная ярость и скорбь. Он вскакивает, кричит вслед Лиде.

Стибор. Я ему отплачу за это. Отплачу!

Официант *(услышав последние слова, появляется с блокнотом)*. Платить? Пожалуйста.

Проекция гаснет. Официант подходит к рампе, кладет деньги в кошелек и прячет его в карман.

9

Человек в мантии. Официант!

Официант. Готов служить, пан советник.

Человек в мантии. Я не советник.

Официант. Простите, пан доктор. У нас есть румынское белое, только его в рот не возьмешь. Я бы рекомендовал вам Бикавер: нальешь — пропадешь ни за грош. А то можно подогреть, не желаете?

Человек в мантии. Я не доктор. Что вы думаете об этой паре?

Официант. Ах вот что! К сожалению, не могу, не могу служить! Постоянных посетителей знаем, но перелетных — ведь в кафе всякий сброд лезет — на учет не берем...

Человек в мантии. Ваша профессия, официант, за годы работы несомненно выработала в вас способности к наблюдениям. В данном случае с меня достаточно вашего впечатления.

Официант. К вашим услугам! Ну, так впечатление, я бы сказал, неважное. Хуже всего, когда любовники смахивают на супругов, не так ли? Этот пан слегка... мямля.

Человек в мантии. Как, простите?

Официант. Мягкой души человек, ясно? Придет, сядет и молчит. Можете подать ему манную кашку, он и не пикнет, съест. Это и нашего брата обидит. Барышня — та, не знаю... Фигли-мигли... Что в ней есть и что она натворит — в этом и повар не разберется, вот что. Осмелюсь спросить, пан комиссар, в чем загвоздка? Прелюбодеяние или жульничество? В тридцать восьмом, нет, в тридцать седьмом у нас застукали Шпаргля, специалиста по сейфам, у него тогда... было с той девчонкой...

Человек в мантии. Я не комиссар. Я интересуюсь только...

Официант *(сразу холодно)*. А! Тогда — извините. Информацию для печати получают в дирекции, а здесь — только холодные и горячие напитки. Мое почтение.

Человек в мантии *(несколько задет; стараясь сгладить неприятное впечатление, заглядывает в свои бумаги и вызывает официальным тоном)*. Вацлав Краль! Вацлав Краль!

Голос в зале. Здесь...

Человек в мантии *(строго глядя в зал)*. Ну, чего же вы? Пожалуйте. Сюда, конечно.

Краль. Но я потом переехал, так что...

Человек в мантии. И при переезде потеряли память?

Краль. Нет, нет...

Человек в мантии. Так идите на сцену. *(Ждет. На сцену поднимается смущенный долговязый человек, который не знает, что делать со своими руками)*. Вацлав Краль, год рождения 1928, ассистент кафедры слабых токов...

Краль. Да.

Человек в мантии. Обвинение вызывает вас как свидетеля, поскольку вы жили в одной комнате с Петром Петрусом.

Краль. Я уже там не живу, я еще до этого...

Человек в мантии. Но жили там в то время, когда Петрус снова встретил Лиду Матисову?

Краль. Тогда — да.

Человек в мантии. То-то. Кстати, где вы спали в ту ночь?

Краль. В ванной.

Человек в мантии. Как, как?

Краль. Видите ли... у нас в общежитии, когда к кому-нибудь приезжает жена или...

Человек в мантии. Или?

Краль. Или — так... тогда коллега обычно уходит...

Человек в мантии. А это разрешается?

Краль. Не разрешается, но... такова жизнь... а в ту ночь как раз все были дома, так что пришлось ночевать в ванной... Петрус тоже, когда порой моя жена....

Человек в мантии. Ваша жена или так..?

Краль. Жена, я женат.

Человек в мантии. Петрус тоже.

Краль. Да, но он хотел... Я думал... потому что он славный парень и сказал...

Человек в мантии. Что он сказал?

Краль. Я его спросил: слушай, брат, ладно, но как же...

Проекция: знакомое окно с видом на город. За окном — ночь. Двухспальная тахта постелена. Петрус лежит одетый и прихлебывает кофе. Краль снимает пиджак и рубашку, надевает пижаму. На окне приемник играет «Талисман» Бетховена. К приемнику прислонена фотография Лиды.

Петр. Иногда живешь годами, словно в тихой заводи, а потом вдруг за один день все летит вверх тормашками...

Краль. Да уж... А что ты собираешься делать? Только так — или?..

Петр. В том-то и ужас... Приходится спрашивать самого себя: которую из них нельзя обидеть?.. Потому что одну я непременно обижу...

Краль. А что за человек твоя жена?

Петр. Моя жена... Моя жена особенный человек... районный врач... самоотверженна до предела, но чувство... Вашек, мы живем так уже второй год. Я в одном месте, она в другом. А я ей и не нужен. Приезжал к ней, и мне казалось, будто я входил в комнату, из которой только что вышел. Абсолютно ничего, понимаешь? А Лида... Лида ради меня... Понимаешь?

Краль. Так что же ты хочешь сделать?

Петр. Само собой, разведусь...

Краль. Если это такая любовь...

Стук в дверь. Петр садится. Вашек быстро надевает пиджак.

Петр. Войдите...

Входит Лида Матисова. Петр одним прыжком очутился возле нее.

Петр. Лида! Это — Лида Матисова...

Краль. Краль...

Петр *(пытается шутить)*. Краль, король Вацлав, прямой потомок императора Карла. Ну, садись... и будь как дома, Вашек все знает...

Краль *(смущенно смеется и героически берет полотенце)*. Ну, я пошел купаться...

Уходит. Петр не знает, как выразить свою нежность. Гладит Лиду по волосам.

Петр. Лидочка...

Лида. Петр... *(Уже по ее сдавленному голосу можно судить, что привела ее сюда отнюдь не жажда ласки)*. Майка мне сказала, что... что будто...

Петр *(усаживает ее на тахту, садится рядом и берет ее руки в свои)*. Лида! Я хотел еще вчера, но ты... ты не дала мне сказать... И хорошо, что не дала! По крайней мере, произошло то, что было. Ты ведь и сама не сумела, не захотела говорить о своем...

Лида. Как ее зовут?

Петр. Лида.

Лида *(грустно улыбаясь)*. Лида...

Петр. Из-за имени я и женился... Лида... Разве это так важно?

Лида. Что — важно?

Петр. Я спрашиваю, важно ли это. Ты меня любишь? Любишь! Я тебя тоже, Лида. И важнее этого нет ничего, ты сама так сказала. А раз мы оба это знаем, то и знаем, что нам делать.

Лида. Что делать?

Петр *(встает и глядит на нее, взволнованную)*. Я женюсь на тебе... Если ты согласна... А ты согласна, правда?

Оба не двигаются, глядят друг на друга. Так проходит минута или час. Потом Петрус стремительно срывает простыни Вашека и несет их к двери. Сильно звучит музыка.

10

Проекция гаснет. На авансцену входят взволнованные Стиборова и Милан. Стиборова на ходу застегивает пальто.

Стибор. Куда она пошла? Куда?

Человек в мантии. Куда вы идете, пани Стиборова?

Мать. Я не могу видеть, как он терзается. Я не допущу, чтобы люди над ним смеялись.

Стибор. Что она хочет сделать?

Человек в мантии. Я вам буду очень обязан, если вы мне ответите.

Мать. Я иду на факультет.

Стибор. Бога ради, зачем?

Мать. Я не допущу, чтобы на его репутацию легло пятно. Он не должен оставлять это так.

Стибор. А я не допущу, чтобы она обидела Лиду. Лида — честная, честная... Во всем виноват тот, другой!

Мать. Пусть он успокоится, я его мать и ничего не сделаю против его воли. Я прекрасно понимаю, на ком вся ответственность. Ради бога, пусть он не мучается, пусть позволит мне действовать для его же пользы...

Стибор *(слабо)*. Во всем виноват тот... *(Уходит)*.

Человек в мантии. Я считал, основываясь на вашей автобиографии, пани Стиборова, что вы — лучший психолог.

Мать. Что вы хотите сказать?

Человек в мантии. Допустим, вы добьетесь, что Петрус будет морально осужден, может быть возвращен на прежнее место работы. А результат? Лида Матисова опомнится, падет духом, говоря литературным языком — уничтожит его в своем сердце. А что, если она захочет вознаградить вашего сына за обиду? Если не ошибаюсь, он предложил ей...

Мать. И все-таки я не настолько плохой психолог, чтобы сообщить своему сыну, в его душевном состоянии, против кого я хочу действовать.

Человек в мантии. Уж не против ли...

Мать. Конечно! Петрус меня не интересует, я чувствую к нему только некоторую благодарность! Вы должны примириться с тем, что, спасая утопающего, не думают о средствах. Будь я верующей — я, быть может, назвала бы появление Петруса чудом. Но я верю только себе и своей любви к Милану и поэтому позабочусь укрепить это чудо. Лида! Лида должна исчезнуть. Пока он ходит с ней по одним улицам, дышит одним воздухом — Милан не найдет покоя.

Человек в мантии. Хотел бы я знать, как вы этого добьетесь.

Мать. Добьюсь, добьюсь! Ради его счастья, его таланта — добьюсь. Если нет — перестану верить в вашу справедливость!

Вспыхивает кинопроекция: канцелярия факультета. на стенах расписания занятий. За столом сидит озабоченный Тошек, против него, на краешке стула — Лида Матисова.

Тошек. Послушайте, вы должны ее понять. Я ее не знаю, но какова бы она ни была, надо представить себе ее положение. Мать все-таки... И она говорит: как может такой человек воспитывать молодежь или стоять на страже законов... Я вовсе не хочу осуждать вас, но вы обязаны задуматься... Может, вам все-таки следовало бы высказаться... *(Лида молчит. Тошек задумчиво потирает заросший подбородок)*. Так довольно трудно договориться.

Лида. Разве все это не мое личное дело?

Тошек *(вздыхает, встает, подходит к окну и чертит на стекле пальцем)*. Товарищ Матисова, я представляю себе, что вы обо мне, наверное, думаете. Работник отдела кадров... а тут такой вопрос... Но я не инквизитор. Просто здесь положение... сложное, необычное. Вопрос трудно решить самим заинтересованным лицам. Товарищ... *(рисует пальцем большое «М»)*. Я не хочу говорить об этом... *(чертит плюс и дробную черту, над ней пишет большое «С»)*. Но вы знаете, что товарищ *(под дробной чертой пишет большое «П»)*... женат? *(Пишет за «П» минус «Х» и потом знак равенства)*.

Лида. Да!

Тошек. Так. И вы думаете, это правильно? *(Ставит вопросительный знак)*.

Лида. Мы любим друг друга...

Тошек. Ну... Если любите... Вы не понимаете разве, как вы усложняете его жизнь?

11

Проекция гаснет. Человек в мантии испытующе глядит то на Лиду, то на Петруса, который ищет по карманам спички; он взволнован и огорчен. Хотя Лида и Петр разговаривают между собой, слова их адресованы Человеку в мантии.

Петр. Прежде всего, до этого никому нет дела!

Лида. Я и сказала, что это наше дело...

Человек в мантии. А он?

Петр. Чего он хочет? Какая у него цель?

Лида *(Человеку в мантии)*. Чтобы я с Петром разошлась.

Петр *(со злостью зажигает сигарету и отбрасывает спичку)*. Какое он имеет право! Как он смеет!

Лида. А что, если...

Петр. Что — если?

Лида. А что, если он прав?

Петр *(поражен, но отчаяние в ее глазах заставляет его бросить на пол и растоптать сигарету)*. Лида... Лида, ты с ума сошла?

Лида. Если я действительно только усложняю тебе...

Человек в мантии мрачно наблюдает за ними. Петр глядит на него, на Лиду. Потом обнимает ее и тихо говорит, приблизив губы к ее волосам и обращаясь к Человеку в мантии.

Петр. Зачем она мучит себя? Мы ведь решили, значит так и будет... Разве я мог бы... Или она не верит мне?

Лида. Верю!

Петр. Вечером я позвоню Лиде... А с Тошеком поговорю сейчас же! *(Нежно целует ее и уходит)*.

Проекция: снова канцелярия факультета. Петрус нервно прохаживается, зажигая сигарету. Говорит один Тошек, сосредоточенно чертя что-то в блокноте.

Тошек. Я знаю, так бывает... может случиться... но ты, конечно, сам видишь, что данный случай сложнее обычного. Ваши дела — это ваши дела. Не думай, что это для меня развлечение, но я должен беречь людей, на образование которых тратило средства государство. Слушай, давай не будем терять времени и дергать нервы... Конечно, если это такая любовь, как ты говоришь, тогда надо кончить разговор. *(Нарисовал восклицательный знак)*. А если...

Нарисовал вопросительный знак. Петр не выдерживает, останавливается, спрашивает.

Петр. Если что?

Тошек *(зачеркивает все и далеко отодвигает блокнот)*. Если нет — тогда Матисова действительно не имеет права... ставить под угрозу чужую семью, вставать поперек дороги... потому что развод заставил бы пересмотреть перспективы твоей дальнейшей работы и...

Петр. Послушай, товарищ! При чем тут Матисова? Что она, соблазнила меня, что ли? Не сердись, но мало того, что ты несправедлив к ней, ты еще оскорбляешь и меня. Я отвечаю за все в той же мере, что и Лида, а Лида не виновата так же, как и я.

Тошек. Тебе виднее. Твоя жена уже знает?

Петр. Нет, но не беспокойся, пожалуйста, никогда в жизни я не делал подлостей и понимаю свои обязанности. Как раз сегодня я собирался ей...

Входит Майка Грабетова, она останавливается у порога, обращается к Тошеку.

Майка. Пардон, я зайду позднее... *(Но ее жжет любопытство, она снова оборачивается)*. Товарищ Петрус, завтра партбюро, от нас уже требуют характеристику... это насчет Китая...

Петр. Вот как...

Майка. Прошу вас, только для ясности: вы ведь хотели ехать с женой?

Петр *(растерянно)*. Да... она как врач... сначала решила... *(Потом в нем пробуждается упрямство. Заявляет, глядя на обоих)*. Сегодня вечером я позвоню ей.

Тошек *(настойчиво)*. Подожди еще хоть день-два, может, как-нибудь... *(Но Петрус уходит)*.

12

Проекция гаснет: на авансцену выходят озабоченный Тошек и решительная Майка.

Тошек. Как об стену горох. Повторяет одно и то же.

Майка. Что он, совсем рехнулся?

Тошек. Кажется, они в самом деле влюбились.

Майка. Боже мой, но он обязан с ней порвать!

Человек в мантии. Хм-хм...

Майка. Что вы сказали?

Человек в мантии. Если считать бесспорным ваше утверждение, будто вы ее подруга, не могу не удивляться тому, насколько своеобразно вы понимаете это слово.

Майка. Попали пальцем в небо! Я искренний и давнишний ее друг, но... во-первых, не собираюсь из-за этого отказываться от своих моральных принципов, а во-вторых, хочу только пользы для...

Человек в мантии. Для кого?

Майка. Как — для кого?

Человек в мантии. Для нее или для него?

Майка. Ах вот оно что! Считаю для себя унизительным доказывать, что у меня нет никаких побочных целей.

Человек в мантии. Помнится, я ничего подобного вам и не приписывал. Мне не настолько ясны ваши мотивы, чтобы я заранее мог сомневаться в их благородстве.

Майка. У меня только один мотив, и вполне убедительный. Петрус — человек высокой квалификации, умеет сразу завоевать доверие, симпатию. Он может быть исключительно полезным для нашего общего дела, вернее, мог бы быть. А теперь? Нет, я не сухарь, это знает прежде всего Лида, таким прозвищем бросаются люди, у которых не хватает аргументов. Я утверждаю и буду утверждать, хотя бы мне пришлось выступать против самого дорогого мне человека, что никто не имеет права губить судьбу другого ради мимолетной вспышки, ради иллюзии, ради мечты.

Человек в мантии. В вашей интересной философии есть один изъян. А если это не мимолетная вспышка?

Майка. А я утверждаю, что мимолетная.

Человек в мантии. Почему вы так... думаете?

Майка. Я — женщина... *(Уходит)*.

Тошек. О-хо-хо!

Человек в мантии. Кажется, вы не так-то твердо в этом убеждены.

Тошек. Да нет! Думать я могу всякое... Но делать я должен то, что обязан делать. С этим телефонным звонком он мог бы обождать! Боюсь, он забегает вперед...

Человек в мантии. А я боюсь, что события предупредят его.

Проекция: кабинет врача. На белом столике — врачебные инструменты. Петрусова в белом халате вытирает руки. Где-то открылась дверь, доносится плач нескольких детей, гул голосов. Петрусова надевает очки и подымает голову, ожидая следующего пациента.

Петрусова. Следующий.

Входит Стиборова в пальто, с чемоданчиком в руке. Обе оглядывают друг друга.

Мать. Доктор Петрусова?

Петрусова *(удивленно)*. Вам нехорошо?

Мать. Не мне, вам будет нехорошо. Себя-то я сумею защитить, и вам посоветую то же самое.

Петрусова. Не понимаю.

Мать *(садится, врач стоит)*. Простите, я стояла в поезде от самой Праги. У нас обеих мало времени, я скажу вам все прямо — верю, что ваша... героическая профессия воспитала в вас необходимую стойкость...

Петрусова *(бледнеет)*. Что случилось с Петром?

Мать. Физически — ничего не случилось. Речь идет не об этом. У меня даже есть причины думать, что он... что он вполне здоров. Правда...

Петрусова. У него какая-нибудь неприятность или...

Мать. Этого тоже нельзя сказать... в известном смысле наоборот, хотя... Короче говоря, мой сын имел несчастье познакомиться с несколько легкомысленной девушкой, которая решила выйти за него замуж. А ваш муж имел несчастье встретиться с ней накануне их свадьбы. И свадьба не состоялась, потому что ваш муж... Понимаете?

Петрусова. Кажется, да.

Мать. Быть может, вам еще больше скажет ее имя... Лида Матисова... он знал ее уже раньше. *(Петрусова садится за стол)*. Доктор, я понимаю, что вы переживаете, но надеюсь, вы найдете в себе достаточно мужества: слишком чувствительные люди не избирают медицину своей профессией. В конце концов, пока это не трагедия; но все это могло бы стать трагедией в будущем. В интересах моего сына Матисова должна покинуть Прагу. Но, конечно, она вряд ли уедет, пока ваш муж... вы меня понимаете?

Петрусова *(глядя перед собой)*. Понимаю.

Мать. Все, что зависело от меня, я сделала. Вы можете сделать больше; кроме супружеских чувств, на вашей стороне еще и закон. Поверьте, я не хотела причинять вам боли, но поймите отчаяние матери!

Петрусова. Да.

Мать. Меня тревожит судьба сына, вас — мужа. Если эту девушку не исключат или просто не переведут в другой город, может случиться несчастье. *(Петрусова неожиданно встала)*. Ведь и в ваших интересах...

Петрусова. Мне лучше знать, что в моих интересах.

Мать. Я полагаю, доктор...

Петрусова. Простите, сегодня пятница, у меня — прием, много пациентов...

Мать *(встает, нерешительно берет в руки чемоданчик)*. Так что же вы хотите делать?

Петрусова. Предоставьте, пожалуйста, это мне! *(Но когда мать, недовольная, выходит, все-таки тихо говорит ей вслед)*. Спасибо вам. *(Петрусова осталась одна. Она снимает очки, протирает глаза, глядит в пространство. Потом снова надевает очки, на ее лице появляется холодная маска)*. Следующий!

13

Проекция гаснет. Доктор Петрусова снова сняла очки и выходит на авансцену. Теперь ее маловыразительное холодное лицо видно лучше.

Человек в мантии. Доктор Петрусова, на вас жаловался муж.

Петрусова. Очевидно, у него на это есть причины.

Человек в мантии. Вы на три года старше его.

Петрусова. Давно он это заметил?

Человек в мантии. Нет, это мне пришло в голову без всякой задней мысли. Он никогда об этом не говорил.

Петрусова. Он не любит хвастаться.

Человек в мантии. Я спросил вас... меня интересует, когда вы познакомились и почему...

Петрусова. Я работала в поликлинике в Лужанках. Он пришел однажды на прием, жалуясь на боль в груди, но это было не сердце — он страдал вегетативным неврозом. Тогда он работал над дипломом и пережил нервное потрясение.

Человек в мантии. Какое это было... ах да...

Петрусова. Это произошло как-то в конце ноября, а в сочельник он ни с того ни с сего явился ко мне на квартиру. Ему было грустно дома, и он подумал обо мне.

Человек в мантии. Это было мило с его стороны, не правда ли?

Петрусова. Да.

Человек в мантии. И в такой день... Я понимаю, что...

Петрусова. В феврале мы поженились.

Человек в мантии. Однако он поторопился.

Петрусова. Я сама предложила ему. Дома ему мешали заниматься, а я целый день на работе, так что он мог...

Человек в мантии. Но ведь вы любили его?

Петрусова *(после паузы)*. В достаточной степени.

Человек в мантии. Потом вас перевели в район.

Петрусова. Нет, я сама вызвалась.

Человек в мантии. Ах так! Хотели показать пример сознательности?

Петрусова. Нет. Из чувства противоречия.

Человек в мантии. Противоречия? Чему?

Петрусова. Петр стал за эти два года видным работником... Хотя он еще ассистент, но его приглашали читать лекции, он печатался...

Человек в мантии. Загордился?

Петрусова. Пожалуй, нет!

Человек в мантии. Тогда в чем же дело? Я не понимаю вас, Петрусова.

Петрусова. Я поступила так вовсе не для того, чтобы вы меня понимали, а потому, что мне так хотелось.

Человек в мантии *(проглотил пилюлю)*. Да... Это... А что вы будете делать теперь?

Петрусова. Ничего.

Человек в мантии. Вы его не любите?

Петрусова. Я подумаю об этом. *(Хочет уйти)*.

Человек в мантии. Послушайте, доктор Петрусова... Если ваши мысли, ваши чувства соответствуют вашим словам, я перестану удивляться вашему мужу.

Петрусова. Да? Вот видите.

Человек в мантии. Но тут есть еще одно неизвестное: что, если вы думаете... совсем не то, что говорите?

Петрусова. Фантазии иногда вредят. *(Уходит. Человек в мантии раздражен)*.

Человек в мантии. Петр Петрус! *(Петрус выходит на авансцену)*. Почему вы, собственно, в нее влюбились?

Петр. Боже мой, почему люди влюбляются? Она была красивой и нежной, чуткой, полной жизни — недаром ее звали «Огонек». Была точно такой, о какой я всегда мечтал...

Человек в мантии. Значит, она так изменилась?

Петр. Совсем не изменилась. Ведь то, что она сделала...

Человек в мантии. Я говорю о вашей жене. А вы, очевидно, о другой.

Петр. Я говорил о Лиде...

Человек в мантии. О Лиде Матисовой. А меня интересует, почему вы женились на Петрусовой, или как там ее звали раньше. Ведь они — полная противоположность, не говоря уже о наружности.

Петр. Да, понимаю. Многие тогда были удивлены так же, как и вы. Но я только что потерял Лиду... А когда человек обожжется, он инстинктивно льет холодную воду на ожог...

Человек в мантии. Весьма лестно для вашей жены.

Петр. Не придирайтесь к словам, вы знаете, что я говорю в лучшем смысле. Она исключительно интеллигентна, тактична, она помогла мне пережить много трудных минут... И даже то, что она старше... казалось бы, это ничего не значит, а у меня впервые в жизни появилось ощущение покоя, уверенности — появилось время разобраться в самом себе, начать серьезную работу... К тому же, признаюсь, меня волновала ее гордость... пока она могла ее обуздывать.

Человек в мантии. Вы сказали «пока»?

Петр. Да, потому что в один прекрасный день все изменилось. Если я порой задерживался на факультете, то дома ее не заставал. Она до утра ходила по улицам.

Человек в мантии. Почему?

Петр. Начала ревновать. Упрекать. Совершенно бессмысленно. А я вспыльчив. Отвечал резко, она плакала. Потом мы не разговаривали. Стали отдаляться друг от друга. Это имело и более важное последствие, вы понимаете...

Человек в мантии. Так, так...

Петр. Потом на горизонте возникла поездка в Китай. Я верил, что она поможет нам обоим... И вдруг жена ни с того ни с сего подала заявление о переводе в район. Просто из гордости.

Человек в мантии. Вам ведь нравилась ее гордость?

Петр. Да, но не такая... нечеловеческая. Это отвратительное слово... отвратительное, но точное. Такой человек довольствуется самим собой. Такому никто не нужен. А мне нужно... чтобы кто-нибудь нуждался во мне. *(Звонит телефон).* Простите, я вызываю жену.

Человек в мантии. Что вы ей скажете?

Петр. Что приеду... просить развода.

На проекции кабинет для семинарских занятий. На столе звонит телефон. Петр неуверенно берет трубку.

Петр. Петрус слушает... Это ошибка. *(Кладет трубку и набирает* «0»). Алло, алло!..

Человек в мантии. Значит, вы решили.

Петр. Я обещал Лиде...

Человек в мантии. А Тошек, общественное мнение, ваше будущее...

Петр. Мы живем не в средневековье. Что же, я должен стать подлецом?

Человек в мантии. Не спрашивайте меня об этом.

Стучат. Входит Тошек.

Тошек. Ты здесь? Все-таки звонишь...

Петр. Звоню.

Тошек. Когда ты ее в последний раз видел, свою жену?

Петр *(с удивлением).* Месяц тому назад...

Тошек. Может, когда ты снова с ней встретишься... Она сейчас в невыгодном положении, согласись. Да и ты сейчас не в состоянии мыслить нормально, ты это сам чувствуешь. Что ты сможешь ей объяснить по телефону? И что хочешь услышать от нее? Мол, «любите друг друга на здоровье»? Петрус! Почему не подождать хоть несколько дней? Вдруг

ты поймешь, что вся эта история не стоит таких страданий! Люди часто приходят к выводу, что большое самоотречение сегодня во сто крат вознаграждается завтра. *(Петрус все еще держит трубку).* А вдруг сегодня ты понапрасну сделаешь ей больно? Сожженные мосты трудно восстановить... Я не хочу говорить о твоей ответственности.

Петр. К счастью, я понимаю свою ответственность! *(В телефон).* Девушка! Говорит Петрус. Подтверждаю свой вызов!

Пауза. Только сейчас Тошек прибегает к аргументу, ради которого он, собственно, и пришел.

Тощек. Тебя кто-то ищет...

Уступает дорогу вошедшему и уходит. Петрус встает перед Миланом Стибором. Он вежлив, но нетерпелив.

Петр. Что угодно?

Стибор. Ассистент Петрус?

Петр. Что вам угодно?

Стибор. Стибор. *(Секундная растерянность).*

Человек в мантии. Вы еще не знакомы?

14

Проекция гаснет.

Петр. Нет...

Стибор. Нет!

Человек в мантии. А вы ведь уже встречались.

Стибор. Никогда.

Человек в мантии. Стибор, что вы делали вечером накануне свадьбы, то есть 31 октября, ну, скажем, в шесть часов вечера?

Стибор. Это я знаю совершенно точно. Я стоял...

Человек в мантии. Где?

Стибор. У магазина «Советской книги» на Вацлавской площади...

Вспыхивает кинопроекция: вечер на Вацлавской площади, приглушенный шум столичного транспорта, прибой человеческих голосов.

Стибор. У нас было назначено свидание с Лидой, я достал билеты на хоккей...

Человек в мантии *(не веря своим ушам).* На хоккей?

Стибор. Играли шведы. Нет, я не сумасшедший, но нам надо было немного рассеяться, последние дни были такими напряженными... А Лида все не шла, и я боялся, что мы не успеем поужинать...

Нетерпеливо прохаживается, поглядывая на часы. Появляется Петр в плаще.

Петр. Простите, как пройти на Смечки — сюда?

Стибор. Можно и сюда, но так — ближе.

Петр. Благодарю вас. *(Уходит).*

Человек в мантии. Видите?

Стибор. Да, но не понимаю...

Человек в мантии. Петрус и пошел, куда вы показали. Но не прошел он и ста шагов...

С противоположных концов сцены выходят Петрус и Лида. Они заметили друг друга, остановились.

Петр. Лида!

Лида. Петр!

Петр. Лида... ты совсем не изменилась...

Лида. Ты тоже.

Стоят молча. Темнеет.

Петрус. Я приехал.

Л и д а. Знаю. Позавчера на факультете назвали твое имя, и с тех пор у меня все валится из рук.

П е т р у с. Почему?

Л и д а. Ну... А как ты живешь?

П е т р у с. Почему, Лида?

Л и д а. Не принимай всерьез, я так, болтаю...

П е т р у с. Выглядишь ты невесело.

Л и д а. Это тебе показалось.

П е т р у с *(решительно)*. Лида, у тебя есть время?

Л и д а. Когда?

П е т р у с. Сейчас.

Л и д а. Нет. Мне надо...

П е т р у с. А завтра?

Л и д а *(вдруг сообразила)*. Завтра и вовсе не будет...

П е т р у с. Лида! Неужели сегодня твои дела не терпят? Нельзя ли покончить с ними поскорее? Я подожду тебя... ну, хотя бы у музея, я ведь провинциал... Пойдем куда-нибудь, поужинаем или выпьем вина.

Л и д а. К чему это?

П е т р у с. У нас есть что вспомнить.

Л и д а. И о чем забыть.

П е т р у с. Годы проходят, и в памяти остается обычно самое главное. Хорошее. А хорошего было немало, вспомни!

Л и д а. Теперь это не важно.

П е т р у с. Может быть. Увидим, Лидушка. Придешь? В восемь.

Л и д а. Не знаю...

П е т р у с. Приходи...

Л и д а. Приду.

П е т р у с. Обязательно?

Л и д а. Быть может.

Пожимает ему руку и уходит. Петрус с минуту глядит ей вслед, потом уходит. Стибор выходит вперед, на их место.

С т и б о р. Этого...

Ч е л о в е к в м а н т и и. Что?

С т и б о р. Этого я не знал.

Ч е л о в е к в м а н т и и. Вы ее дождались?

С т и б о р. Да.

Ч е л о в е к в м а н т и и. Что вы ей сказали? Понимаете, от этого зависело очень многое.

С т и б о р. Но я не предполагал...

Ч е л о в е к в м а н т и и. Сколько битв проигрывают люди из-за того, что многого не предполагают!

Выходит Лида Матисова. Стибор не груб и все так же влюблен, но слишком уверен в себе и потому держится «нормально».

С т и б о р. Где ты пропадаешь? Это, по-твоему, шесть часов?

Л и д а. Не сердись...

С т и б о р *(как бы в шутку, но на самом деле всерьез)*. Запиши это на пленку или попугая купи...

Л и д а. Милан!

С т и б о р. Прости, Лида. Такая уж у меня дурацкая педантичность; сама знаешь — имею дело с микрометрами, и любая неточность выводит меня из себя. У тебя есть часы.

Л и д а. Как раз сегодня я их оставила где-то.

С т и б о р. Как оставила?

Л и д а. Ну, забыла в комнате или в умывальной, но там ничего не пропадает...

Стибор. Лида, ты в своем уме?

Лида. Очевидно, раз ты хочешь на мне жениться.

Стибор *(смеясь)*. Стоп. Нервы дурят. Но ты должна быть внимательней, ты и впрямь немного легкомысленна, порой совсем взбалмошна... Тебе самое время — замуж. Ну идем, развлечемся немного... Лида! Завтра!

Лида *(решаясь)*. Не сердись...

Стибор. Ты опять?

Лида. Я пришла сказать тебе... сегодня вечером у нас ничего не выйдет. Я совсем не готова к завтрашнему дню, хочу выспаться...

15

Проекция гаснет. Стибор, шатаясь, выходит на авансцену.

Стибор. Выспаться! И я соглашаюсь, иду на хоккей, а она...

Человек в мантии. Обвиняемый, не устраивайте сцен! Через минуту будет перерыв, так что успокойтесь. Все это давно позади, я хотел только расширить ваш кругозор. Итак, сейчас — вечер, и вы стоите лицом к лицу с человеком, которого вы никогда в жизни не видели.

Кинопроекция: кабинет семинара. На столе телефон. Петрус и Стибор стоят друг против друга.

Петрус. Что угодно?

Стибор. Ассистент Петрус?

Петрус. Что вам угодно?

Стибор. Стибор.

Секундная пауза.

Петрус. Садитесь, прошу вас.

Оба садятся. Петрус смущенно глядит на телефонный аппарат.

Стибор. Вы, очевидно, догадываетесь, зачем я пришел.

Петрус. Представляю себе.

Стибор. Вы не угадали. Я пришел не просить, не драться... Хотя охота у меня к этому большая, будьте уверены. *(Петр, стискивая зубы, пропускает это мимо ушей)*. Уезжайте!

Петрус. Я?

Стибор. Какое вы имеете право? Один раз вы с легким сердцем уже отказались от нее... Пусть не с легким сердцем, но отказались! А я, я ни с кем другим не хочу прожить жизнь! Ни с кем другим! Понятно это вам?

Петр. Я понимаю вас...

Стибор. Я вовсе не прошу, чтобы вы меня понимали!

Петр. И все же я понимаю... потому что сам люблю ее.

Стибор. Вы! Вы не любите... не можете ее так любить, как я!

Петрус. К сожалению, нет такого инструмента, которым можно измерить...

Стибор. Но я вам это говорю!

Петрус. Хорошо, думайте так, но согласитесь...

Стибор. Ну не уезжайте, только оставьте ее в покое! Она потеряла голову — потом одумается. Вы не можете на ней жениться!

Петрус. А я женюсь!

Стибор *(вставая)*. Не женитесь. Я не допущу. Не стану ни просить, ни драться, но сделаю все, чтобы помешать этому.

Петр *(тоже встает)*. Что же — сейчас я должен испугаться?

Стибор *(парирует иронию иронией)*. Зачем? Вы ведь ничем не рискуете. Зато Лида рискует всем! О ней станут говорить — разбила семью, обманула меня, сделала несчастной вашу жену. О ней, не о вас!

Петр. Но мы живем не...

Стибор. Будто вы не знаете людей! Будто не знаете ее. Что ее ждет, как она перенесет такое, — вы знаете, конечно, лучше меня, но это вам, вероятно, вовсе неважно!

Петр. Что же мне, по-вашему, предпринять, а?

Стибор *(вдруг очень практически, деловито; видно, что он основательно все продумал)*. Скажите ей, что ваша жена не соглашается на развод.

Петр. Вы рехнулись!

Стибор. Ничуть.

Петр. Моя жена...

Стибор. Не согласится на развод, за это я ручаюсь, чтобы ваша совесть была спокойна. Если у нее есть сердце — не согласится, когда все поймет. Избавьте ее от неприятностей! Избавьте от неприятностей себя, если не можете избавить от них Лиду и свою жену! *(Добавляет)*. Можете представить, как я вас ненавижу!

Стибор уходит. Петрус сидит, глядя отсутствующим взглядом на телефон. На авансцену выходит Лида в домашнем халатике, за ней Майка с записями лекций в руке. Но ей и в голову не приходит заниматься. Человек в мантии наблюдает за ними, стоя у кулис.

Майка. Господи боже мой, нельзя же терять рассудок!

Лида. Рассудок! Разве на свете существует один рассудок?

Майка. Вы встретились совершенно случайно.

Человек в мантии. Своей жизнью вы обязаны лишь случаю, который познакомил ваших родителей.

Майка *(вскипела)*. Слушайте, пожилой человек, от вас можно было бы ожидать побольше ума!

Человек в мантии. Но, но!

Лида. Кто ничего не познал, не имеет права судить.

Майка. Ты так со мной разговариваешь? Познала я там или нет, а чужую семью разбивать не стану!

Лида. И я не стану! Он обещал позвонить ей. Если не согласится она — не соглашусь и я. Майка! Неужели никто меня...

Но оскорбленная Майка уже ушла.

Человек в мантии. Как вы об этом узнаете?

Лида. Он позвонит мне.

Человек в мантии. Пока не позвонил?

Лида. Нет еще.

Человек в мантии *(протягивая ей из-за кулис трубку на шнуре)*. Позвоните вы ему!

Лида с трепетом берет трубку. Петрус все еще сидит у телефона. Звонок. Он вздрагивает. Аппарат звонит раз, два, три раза, только после этого Петрус нерешительно берет трубку. И вдруг говорит глубоким басом.

Петрус. Алло!

Лида. Можно попросить ассистента Петруса?

Петрус. Кто спрашивает?

Лида. Матисова...

Петрус. Один момент... *(Кладет трубку на стол; сидит бледный, расстроенный. Потом берет трубку и говорит своим голосом)*. Слушаю...

Лида. Это Лида. Ну как?

Петрус. Лида...

Лида. Ты уже говорил с ней?

Петрус. Да...

Лида. И что же?

Петрус. Мне надо сейчас же с тобой встретиться!

Лида. Скажи, по крайней мере!

Петрус. Я все тебе скажу — через полчаса я буду около вашего общежития...

Лида. Петр...

Петрус. Лечу, Лида.

Повесил трубку, сидит. Лида стоит неподвижно, потом машинально передает трубку Человеку в мантии, неожиданно всхлипывает и быстро уходит. Петрус снова берет трубку и набирает ноль. Проводит по лбу тыльной стороной руки.

Петрус. Девушка, говорит Петрус... аннулируйте мой вызов... Что? Нет, не буду...

Положил трубку. Встал. Человек в мантии говорит строго и печально.

Человек в мантии. Петр Петрус, это добром не кончится.

Гонг. Свет в зале.

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Предположим, что обстановка, описанная во вступлении к первому отделению, в основных чертах не изменилась. Предположим, что зрители уже освоились, примирились с нашим способом развития сюжета при помощи ретроспективной реконструкции. Поэтому нет причин отказываться от этого способа. Занавес остается поднятым в продолжение всего антракта, затем на сцену снова выносят ту же скамью, что и в прологе. Но на этот раз ее ставят не спинкой к залу, а вдоль боковых кулис. Со вторым звонком входят и усаживаются на скамью Стибор, Лида, Петрус и Петрусова: они сидят безмолвные и неподвижные, только Петрус не выдерживает, закуривает сигарету, но тут же гасит ее и встает вместе с остальными, когда с боем часов свет в зале гаснет и на освещенную сцену поднимается Человек в мантии со своими бумагами. По его кивку все усаживаются.

16

Человек в мантии *(окидывает скамью испытующим взглядом, затем встревоженно обращается к публике)*. Грабетова Майка! Что за имя — Майка? Мария!

Майка выходит на сцену бледная, но спокойная.

Человек в мантии. Я предъявляю обвинение и вам. Вы знаете, почему?

Майка. Да.

Человек в мантии. От своей подруги вы знали, что она не собирается шагать через трупы, что для нее решающей будет точка зрения Петруса и согласие его жены. Это вы посоветовали Стибору повлиять на них с помощью давления и угроз?

Майка. Да...

Человек в мантии. Признаете вы себя виновной?

Майка. Ни в коем случае!

Человек в мантии. Ах да, вы ведь женщина! Сядьте там!

Показывает на скамью. Майка садится возле Стибора.

Человек в мантии. Продолжим.

Сцена погружается в полумрак. На авансцену выходят Лида и Петр, оба с опущенными руками и склоненными головами.

Человек в мантии. Матисова, вы оделись и пошли — куда?

Лида. Вниз. На угол возле общежития...

Человек в мантии. И вы туда пришли, Петрус?

Петр. С небольшим опозданием...

Человек в мантии. Так как шли пешком, чтобы выиграть время и еще раз все продумать.

Петр. Честное слово, я ни о чем не думал! Я был не в состоянии...

Человек в мантии. Это вы просто себе внушили, Петрус. На самом же деле именно в этот вечер и значительную часть ночи, вплоть до определенного времени, ваш мозг работал на полные обороты. Вы даже были в состоянии предвидеть, какие вопросы вам *могла* задать Матисова, и заранее подбирали к ним неопровержимые аргументы. Тем не менее, первый же ее вопрос совсем выбил вас из колеи, хотя он был прост, логичен и вы его ждали наверняка. Что это был за вопрос?

Лида. Ну как?

Человек в мантии. Лицом к лицу с человеком, который дважды с необычайной силой ворвался в вашу жизнь, ложь застряла у вас в горле. Вы были пристыжены и тронуты. Вы очень нежно поцеловали ее и сумели сказать только...

Петр. Пойдем куда-нибудь, где можно дышать...

Лида и Петр все еще неподвижно стоят рядом. Светлеет кинопроекция: поле за городом; издалека со станции доносятся звуки ночной жизни, порой подымается ветер, и все время где-то поблизости гудит трансформатор.

Человек в мантии. Время! Вам нужно было время и покой — только поэтому вы гнали такси до самого Садового города. У шофера были свои представления об этом, и когда вы расплачивались с ним там, где кончался город и начиналось поле, он доверительно шепнул вам: «Молодой человек, нынче уже не так тепло...» Но ночь была относительно теплой, и ночь вам помогла — сухой ветер придал ей почти весенний привкус и прогнал тоскливый аромат ноября. Эта ночь, ширь полей, мерцающие галактики далеких городских огней и ночных звезд, уютное пыхтение маневрирующих паровозов да монотонное, успокаивающее гудение трансформатора — все это вернуло вам силы и уверенность в себе. Тогда вы начали... лгать. Трезво, хотя и несколько взволнованно, вы изложили Лиде содержание разговора с вашей женой — разговора, который никогда не происходил. И нужно сказать: ваш собственный рассказ утверждал вас в убеждении, что *если бы* этот разговор состоялся, он неминуемо имел бы точно такой же смысл и последствия. Когда вы передавали Лиде последние слова вашей жены, будто она ни в коем случае не согласится на развод, вы были растроганы, удручены и искренне убеждены, что совершается несправедливость, которая сыграет в вашей жизни роль гранаты, разорвавшейся на выставке хрусталя. Лида молчала, комкая платочек в руке. Она заговорила лишь тогда, когда вы начали беспокоиться.

Лида. Так она и сказала?

Петр. Что-то в этом роде...

Лида. Значит...

Петр. Значит, нам придется с этим считаться... Что будем делать, Лида?

Лида. Ничего...

Петр. Ничего... Нет, надо что-то.

Лида останавливается, обнимает его. Говорит страстно, горячо, и первые ее слова вновь поколебали его.

Лида. Петр, я очень люблю тебя... Очень! Страшно люблю! Вряд ли кого-нибудь еще я так полюблю... Но именно поэтому я не хочу, не могу хотеть, чтобы ты страдал, чтоб у тебя были неприятности,— это запачкает все. Я никогда не была бы счастлива. Петр, ты ведь сам сказал мне, что мы поженимся... *(Напряжение Петра достигает высшей точки).* Так вот — сейчас я сама возвращаю тебе слово!

Петр. Лида!

Он не справился с собой, и в этом возгласе прозвучало чувство облегчения, но она не заметила.

Л и д а. Будет тяжело... но так будет лучше. Все останется, как было... хорошее, чистое... Так будет лучше, правда... милый... молчи... Так будет... молчи!

П е т р. Лида! *(Он действительно взволнован и тронут такой любовью).* Лида... *(Он потянулся к ее губам, и она ответила поцелуем).*

17

Проекция гаснет. На авансцену вышла обессиленная Лида.

Ч е л о в е к в м а н т и и. Лида Матисова, ваши намерения были искренни? Или это было одно из тех великодушных предложений, на которые мы отваживаемся, только если твердо знаем, что они не будут приняты?

Л и д а. Я не скажу вам точно, что я при этом думала, потому что вижу эту ночь будто сквозь матовое стекло, будто под наркозом. Нет, конечно. Я предложила это без всяких условий, без притворства, но в то же время — признаюсь — ни на секунду не переставала верить, что это только тяжкое испытание и все обойдется хорошо, счастливо... И еще меня убеждало в этом... Не смейтесь, я не суеверна, но иной раз поддаешься счастливой игре случая. Я ждала Петра у нашего общежития, ждала пятнадцать, двадцать минут и вдруг подумала: он придет, прежде чем я досчитаю до тринадцати. Когда я произнесла «двенадцать» — он появился из-за угла... Столько дней шел дождь, а как раз в эту ночь было сухо, и над полем стояла Кассиопея — Петр показал мне ее еще в Брно, при первом нашем свидании. Потом мы начали разговаривать, и было плохо, но на станции гудели маневровые паровозы, и я загадала: если прогудят только семь раз — мы поженимся. И они прогудели семь раз, не больше, не меньше, я это знаю точно, потому что напрягала слух, чтобы услышать то, чего с таким отчаянием слышать не хотела. И еще я вбила себе в голову: мы не должны разойтись, пока не начнут развозить молоко... На первый взгляд — сумасбродная мысль, но я родилась в городе, меня будили не петухи — под нашими окнами была молочная, утро начиналось звоном бидонов, и с той поры для меня развоз молока — новый день. Я хотела вступить в него вместе с Петром, а он, хотя и не подозревал об этом и был сильно утомлен, долгие часы ходил со мной по улицам, внимательный, нежный, и мы говорили, вспоминали, и молчали, и молчали — об одном и том же. Но молочные фургоны все не появлялись, а мы уже дошли до моего общежития, и ему пришлось согласиться, чтобы я его проводила. Ненавижу прощаться!.. И я ведь не хотела прощаться с ним. Опять — только ночной трамвай обогнал нас, и что еще хуже — скорая помощь, при виде ее даже в предутренний час, когда она мчится без сирены, становится страшно и мороз пробегает по коже. Но вот и его общежитие, мы дошли до угла, и он взял меня за руки. Я испугалась, сердце мне сжала тупая боль; нет ничего хуже навязчивых представлений. Еще минутку, еще минутку...

Кинопроекция: предрассветная улица, тихая, безлюдная. Лида и Петр. Лица их пепельно-серы от страдания, от усталости, от бессонной ночи, от холода. Но Лида собрала все свои силы.

Л и д а. Видишь, как славно мы прошлись...

П е т р. Да...

Л и д а. Я бы все равно не уснула... Вот когда мы расстанемся — тогда это будет так... так нормально, правда?

Петр. Лида... *(Подходит к ней, обнимает, нежно прижимает лицо к лицу.)* Лида, ты самый хороший человек...

Лида. Почему все так печально...

Петр пытается утешить ее.

Петр. Печальное сменяется прекрасным, Лида, это самый могучий закон жизни. То, что сегодня мы воспринимаем как трагедию, быть может через год... как тогда... нет... Прощай, Лида!

Пожимает ей руки и хочет быстро уйти, потому что у него уже нет сил. Но она задерживает его руки в своих.

Лида. Верни мне фотографию.

Петр. Она у меня наверху...

Лида. Я подожду...

Петр подчиняется. Он понимает ее. Уходит как раз в ту минуту, когда к ним приближается звук громыхающего автомобиля. Лида блаженно закрывает глаза.

Лида. Молоко везут...

18

Проекция гаснет. На авансцену входит усталый Петр, пряча в карман ключи. Человек в мантии сидит — как и во время предыдущего монолога Лиды — в кресле у боковой кулисы, опираясь локтем о подлокотник.

Человек в мантии. Петрус, вам нехорошо?

Петр. Мне хуже, чем ужасно; кажется, с нынешнего дня я уже не то, что называют «молодой человек». Вчера, до разговора с женой...

Человек в мантии. Петрус, да вы ведь с ней не говорили.

Петр *(вытирает лоб)*. Меня немного лихорадит... восемь часов хожу с Лидой, и все это время... Я не умею лгать — вот почему мне надо было поверить, *поверить,* что я говорю ей правду. Господи боже мой, да ведь я лучше всех знаю: то, что мне дала Лида, не даст уже никто на свете. Никогда, никто на свете! Ее голос, улыбка, ее объятия... теперь я спокоен, потому что усталость накрыла меня, словно стеклянным колпаком, но если я вспомню о ней завтра, через год... наверное, буду плакать или кричать во сне. Не понимаю, не понимаю, как я мог тогда согласиться на разрыв! И на этот раз я сам, добровольно, по собственному решению отказался от нее! Не знаю, что это было, — просто вдруг какое-то затмение нашло, и я сказал эту ложь... Нет, знаю: меня охватил страх. Страх! Не за себя! За нее! Даже в наше время ей пришлось бы пройти со мной крестный путь злобы и грязи. Это ужасно, но это так! Лида слишком чувствительна; боюсь, ей пришлось бы заплатить непомерно дорого. Боюсь, она никогда не избавилась бы от чувства вины; это чувство наложило бы свой отпечаток на все наши дни... и даже на наши объятия. Я боюсь этого — и не допущу. Я причиняю ей боль ради ее же счастья. Разве так поступают слабые люди? Стибор получит еще один шанс... пустой шанс, но он, по крайней мере, сам в этом убедится... Моя жена не будет унижена необходимостью отказывать в разводе... Факультет очистится от «морального разложения»... А я — я как-нибудь переживу...

Человек в мантии. Петрус... это — правда?

Петр. Вы ведь беседуете с моими мыслями!

Человек в мантии *(с грустной усмешкой)*. Мы лжем самим себе больше, чем всем людям на свете, Петрус. Мы можем пережить презрение других, но презрение к самому себе убило бы нас...

Петр. Я и так считаю себя бесхарактерным человеком... Не беспокойтесь. Простите — начинается день. Я верну ей фотографию и пойду спать. Я хочу долго спать... потому что это первый день без нее...

Делает шаг на сцену и замирает в изумлении.

Вспыхивает кинопроекция: знакомая комната в общежитии. На тахте сидит растерянный Вашек Краль, он надел поверх пижамы плащ. Напротив него, на стуле, тоже в плаще, сидит Лида Петрусова. Краль с облегчением поднимается.

Краль. Вот и ты...

Петр. Здравствуй, Лида...

Петрусова. Здравствуй, Петр...

Пауза.

Краль *(берет полотенце, бормочет)*. Ну, я пошел купаться.

Волоча ноги, тащится по авансцене. Петрус приходит в себя.

Петр. Я не знал, что... Лида, прости, одну минутку!

Он поворачивается и у самого края авансцены догоняет Краля. Говорит ему тихо, настойчиво.

Петр. Вашек, прошу тебя, там внизу ждет Лида, не можешь ли ты...

Краль. Отвяжись ты от меня!

Дело принимает серьезный оборот, а Краль уже сыт по горло. Петр нерешительно возвращается.

Петр. Ты меня прости, но вчера вечером у нас было такое...

Петрусова. Она ждет внизу?

Петр *(испуганно)*. Кто?

Петрусова подает ему фотографию, которая стояла прислоненная к приемнику. Отпираться нет смысла. Петр кивает.

Петр. Лида, я не знаю, кому понадобилось забегать вперед. Я бы сам тебе не позднее чем сегодня...

Петрусова. Не заставляй ее ждать.

Петр. Что?

Петрусова. Приведи же ее.

Петр. Что ты, нельзя — пять часов утра, и привратник... *(под ее взглядом опускает голову)*. Может быть, лучше сначала нам с тобой...

Петрусова. Она имеет к этому делу такое же отношение, как ты и я.

Петр. Послушай, если бы ты приехала вчера — тогда, может быть... Но в эту минуту все уже решено, и нет ни малейшего повода к сценам.

Петрусова. Я приехала не для того, чтобы устраивать сцены.

Петр. Так позволь, по крайней мере, объяснить...

Входит Лида Матисова.

Лида. Петр! Не сердись, я вдруг испугалась, что тебе плохо...

Увидела незнакомую женщину, запнулась. Но гостья встает и самым обычным образом подает ей руку.

Петрусова. Петрусова. *(Пауза)*. Садитесь. *(Смотрит на обоих)*. Что вы собираетесь делать?

Лида. Мы? Но ведь это вы...

Петр *(жене)*. Лида, я просил тебя...

Петрусова. Я только спрашиваю, что вы собираетесь делать. Знать это должны прежде всего вы.

Лида. Для меня решающим является ваше мнение.

Петрусова. Мое мнение? *(Снимает очки и усталым жестом протирает глаза)*. Что касается меня, то я не стану вам поперек дороги... На развод я, разумеется, согласна.

Петрус смотрит на нее ошеломленно, Лида — со внезапно пробудившейся надеждой.

19

Проекция гаснет. Лида Петрусова выходит на авансцену, не переставая тереть глаза.

Человек в мантии. Восхищаюсь.

Петрусова. Чем?

Человек в мантии. Вашим самообладанием. Петрус назвал вашу гордость нечеловеческой, это звучит не очень-то красиво, но довольно точно.

Петрусова. Ошибаетесь. Владеть собой должен лишь тот, кто страдает, ненавидит или любит.

Человек в мантии. Это как раз ваш случай.

Петрусова *(хочет возразить, но вдруг в ней прорывается подавляемое чувство; она говорит горячо, почти со слезами; это необычайно и страшно, как извержение давно погасшего вулкана)*. Да! Да! Вы правы! Ненавижу ее и люблю его! Люблю с первой минуты — и совершенно безнадежно. У меня был друг... его арестовали перед самым концом войны, а второго мая казнили. Петр был удивительно похож на него, но мне было уже... почти тридцать. Я делала все, чтобы не потерять его, чтобы — это унизительно — сравняться с той, с первой. Но и здесь была ошибка; тот, кто все время сравнивает себя с кем-то, кто в любую минуту проверяет свои чувства, — тот не может сохранить их непосредственность. Я уже не умела быть нежной, холодной или спокойной, я всегда была слишком нежной, слишком холодной, слишком спокойной или слишком раздраженной, пусть только на капельку больше, чем нужно, — но это была та самая капля, которая переполняет чашу. Конечно, я перестала быть естественной, и мое спокойствие выглядело истерическим, а моя истерия... вы ее видите! Я, которая с юных лет, даже в своем первом глубоком, безоглядном чувстве проповедовала полную свободу и взаимное доверие, — я теряла голову и дулась, как школьница, если Петр возвращался на несколько минут позже условленного времени. К счастью, я многое умела перебороть в себе, но ведь и невысказанные фразы остаются в мозгу, подобно заразным микроорганизмам, и плодят следующие... Потом Петр сказал о поездке в Китай. Предложил мне ехать с ним; а я вообразила, будто он хочет уехать один, хочет уйти от меня хоть так, если не может иначе... И я пошла работать в район... Нет! Если раньше я все отрицала, чтобы оправдать... то теперь сознаюсь: я виновата, виновата, я неправа и, следовательно, не имею права... Я не боюсь наказания, потому что самое тяжкое я сама наложила на себя. Отступаюсь. Ухожу с их дороги. Дальше они пойдут без помех, поскольку это зависит от меня.

Человек в мантии *(с уважением, но скептически)*. Поскольку это зависит от вас...

Вспыхивает кинопроекция: маленькое кафе с надписью на окне, снаружи и внутри. Утренняя суета; из репродуктора льется веселая музыка. Лида и Петр сели за столик, напряженные, молчаливые. Подбежал с прибаутками официант.

Официант. Доброе утречко даме и пану, не угодно ли кофе? Сейчас достану! Масло и булочки перед прогулочкой, не так ли?

Петр не двигается, Лида слегка кивнула. Официант убежал. Взгляды Лиды и Петра скрестились, но он отвел глаза. Опять появился официант, расставляет посуду и болтает.

Официант. Прогноз погоды обещает похолодание, слыхали? Так что теперь нам только и остается, что греться кофейком да любовью, не так ли? *(Тут только он как следует разглядел выражение лица Лиды и уловил настроение)*. Пардон...

Деликатно удаляется, смахивая салфеткой с соседних столов. Петр помешал кофе. На этот раз Лида берет его за руку.

Лида. Петр, что с тобой?

Петр. Ты еще спрашиваешь...

Лида. Я знаю... Тебе больнее... но, Петр, она безусловно честная... и умная; если она изменила свое решение, то знает почему! И это решение — в нашу пользу.

Петр *(уныло)*. Это ты так думаешь.

Лида. А что?

Петр. Теперь еще хуже. Она великодушна, она уступает — это звучит. Это великолепно, понимаешь, а тебя затравят из симпатии к ней.

Лида. Кто?

Петр. Люди.

Лида. Что мне за дело до людей?

Петр. Они затравят нас обоих.

Лида. Любой, если только у него нет злого умысла, обязательно признает, что в этом случае мы имеем право. Имеем право! Где же тогда твое возмущение условностями? *(Петр горько усмехается. Лида обиженно)*. Ты об этом лекции читаешь.

Петр. К сожалению! *(При этих словах взглянул на часы, испугался)*. Мне пора на семинар! *(Одним глотком выпивает кофе. Потом, застегивая плащ, наклоняется над столом и говорит так горячо и убедительно, как только умеет)*. Лида, вчера я получил тяжкий удар—я понял, что не могу на тебе жениться. Остались две возможности: сойти с ума от боли или сломить ее в себе. Ночью мы кое-как справились с этим; прошу теперь тебя, пойми, не могу я так сразу снова переключаться. Нам обоим нужен покой, нам нужно выспаться и все снова продумать. Прошу тебя об этом! Встретимся завтра вечером, ладно?

Уже стоя, пожал ей руку. Она не отвечает, только смотрит на него. Петр опустил глаза, он не хочет встречаться с ее взглядом, чтобы его решение не поколебалось.

Петр. Лидочка, это проверка... Будем сильными, как ночью,— что бы там ни было! *(Еще раз пожимает ей руку, гладит по голове)*. До свидания, Лида!

Уходит, словно извиняясь. Веселая музыка все еще звучит. Лида сидит неподвижно Потом опомнилась, поняла. Все, чему она не решалась верить, теперь заполняет ее мозг. На глаза снова навертываются слезы, на этот раз — иные. Она вскакивает и убегает. Человек в мантии поспешно направляется за ней, а когда ему не удается догнать ее, бросается разыскивать официанта.

Человек в мантии. Официант! Официант! *(Вдруг с удивлением обнаруживает, что тот молча стоит рядом с ним)*.

Официант. Оставьте их...

Человек в мантии. Они не заплатили...

Официант *(платит за них, переложив деньги из собственного кармана в кожаную сумку)*. Заплатят в другом месте... и, я бы сказал, им это дороже обойдется... *(Убирая со стола, запивает эти слова кофе, до которого Лида так и не дотронулась)*.

20

Проекция гаснет.

Человек в мантии. Стибор Милан! *(Стибор выходит на авансцену)*. Обвиняемый, реконструкция событий почти во всех пунктах подтверждает вашу вину.

Стибор. Мою? Мою? Не Петруса?

Человек в мантии. Оставьте Петруса в покое, мы сейчас говорим о вас. Тот факт, что вы его запугали...

Стибор. А разве не знаменательно, что он дал себя запугать?

Человек в мантии. Стибор, согласитесь, вы здесь вовсе не для того, чтобы задавать вопросы. Меня интересуют побуждения. Это было совершено из мести? Вы хотели отомстить Матисовой?

Стибор. Лиде? Господи, при чем тут Лида?

Входит Мать.

Мать. Он спрашивает, при чем она? Он еще спрашивает! Мало она ему горя причинила! Дети, неужели вам мало одного удара, зачем вы на глазах своих матерей напрашиваетесь на новые? Он любил ее больше, чем меня, мы приняли ее в семью, как родную...

Стибор. Это неправда!

Мать. У нее не было ни малейшего повода жаловаться, перед свадьбой я ее даже сама пригласила на чай и поговорила с ней, как с дочерью.

Стибор. Ложь!

Мать. Милан!

Стибор. Ложь! Мама, ты... лжешь!

Мать *(кричит)*. Как ты со мной разговариваешь!

Дает ему пощечину, но тут же останавливается, смутившись.

Стибор. Мама... Ты не должна была этого...

Человек в мантии. Говорите, Стибор!

Стибор *(тихо)*. В тот день я неожиданно пришел домой и увидел пальто Лиды. Мне пришло в голову... Я хотел... На цыпочках я подошел к двери и услышал их...

Мать. Клянусь, клянусь всем, что мне дорого, я точно передала каждое слово...

Стибор. Каждое слово! Но тон! Слова могут быть самыми лучшими, но если им придать другой тон... понимаете? Ведь большая разница, если я скажу *(точно подражает приветливой интонации своей матери из третьей картины)*: «Надеюсь, вы чувствуете себя как дома» или если сказать...

Кинопроекция: комната Стиборов, занавеска, картина на стене. Лида сидит у столика, Стиборова садится напротив: они повторяют те же жесты и говорят то же самое, что и в третьей картине, но Стиборова не в силах преодолеть себя и придает каждому слову язвительный, открыто враждебный смысл; Лида, естественно, ощетинилась и отвечает в том же тоне. Это отвратительный разговор, он тем хуже, что ведется гладкими светскими фразами.

Мать. Надеюсь, вы чувствуете себя как дома...

Лида. Да!

Мать. Я говорила Милану — если он захочет, я могу со временем переехать от вас.

Лида. Он ни за что не согласится...

Мать. Согласится. Две женщины под одной крышей — это никогда не приводило к добру. Теперь вы для него важнее...

Лида. Ну, не говорите!

Мать. Так лучше, Лидушка. Я вечно баловала его, так что пора вам сменить меня. Ведь вы его любите так же сильно, как и я, не правда ли?

Лида. Можете не беспокоиться! *(Роняет блюдце. Стиборова, многозначительно покачав головой, принялась подбирать осколки. Это оскорбляет Лиду; она помогает ей)*. Не сердитесь.

Мать *(с каменным лицом)*. За что? Все это уже ваше. Посуда бьется, девочка, к счастью, а я вам желаю много счастья!

Лида *(давая понять, как мало она этому верит)*. Спасибо.

21

Проекция гаснет. Мать медленно приближается к Милану, в глазах ее сознание вины, страх и обида.

Мать. Милан...

Человек в мантии. Ярослава Стиборова, год рождения 1908, вдова учителя, я предъявляю обвинение и вам. За лжесвидетельство и соучастие...

Мать. Милан...

Человек в мантии. Пойдите сядьте!

Она уходит, поддавшись внезапному приступу рыданий, подавленная тем, что сын даже не взглянул на нее.

Человек в мантии. Но этим свидетельским показанием вы, конечно, ухудшили и свое положение.

Стибор. Я знаю...

Человек в мантии. Мне всегда казалось, что вы принимали к сведению чувства Лиды Матисовой лишь в той мере, в какой они соответствовали вашим. Если ее радость не исходила из *вашей* радости, а ее опасения не были *вашими* опасениями, вы считали их более или менее абсурдными.

Стибор. Но ведь она собиралась выйти замуж не за мою мать, а за меня!

Человек в мантии. И в этом вы были так твердо убеждены, что *ее* мнение было для вас всего лишь... забавным. Вы, например, никогда не спрашивали: «Пойдешь ли ты за меня?» Вы всегда говорили: «Иди за меня!»

Стибор. Я верил, что она меня любит!

Человек в мантии. А она и любила вас, наверное... конечно, любила. Только любить — это, уважаемые, всего лишь основной факт. Зерно. Идея. Что из нее взойдет, что родится — это вопрос сложного процесса, который требует мягкости... и силы...

Стибор. Была такая сила! *Моя* любовь!

Человек в мантии. Но я спрашиваю — не может ли такая любовь, несколько обуженная, перестать *быть* любовью?

Стибор. Как вы смеете... сомневайтесь в моем мужестве, в таланте... но в этом! Я докажу вам! Легко докажу! Не только тогда, когда это случилось — тогда я ничего не понимал, ничего не соображал,—но и теперь, после всего... Я знал, что приехала Петрусова, и предчувствовал, что будет. С утра я ждал Лиду у ее общежития...

Человек в мантии. Шел дождь?

Стибор. Шел...

Человек в мантии протягивает руку за кулисы и подает Стибору его плащ и шляпу. Стибор надевает плащ и продолжает, держа шляпу в руке.

Стибор. Лида вернулась домой под вечер, очень взволнованная, потому что, кроме всего прочего, на факультете ее встретили ледяным холодом; стараниями Майки и Тошека все стали там на сторону Петруса. Услышав намеки на это даже в столовой, Лида бросила вилку и убежала. А я там стоял... единственный человек, подавший ей руку. Лида...

Кинопроекция: предвечерняя шумная улица. Лида, ошеломленная и словно парализованная, двигается машинально. Глаза ее покраснели от бессонной ночи и блестят. Механически подняла руку, не взглянув на часы. Вдруг перед ней оказался Стибор. Тихо поздоровалась.

Лида. Здравствуй...

Стибор. Я жду здесь с самого утра...

Лида. Зачем?

Стибор. Спросить... я теперь хочу тебя спросить, что ты решила.

Лида. Что я должна была решать?

Стибор. Лида... в третий раз предлагаю тебе: выходи за меня замуж! *(Словно боясь получить ответ, продолжает поспешно, настойчиво).* Лида, вчера мне сказал главный инженер, что они запатентуют тот аппарат... тот, который я портил, пока ухаживал за тобой, и который доделал, когда ты мне обещала... Лида, если б ты была со мной... если ты будешь со мной, я столько смогу... мы оба столько сможем...

Лида *(мягко, словно извиняясь).* Но ты ведь знаешь, я люблю его...

Стибор. Он все равно на тебе не женится!

Это задело ее: она хотела усмехнуться, но не смогла.

Лида Уж ты знаешь...

Стибор. Знаю, как и ты. Он не впервые отказывается от тебя.

Лида. Нет, тогда это было...

Стибор. То же самое! Ты доставила бы ему величайшую радость, если бы уехала и теперь!

Лида. Неправда!

Стибор. Правда. Не строй иллюзий.

Лида. Это не может быть правдой...

Ее охватил страх, и в эту минуту созрело внезапное решение. Стибор этого не замечает, говорит со скорбным упорством.

Стибор. Лида! Никто не будет любить тебя так, как я. Почему ты этого не можешь понять? Я сделаю для тебя все, все!

А Лида уже далеко — неважно, что она все еще стоит на месте. Как во сне подняла руку, словно хотела его погладить — за любовь и за боль, которую она не в силах утишить. Но не решилась коснуться его. Только сказала.

Лида. Ты хороший...

И ушла.

22

Проекция гаснет. Милан Стибор выходит на авансцену, шляпа выпала у него из рук. Он наклонился, нащупывает ее, как слепой.

Человек в мантии. Нервы!

Стибор. Хороший... Это, кажется, нечто вроде «глупый». Хороший — это синоним идиота. Я хороший, но любит она Петруса. Логика! Логика!

Человек в мантии. Нервы!

Стибор. А то, что я ее люблю...

Человек в мантии. «Я». «Я».

Стибор. Что я готов все забыть, что я от нее не отвернулся...

Человек в мантии. Вы никогда не забываете подчеркнуть это.

Стибор. Что я из-за нее не работаю, не ем, не сплю...

Человек в мантии. А вам Лида нужна, как средство от бессонницы?

Стибор. Быть может, я... эгоист и бесхарактерный человек, но я не был и не буду карьеристом!

Человек в мантии. Как кто?

Стибор. Как Петрус!

Человек в мантии. Доказательства?

Стибор. Почему он с ней тогда разошелся?

Человек в мантии. Петрус, почему вы с ней тогда разошлись?

Петр выходит вперед.

Петр. Я уже говорил вам — она уехала...

Человек в мантии. Так ведь не на Камчатку. Всего лишь в Прагу!

Стибор. Люди живут и дальше друг от друга!

Петр. Да, но супруги; а просто знакомые... четыре года!

Человек в мантии. Вы могли бы жениться! Вас, конечно, перевели бы.

Стибор. Не могли! Он не мог!

Человек в мантии. Почему?

Петр. Я жил на стипендию... писал дипломную работу...

Стибор. Ему нужны были деньги. Квартира была нужна.

Петр. Неправда!

Стибор. Правда!

Человек в мантии. Так как же — правда или нет?

Петр *(по примеру Стибора начинает повышать голос)*. Нет! Просто я тогда не знал... не знал тогда, насколько это чувство велико и сильно! Всегда узнаешь истинную цену вещам, только когда теряешь их!

Человек в мантии. Вы предпочитаете узнавать цену вещам именно таким способом?

Петр. Что вы имеете в виду?

Человек в мантии. То, что я сказал...

Стибор. Он слишком любит удобства!

Петр. Я полгода добровольно работал на стройке! Через день собрания, сколько раз приходилось не спать ночь...

Стибор. Он всегда умел рассчитать, что ему выгодно. И в этих расчетах Лида была пассивом!

Петр. Пусть он не говорит о Лиде! Пусть он не говорит о Лиде! Он, который приложил все усилия к тому, что теперь ее вместе со мной топчут в грязь...

Стибор. Я?! Я, единственный, кто не отступился от нее?!

Петр. А как это называется — бросить человека в воду, чтобы показывать на нем свое искусство первой помощи?!

Они готовы броситься друг на друга. Человек в мантии становится между ними.

Человек в мантии. Довольно! Обвиняемые, не устраивайте сцен — вы не в театре! Стибор, сядьте! У вас достаточно поводов серьезно задуматься над вашим собственным характером! *(Стибор отходит)*. А вы не волнуйтесь. У вас есть еще возможность защитить себя делом.

Петр. И я это сделаю! Только посоветуйте мне — как...

Человек в мантии. Чтобы я вам советовал?

Петр. Войдите в мое положение... Такого и дикий зверь не выдержит! Заколдованный круг! Как выйти из него, чтобы никого не обидеть? Тошек был прав — теперь, когда я увидел и услышал свою жену... Но Лида... А я еще — специалист по семейному праву! Тут волком взвоешь! Я борюсь за новую мораль, помогаю людям жить... а кто поможет мне?

Человек в мантии. Мне кажется, вас ждет товарищ Тошек.

Кинопроекция: кабинет Тошека. Тошек, как всегда, чертит на газете какие-то фантастические закорючки, в которых даже самая буйная фантазия не найдет связи с происходящим разговором. Ему сейчас тоже тяжело.

Петр. Вы хотели со мной поговорить?

Тошек *(пытается шутить)*. Прошу тебя, Петрус, говори мне «ты», или я стану говорить тебе «вы», а то давай и вовсе обращаться друг к другу в третьем лице; только уж давай одинаково, как и положено товарищам.

Петр. Когда-то я всем говорил «ты», но некоторых это задевало...

Тошек. Только не меня, уверяю тебя. Хотя бы потому, что мне очень хочется, чтобы ты чувствовал во мне товарища,— если вообще работник отдела кадров может быть товарищем.

Петр. Послушай, товарищ...

Тошек. Ладно, условились. Декан с тобой уже говорил?

Петр. Нет.

Тошек. У вас заболел доцент Бечварж. Надолго — желтуха. Декан хотел попросить тебя с завтрашнего дня читать семейное право — за Бечваржа.

Петр. Меня?

Тошек. У тебя ведь отличная дипломная работа на эту тему.

Петр. В большой аудитории?

Тошек. Да. Зайди к нему и не отказывайся, если можешь — выручи его. Да не бойся, это только на один семестр. Китай от тебя не убежит. Между прочим, я слыхал, что в министерстве насчет твоей поездки решено. Еще с лета.

Он встал. Поднялся и Петрус, который все еще никак не может опомниться. Тошек протягивает ему руку и говорит с внезапной настойчивостью.

Тошек. Да, а что нового в твоем деле?

Человек в мантии *(с авансцены)*. У вас что-то вертится на языке, Петрус!

Петр. Нет...

Человек в мантии. И все-таки. Один вопрос.

Петр. Да...

Человек в мантии. Смею спросить — какой?

Петр. То, что мне... предложили сейчас, все это — *для этого?*

Человек в мантии. Ну, спросите!

Петр. Нет... конечно... конечно, тут нет никакой связи! А если б и была — не могут же они ожидать, что я... *(умолкает)*.

Человек в мантии. Так-с... Ну, продолжайте, прошу вас.

Тошек. Да, что новенького в твоем деле?

Петр *(стоит секунду безмолвно, потом выдавливает из себя)*. Я скажу вам завтра в полдень.

Тошек *(еще раз горячо жмет ему руку)*. И думай. Думай о себе!

23

Проекция гаснет.

Человек в мантии. Тошек, подойдите сюда!

Тошек *(выходит на авансцену)*. Я уже дал свидетельские показания...

Человек в мантии. Я вовсе не жажду от вас свидетельских показаний. Я обвиняю вас, ибо вы, пользуясь служебным положением, оказали недопустимый нажим на ассистента Петруса и тем самым явились соучастником наказуемых деяний, перечисленных в прологе.

Тошек. Товарищ...

Человек в мантии. Я вам не товарищ.

Тошек. Послушайте, что это еще за комедия...

Человек в мантии. Это — трагедия, гражданин!

Тошек. Хорошо, но не говорите бессмыслицы! Я работник отдела кадров — между прочим, пойдите попробуйте там поработать за полторы тысячи в месяц, деритесь за людей да еще потерпите всякие поношения на эстрадах от разных бездельников, которые дерут по пять сотен за вечер! Знаю, всякие есть кадровики, некоторые смотрят на эту работу только как на заработок, но у меня старомодные взгляды, я прежде всего коммунист. В чем вы меня упрекаете? В том, что я не стал ждать, чем все это кончится, и не поставил потом своей печати? Ты — вон из партии, ты — из института? В том, что я хотел, чтобы они поняли свои обязанности по отношению к государству, к семье и к самим себе? Ведь речь идет о честных и ценных для нас людях. Двадцатитрехлетняя студентка с большой эрудицией, у которой вся жизнь впереди и достаточно силы воли, чтобы

справиться с этим разочарованием. Будущий ученый, который обязан настолько сознавать свою ответственность, чтобы не загубить сгоряча то, чего ждет от него все наше общество. Что же, я должен был предоставить их самим себе?

Человек в мантии. Обвиняемый, большинство ваших соображений не вызывает сомнений или дискуссий. Но именно в вашей деятельности самые лучшие намерения могут иметь сквернейшие последствия, если вы будете втискивать живых людей в ваши уравнения. Работник отдела кадров может быть грубым или ходить на голове — не это определяет его квалификацию. Но он не имеет права делать поверхностных анализов, не имеет права допускать принципиальных ошибок. А вы их допустили.

Тошек. Какие ошибки?

Человек в мантии. У вас будет печальная возможность увидеть их собственными глазами. Сядьте.

Тошек отходит.

Кинопроекция: комната в общежитии, смеркается. На тахте полулежит Вашек Краль. У него на коленях тетрадь с лекциями, в руке конверт с письмом. Он нерешительно смотрит сквозь очки на Человека в мантии.

Человек в мантии. Продолжайте! Сейчас войдет Петрус!

Петрус входит, но не снимает плаща. Краль моментально прячет конверт в тетрадь.

Петр. Где Лида?

Краль. Которая?

Петр. Моя Лида... Жена!

Краль. Откуда мне знать?

Петр. Ее вещи здесь? Нет, забрала. Который час?

Краль. Половина шестого... куда ты?

Петр. На вокзал.

Краль. Когда у нее отходит поезд?

Петр. В семь пять. *(Не снимая плаща, пытается завязать галстук, ругается про себя; потом выбегает, продолжая завязывать галстук по дороге).* Пока!

Краль *(который все время взглядывал то на него, то на тетрадь).* Будь здоров.

Человек в мантии. Краль, вы ничего не забыли?

24

Проекция темнеет. Краль нерешительно выходит на авансцену со своей тетрадью. Он не говорит, бормочет.

Краль. Не знаю...

Человек в мантии. Разве вы не должны были сказать ему кое-что? По поручению Матисовой?

Краль. Сказать — нет...

Человек в мантии. Или передать?

Краль. Передать — это да...

Человек в мантии. Конверт? *(Краль без звука вытаскивает его из тетради).* Вы знаете, что в нем?

Краль. Нет, не знаю.

Человек в мантии. А догадываетесь?

Краль. Думаю, что да.

Человек в мантии. Что же именно?

Краль. Она проговорилась, что уезжает. Верно, пишет ему об этом. И еще о другом, о том, что...

Человек в мантии *(возмущен).* Вацлав Краль! Вы, у которого не нашлось достаточно смелости, чтобы высказать свое мнение другу, хо-

тя вы все знали и предчувствовали, вы, который из трусости даже помогали ему, — откуда у вас эта дерзость не выполнить настоятельной просьбы Лиды Матисовой? Обвиняемый — да, обвиняемый! — если у вас нет характера, вы должны, по крайней мере, обладать хоть крупицей разума! Садитесь и любуйтесь делом ваших рук до конца!

Краль. Но я ведь потом переехал...

Человек в мантии. Садитесь!

Проекция: комната в общежитии Лиды Матисовой. Лида, уже одетая, с трудом запирает чемодан; входит Майка, она, видимо, возвращается с лекции. Остолбенела.

Майка. Что ты делаешь? Куда едешь?

Лида. Домой.

Майка. Ты с ума сошла?

Лида. Нет.

Она совершенно спокойна — спокойна, как вулкан перед извержением, клокочущий незримым внутренним огнем.

Майка. Постой, объясни хоть...

Лида *(с оттенком горькой иронии)*. Я не хочу портить репутацию факультета. Не буду мозолить вам глаза... и не стану усложнять ему положение...

Майка. Лида, прошу тебя, не сходи с ума! Ты еще больше все запутаешь. Кто тебя сглазил? Ты ведь должна была считаться с тем, что мы тебе аплодировать не станем,— но это? Разве это решение вопроса — наделать шуму и сбежать?

Лида. Я не бегу. Хочу отдохнуть, обдумать.

Майка. А он?

Лида. Он тоже успокоится, приведет в порядок свои дела, а потом...

Майка. Потом что?

Лида. Мы договоримся на вокзале. *(Берет чемодан)*.

Майка. Лида, это безумие. Если б я могла тебе чем-нибудь... Но верь, по крайней мере...

Лида. Верю, Майка.

Целует ее. Майка делает еще попытку.

Майка. А институт... зачеты...

Лида только грустно пожимает плечами и медленно направляется к авансцене. Майка замечает испытующий взгляд Человека в мантии. Говорит удрученно.

Майка. А я думала, это только такая любовь... только такая...

Человек в мантии *(насмешливо)*. Вы — женщина!

Идет навстречу Лиде, берет у нее чемодан и даже утешающим жестом кладет ей руку на плечо, совершенно забывая в этот момент о своей миссии.

25

Проекция гаснет. Где-то вдали часы гулко отбивают четверти и получасы. Человек в мантии опомнился, откашлялся, и от его участливой приветливости не осталось и следа.

Человек в мантии. Матисова, не растравляйте себя! Вам тяжело духовно и физически — понимаю, это вчерашняя ночь и нынешний день; но в конце концов вы — не соблазненная жертва, а полноправная гражданка и действительно стоите только на пороге жизни. Если вам хуже, чем вы можете вынести — а это вы сами должны почувствовать, — пойдите к кому-нибудь, дышите глубже, посчитайте до тысячи или еще что-нибудь такое... Только — самым решительным образом мобилизуйте все свои силы для защиты от самой себя! Секунды безнадежности, Матисова, в тысячу раз хуже, чем яростный гнев или бездонное горе, потому что они наносят удар предательски, дробят в куски защитный панцирь

естественных преград и отдают человека на милость и немилость первой же мысли — доброй или злой! Берегитесь этого, Матисова!

Лида. Вы за меня боитесь? Есть человек, который боится за меня! Вы боитесь за меня или боитесь неприятностей? Нет, я вас понимаю... но бояться нечего! Нечего бояться! Я это говорю себе с утра. Разве я никогда в жизни не переживала тяжких минут? У меня умерла мать, ушел Петр... Мне, как и всякому, знакомы такие утра, когда человек просыпается, одурманенный сном, блаженно открывает глаза и видит солнце и синее небо, а в следующую же секунду, когда сон улетучится, осознает свою болезнь, страдание, отчаяние — и тогда вдруг за окном уже не солнце, а грозный, раскаленный черный шар в лохмотьях туч. Такое страшное пробуждение повторяется десять, сто раз подряд, но в один прекрасный день синее небо остается синим, и солнце катится по нему, как веселый детский мяч, до самого вечера, и на другой день — снова и снова... Я верю! Верю, что так будет завтра, а не завтра — так через неделю. Она его не любит. Я — да. Он любит меня. Он говорит об этом не так часто, как раньше, но теперь я ему верю. Что же тут сложного, что может внушить ужас? Все в порядке! *(Улыбается при воспоминании)*. В наилучшем порядке...

Человек в мантии. Надеюсь, вы правы, но ни в коем случае не надо недооценивать...

Лида. Петр обязательно придет к поезду. Быть может, он уже ищет меня... *(Берет чемодан и уходит)*.

В глубине сцены вокзал. Вечер. Голоса, стук по колесам, шипение пара, где-то недалеко проехал паровоз. На переднем плане площадка последнего вагона длинного состава, начала которого не видно на сцене. Гулко разносится голос из репродуктора: «Пардубице, Хоцень, Ческа Тшебова, Свитави, Брно, Братислава, Нове Замки, отправление по расписанию в девятнадцать пять, поезд стоит у третьей платформы, двенадцатый путь».

Лида выходит из вагона на площадку, потом спускается на ступеньки.

Человек в мантии. Нет?

Лида. Остается еще тринадцать минут, он обязательно придет.

Человек в мантии. А если он не получил письма?

Лида. Этого не может быть. Его друг дал мне слово.

Над ее головой замигала и погасла лампочка.

Человек в мантии. Что-то в вашем вагоне лампочки шалят... *(Лида всматривается в перрон)*. Верно, контакты... Надо бы, чтоб исправили...

Где-то прогудел маневровый паровоз.

Лида. Прежде чем прогудят семь раз — он придет. Вот увидите! Еще шесть раз прогудят, и он будет тут!

Человек в мантии. Ехать ночью в темноте... *(запнулся)*. Ужасно, какие глупости болтают люди, прощаясь! Теперь я понимаю, почему вы тогда...

Лида. Фотографию он мне не вернул!

Человек в мантии. Что?

Лида. Фотографию он мне не вернул!

Человек в мантии. Быть может, принесет сюда...

Лида. Зачем? Он оставил ее себе! И это хорошо, что оставил, не понимаете? *(Гудки)*. Второй, третий. Еще четыре. Как странно... четыре года тому назад, в Брно, я вот так же стояла — в последнем вагоне. Он пришел к самому отходу поезда, как мы условились. Я смеялась, шутила. Он сказал только «Лида»... И потом — «Прощай»... Я подозревала, что он плачет, но он только теперь признался мне, что шел тогда еще целый километр за поездом и лег на шпалы и целовал рельсы... *(Гудок)*. Четвертый!

Человек в мантии. Слушайте, Матисова, а если он не придет...

Лида. Придет!

Человек в мантии. Или если придет, но все же... все получится не совсем так... или вообще...

Лида *(не обращая на него внимания, вслушивается и всматривается в публику на перроне. Новый гудок)*. Пять... лет прошло с того вечера в Бескидах. Печка, снег за окном, в тот день мне исполнилось восемнадцать. Тот день, девятнадцатого февраля... вы понимаете, о каком дне я говорю... и я не плакала, нет — только считала звезды, романтическая дурочка!

Человек в мантии. Именно потому, что вы так болезненно чувствительны, вы должны понять...

Лида. Вы должны понять... *(Гудок. Лида говорит теперь быстро, чтобы успеть ответить, пока не пришел Петр)* ...шесть. Должны понять, что нас уже связывают тысячи вещей, мыслей и пережитых вместе чувств, в которых мы находили друг друга, даже несмотря на эти четыре года разлуки, как... как корни деревьев, разделенных дорогой. Ведь мы знаем друг друга семь лет, семь лет — это треть жизни, каждый третий день от рождения и до сегодняшнего дня я провела с ним, а это немало, правда? Семь лет... семь...

Гудок. Лида сбегает со ступенек. Стоит.

Голос из репродуктора: «Экспресс Прага, Колин, Пардубице, Хоценъ, Ческа Тшебова, Свитави, Брно, Братислава, Нове Замки, отправление по расписанию девятнадцать пять, отходит с двенадцатого пути».

Тут Лида падает духом и медленно поднимается на площадку.

Человек в мантии. Лида. Я говорю серьезно. Суеверие есть суеверие. Жизнь...

В эту минуту раздается голос Петра.

Петр. Лида...

Лида поднимает голову, счастливая, торжествующая.

Лида. Пришел!

Но тут же без сил прислоняется к стене, потому что в конце перрона появляется взволнованный Петр с Лидой Петрусовой.

Петр. Лида, я говорю серьезно! Жизнь ведь не так проста. Помоги же мне разобраться во всем; что бы там ни было, мы не имеем права сделать ошибку, это будет ужасно!

Петрусова *(внезапно останавливается и быстро вынимает из сумочки бумаги; она страдает, но уже вполне владеет собой)*. Чуть не забыла, я ведь привезла документы, они тебе понадобятся.

Петр *(прибегает к последнему аргументу)*. Но в этом и твоя вина!

Петрусова *(снимает очки, протирает глаза)*. Несомненно.

Петр. Лидушка...

Петрусова. Не называй меня так.

Петр. Прости... Ты понимаешь людей, пойми же и меня! Не делай поспешных заключений, все можно решить иначе... Я поеду с тобой. Поговорим!

Петрусова. В этом нет смысла, Петр. У тебя есть обязательства.

Хлопанье дверей, голос диктора.

Диктор. Занимайте места в вагонах!

Петр *(порывисто засовывает документы обратно в сумочку Петрусовой)*. Лида! Будь разумна, очень тебя прошу! Мы ведь живем не в средневековье! Кстати, мои обязательства — в первую очередь по отношению к тебе! Не устраивай истории из-за единственной ошибки! Ты мне

самый близкий человек! Теперь я понял, кто ты для меня! Прости меня... Давай начнем новую жизнь! Ведь ты меня еще немножко...

Секундная пауза. Потом Петрусова возвращает ему бумаги.

Петрусова. Прощай, Петр.

Уходит. Хлопанье дверьми, гудок.

Петр. Лида! Лида...

Бежит за ней, в ту же минуту звякнули буфера. Свет постепенно гаснет, поезд тронулся. Все ускоряется стук колос. От толчков на секунду загорелась лампочка на площадке. Бледная Лида Матисова без сил опирается о дверь; наверное, где-то открыто окно — ветер развевает ее волосы; она только в распахнутом жакете, легкая косынка трепещет на шее.

Человек в мантии *(тревожно)*. Матисова... не простудитесь! О чем вы думаете, Матисова?

Лампочка гаснет, в грохот колес вплетаются знакомые голоса:

Петра. Приходи, у нас ведь есть что вспомнить!
Стибора. Ты сказала, что любишь меня...
Петра. Жалеешь?
Стибора. Еще раз повторяю... я ни о чем не буду спрашивать!
Тошека. Понимаете ли вы, насколько вы усложняете его жизнь?
Матери Стибора. Посуду бьют к счастью, девочка!
Петра. Я женюсь на тебе... ты ведь этого хочешь, правда?
Майки. Чужую семью я разбивать не стану!
Петра. Что будем делать, Лида?
Петрусовой. Что касается меня, то я не стану вам поперек дороги.

Снова вспыхнула лампочка. Лида прильнула к двери, прижала пылающий лоб к холодному стеклу.

Человек в мантии. Матисова...

Лида бессознательно сняла косынку, судорожно сжала в руке. И снова — тьма, грохочут колеса и снова звучат голоса:

Петра. Нам нужно выспаться и снова все обдумать...
Стибора. Все равно он на тебе не женится!
Лида *(вскрикивает)*. Это неправда!

Но тут голос Петра повторяет ужасные слова.

Голос Петра. Мы ведь живем не в средневековье! Не устраивай истории из-за единственной ошибки!

Вспыхивает свет. Лида широко раскрытыми глазами уставилась в тьму за окном. Ей вдруг стало плохо, она ищет ручку двери, ей надо за что-то держаться.

Человек в мантии *(предостерегающе)*. Лида!

Свет гаснет.

Лида. Петр!

Рыдание. Ветер. Вспыхивает свет. Скрипнула дверь, распахнутая ветром. За железный поручень зацепилась и развевается косынка. Площадка вагона пуста. Невыносимо грохочет поезд.

26

Кинопроекция моментально сменяется. Часть большого и высокого помещения, кафедра; затихающий, удаляющийся шум поезда переходит в неопределенный гул, источник которого прямо в зале, за спиной у зрителей. Это — большая аудитория университета. Входит осунувшийся Петрус, кладет на кафедру папку с лекцией, потом отходит в сторону выкурить сигарету. Тут он замечает Человека в мантии, который до сих пор стоит, в изнеможении прислонившись к боковой кулисе.

Петр *(тихо)*. С добрым утром...

Человек в мантии кивает, он все еще не в состоянии вымолвить ни слова.

Петр *(невольно горько усмехается)*. Доброе утро... Как люди привыкли к условностям... Самое страшное утро после самой страшной ночи, какую я когда-либо переживал. Вы уже знаете? Лида уехала.

Человек в мантии *(удивленно)*. Уехала?

Петр. Этот болван Краль отдал мне ее письмо только вечером! Она уехала тем же поездом, что и Лида... моя жена. Если б это не было смешно, я сказал бы, что кажусь себе Анной Карениной.

Человек в мантии. Анна Каренина...

Петр. Если бы я знал, что она едет тем же поездом...

Человек в мантии *(печально)*. То вы поцеловали бы рельсы?

Петр. Простите, что вы?

Человек в мантии. Нет, ничего...

Петр. А мне теперь лекцию читать.

Человек в мантии. Ну, вы выдержите и это...

Петр. Да, жизнь, к сожалению, натренировала меня. Я не имею права обмануть их...

Человек в мантии. Так, так...

Из зала доносятся редкие аплодисменты.

Петр. Пора... Сегодня никто мне не скажет «ни пуха ни пера!»

Человек в мантии. Да, теперь никто...

Петр *(гасит сигарету)*. Неважно, я пробьюсь! А не то я бы сам себе плюнул в лицо.

Ему удается твердо, уверенно подойти к кафедре; он слегка кланяется. Его встречают скупые, редкие аплодисменты: это его несколько удивило, он окидывает зал испытующим взглядом.

Человек в мантии. Вы ожидали более горячей встречи?

Петр. Меня еще мало знают.

Он уже снова спокоен, сосредоточен, уравновешен, машинально поправляет галстук. На мгновение рука его застывает — он вспоминает, что недавно этим жестом тайно приветствовал Лиду. Потом привычно заканчивает движение.

Петр. Я буду... *(ему пришлось откашляться)* я буду читать вместо доцента Бечваржа.

Волнение в аудитории, но оно сразу стихает. Петр вынул конспекты из папки. Держит их в руке, но это только на всякий случай, он говорит, не заглядывая в них.

Петр. Время, в которое мы живем, можно смело назвать новым возрождением. Это возрождение тем более глубоко, что его благотворное влияние охватывает самые широкие слои общества. Новые экономические отношения нашли свое естественное выражение в новых отношениях между людьми. Сегодня мы уже смело можем сказать, что они создали новую мораль.

В зале поднимается легкий гул. Петр отмечает это про себя, но не обращает внимания.

Петр. Качество этой морали лучше всего, точнее всего можно постичь путем сопоставления с недавним прошлым, особенно с уделом женщин. Еще недалеко ушло в прошлое то время, когда женщина, живой человек с живым сердцем, была в сущности всего лишь товаром, предметом спроса и предложения.

Гул нарастает, слышится хлопанье откидных сидений — один раз, два раза. Петр поднимает голову, нерешительно смотрит в зал, потом на Человека в мантии.

Человек в мантии *(не спуская с него глаз)*. Кто-то принес... какое-то известие...

Петр *(не понял, решает продолжать; повышает голос)*. Наше общество решило, что основой и мерилом в отношениях между мужчиной и

женщиной должна быть только любовь. Мы стояли и будем стоять на стороне каждого, кто восстанет против темных сил прошлого.

Гул перерос в шум. Все чаще хлопают сиденья. Петр с наивным удивлением обращается к Человеку в мантии.

Петр. Они уходят...

Человек в мантии пожимает плечами. Петр делает последнюю попытку продолжать. Он покраснел, начал запинаться.

Петр. Я постараюсь... постараюсь разобраться, в чем еще сегодня больше всего проявляются пережитки капитализма.

Кто-то свистнул. В зале шум, долетают обрывки фраз.

Голоса: ...Какое он имеет право говорить?
...Свинство!
...Смотреть сквозь пальцы!
...Матисову!

В Петра попадает смятый комок бумаги, потом еще и еще.

Голоса: ...Вон!
...Он еще смеет!
...Убил Матисову!

Петр *(кричит)*. Что это значит? Как вы себя ведете? Что это за люди, которые смеют присваивать себе право смотреть на чужую жизнь, как на спектакль? Которые не чувствуют, что должны отнестись к ней хоть с тысячной долей того внимания, с каким они относятся к самим себе!

Человек в мантии *(хмуро, но почти торжественно)*. И которые допускают, чтобы крики толпы заглушили голос их собственной совести и сердца!

Петр *(возмущаясь уже не залом, а Человеком в мантии)*. Кому какое дело!.. Лида Матисова...

Человек в мантии *(наконец-то отходит от кулисы)*. Лида Матисова мертва, Петрус!

Петр дрожащими, вспотевшими руками судорожно комкает конспект, теребит галстук.

27

Проекция гаснет. Свет вспыхивает на всей сцене. По обеим сторонам стоят скамьи, на этот раз — две, и на них сидят все обвиняемые. Свободно только место Петруса да Лиды Матисовой; на нем лежит букет белых цветов, очень похожий на тот, давний, свадебный.

Человек в мантии. Сядьте, обвиняемый!

Петр, шатаясь, идет к своему месту, с убитым видом смотрит в пространство. Человек в мантии обходит скамьи и осматривает всех — подавленных, изнеможенных, неспособных произнести ни слова. Останавливается около букета, недовольно поднимает его, поворачивается к боковым кулисам.

Человек в мантии. Матисова! Это дело касается вас, пока оно не закончено.

Выходит Лида в распахнутом жакете, в котором мы видели ее в последний раз в вагоне. Села на свое место.

Человек в мантии. Обвиняемые! Я не собираюсь еще раз анализировать ваши поступки, мотивы и значение которых были обнаружены весьма убедительным образом. Для того чтобы довести дело до конца, нам остаются три вещи. Первое: хочет ли кто-нибудь из вас сказать последнее слово? Краль...

Краль в смятении отрицательно качает головой.

Человек в мантии. Грабетова?

Майка. Я и понятия не имела... просто понятия не имела, что это... *(расплакалась)*.

Человек в мантии. Тошек?

Тошек. Повторяю: как работник отдела кадров... *(не докончил)*. Это ужасно... Произошла страшная ошибка!

Человек в мантии. Стиборова?

Мать. Нет, нет, ради всего на свете, кончайте скорее! Милану надо к доктору! У Милана уже нет сил!

Стибор сидит разбитый, спрятав лицо в ладони. Человек в мантии даже не обратился к нему.

Человек в мантии. Петрусова?

Петрусова *(после паузы)*. Нет.

Человек в мантии. А вы, Петрус?

Петр *(встает, уничтоженный, сломленный духом, но он должен высказать сомнение, которое его мучит)*. Я знаю... я все знаю, но — не сердитесь... Если бы... если бы Лида... если бы Лида не умерла... все это представлялось бы... совсем иначе... Этим я не хочу уменьшить... свою вину, но... только ее смерть... таких случаев бывает ведь тысячи...

Человек в мантии. К сожалению.

Петр. Только ее смерть придала всему... ужасный характер... превратила, если оглянуться назад, даже самые мелкие ошибки... в преступления... Только ее смерть!

Человек в мантии. Этот факт, Матисова, может значительно отягчить вашу вину, причем то обстоятельство, что мы никогда не узнаем, было ли это самоубийство или несчастный случай, мало что изменит. Факт остается фактом, каким бы методом его ни обсуждать. Но в связи с этим возникает другая проблема, которую нам остается решить. Матисова, подойдите сюда. Подойдите сюда, Петрус. *(Оба выходят на середину сцены)*. Итак, сегодня тридцать первое октября, начался последний этап ваших отношений. Чем он кончился, вы уже знаете. Теперь нам нужно, чтобы вы восстановили вашу вечернюю встречу, именно зная о конце.

Все взволнованны, возмущены.

Петрусова. Послушайте! Но это...

Человек в мантии. Это не метафизика, уважаемые, это логический мыслительный процесс, и так делает в действительности каждый из нас — возвращается по цепочке событий назад, к исходному пункту, представляя себе при этом, как бы он поступил, если бы знал последствия. Прошу вас!

Кинопроекция: снова тот вечер на Вацлавской площади с какофонией трамвайных звонков, гудков автомобилей и голосов. Лида и Петр читают текст робко, как любители на репетиции. Но если у Петра этот механический тон не исчезает до конца, то Лида с каждым словом становится все более взволнованной, естественной и убедительной.

Петр. Лида!

Лида. Петр!

Петр. Лида... ты совсем не изменилась...

Лида. Ты тоже.

Петр. Я приехал...

Лида. Знаю. Позавчера на факультете назвали твое имя, и с тех пор у меня все валится из рук.

Петр. Почему?

Лида. Ну... А как ты живешь?

Петр. Лида, у тебя есть время?

Лида. Когда?

Петр. Сейчас.

Лида. Нет. Мне надо...

Петр. Лида! Неужели сегодня твои дела не терпят? Нельзя ли покончить с ними поскорее? Я подожду тебя... ну, хотя бы у музея, я ведь провинциал... Пойдем куда-нибудь, поужинаем или выпьем вина.

Лида. К чему это?

Петр. У нас есть что вспомнить.

Лида. И о чем забыть.

Петр. Годы проходят, и в памяти остается обычно самое главное. Хорошее. А хорошего было немало, вспомни!

Лида. Теперь это не важно.

Петр. Может быть. Увидим, Лидушка. Придешь? В восемь.

Лида. Не знаю...

Петр. Приходи...

Лида *(после паузы, во время которой все взволнованы ее колебанием)*. Приду.

Петр *(судорожно, с усилием)*. Обязательно?

Лида. Быть может *(но она сказала это, как ясное «да»)*.

Человек в мантии. Стоп!

Проекция гаснет. Ропот на скамьях.

Человек в мантии *(успокаивает ропот, потом обращается к Лиде)*. Тише! Матисова, вы не поняли. Вам незачем читать текст, как попугай, здесь не любительский спектакль. Вы должны сейчас взглянуть на ту роковую сцену вашими сегодняшними глазами... *(вдруг вспоминает, что ее ведь уже нет в живых)* то есть, с точки зрения ваших последних ощущений, понимаете?

Лида *(устало)*. Да.

Человек в мантии. Еще раз.

Та же проекция. Петрус в самом деле видит вещи в свете свершившейся трагедии. Он произносит свое приглашение с отчаянием, с несчастным видом, он прямо внушает ей, чтобы она отказалась. А Лида отвечает вяло, с остановками, словно переживая трудную внутреннюю борьбу.

Петр. Я подожду тебя... и мы пойдем куда-нибудь поужинаем или выпьем вина.

Лида. К чему это?

Петр. У нас есть что вспомнить.

Лида *(скорбно)*. И о чем забыть.

Петр. Годы проходят, и в памяти остается обычно самое главное. Хорошее. А хорошего было немало.

Лида. Теперь это не важно.

Петр. Может быть. Увидим, Лидушка. Придешь? В восемь. *(Это он произносит со страхом)*.

Лида. Не знаю...

Петр *(едва слышно)*. Приходи...

Пауза. Все сидящие на скамьях наклонились вперед.

Лида. Приду.

Смятение. Все встают. Кричат ей.

Стибор. Лида!

Майка. Лида, опомнись!

Человек в мантии. Матисова!

Петр *(в отчаянии)*. Обязательно?

Лида. Обязательно!

Проекция гаснет; тишина, никто не двигается. Человек в мантии подходит к Лиде, берет ее за руку.

Человек в мантии. Лида, ты ведь знаешь...

Лида. Знаю...

Человек в мантии. Так почему же...

Лида *(беспомощно поднимает к нему лицо)*. Я его люблю...

Человек в мантии *(после паузы)*. Лида Матисова, освобождаю тебя от обвинения. Ты свободна.

Лида медленно уходит. Молчание. Наконец его нарушает Человек в мантии.

Человек в мантии. Итак, осталось — последнее.

В зале зажигается свет. Обвиняемые встают. Только Петр остается сидеть на своем месте, посреди скамьи.

Человек в мантии. Петр Петрус, вы — юрист. Известен вам закон, по которому вас можно осудить?

Петр *(глухо)*. Нет...

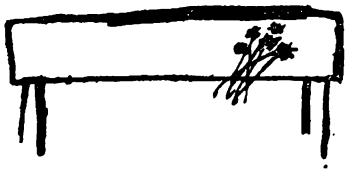
Человек в мантии *(медленно снимает мантию и так же медленно складывает ее на сиденье кресла)*. Мне — тоже.

И медленно уходит от них.

Петрусова. Но кто же нас будет судить?

Человек без мантии *(неопределенный жест в зал)*... если могут.

Уходит туда, откуда впервые вышел. Медленно, впервые за все время, закрывается занавес.



Хуан Рамон Хименес

Стихи

Перевод с испанского П. Грушко

Хуан Рамо́н Химе́нес родился в 1881 году в солнечной Андалузии. Ранняя поэзия Хименеса, его книги «Далекие сады» (1903—1904 гг.), «Поэмы чудес и скорби» (1909 г.) и многие другие подчас полны изысканной утонченности, образы их несколько отвлеченны, расплывчаты. В этих ранних произведениях ощущается влияние «гонгоризма»*, течения, оказавшего воздействие не на одно поколение испанских и латиноамериканских поэтов. В поэтическом становлении Хименеса не последнюю роль сыграла и дивная природа Андалузии, позднее ставшая одним из источников вдохновения для другого поэта — Федерико Гарсии Лорки.

Но уже в ранних произведениях Хименеса — в пейзажных зарисовках, в образах людей из народа, народных сценках — вырисовывается облик большого мастера, имеющего в своем поэтическом арсенале собственные краски, приемы, интонации, образы.

Можно не соглашаться с некоторой недосказанностью отдельных произведений поэта, можно упрекнуть его в том, что он минует большие темы современности, но бесспорны его симпатии к простым людям. Это отчетливые, и притом вовсе не сентиментальные, симпатии большого поэта к своему мужественному народу. Именно это поднимает Хименеса — как и Лорку, как и Альберти, сходных в некотором отношении со своим предшественником, — над толпой слепых эпигонов «чистого искусства», запутавшихся в условных бесплотных образах. Именно эти симпатии к простым людям и обусловили то, что Хименес в годы гражданской войны против фашизма вместе с Антонио Мачадо, Валье Инкланом и некоторыми другими представителями «поколения 1898 года» принял сторону народа.

В 1936 году поэт эмигрировал на Кубу. Сейчас он постоянно живет в Пуэрто-Рико, где преподает в местном университете.

В 1956 году Хуану Рамону Хименесу была присуждена Нобелевская премия в области литературы. Кроме многих стихотворных циклов, объединенных впоследствии в поэтическую антологию, перу выдающегося испанского поэта принадлежит книга критических очерков, посвященных творчеству многих испанских и латиноамериканских писателей, а также получившая широкое признание лирическая повесть «Платеро и я».

Стихи Хуана Рамона Хименеса, почти не переводившиеся на русский язык, представляют для советского читателя несомненный интерес.

---

* Вычурное, формалистическое направление в испанской поэзии, названное по имени испанского поэта Луиса де Гонгора-и-Арготе (1561—1627), писавшего очень сложные, цветистые, малопонятные стихи.

* *
* *

О время, открой свою тайну,
скажи, отчего ты моложе,
чем больше стареешь?

День ото дня твое прошлое —
все меньше, грядущее —
больше,
а нынешний день —
всегда неизменен,
как в пору цветенья миндаль.

Бесследное время,
поведай, как жизнью своей
ты тело свое наполняешь?

ПОЭТ НА КОНЕ

Вечер розового цвета,
тишина, тропинка в поле!
Конь вперед несет поэта...
Вечер розового цвета!

От реки течет прохлада,
влажно пахнет камышами,
посвежели купы сада...
Что за нежная прохлада!

Вечер розового цвета...
Конь вперед несет поэта!

Сердце сладко защемило,
запах жимолости льется.
Это время сердцу мило —
сердце сладко защемило...

Вечер розового цвета...
Конь вперед несет поэта!

Берег в золоте заката...
На прощанье, засыпая,
солнце горсть бросает злата —
берег в золоте заката...

Вечер розового цвета,
тишина, тропинка в поле!
Конь вперед несет поэта...
Вечер розового цвета!

ПРАВДА

Мы думали, что все на свете
испачкано, разбито, смято...

(А в сердце правда улыбалась,
она ждала своей минуты).

Кровавых слез горячий ливень
на чистых снеговых покровах...

(А в сердце правда улыбалась,
она ждала своей минуты).

Но черным дням пришел на смену
весенний день — капель и солнце...

(Ведь в сердце правда улыбалась,
она ждала своей минуты).

БЕДНЫЙ МАЛЬЧИК

Подарили мальчишке одежку,
глупую и смешную,
длинную не по росту,
пеструю, словно радуга.
А мальчик никак не насмотрится
и ласково гладит обновку.
И вот он смеется, довольный,
засунув ручонки в карманы!

Сестра его
(клювиком ротик,
глазенки, как угли),
в осколок
разбитого зеркала глядя
на локоны, молвила: — Ишь ты,
совсем, как богатый ребенок!

Колеблется солнце. Охрипнув,
заснуло селенье. Лишь мальчик
все прыгает в новой одежке,
все прыгает в новой одежке...
Окончился праздник, и сняты
флажки. На крылечках мерцают
огни сигареток. Мальчишка
приходит домой, а мамаша
ворчит, насмехается: — Ишь ты!
(Он смотрит на мать молчаливо,
качается, смирный, голодный,
с ногами на стуле). Бездельник!
Совсем, как богатый ребенок!

Забрезжил рассвет. Благовестят.
Неяркое солнце и свечи,
и ветер, пропахший рекою.
Процессия. Шепот деревьев,
хрустальный, серебряный, тихий.
Заря золотится на раке,
в нутро ее жуткое смотрит...
Мальчишку средь шума и гама
толкают и дергают.

— Ишь ты,—
вздыхает подвыпивший падре
(слеза умиленья свисает
с заплывшего глаза гуляки),—
совсем, как богатый ребенок!

Закат золотится на мальвах,
смягчающих контуры башни...
Фонарики разноцветные,
где только что солнце блистало,
другим разгораются светом.
По площади, взявшись за руки,
умытые, в курточках чистых,
с игрушками и деньгами
богатые шествуют дети.
И мальчик, сияющий, гордый,
приблизившись к этим чистюлям,
в лицо им бросает:
— Смотрите!
Я тоже богатый ребенок!

* * *

Все ближе и ближе повозки...
Об этом поведали сосны,
луна золотая и ветер,
туман и далекое эхо...
Все ближе и ближе повозки...
В безмолвном покое заката
везут они с гор молчаливых
тела умерщвленных деревьев.
Как горько рыдают повозки
дорогой к Пуэбло Нуэво.

Плетутся быки по дороге,
мечтая под звездным сияньем
о жарком и сумрачном хлеве,
где ждет их подруга и сено.
А сзади тяжелых повозок
бредут по дороге возницы,
несут на плечах аихады *
и смотрят на звездное небо...
Как горько рыдают повозки
дорогой к Пуэбло Нуэво.

Стволы умерщвленных деревьев
просторы полей наполняют
чарующей свежестью леса,
взволнованным запахом жизни.
А с башен старинных селений
молитвенный Ангелус льется
по вырубкам оголенным,
пропахшим могильною гнилью...
Как горько рыдают повозки
дорогой к Пуэбло Нуэво!

* Длинные шесты погонщиков *(исп.)*.

АНТОНИО МАЧАДО

О дружба верная — зерцало,
где я ловлю свои надежды!

И облака на мрачном небе
редеют сразу и светлеют!
Антонио, приносит ветер
мне сердца твоего биенье.

Цветеньем жизни пахнет вечер.
На струнах золотых заката
играет огненное солнце
и постепенно потухает.
Какое чистое звучанье
вечерних струн, горячих, звонких,
как буйно пламенеют розы,
день уходящий провожая!

Антонио, ты слышишь в ветре
биенье дружеского сердца?

ШАГАТЬ!

Шагать! Шагать!
Чтоб услышать, как скрипят песчинки
тех дорог, где я иду опять.

Шагать!
Отпустите лошадей на волю —
я хочу сегодня опоздать.
Шагать, шагать!
Душу я хочу отдать песчинкам,
землю обходя за пядью пядь.

Шагать! Шагать!
Как прекрасно наступленье ночи,
что ласкает землю, словно мать!

Шагать!
Сердца ход спокоен и размерен,
я грядущее могу рукой достать.
Шагать! Шагать!
Ноги — непрерывное движение,
сердце в ритме четком — им под стать.

Шагать! Шагать!
Крик прощальный пройденной дороги
за спиной хочу я услыхать...

Шагать!

«ВСЕ ОНИ БЫЛИ АМЕРИКАНЦАМИ!» *Рис. А. Кокорина.*

Мигель Анхель Астуриас

Все они были Американцы!

РАССКАЗ

Перевод с испанского Юрия Дашкевича

1

Аларика Пауэлл выглянула в окно вагона; поезд уже остановился, а ей все казалось, что еще идет. Меж звездами и полоской утренней зари удалось различить пароход, белевший у пирса акульей расцветки. Еще до наступления полудня поплывет она на том бумажном кораблике в Новый Орлеан. Ввиду чрезвычайного положения все полеты на авиалиниях были отменены, и ничего не оставалось, как добираться поездом до ближайшего порта Караибского моря. И поспела она вовремя — последний «каботажник» задержался тут на несколько часов под погрузкой воды, зелени и почты.

Всю бесконечную ночь тряски по узкоколейке (и, вообразите, никакого утешения, кроме сигарет да виски!) ее сопровождал Милочо, знаменитый туристский гид. Недаром прозвали его уменьшительным именем Милочо, точь-в-точь как паяца. Всем он был по душе за веселый свой нрав, и каждому хотелось находиться в компании с ним. Еще бы! Даже тоннели, казалось, не смогли бы соперничать с Милочо — он так глотал виски, словно вливал в бездонную бочку; дымовые трубы с опаской поглядывали на трубку этого завзятого курильщика; щеголи кусали губы при виде его сверхмодных кричащих костюмов; фокусники завидовали его салонной ловкости, шутники — его остротам, донжуаны — его лицу цвета вяленого банана. Конечно, он был неотразим для таких красоток, как Аларика Пауэлл, которые нет-нет да заглядывали в эту страну и резко выделялись в стадах безобразных гринго-американцев, переодетых туристами.

Роман с Аларикой закончился в каюте столь пламенно, что следовало бы подождать ее возвращения. Но разве ласточки возвращаются, хотя порой и обещают! А чего, тем более, можно ожидать от таких — с золотистым оперением, у них даже волосы позолочены.

Милочо — так кому-то пришло в голову окрестить Эмилио — все еще хранил в памяти образ, аромат и воздушность калифорнийской богини, особенно желанной сейчас, когда из-за нагрянувших событий ему пришлось искать убежища в каком-то поселке, затерянном в долине реки Мотагуа, в невзрачной лачуге близ висячего моста, столь похожего на гамак, служивший ему постелью; речная вода заменила другие напитки, а скудное питание сводилось к бобам, маисовым лепешкам и кофе.

Но стоило лишь забыть о Златокудрой ласточке, как сразу же наплывали воспоминания о совсем недавно пережитой смертельной опасности, и тогда гостеприимным казался даже этот уголок среди зарослей гигантских папоротников, на рубеже растительной сырости и песчаного

зноя; устав парить, сюда залетали птицы и, касаясь крыльями скал, опускались на побережье. Теперь даже этот поселок был приятен, несмотря на тучи назойливой мошкары и царивший на улочках и во дворах запах свинарника, несмотря на голых ребятишек и жирных червей, кваканье лягушек и сонную вялость малочисленных обитателей. И полуденное пение петухов как будто еще более углубляло пустынную впадину синего-синего неба.

Рядом с Милочо, в другом гамаке, храпел, проводя сьесту, бродячий торговец по имени Молой. Ранее в глухих деревушках он скупал неочищенный воск и перепродавал на свечи в столице. Сейчас, застигнутый здесь событиями, он тоже ожидал лучших времен.

С гамака свешивалась рука Молоя — натруженная, мозолистая. Тонким бамбуковым прутиком, на верхушке которого были оставлены два-три листика, Милочо щекотал ладонь соседа, забавляясь быстрыми движениями его пальцев, пытавшихся схватить или отогнать надоедливое насекомое,— так, вероятно, представлялось скупщику воска в полусне. Когда Милочо надоело играть с этой грубой, но чувствительной, как листок мимозы, ладонью, он принялся щекотать бамбуковым стебельком уши и шею Молоя. Уморительно было глядеть, как тот начинал вовсю размахивать рукой, до того спокойно лежавшей на груди! Охваченный желанием позабавиться, Милочо стал щекотать ноздри Молоя, затем веки, губы и притом все же старался, чтобы тот не проснулся.

Шаловливая игра создавала прекрасное настроение даже в эти скверные времена, и было так приятно сознавать, что ты можешь есть и спать, спать и есть, можешь почесаться, зевнуть, потянуться, погулять, засунув руки в карманы, и попыхивать трубкой, точно паровоз, дымом отгоняя мошек.

И вдруг все оборвалось.

Мощный удар — неожиданный, словно гром среди ясного неба,— оборвал игру Милочо и сьесту торговца. Вспышкой белого огня ослепило глаза, как бы мгновенно подернув их целлулоидной пленкой. Один за другим последовали оглушительные взрывы, перемежаясь с очередями свинцового града.

В сознании мелькнуло: жив. Ухватился за гамак, дико плясавший вместе с полом и потолком под лавиной камней и обратившейся в пыль штукатурки. Взглянул на другой гамак, в котором спал Молой, — и онемел. И не в силах был уже отвести глаз от руки... той, что минуту назад он щекотал бамбуковым прутиком: рука висела неподвижная, пожелтевшая, с обожженными ногтями, на волосатом запястье наручные часы показывали два часа тридцать пять минут...

— Не может быть!.. — наконец закричал он вне себя, глядя на скрюченную в гамаке фигуру и услышав, как на пол капает кровь.— Не может быть... не может быть! Боже мой!... — повторил Милочо и пошатнулся.

— Господь вас простил — и возрадуйтесь, что не вас поразила молния!..— выбираясь из-под обломков, воскликнул какой-то человек с землисто-бледным лицом.

Звали его Мартин Сантос,— с ним Милочо познакомился в последний день пути. Узнав о вторжении в страну чужеземных наемных солдат и о расстрелах каждого встречного, Милочо и Сантос двинулись вместе форсированным маршем по необъятной равнине, под палящими лучами солнца. Костлявый, «неподвластный жизни и смерти», как он сам о себе говаривал, поскольку ни жизнь, ни смерть не приходились ему по вкусу, с орлиным носом и глубоко запавшими глазами, с черными усами и уже седеющей шевелюрой — так выглядел этот пятидесятилетний мужчина, Мартин Сантос.

На пол из красного обожженного кирпича роняла кровь свои рубины, на них отовсюду слетались мошки.

— Не может быть!..

— Не может быть, а ведь и нас чуть не отправили туда же!..— заметил Мартин Сантос. — Должно быть, целили в мост... вон в тот, за нами... подвесной, по которому проходят поезда. Но не попали — меткости не хватило. Сколько огня-то, пресвятая Мария!.. Молнии и гром... Сначала — грохот, а уж после — гудение самолета. Как будто бомбу сбросили издалека — до того как подлетели и... Сволочи! Мало им было — так еще вернулись и обстреляли из пулеметов.

— Не может быть, чтоб это... они!..

— Ах вот как! Только теперь я понял. А вначале я думал... говорите — не может быть, что землячок отдал концы... По-моему, беднягу прикончила пулеметная очередь уже после падения бомбы.

— И все же не может быть, чтоб они...

— Кто они?

Милочо замолк. Пот стекал по его лицу, застывшему от ужаса еще в момент внезапного взрыва бомбы, разрушившей не мост, а их убогое пристанище и убившей скупщика воска.

— Но кто же другой, если не они...— он отнял от губ искусанный платок.— Именно они выполнили свою угрозу. Только у них в этой зоне тяжелые бомбардировщики, сверхскоростные истребители, бомбы огромной уничтожающей силы. Немыслимо, чтобы по соседству с Панамским каналом кто-нибудь другой, кроме них, мог располагать всем этим.

А бомбы весом в двести и пятьсот фунтов продолжали падать на побережье.

— Смотрите, смотрите...— закричал Мартин Сантос.— Видите, что они делают с нашими деревнями?

Он выбежал из развалин, по-кошачьи перепрыгивая с камня на камень. Выхватив правой рукой большой нож, каким обычно рубят сахарный тростник, и нахлобучив на самые уши — чтобы не слетела — шляпу, он кричал, обращаясь к небу:

— Гринго, сукины дети, спускайтесь-ка, если вы мужчины!

Туристский гид Милочо, с растрепанными волосами, вытаращив глаза, дрожа от страха и ярости, безоружный и потому чувствовавший себя беззащитным и бессильным, следил, как в воздухе, начисто промытом пронесшимися дождями, шли самолеты.

Сверху падали черные точечки смертоносного груза — совсем как рассыпанные перчинки,— и глухие, ухающие взрывы сметали с лица земли жалкие селения.

— Слушайте, слушайте! Вы говорите «не может быть, чтобы они...» Но они снова сюда долетят, и будет... о-го-го! — вопил Мартин Сантос. Широко расставив ноги, он одной рукой угрожающе размахивал ножом, а другой старался вытащить из-за пояса пистолет.

— Слушайте, слушайте, слушайте, как взрываются бомбы и в воздух взлетают деревушки!..

Мощные взрывы следовали один за другим.

— А с той стороны, слышите? Там, по-видимому, взорвали Сáбану Гранде...

При каждом взрыве Мартин Сантос яростно сжимал кулаки над головой, и нож в его руках рассекал воздух.

— Видите, как полыхает пламя на вершине Ла-Лоры! Да нет, не там, где восходит солнце! Вон горит деревня Крускрусита. А туда, вон туда сворачивает самолет, сбросивший на нее бомбы...

Гид зажмурил глаза — он не хотел этого видеть, — потом зажал руками уши. Не помогало: взрывы были слышны.

Так близко — их бомбардировщики... их бомбардировщики? Бомбардировщики — его, Милочо, гида для туристов? Да... его, ведь он был гражданином той самой страны...

Бомбардировщики продолжали кружить, уничтожая хижины с глинобитными стенами и крышами из соломы, уничтожая селения на его родине. Из закрытых глаз капельками скатывались слезы. Он — гражданин той страны, что приносит смерть этому краю, где он впервые увидел свет... Они выполнили свою угрозу...— как и предупреждали... Но нет, он никогда не думал, что они способны на такое варварство.

— Ха-ха-ха!..— у него вырвался откуда-то из груди хохот, столь знакомый туристам.— Ха-ха... американцы... все они американцы!.. Ха-ха-ха!..

Но — нет! Этот смех уже не был прежним, это был смех сквозь зубы, сквозь крепко сжатые зубы, острые, как нож гильотины.

Прошла минута.

— Ха-ха-ха!.. Аларика Пауэлл, твои люди, твоя страна, твои летчики!..

Мартин Сантос привел его в себя. Другие стервятники — тоже американские — реяли над трупом Молоя.

Распластав огромные черные крылья, они низко кружили над разрушенной хижиной, где все еще висел гамак с трупом несчастного скупщика воска,— кровь по-прежнему текла, и рука свисала...

— Помоги, дружище. Надо похоронить его, пока не сожрали грифы,— сказал Сантос и пошел отвязывать гамак.— Гиды, разумеется, не приспособлены для такого дела — хоронить людей, они их только водят на экскурсии...

— Но теперь научимся...— произнес Милочо и поднялся, чтобы развязать другой узел гамака, помочь Сантосу.— Теперь научимся, Аларика Пауэлл, научимся рыть могилы для туристов...

— Рыть, дружище, нечем. Просто сбросим в реку...

Голос Мартина Сантоса отдавался эхом в опустевшей деревне. С собаками и скотом люди спасались в горах. Молчаливые, они торопливо шли цепочкой, их печальные лица сковал страх...

Река тут обуздывала свой бег в большой заводи — зеленой, прозрачной, обрамленной у берегов пеной. Медленно понесла она покачивающийся на волнах труп Молоя.

На очень большой, недосягаемой высоте, и все же отлично видимый, прошел еще один самолет. Рокот его моторов смешался с шумом полноводной реки, на поверхности которой уже не осталось и следа от затонувшего в ее водах трупа. И только капли крови пунктиром отметили путь от разрушенной лачуги до берега.

— Нет, этим я не буду заниматься,— сказал Милочо, возвращая Мартину Сантосу личные вещи и документы Молоя.— Возьмите их, надо будет сообщить властям. Не хватает еще часов...

— Каких часов?

— Не валяйте дурака! Наручных часов...

— Поплыли с ним, дружище. Показывают час его кончины...

— Слышите?

— Да, бомбят... Должно быть, за Гуала́ном...

Перешептывались листья чиламате *, словно бормоча какие-то неведомые заклинания над рекой Мотагуа — спокойной и величественной. Птицы искали пристанища среди зелени. В ветвях прыгали белки, там

* Фикусовые деревья, произрастающие в Центральной Америке.

и тут перебегали юркие ящерицы. Тучи, окрашенные киноварью сумерек, заволакивали горизонт. Замерцали первые кристально чистые звезды. Отсвечивало темной лазурью высокое-высокое небо. И снова, сотрясая воздух, прошли эскортируемые истребителями бомбардировщики Р-47 и С-47 со своим смертоносным грузом. Они шли бомбить бамбуковые хижины деревень, где для самозащиты люди не имели ничего, кроме ногтей. В печальных глазах полуголых людей отражалось что-то схожее с рыданием и гневом, набатно звучащим гневом, вскипающим, как морской прибой.

2

— Ну-ка, ну-ка, сам дон Милочо́н, собственной персоной! Откуда это он вынырнул?! — воскликнул полковник Понсиано Пуэртас, стоя в дверях военной комендатуры.

В нескольких словах гид объяснил ему, что провожал до порта клиентку, а нагрянувшие события помешали ему вернуться в столицу. Железнодорожное сообщение оказалось прерванным. Машин там было раз-два и обчелся — и они исчезли, а на лошадях ехать не советовали.

— Ну и дон-Милочито! Откуда он только мог вынырнуть?

— Бросьте чепуху молоть, начальник, и лучше угостите виски.

— Проходите, проходите в мой кабинет. Там найдется бутылочка.

Глаза Милочо затуманились от удовольствия, но радость тут же растаяла, как воск на огне. Рукой знатока он приподнял бутылку и сразу по весу определил: хватит там, пожалуй, лишь на дупло в зубе, не больше. Вытер губы тыльной стороной руки и поставил бутылку на место.

— Ну и дон Милочоте! Откуда он только вынырнул — наверно оттуда, откуда меньше всего можно было ожидать!

— А вы, полковник, вы-то что тут поделываете?..

— Умиротворяем, дорогой, умиротворяем... Ночь не спал...

— Как хорошо! Наконец-то воцарится мир!..— заметил Милочо и так прикусил губу, что даже ощутил вкус крови. Можно ли говорить о мире, если его родная страна оккупирована? Так рассуждать впору тем, кто находится в сговоре с хищным агрессором. В сговоре? Да. А ведь он сам больше чем просто сообщник, он — гражданин государства, умерщвляющего его маленькую родину. Вынул платок, чтобы вытереть потные руки, и ему показалось, что та рука, которой он клялся в верности всемогущему, не пот источала, а слезы.

— Мир любой ценой,— продолжал полковник.— За одну поездку пришлось уничтожить сотню индейцев. Двадцать девять расстрелял только в Нагуалькачи́те. Расстрелял их, дон Милочито, умиротворяя и убеждая. Мужчинам — пуля, чтоб умиротворились, а женщинам — солдат, чтоб насладились. Поезжайте-ка в Нагуалькачиту, а после расскажете мне, по вкусу ли вам пришлась наша работенка. Вот как мы помогаем вашей авиации, и надо, ей-богу, снять шляпу, когда говоришь: это действительно летчики! И не подумайте, что мы укладываем только главарей. Укладываем всех подряд! Перед законом все равны! Увидим дом, на стенах которого расклеены мерзопакостные листовки профсоюзов, и сразу же превращаем его в костер...

— Но, полковник, генерал...

— Что вы фантазируете, «полковник, генерал»!..— прервал его Пуэртас, давясь от смеха.

— Да нет, полковник, я хотел подчеркнуть, что, так сказать, генерализировать... обобщать, ну, в общем — ведь не домовладельцы же расклеивают листовки на стенах собственных владений...

— Следствие идет, дон Мило, а пока существует приказ — сжигать дома. Потом узнаем, кто расклеивал...

— Я хотел бы попросить вас, полковник, достать мне лошадь или мула — добраться до столицы. Заплачу, сколько следует... — так неприятно было не только говорить, но даже стоять рядом с этим типом. Если сам Милочо чувствовал себя несчастнейшим человеком, то его собеседник был ему просто отвратителен.

— Не советую...

— Конечно, с подписанным вами пропуском...

— Какой там пропуск! Вы же говорите по-английски, и подданство у вас такое! Единственно, что здесь сейчас имеет значение,— быть гражданином *их* страны! Раз уж об этом зашла речь, то помните: мы здесь теперь все — американцы... — добавил полковник.

При посещении Нагуалькачиты Милочо смог убедиться в том, что полковник говорил правду и о расстрелянных, и о значении английского языка.

У околицы — раньше тут была деревня — лежало двадцать девять трупов. Одни — растянувшись, другие — скрючившись, эти — обутые, те — босиком, кто — в шерстяных костюмах, а кто — в изношенной простой хлопчатобумажной одежде. У всех — имбирно-желтые лица, грязные бороды, затянутые льдом смерти глаза, кожа татуирована порохом и кровью.

Его задержал часовой, направив автомат прямо на грудь.

«Что вам нужно?.. Что вы здесь делаете?.. Кто вас сюда прислал»...— эти и другие вопросы готовы были сорваться с уст Милочо, возмущенного тем, что на его земле какой-то солдат-чужеземец... однако... сам он разве не был таким же чужеземцем?.. Разве не был чужеземцем полковник?.. Разве не были чужеземцами все остальные?.. Бедная родина его осталась беззащитной, одинокой среди чужих...

— Кто идет? — крикнул часовой, не опуская оружия.

— American...— ответил Милочо, пристыженный и удрученный: ему всегда было грустно признаваться, что он — американец.

— По-испански понимаете?

— Говорю...

— Ваше имя?

— One thousand eight... — произнес Милочо первое, что ему пришло на ум, пытаясь выжать улыбку, однако губы скривило в гримасе.

Солдат осклабился, почесал затылок и попросил закурить. Звали его Эрнесто Сигуэнса Монтес. Уроженец Никарагуа. Был завербован на войну, ему обещали жалованье, но до сих пор он ничего, кроме мизерного аванса, не получил. Что же касается добычи, то это — дрянная война: больше трупов, чем трофеев.

— Да, вот там идет однополчанин... тоже говорит по-английски, мистер...— оборвал разговор Сигуэнса, заметив проходившего гиганта в надвинутой на лоб шляпе, в трусах, безрукавке и с автоматом на плече.

— Что за сеньор? Чего хочет? — суровым тоном спросил часового подошедший гигант.

— Какой-то журналист, гринго...— ответил Сигуэнса.

— Значит — наш...

И уже по-английски, более любезно, сообщил, что приехал с северного побережья Гондураса, где его наняли убивать «чапинов» *.

— А вы не будете отрицать — проклятый «чапин» хорош только мертвый. Теперь, после того как вы прибыли, их час пробил. Ваши само-

* Так в странах Центральной Америки называют гватемальцев.

леты навели порядок — возня прекратилась, «чапины» притихли. А сколько дьявольской гордости у них, проклятых! Вон они валяются во всем своем величии, и хоть бы один запросил о пощаде. Только что скрутил некоего Панчо Талавэру. Слепой, старый, трясется и еле двигается, но как только сказал ему, что я — гондурасец и пришел «освободить» его, так он мне плюнул в лицо. Я и уложил его на месте одной пулей...

Другие наемники окружили «мистера», у которого — как это показалось воякам — история с Талавэрой пробудила профессиональный интерес; только что прибывший даже осведомился, не сможет ли он взглянуть на труп старика. Поздновато. Воды реки Мотагуа уже несли к морю останки Талавэры, как и тела многих других патриотов. В Милочо вспыхнуло чувство искреннего восхищения Талавэрой. Восхищения и в то же время благодарности. По крайней мере, говорил он себе, по крайней мере, один... один... один из наших плюнул им в лицо...

К тем, кто окружал его, подошел Химэно Блас Фунес, доминиканец из Сьюдад-Трухильо, нанятый американцами, чтобы стрелять.

— Я из Коста-Рики... — представился какой-то красавчик, всматриваясь в Милочо сизыми глазками.

— А бойкости не хватает...— вмешался некий тип с сигарой во рту, безбородый и с жирным затылком.

— Меня завербовали не для увеселительной туристской прогулки в рай, а для участия в истребительной войне... Не так ли, мистер?..

— Ну, забрызгал своими коста-риканскими словечками... Истребительной... Да тебя самого нужно прозвать «Истребилочкой», к тому же ты прехорошенький...

— Заткнись! А не то угощу пулей...

— И этому еще надо поучиться...— процедил тип с сигарой.— Расстреливать людей тоже надо уметь, как сказал бы покойный Морасан *.

3

На следующее утро после посещения Нагуалькачиты полковник Понсиано Пуэртас лично сообщил Милочо чудесную новость.

В ближайшие два дня возобновится движение поездов, и гид сможет отправиться в столицу, уже ничем не рискуя.

Два дня. Нет, это были не дни, а годы. Звенели тучи москитов. Кричали «ура!» пьяные и не имевшие ни гроша в кармане наемники-«освободители», — из винтовок, автоматов и пистолетов стреляли они в небо, словно недостаточно им было опустошений, развалин и трупов на земле.

— Надо покончить с «чапинским» небом!...— взывал недоучившийся поэт-никарагуанец, посылая очереди из автомата в дивную лазурь — лазурь, что собиралась в горных озерах, как собирают синеватый сок, вытекающий из дерева пало-тинте.

Изнывает в зное ночь. Дымятся полузатухшие костры. Повсюду — солдатня. Развалился в качалке полковник Понсиано Пуэртас, рядом — бутылка и женщина по прозвищу «Кубинка». Соском обнаженной груди женщина, заигрывая, проводит по носу и щекам, по глазам и подбородку полковника, стараясь, чтобы тот не перехватил сосок губами.

* Морасан, Франсиско — руководитель борьбы народов Центральной Америки за свою независимость в первой половине прошлого века; был расстрелян в 1842 году в Коста-Рике.

— Нет, старикан, руки прочь...— мурлычет «Кубинка». — Иначе в чем же игра? Побился об заклад, что руки не пустишь в ход, так и держись. Посмотрим, сумеешь ли, если нет — сдавайся!

Понсиано Пуэртас силится поймать обнаженную грудь «Кубинки». А вокруг — необозримая ночь, мрачная и мертвая.

— Сдавайся!

— Почему я должен сдаваться? Никогда не сдавался...— ворчит полковник, обливаясь потом, тяжело вздыхая и облизывая губы; от поглощенного спирта лицо у него стало совсем гангренозным, глаза побагровели, как томаты.

— Сдавайся, старикашечка... сейчас тебе на помощь не придут американские самолеты... А чтобы перехватить мой сосок, тебе, по меньшей мере, понадобится двадцать самолетов... таких, что приносят вам победу!..

Понсиано Пуэртас вдруг схватил грудь женщины руками — страшный укус превратил смех «Кубинки» в жалобный вопль.

Меж золотых зубов полковника показалась тоненькая струйка крови.

Вскрикнув, вскрикнув пронзительно и жутко, «Кубинка» замолкла. Не всхлипывала. Не жаловалась. Ничего не сказала больше. Лишь встала и пошла, зажав рукой раненую грудь. А глаза ее были полны слез.

Не моргая, настороженно — казалось, волосы поднялись у него дыбом, дыбом же встали усы, ресницы, бачки и брови на обострившемся лице — следил полковник за каждым движением женщины. Его рука судорожно отыскала кобуру, вытащила револьвер, вытянулась в прицеле.

Но выстрела не последовало.

У полковника мелькнула мысль — «Кубинка» ушла, чтобы вытащить оружие у кого-нибудь из полусонных часовых и затем вернуться, отомстить.

Но она затерялась в ночи — и издалека, оттуда, где царил сплошной мрак, донесся ее крик:

— Предатель!.. Предатель!..

Прикинувшись пьяным, Милочо следил за происходящим. И вдруг вздрогнул — нет, не из-за коварного укуса, не из-за взрыва хохота полковника, услышавшего, что его назвали предателем, и оскалившего золотые зубы, запятнанные кровью «Кубинки». Не мог Милочо не вздрогнуть, когда прозвучало это слово «предатель» — неуловимое, как тень, пущенное в обиход разменной монетой в его несчастной стране.

Так прошли для Милочо два дня ожидания — два столетия ожидания — близ деревушки, называвшейся Нагуалькачитой.

4

— Ladies and gentlemen...— начал Милочо, едва только переполненный туристами автобус въехал на мост Матасáно; стоя рядом с шофером, он сохранял полусерьезный-полунасмешливый вид.

— Ladies and gentlemen!.. Спешу сообщить вам... Внимание!.. Внимание!.. Послушайте, о чем я должен вам сейчас же сообщить... Город, куда мы въезжаем, был разрушен в день святой Марты, в 1773 году... Внимание!.. Внимание!.. Этот город был разрушен землетрясением в ноябре 1773 года... Особо предупреждаю вас об этом — пусть никто не подумает, что город сметен с лица земли вашими бомбардировщиками во время последних воздушных налетов на эту страну...

Позднее, когда автобус, проехав по улицам среди развалин города Антигуа *, остановился, а туристы, как пестрые муравьи, высыпали из

* Прежняя столица Гватемалы, разрушенная землетрясением 1773 года, ныне стала городом-музеем и центром небольшого департамента Сакатепекес.

машины и замерли перед великим одиночеством древнего монастыря Сан-Франсиско, Милочо вскочил на одну из поверженных массивных колонн и продолжал выкрикивать:

— Повторяю, этот город был разрушен не вашими бомбардировщиками, господа... а действиями расположившихся вон там властителей...— и он не без гордости показал на возвышавшиеся в стороне вулканы Агуа, Фуэго и Акатенанго. На губах у него с трудом сохранялась улыбка — ею он обязан был потчевать туристов, особенно тогда, когда кто-нибудь из них спешил с сосредоточенным видом записать услышанное.

Милочо вызвали телеграммой. Миллионеры предпочитали именно этого гида. Им нравились его шутки, его грустная веселость, его привычная клоунская улыбка — все, что так по вкусу странствующим магнатам.

— Ladies and gentlemen... не волнуйтесь! Это наши вулканы уничтожили столь большой и богатый город... что касается ваших летчиков, сравнявших с землей другие наши населенные пункты, на этот счет тоже не беспокойтесь... как видите, землетрясения научили нас многому... вы в стране людей, знающих, как рушатся города...

— Очень благодарен, сеньор, за то, что вы сказали,— прервал его какой-то турист,— ...за то, что вы сделали ценную оговорку: этот город не был уничтожен нашей авиацией... Названием этого города я дополню свой список... Уже насчитывается многое, чего мы не разрушили.

— Пустяки, сеньор...— заметил другой турист.— Никакого значения не имеет... Если бы мы разрушили этот город, он был бы уже восстановлен... Вот почему лучше, когда уничтожаем мы, а не землетрясение... А чтобы кто-нибудь по ошибке не подумал, будто это наша авиация оставила город в руинах, мы и его восстановим...

— Восстановите его? — выдохнул Милочо.

— Да, сеньор, восстановим немедленно...

— Восстановите немедленно?..

Милочо с трудом выговорил:

— Но, сеньор... я же поэтому и предупреждал, что не вы его разрушили...

— Неважно...

— Важно, сеньор, очень важно...

Угроза туриста-мультимиллионера, ослепленного своим могуществом, была подхвачена местными газетами, напечатавшими сообщение жирным шрифтом; угроза эта горячо обсуждалась в передовых статьях, как вопрос чрезвычайного значения. «Нет, нет,— можно было в то же время прочитать между строк в газетах,— не восстанавливайте город, не затрудняйте себя... и так вы уже нас разорили, а теперь хотите еще уничтожить наши развалины, отнять у нас наши руины — основу национального туризма».

5

За руинами древней столицы, вызывающими,— как писали газеты,— изумление земляков и чужеземцев, высились величественные конусы вулканов Агуа, Фуэго и Акатенанго — трех богов и единственной подлинной угрозы в царстве здешней природы, улыбающейся и задумчивой. Улыбается здесь природа, дары свои расточая, — как гласит стих того древнеримского поэта, что умер в изгнании,— и задумчива она перед ликом титанов, некогда украшенных пламенными коронами, извергавших лаву, камни и дым, а ныне будто объятых дремотой покоя; и только из кратера вулкана Фуэго время от времени вырываются огромные огненные языки.

Женский смех прозвенел в одной из комнат верхней галереи, перила которой увиты лианами — листья и цветы их трепетали над внутренним двориком-патио,— и отозвался на нижнем этаже, смешавшись с хрустальным смехом фонтана. Нарушено молчание старинного монастыря босоногих монахов, теперь ставшего прибежищем для туристов.

«Счастливейшая парочка», — подумал шофер, услышав женский смех, полный страсти и утренней свежести.

Набрав губкой воды в ведре, он промывал ветровые стекла автобуса.

— Вот только у дона Милочо совсем испортился характер... Как стал вести себя... Напивается, а потом бродит по улицам и кричит: «Все — американцы!»... А то начнет болтать по-английски и вдруг оборвет: не хочу, говорит, знать эту отвратительную тарабарщину, буду разговаривать только по-испански... Но женщина-гринго его укротит... Если поженятся, то непременно укротит... будем, говорит, ездить на автобусах — из Калифорнии в Нью-Йорк и обратно, перевозить пассажиров и грузы...

Счастливую пару, расположившуюся там, где некогда был монастырь, а теперь —постоялый двор, составляли Аларика Пауэлл, вернувшаяся Златокудрая ласточка, и Милочо, знаменитый гид туристов-миллионеров, настоящее имя которого Эмилио Кронер-Харамильо.

— Не понимаю, почему тебя смешат мои вулканы...— продолжал шутить Милочо.

— А как же могут не смешить, если у меня, как ты говоришь,— мои самолеты...

— Твои самолеты... счастье твое, что наши вулканы уже уснули...

— А может быть... мы их заставили уснуть, ведь это не все равно...— съязвила Аларика, не переставая смеяться.

— Видишь ли, сильные не обращают внимания на мелочи... Твои самолеты... ха!.. они — жалкие мошки по сравнению с моими вулканами... они даже не смогли разбудить их!

— Сильные или... импотенты?

Взгляд Милочо, подобный взмаху кривого кинжала, послужил ответом на последние слова... Не впервые так проговаривалась Аларика. Из уст, вздрагивающих горькой дрожью, он вырвал янтарный мундштук, чтобы стряхнуть пепел с сигареты и попытаться обрести спокойствие.

— Да, да! Твои вулканы в какой-то степени воплощают ваше бессильное величие. И здесь, darling, в этой стране не только вулканы, но все, все уснули, едва лишь появились мои самолеты...

Милочо вскочил со стула.

— Чем же прикажешь нам защищаться? Ногтями? Зубами?...

— Ничем... — бросила она пренебрежительно, еще более разъярив Милочо. Почему он рассердился? Разве не был он ее соотечественником?..

— Мы защищались, как могли... Мы прикинулись спящими, а это все равно, что прикинуться мертвыми...— Ярость в нем бушевала, он старался подавить ее, пытаясь по-актерски играть убогую роль, но его выдавали вздутые жилы на лбу, пульсировавшие, как подожженный запальный шнур.— Что остается тому, кто подвергся нападению шайки грабителей, если у него нет оружия для защиты?.. Прикинуться мертвым, darling, прикинуться мертвым...

— Незачем, глупыш, незачем было и защищаться — мы не хотели этого!.. Зачем стали бы вы защищаться, да и кого стали бы защищать? Этих грязных индейцев, с которыми рано или поздно следует покончить? Или эти деревни? Ей-богу, они выглядят еще живописнее после того, как наши бомбардировщики их сравняли с землей. Во всяком случае, сейчас есть повод выстроить деревни из железобетона...

Голос Аларики будто сочился сквозь зубы, так же, как ее золотистые

волосы струились сквозь зубья янтарного гребня, которым она причесывалась перед зеркалом.

Милочо успел отвести глаза — и Златокудрая ласточка не заметила, как они вспыхнули огнем ненависти.

День был весенний, свежий, а он чувствовал удушье; задыхался Милочо от огненного зноя, опалившего желтую руку с лиловыми ногтями, свисавшую из гамака, — руку злосчастного скупщика неочищенного воска; пламя пожара разливалось на горизонте, за вершиной Ла-Лоры, отражаясь в небе, обагренном кровью зарева, и другая рука — рука Мартина Сантоса — сжимала нож возмездия, тщетно бросая вызов воздушным пиратам.

— И ничего не скажешь...— настаивала Аларика, закрутив волосы золотым узлом.

— Ничего...— отрезал он, стремясь скрыть взгляд своих глаз, сверкавших, как черное стекло, затуманенное влагой слезы.— Ничего, darling... — подсластил он насколько мог голос, чтоб не выдать своих чувств. Подыскал предлог: надо разузнать, готов ли шофер,— сегодня же нужно вместе со всеми туристами добраться до озера Атитлáн. И поспешно спустился по лестнице — он жаждал глотнуть свежего воздуха... воздуха... воздуха. Он спускался так поспешно, что казалось, у него под ногами мелькают не ступеньки, а лопасти какого-то гигантского вентилятора.

Туристы — мужчины и женщины, всерьез разыгрывающие ребятишек-хочувсезнаек,— чинно уселись в автобусе, готовом покинуть древнюю столицу и отправиться к чудесному озеру, которое окружают двенадцать деревушек, носящих имена библейских апостолов. В этом озере, как гласит индейская легенда, бьется великое сердце урагана, заключенное в могучую каменную раковину.

Изрядно запоздав,— и уже без стандартной, заученной улыбки, предназначенной для туристов,— появился Милочо на пороге постоялого двора; украшенная медными узорами и кованой отделкой дверь была настежь распахнута, и впереди расстилалась большая площадь, заросшая молодой травой и обрамленная вековыми деревьями.

Бросив на ходу «Ladies and gentlemen», он объявил: из-за болезни шофера придется вести машину ему самому, если они, конечно, не возражают. Все зааплодировали. Он поблагодарил. Усаживаясь за руль, он почувствовал, что сердце его больше не трепещет от волнения, а как бы оделось твердой броней спокойствия. Он весь преисполнился решимостью доказать усевшейся рядом мисс Аларике Пауэлл... — каким чужим казалось ее имя, какой чужой казалась и она сама с ее улыбкой, жестами, ароматом ее духов...— доказать ей, что, располагая средствами защиты, можно всего добиться... и даже стать могучим.

Но когда он поставил ногу на педаль и, взявшись за руль, взглянул на контрольные приборы, осветившиеся мертвенным светом, то вдруг стал терять присутствие духа: силы покидали его, мускулы ослабли. И если мгновение назад, вскочив с кошачьей ловкостью на место водителя, он горел желанием взять реванш, положить конец насмешкам мисс Пауэлл, то теперь в его жилах внезапно иссякли потоки смертельной ярости, превращавшейся в священный гнев. Он уже не видел мира скорби и крови, с которым намеревался покончить,— он ощущал себя только приниженным лакеем, губы от страха дрожали, как стрелка амперметра, а рука так подергивалась, что он не мог включить зажигание.

Тем временем в ожидании отъезда туристы сменяли сигареты в мундштуках, табак в трубках, пленку в фотокамерах, проверяли авторучки, рассматривали путевые дневники или документы; а кое-кто

просто покусывал ногти, ковырял в носу или предавался безмятежному ничегонеделанию, сливаясь с сиденьем в единую неподвижную массу.

Застыв над рулем, Милочо пристально всматривался в печально мерцавшие приборы — и ничего не видел; со стороны, однако, можно было подумать, что его очень интересует поведение стрелки одного из приборов. Наконец, действуя, как автомат, он включил мотор, и машина тронулась — до его сознания донеслось слово «ready»*. Это слово, вероятно, произнесла мисс Пауэлл.

Ready?

Двинулись в путь.

Высоченные гревиллеи**, усыпанные оранжевыми цветами, свинцовой от пыли листвой, затеняли шоссе, и сквозь их ветви на дорогу ложились солнечные блики. Автобус шел к холмам — ближайшим отрогам вулканов — по долине, засаженной кофейными деревьями; в лучах утреннего солнца купались неистово гудевшие пчелиные рои — гроздья ожившего меда. Дорога пролегала меж огородов, причудливо изрезанных небольшими оросительными каналами; меж фруктовых плантаций и садов, засаженных розовыми кустами; меж крошечных деревень с бледно-красными церквушками, они появлялись при въезде на горбатый мост и сразу исчезали, лишь только кладбище оставалось позади.

В зеркальце, над рулем, Милочо смог пересчитать всех туристов, ехавших в автобусе... двадцать девять... — все соотечественники... мисс Пауэлл — тридцатая, а он — тридцать первый... Все — «полноправные граждане»... да, лучше считаться «полноправным гражданином», чем туземцем!.. Любой такой «гражданин» только в силу того факта, что он является «полноправным», должен пользоваться уважением во всех уголках земного шара и может позволить себе учинить всеобщую, невиданную расправу, может выступить против всей планеты... Да, да! Он, Милочо, проведет «межпланетную операцию», даст возможность туристам посетить другие планеты...

Снова пересчитал их... двадцать девять... Опять принялся пересчитывать... двадцать девять... Продолжал их пересчитывать... двадцать девять... двадцать девять... двадцать девять... По мере того как автобус набирал скорость, он по-прежнему их пересчитывал... двадцать девять... двадцать девять... двадцать девять... Еще и еще, все быстрее и быстрее! Он готов был пересчитывать их еще быстрее, но вдруг осекся — ведь именно столько же было расстрелянных в Нагуалькачите!..

Отвел глаза от зеркальца, чтобы не видеть призраков, «туристов погребальной процессии», награжденных пулями и окропленных кровью...

«Полноправный гражданин» пересчитал своих соотечественников... Туземец — расстрелянных... И снова в нем столкнулись «гражданин мировой империи» и бедняк, родившийся на этой земле. Один обладал гражданством, дарующим право неприкосновенности, и был способен в любой момент ринуться в «межпланетную операцию» — тем более, что бездонных пропастей хватало, стоит лишь чуть повернуть руль. Другой — несчастный — мог лишь сдерживать «гражданина мировой империи» в его буйном стремлении уничтожать.

По бесконечно тянувшемуся нагорью ехали все дальше — к горным цепям, которые виднелись на горизонте. Нога Милочо нажимает на педаль, а стремительный взгляд птицей скользит вдоль дороги,— не в силах он поднять глаз, боится вновь увидеть в зеркальце расстрелянных из Нагуалькачиты — пожелтевшие с имбирным оттенком лица, грязные бороды, словно приклеенные к щекам, затянутые льдом смерти глаза...

* Готов *(англ.)*.

** Крупное и красивое лиственное дерево, произрастающее в Центральной Америке.

Снял ногу с педали. Автобус проезжал через какой-то большой поселок со многими лавчонками, торговавшими водкой из сахарного тростника — агуардьенте, со многими кабачками, где можно было пропустить стаканчик кукурузной водки — чичи. Дорога, с которой он не сводил глаз, перешла в замощенную булыжником улицу. Взглянул на башню муниципалитета: сколько времени показывают стрелки часов?

10 часов 35 минут утра... Взглядом окинул красные черепичные крыши домов, темно-зеленые араукарии, пролетавших пичужек, но больше отводить глаз от зеркальца уже не мог — опять посмотрел в него и вместо расстрелянных увидел туристов, сверявших свои часы. 10 и 35. Да, да,— пришло в голову,— пусть часы показывают точное время... На двадцати девяти циферблатах... на тридцати... еще на одном циферблате... еще на другом, если считать часики мисс Пауэлл, его часы и автобусные часы... 10 и 35... 10 и 35... 10 и 35... и стрелки движутся дальше... движутся к 2 часам 35 минутам пополудни, как показывали часы на руке у Молоя, когда его труп бросили в реку...

Долина кончилась, и дорога стала круто спускаться. Словно обезумевшие от радости ребятишки, туристы шумными восклицаниями приветствовали столь восхитительную езду — машина летела по узкой извилистой дороге, мимо обрывов, среди громадных скал. И мисс Пауэлл была счастлива, как она была счастлива, когда машина проносилась по самому краю зияющей бездны! Повернувшись к Милочо, она вложила ему в губы сигарету, поднесла зажигалку и шепнула на ухо: «Ты так хорошо правишь, что я готова доверить тебе один из моих бомбардировщиков». Затем надела дымчатые очки — ее раздражал зайчик, отражавшийся от стекла, закинула одну прелестную ножку на другую, на коленях разложила путевую карту и ногтем вишневого цвета стала намечать маршрут головокружительной гонки. Сигарета между ее пальцами повторяла капризные изгибы дороги, которая, распростившись еще в долине с прямой линией, закручивалась и раскручивалась витками дыма среди пропастей и скал.

«Эй!.. Снимите-ка очки...— хотел он крикнуть им,— ...взгляните на солнце, еще мгновение — и вы больше ничего не увидите!..»

Он все увеличивал скорость... быстрее... быстрее.. двадцать девять... двадцать девять... быстрее... быстрее... больше ничего уже не увидите... еще мгновение — и вы ничего больше не увидите... снимите-ка очки... быстрее... быстрее... выплюньте жевательную резинку... быстрее... быстрее...

Зрение раздваивалось... он уж видел не только туристов, но и расстрелянных... над каждым туристом — расстрелянный... расстрелянный ласково трепал туриста по лицу и твердил: «Брось эти очки, гринго... еще какое-то мгновение — и больше уже ничего не увидишь... гринго, взгляни на нас... пока есть время, взгляни... пока есть время, выплюнь жевательную резинку и молись, гринго... гринго!..»

Огромная машина налетела на что-то, и ее подбросило — колено Милочо столкнулось с бедром Аларики, и в какие-то тысячные доли секунды он понял, что летит в пропасть вместе с автобусом, набитым жующими резинку туристами в дымчатых очках. Мгновенно повернул руль, — верх кузова даже задел сучья деревьев, окаймлявших шоссе. На огромной скорости ему удалось вырваться на проезжую дорогу под смех и выкрики пассажиров. Сброшенные со своих мест, они просили друг у друга извинения, искали у себя под ногами или где-то в стороне выпавшие из рук предметы — трубки, фляги с виски, зажигалки, пилочки для ногтей...

Бедро Аларики по-прежнему прижималось к его ноге. Рывком он ослабил галстук. Еще одним рывком оторвал пуговицу на вороте рубашки. Освободить шею, не задыхаться при виде беззвучно хохочущих землистых ртов двадцати девяти расстрелянных из Нагуалькачиты, — в

зеркальце они смеялись над ним, над жалким трусом... Не задыхаться при виде руки Молоя, подвешенной к ветровому стеклу, — руки из желтого воска с остановившимися часами, хотя все остальные часы идут... не задыхаться при виде тщетных взмахов ножа в руке у Мартина Сантоса, наносящего удары по воздуху, в котором летят самолеты,— что он, бессильный, мог еще сделать... не задыхаться при виде священного плевка старика Талавэры... и зарева огненных подсолнухов за вершиной Ла-Лоры... не задыхаться, слыша крик «Кубинки», сдерживающей град слез...

Он налег на руль. Вся боль его души, души туземца, метиса, последнего из последних, вылилась в этом движении, в том, как мокрыми от пота руками он налег на рулевое колесо, от которого сейчас так много зависит — циферблат часов, отсчитывающих срок жизни многих...

Бедро Аларики... Все еще прижималось к его ноге бедро Аларики... Жили бы себе в Калифорнии и загребали бы тысячи долларов, владея грузо-пассажирской автобусной линией в Нью-Йорк и из Нью-Йорка. Ведь он же был «американским гражданином»! Ах, как удобно быть «американским гражданином»!.. Удобно? Потрясающе! Какое ему дело до убитых индейцев и разбомбленных деревушек? Это Аларика его подстрекала, ослепляла, разжигала в нем желание перебросить их на другие планеты. Сумасбродство. Чистое сумасбродство. Вздохнуть... вздохнуть полной грудью... вздохнуть «по-американски»... в пшенично-яблочном бедре Аларики почувствовать все любовное обаяние Калифорнии...

— А почему ты ведешь машину, darling?

Вопрос Аларики заставил его встрепенуться.

— Знаю, darling, знаю!

Нет, невозможно. Не стала бы она сидеть рядом с ним, если бы внезапно догадалась, какой силой и властью обладает рулевое колесо в его руках. Она выхватила бы руль, выскочила бы на ходу, взбудоражила бы туристов, призвала бы на помощь.

— Знаю, darling, знаю!..— повторила Аларика до того, как он разжал губы и попросил сигарету.— Ну и придумал! — нежно промолвила она, щелкнув зажигалкой. — Придумал!.. Придумал!..

— Что придумал? — спросил Милочо, затянувшись.

— Оставил шофера в Антигуа, выдумал, будто он заболел, а ведь он вовсе не болен...

Милочо уже ее не слушал. Тикание часов обжигало запястье. Как можно скорее позабыть происшедшее! Под ногами педаль, а в зеркальце отражается лента пути; отражаются физиономии и туши туристов; темные очки, подпрыгивающие на носу в такт движению челюстей, жующих резинку; тропические рубашки попугайной пестроты, испещренные якорями, лунами, яхтами, пальмами, сиренами, звездами, да и сами старики туристы смахивают на каких-то чертей.

Ветер расчесывал султаны сахарного тростника на плантациях. Так быстро спустились с гор, что как-то неожиданно очутились в зоне сахарного тростника, кокосовых пальм и ананасов. Но вот проехали по шаткому дощатому мосту, и снова начался подъем по вьющейся спиралью дороге, покрытой слоем ярко-красной пыли. Кролики и птицы просто чудом спасались из-под громадных колес мчащегося автобуса: по-видимому, из любви к сильным переживаниям, они выжидали до последнего момента и затем совершали отчаянный прыжок или мгновенно взлетали, когда смерть уже почти касалась их.

— Прекрасно, darling, прекрасно... ты хотел показать мне свои таланты, показать, как ты ловко правишь машиной, и потому оставил шофера в Антигуа... и порадовал нас изумительным мастерством... Златокудрая ласточка будет талисманом в твоих поездках из Калифорнии в Нью-Йорк,

раз в месяц... Сначала ты поедешь один, ну а потом я всегда буду тебя сопровождать... Будем ездить ночью... Чаще ночью, чем днем... во время ночного рейса мчишься, как на крыльях мечты... мне нравится, меня сводит с ума бешеная скорость... наблюдать... вдоль дороги появляются и исчезают залитые светом города... совсем как блестящие монетки, бросаемые в автомат...

Среди разросшихся трав, исхлестанного ветром и каменными обвалами жнивья, с промоинами от зимних дождей, шел подъем в гору. Глубокие трещины в почве и обожженные камни говорили о близости вулканов, и действительно — вулканы появились внезапно, закрыв собой горизонт. Милочо едва успел крикнуть туристам, чтобы они взглянули на трех бесстрастных великанов. Автобус пришлось остановить — здесь гиды обычно рассказывали путешественникам о местных достопримечательностях и прежде всего — о вулкане Агуа.

Все вылезли из автобуса и сразу как бы превратились в лилипутов. Пигмеи перед лицом титана. Не проронив ни слова, одни пытались охватить его невооруженным глазом, другие — с помощью призматических биноклей, третьи хлопотливо искали удобное местечко для кино- или фотосъемки.

— Ladies and gentlemen... мы находимся к югу от города Антигуа, у подошвы вулкана Агуа, вызывающего во всем мире восхищение своей безукоризненной пирамидальной формой, высота его — три тысячи...

Никогда с ним этого не случалось. Три тысячи... три тысячи... Нужно привести точную цифру... «Американские граждане» любят точные цифры... Но точную цифру он привести не мог, сожгла ее у него на губах улыбка мисс Пауэлл.

— 10 сентября 1541 года,— продолжал он рассказывать,— спустя два часа после заката солнца вулкан этот уничтожил целый город*. Возмездие обрушилось на тех, кто жестоко расправлялся с индейскими племенами, вешал их вождей, порабощал народ... А тот, другой...— Милочо показал в сторону вулкана Фуэго,—...в ноябре 1773 года превратил в руины вторую столицу**, выстроенную в другом месте... А вон тот, — и он показал на вулкан Акатенанго, — ...в декабре 1917 года камня на камне не оставил от третьего города***, воздвигнутого на совершенно ином месте...

Гид уже не знал, что бы такое еще сказать, произвольно приписывая каждому из возвышавшихся колоссов участие в пережитых страной трагедиях,— лишь бы не слышать, как смеется мисс Пауэлл.

Некоторые туристы, делая записи, заполняли быстро мелькавшими авторучками странички своих путевых дневников. Часть туристов подобралась к самому краю обрыва, откуда было удобнее разглядывать глубокую и неприветливую долину, простиравшуюся к самому океану; окаменевшими валами ураганов вздымались горные хребты, а кое-где сверкали антрацитом озера.

Милочо еще не кончил патетически описывать возмездие, обрушенное на конкистадоров, согласно легенде, вулканом Агуа, похоронившим во мгле, под громовые раскаты, целый город, забросав его грязью и камнями, песком и деревьями, вырванными с корнем; и в эту минуту Аларика, повиснув у него на руке и не переставая смеяться, повторила:

---

* В тот день, как гласит легенда, на древнюю гватемальскую столицу — Сант-Яго, в результате землетрясения, хлынул мощный поток воды из озера, образовавшегося в кратере потухшего вулкана Агуа. После этого испанские завоеватели были вынуждены перенести столицу в город Антигуа.

** Речь идет об Антигуа.

*** Сильным землетрясением 25 декабря 1917 года была разрушена нынешняя столица Гватемалы — город Гватемала, впоследствии восстановленный.

— То было прежде, darling... то было прежде... а теперь вулканы стали похожи на вас... они тоже ни к чему не пригодны!

Он освободил руку, будто ничего не слышал. Пристально взглянул на Аларику глазами черной лавы — этим взглядом он пронзил бы ее насквозь, если бы глаза уже не были потухшими! Милочо направился к машине. Все уселись по своим местам, и автобус тронулся в путь по лесистым горным склонам, где дорога простиралась под кронами деревьев. Деревья и сама земля вздрагивали от бега машины, мчавшейся под нескончаемые гудки, отраженные эхом. Милочо нажимал на клаксон не для того, чтобы предупредить столкновение на частых поворотах,— он пытался заглушить все еще звучавшие у него в ушах дерзкие слова и вызывающий смех мисс Пауэлл...

«...то было прежде... то было прежде... а теперь вулканы стали похожи на вас... они тоже ни к чему не пригодны...»

И в ущельях, перекрывая рев мотора,— казалось, не лошадиные силы мчали машину, а боевые быки,— перекрывая ужасающе громкие выхлопы отработанного газа, изливал сигнальный рожок свой тоскливый металлический стон.

Но как тщетно, как напрасно он гудел...

В его руках рулевое колесо — а сам он ни к чему не пригоден... ни к чему... да... да... понимаю... но не хочу слышать, не хочу...

«...то было прежде, darling, то было прежде...»

Да, да... понимаю... но не хочу слышать, не хочу... гудит... гудит... гудит... раз невозможно иначе заглушить все еще звучащие в ушах смех и слова мисс Пауэлл; гудит наперекор этим черным лицам с разинутыми ртами... наперекор черным ртам... с ожерельем черных зубов... ртам... ртам... жуя гипсовую пыль дороги, спускавшейся по нависшим над бездной карнизам, мимо отвесных скал, эти черные рты повторяли: ни к чему... ни к чему... ни к чему...

«...то было прежде, darling, ...то было прежде...»

И он направлял машину меж сотен черных ртов... средь тысяч черных ртов... ни к чему... ни к чему... ни к чему...

Каучуковыми глазницами вращались колеса, и он видел, как они катились, черные, точно ночь, а в ночном небе вместо звезд — разинутые черные рты... и черные рты... и черные рты... повторяют — ни к чему... ни к чему... ни к чему...

А в его руках — руль...

«То было прежде... то было прежде...»

За вытянутым вперед капотом автобуса, — столь крут откос, по которому шел спуск, — можно различить русло высохшей реки, великой водяной змеи, каждое лето сбрасывавшей тут свою песчаную кожу. Когда въезжали в наиболее узкую часть дороги, где едва проходила машина, то увидели тысячи сосенок, приземлившихся, как зеленокрылые самолеты, вышедшие из молниеносного пике. А одна из них, словно плывшее по суше облако росы, сверкала в солнечных лучах радужными капельками...

Милочо перестал гудеть — прислушался. С одной стороны, покрывая горный склон, приземлялись сосны, а с другой — пропасть. И Милочо почудилось, что туристы не только смеялись, но и бормотали: почему *он* у руля?.. Почему он оставил шофера в Антигуа?.. И тут же себе отвечали: ни к чему... ни к чему... ни к чему... А на самом деле — одни вполголоса, чтобы их, чего доброго, не приняли за трусов, протестовали против сумасбродной скорости; другие, потеряв способность рассуждать разумно, в мгновенном и отчаянном опьянении высмеивали встревоженных соседей; третьи, упиваясь красотами пейзажа, ни на что не обращали внимания; наконец, были люди непоколебимого спокойствия, — урезонивая других и себя, они кивком головы показывали на Милочо и как будто

утверждали: с ним не пропадешь, он не только прекрасный водитель, но и человек, отлично знающий дороги своей страны.

«Показывают на меня...— мелькнуло у Милочо, заметившего их в зеркальце, — ...показывают на меня... смеются надо мной!.. Хотят догадаться, почему это я веду машину... Что ж, пусть узнают!..»

Туристы уже не шутили, не смеялись, почти не дышали — ужас был написан на их лицах. Вначале они думали, что водитель, резко поворачивая руль, потерял контроль над машиной и изо всех сил старается избежать катастрофы. Но поняв, что это не так, почувствовав, что он осыпает их проклятиями, а пропасть неумолимо летит к колесам или колеса к пропасти, — туристы стали взывать о помощи:

— Help! Help!

«Помогите!.. Помогите!..» — машинально переводил Милочо, хотя на самом деле ему слышалось: — «Убийца! Убийца!»

— Ага, канальи!.. — вырвалось сквозь зубы. — Я убийца?.. А как тогда назвать ваших air-bombermen'ов* и ваших пилотов, расстреливавших женщин и детей, сбрасывавших бомбы огромной взрывной силы на беззащитные деревушки этого края, по которому вы теперь разъезжаете, как по собственным владениям?.. Как их назвать?.. Убийцами?.. Нет! По-вашему, air-bombermen'ы так и продолжают оставаться air-bombermen'ами, да еще награжденными за свои подвиги, а пилоты — пилотами...

Сумасшедше вращаясь, спускались уже не по дороге, а скорее — по воздуху. Милочо на мгновение увидел в зеркальце расстрелянных из Нагуалькачиты, — их тела перемешались с телами туристов, падающих и поднимающихся, хватающих все, за что только можно схватиться, толкающих друг друга на пол, на потолок, на стекла: дикая пляска черных очков, тропических рубашек и белых зубов — крепких, охлажденных жевательной резинкой...

— Слезайте... слезайте, расстрелянные из Нагуалькачиты!.. — закричал он. — Прочь... прочь... вы уже мертвы... теперь их час пробил... оставьте нас.... оставьте нас одних!

— Трус!

— Трус?

— Трус!.. — ему послышалось, что это повторили те — из Нагуалькачиты.

— Слезайте... слезайте, расстрелянные, и убедитесь, что я — не трус! Правда, я — не трус, darling?.. Правда, сейчас разбомбим деревушки в Калифорнии, darling, а из Калифорнии — в Нью-Йорк?.. В твоей стране всюду можно бомбить!

Аларика закинула руку, предохраняя голову от удара о ветровое стекло, и затем ее вновь отбросило на сиденье — хрупкую... худенькую.

А на самом краю пропасти, куда только что ухнул автобус, уже ничего не было — лишь перемигивались высохшие былинки да полетели вниз, словно кем-то выплюнутые, камешки, и нежными струйками посыпалась земля. Уже ничего не было, кроме молчания, нарушенного на какой-то миг криком — кратким, оборванным, слившимся воедино из многих криков, и прощальным скрежетом задних колес машины, когда передние повисли в воздухе, как шасси бомбардировщика.

— Все американцы!.. — раздались слова Милочо, по-прежнему не выпускавшего руля из рук и не снимавшего ноги с педали.

— Все они американцы!

* Бомбардир, бомбометатель, стрелок американской бомбардировочной авиации *(англ.)*.

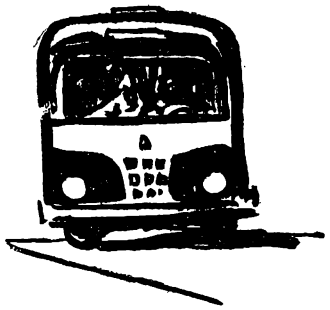
Деревья подхватывали своими жалостливыми ветвистыми лапами падавшие в пропасть тела, но, срываясь, как безжизненные куклы, тела падали вниз — на несколько десятков метров вниз — на острые скалы.

Мало что осталось для расследования. Цепочкой муравьев спустились по крутому обрыву индейцы — возобновившие было на дорогах свою работу пеоны-рабы — и на самодельных носилках из сучьев и лиан почти двое суток вытаскивали трупы. Посланные к месту катастрофы машины возвратились со своим скорбным грузом в город, куда позже за останками жертв прибыл транспортный самолет. Услышав рокот моторов и опасаясь новых бомбежек, содрогнулись жители окрестных деревень. Но этот самолет прибыл не сбрасывать, а принимать груз смерти.

Заснеженной голубоватой грудью вулканы вдыхали мир неба.

Последний труп, разысканный среди обломков скал и колючих кустарников, оказался трупом гида Эмилио Кронера-Харамильо, знаменитого Милочо, — он не был слишком обезображен. Открыв рот, Милочо будто все еще кричал:

— Американцы!.. Все они были американцами!..



Янь Чэнь

Звезды Кремля

Перевод с китайского В. Виноградова

1

Сколько б раз я ни был у кремлевских елей —
Негасимо звезды в вышине горели!

Этих звезд сиянье, землю озаряя,
Стало достояньем сыновей Китая.

Их рисуют дети на бумаге тушью,
Славит их простая песенка пастушья.

Пусть пылает вечно этих звезд величье
На солдатских шапках,
на кудрях девичьих...

2

Сколько б раз я ни был у кремлевских елей —
Негасимо звезды в вышине горели!

Эти звезды делают зорче наше зренье
Так, что видишь дальние века и поколенья.

Этих звезд не скроют ни туман, ни буря;
Я всегда их вижу, даже глаз не щуря,

Гор гранитных кручи проникаю взглядом,—
Я всегда их чувствую, эти звезды, рядом.

3

Сколько б раз я ни был у кремлевских елей —
Негасимо звезды в вышине горели!

Их свирепый ветер не развеет в искры,
Не сотрет их граней туч громада мглистых.

Звезд немало в небе, дальних, синеоких,
Что их свет
пред светом звезд Кремля высоких?

Он сердца волнует яростно и грозно,
И сердца те сами
светят, словно звезды...

«СТАРЫЙ НЕГР И МЕДАЛЬ» *Рис. Г. Валька.*

Фердинанд Ойоно

Старый негр и медаль

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Я. Лесюка и Н. Сулье

«Старый негр открывает оборотную сторону медали» — под таким красноречивым заголовком была помещена в «Леттр франсез» беседа с автором грустной повести о старом негре Фердинандом Ойоно.

Ойоно — молодой, двадцатисемилетний писатель, по происхождению негр из Камеруна (Африка). «Старый негр и медаль» — его вторая книга, первая — «Жизнь боя» — также была написана на французском языке и издана в Париже.

Говоря о своей второй книге, Ойоно особо остановился на характеристике главного персонажа повести. Он подчеркнул, что в этом герое по существу нет ничего героического. Наоборот, это своеобразный тип «хорошего негра»; он прожил долгую жизнь, пожертвовал двумя своими сыновьями, которые погибли на войне, защищая Францию, и не остановился перед тем, чтобы отдать свою землю католической миссии. «Он верит в дружбу белых»,— полуиронически подчеркивает Ойоно.

Для того чтобы как-то отметить немалые услуги, бескорыстно оказанные Франции старым негром Мекой, ему вручают медаль. «Столь праздничный, торжественный день для старика, одной ногой уже стоящего в гробу», стал, по выражению Ойоно, и «днем кризиса...»

Как увидит читатель, кризис этот не только потряс старого негра физически и морально, но и словно нанес сокрушительный удар по иллюзиям великого множества «старых негров», которые все еще верят в «дружбу» колонизаторов.

Подводя своеобразный итог своему замыслу, Ойоно подчеркивает: «Разумеется всего не скажешь в одной книге. Нельзя, дописав последние страницы, исчерпать все содержание. Пусть сам читатель подумает об этом».

В устах Ойоно это звучит отнюдь не как литературный прием. Последние страницы его книги, ее заключительный аккорд, действительно открывают большой простор для размышлений о многострадальной и очень показательной судьбе «старого негра». Здесь действительно есть над чем поразмыслить.

«От великого до смешного — один шаг», гласит известное изречение. Но — как бы говорит своей книгой Фердинанд Ойоно — и от смешного до великого иной раз бывает расстояние не больше. Так «смешной» старый негр, оскорбленный в своих лучших чувствах, неожиданно для самого себя становится своеобразным символом тех поистине великих и грозных событий, какие потрясают сейчас весь колониальный мир.

«Старый негр и медаль» заслужила весьма положительную оценку французской прогрессивной печати. По справедливому выражению одного из критиков — Жана Марсенака,— в этом произведении убедительно и жизненно правдиво показано, как даже те «хорошие негры», которых колонизаторы считают вполне «ручными», в конце концов прозревают и, охваченные чувством гнева, ценой немалых жертв находят дорогу к активной борьбе за справедливость.

Часть первая

I

Мека проснулся еще до «утреннего привета господня» — первого солнечного луча, который, проникая сквозь щель в прогнившей дырявой кровле из рафии, ударял ему обычно в левую ноздрю. Он почти не спал. В глазах у него пощипывало. Мека зевнул и потянулся, желая избавиться от давящей боли в лопатках; можно было подумать, будто накануне он весь день таскал глину для обжига кирпича. Он рассердился на жену, мирно храпевшую рядом. Как можно спать так крепко, когда повестка от коменданта лежит под кроватью, в старом башмаке!

— Келара! — взревел Мека, награждая жену тумаком.— Ну как можешь ты спать, когда у твоего мужа неприятности?

Келара застонала во сне и повернулась на другой бок.

Мека схватил ее за плечи.

— Да проснись же! Как можешь ты спать, когда у меня неприятности!.. О женщина, слабая, как апостолы божьи на масличной горе! Ведь ты знаешь, что я должен спозаранку явиться к коменданту. Помолимся!.. На сей раз обойдешься без молитвы ко всем угодникам. Я не хочу опаздывать... Во имя отца...

Монотонным голосом они принялись нараспев читать молитвы, преклонив колени на своей бамбуковой кровати, точно верблюды, покорно подставляющие спину под вьюк.

Наконец Мека произнес «аминь». Затем поднялся, обернул бедра повязкой и направился к двери.

— Отходил бы ты немного подальше! — крикнула ему вдогонку жена...

Мека поворачивался во все стороны перед женой. Он застегнул куртку цвета хаки и легонько повел плечами. Затем направился к столбу, поддерживавшему кровлю в центре хижины, в который был наискось вбит огромный ржавый гвоздь, служивший вешалкой для шляп. Торжественно снял с гвоздя свой старый, потемневший от дыма пробковый шлем, висевший на истрепанном ремешке. Дюжина тараканов в сопровождении молодой сколопендры выползли оттуда и побежали по направлению к Келаре, и она сразу раздавила их своей твердой, как мотыга, пяткой. Для верности Мека осмотрел внутренность шлема, постучал по нему, вновь осмотрел и только после этого надел на голову. Для пущей элегантности он опустил ремешок под подбородок.

— Шлем тебе к лицу,— одобрила жена,— ты прямо американский пастор.

Мека улыбнулся и присел на старый ящик из-под сардин.

— Принеси мне поесть,— сказал он,— к белому с пустым брюхом не ходят.

Жена принесла оставшееся с вечера блюдо маниоки и толченых земляных орехов. Когда блюдо опустело, Мека запил еду кружкой воды и поднялся.

— Будь осторожен,— посоветовала Келара.— Держи себя в руках, разговаривая с белым. Хоть раз в жизни пожалей меня. Не отвечай стражникам, ты и сам знаешь, что им ничего не стоит оскорбить даже такого пожилого и уважаемого человека, как ты...

— И рта не раскрою,— пообещал Мека.— Но только если я не вернусь, скажи священнику...пусть все уладит, он должен это сделать для меня...

Мека вышел из хижины. Жена, усевшись возле двери, провожала мужа глазами до противоположного конца деревни, пока силуэт его не расплылся в неясное белое пятно.

Хотя их деревня была расположена недалеко от города, Мека поднялся чуть свет. Он не раз бывал в городе, когда ему делали уколы в «Негритянской погибели»*. Точно он не мог определить расстояние, отделявшее их деревню Дум от города. На этом пути он делал лишь одну остановку: у Мами Тити, женщины, приехавшей с морского побережья; в искусстве гнать арки ** ей не было равных. От дома Мами Тити, проживавшей в туземном квартале, и начинался в сущности город. Отсюда до управления коменданта, помещавшегося на крутом холме, было рукой подать.

Мека двинулся кратчайшим путем, он шел тропинками, протоптанными в траве среди чахлого кустарника, обходя небольшие колониальные поселки. Штаны его вымокли почти до колен. В этот утренний час травы под тяжестью росы клонились к тропинке. Мека раздвигал их палкой, но они, как резиновые, снова клонились и цеплялись за его штаны, щедро орошая их влагой.

Мека вздохнул: дорога наконец-то привела его к туземному кварталу. Взору его предстал возвышавшийся на соседнем холме город белых. Мека потряс левой, затем правой ногой. При каждом его движении промокшие холщовые штаны противно хлюпали. Он подвернул их до самых колен, обнажив икры, похожие на веретено. Теперь Мека шел вдоль хижин, он миновал одну, другую и остановился перед знакомой дверью. Тут он всегда делал привал по пути в город.

В хижине уже царило оживление. Все, кто направлялся на работу в европейский квартал, заходили сюда, к Мами Тити, чтобы «заправиться горючим». Присев на корточки или устроившись на пустых ящиках, посетители неторопливо цедили арки и громко разговаривали.

Вошел Мека.

— Мир честной компании! — произнес он, приподнимая шлем.

Все присутствующие повернули головы в его сторону.

— Входи с миром, — ответили они.

— Доброе утро,— сказала Мами Тити.— Что с тобой стряслось, Мека?

— Да этот черт... белый,— пробормотал он, ища взглядом свободное место.

— Пусть молодой человек встанет и уступит место пожилому мужчине,— обратилась Мами Тити к оборванному юноше, который подбрасывал в воздух пустой стакан и ловко ловил его, сложив ладони лодочкой.

— Скажи уж прямо, чтобы я убирался, ведь за вторую порцию мне платить нечем!..

— Не знаю, что мешает мне вышвырнуть тебя к дьяволу! — завопила Мами Тити; тяжело топая ногами, она подошла к юноше и остановилась перед ним.

Привычным движением она поднесла большой палец к ноздре и добавила неожиданно томным голосом:

---

* Больница. *(Здесь и далее — примечания автора).*

** Туземный алкогольный напиток.

— Не люблю я таких историй, малыш! Могу поднести тебе стаканчик и бесплатно...

Эти слова она подкрепила игривым подмигиванием.

— Единственно чего я хочу, это чтоб ты был повежливее... Я дам тебе вина, сколько твоей душе угодно...

— Садись сюда, папаша! — проговорил юноша и резко отпрянул, избегая прикосновения Мами Тити.

Они смерили друг друга взглядом, и молодой человек, усмехнувшись уголком рта, удалился, похлопав себя по набедренной повязке. Удовлетворенно вздохнув, Мека опустился на старый бидон из-под бензина, еще хранивший тепло ушедшего юноши. Мами Тити направилась к двери.

Мека нацепил свой шлем на колено, а палку прислонил к стене. Он потер руки, зажал их между коленями, зевнул и откинулся назад.

— Ты, должно быть, рано поднялся, видно поохотиться решил! — заметил его сосед, не спускавший глаз со штанов Меки.— Доброго охотника, словно девку, издали чуешь...

— Я шел напрямик,— сказал Мека, смущенно улыбаясь.— Только на проселочных дорогах и чувствуешь себя спокойно... Ничего не могу с собой поделать... Эти огромные булыжники на шоссе...

Он сделал выразительную гримасу, словно ему причинили боль.

— Твоя мать, должно быть, ела пятнистых крыс *, когда носила тебя во чреве! — расхохотался сосед.

Рассмеялись все присутствующие.

— Перестаньте вы там! — вмешалась Мами Тити.— Этот человек — настоящий мужчина, и не только потому, что ходит в штанах... Таких мужчин теперь больше не встретишь...

— Клянусь бегемотом, я его где-то видел! — не унимался сосед Меки. — Сдается мне... да ведь это ты отдал свою землю доброму боженьке!

— Католической миссии, — поправил другой.

— Ну, это одно и то же...

— Вот именно! — подтвердила Мами Тити; ее мощные бицепсы напряглись от усилия: нелегкое дело таскать объемистую бутыль со спиртным от одного посетителя к другому.

— Значит, это ты? — настаивал сосед Меки.

— Да, я.

Удивленное молчание воцарилось в хижине.

— Экий болван! — вырвалось у кого-то.

— Ты, по крайней мере, говоришь то, что думаешь! — заметил Мека.

— Я не удивлюсь, если окажется, что у него вырвали эту землю силком,— вставил кто-то.

— Ты недалек от истины,— признался Мека.

— Это комендант тебя вызывает? — продолжал его собеседник.

— Да...

— С такими глазами, как у тебя, не являются к коменданту!— воскликнула Мами Тити, протягивая Меке наполненный до краев стакан.— Посмотрит он на твое постное лицо — и разговаривать не станет!

— Конечно, это неразумно — то, что я сейчас собираюсь сделать,— пробормотал Мека, отрицательно покачивая головой.— Правительство...

* Порода полосатых крыс, которые встречаются только вблизи тропинок, проложенных людьми.

— Какое еще там правительство? — удивилась Мами Тити.

— Я хочу сказать комендант...

Мека снова отрицательно помотал головой и продолжал:

— Если правительство догадается, что я выпил...

После минутного колебания Мека правой рукой все-таки вырвал стакан из рук Мами Тити. Затем торопливо перекрестился левой рукой и сжал стакан в ладонях, надеясь устоять против искушения.

— Если комендант догадается, что я выпил спиртного, мне не миновать тюрьмы...

— А ты возьми потом да и высоси два апельсина,— посоветовал тот, кто обозвал Меку болваном.— Если он спросит, пил ли ты, скажешь, что съел апельсин...

— Белых обмануть не трудно! — заключил другой.

— Да, это мысль,— обрадовался Мека, разом осушая стакан.

Он сделал гримасу и рыгнул.

— Вот это вино, — заявил он. — Как сказать на языке белых: «Я съел апельсин»?

— Я высосал апельсин, — перевел кто-то.

— Апельсин высосал, — повторил Мека.

«Ловко придумано. Малый и впрямь неглуп,— сказал он себе.— Он, Мека, никогда бы до такого не додумался: «апельсин высосал». Изо рта у него будет пахнуть апельсином. Белые, они всему верят. Ведь комендант еще не догадался запретить продажу апельсинов. Человек, придумавший эту штуку, поистине мудрее черепахи».

Туземцам было запрещено гнать дешевые алкогольные напитки из бананов и маиса, чтобы заставить их покупать ликеры и европейское красное вино, которыми были завалены все магазины Торгового квартала. Вот уже некоторое время Птичья глотка (негры прозвали его так из-за непомерно длинной шеи) и его люди сбились с ног, пытаясь накрыть хоть кого-нибудь из тайных торговцев спиртным. Облавы следовали одна за другой. Арки оказалось обнаружить не менее трудно, чем увидеть собачьи слезы. Если бы Птичья глотка мог подняться до зари, когда белые в колониях, обессилев от тропической жары и выпитого накануне виски, еще спят под москитным пологом и тяжело дышат перегаром,— он заметил бы, какое невероятное оживление царит в туземном квартале и, в частности, у Мами Тити. Скрепя сердце Птичья глотка обратился к помощи преподобного отца Вандермейера. Миссионер с амвона решительно осудил напиток, от которого, по его словам, чернели зубы и души христиан. Он провозгласил, что каждый глоток арки ввергает человека в смертный грех.

Это сделало положение Меки почти трагическим. В католической миссии Дума его частенько ставили в пример всем прочим, как доброго христианина. Он «отдал» свои земли церкви и жил теперь в жалкой маленькой хижине, в деревне, имя которой было присвоено католической миссии; деревня эта лежала у подножья христианского кладбища. Мека сподобился невиданной благодати: он оказался владельцем земли, которая в один прекрасный день приглянулась доброму боженьке. Белый священник открыл ему глаза на дивный жребий Меки. Как пойдешь против воли всеблагого господа? Мека, который тем временем успел возродиться с помощью крещения, спасовал перед служителем всемогущего. С восторгом наблюдал он, как возводилось жилище господне на земле его отцов. Когда, накануне торжественного освящения храма епископом, Меку пригласили выбрать себе место в церкви, он облюбовал ту ее часть, в глубине нефа, за последним рядом верующих, что предназначалась для нищих. Пол здесь был покрыт цементом пепельно-серо-

го цвета, уже засиженным мухами. И тут Мека каждое воскресенье выстаивал всю обедню на коленях рядом со стариком, пораженным проказой. Несмотря на расстояние, отделявшее его от алтаря господня, Мека во время причастия всегда оказывался там первым, даже раньше священника. И все видели, как он возвращался, полный самоуничижения, неся в душе своей бога, как он шел с сияющим челом, словно преображенный. В глазах христиан Дума Мека уверенно шагал по стезе, что прямехонько ведет в рай; он был одним из тех избранных, которые лишь на мгновение задержатся в чистилище!

Вот почему Мека заглядывал время от времени к Мами Тити не без угрызений совести. Кому-кому, а Меке не следовало бы подавать дурной пример. «Но ребенок, сосавший материнскую грудь, не забудет вкуса молока»,— мысленно говаривал он себе. Как забыть африканский джин, несколько капель которого попали ему на язык в том возрасте, когда у него еще не было даже волос на теле и он еще не отведал тела и крови господней? К тому же этот напиток был прежде всего лекарством. Ибо, едва пригубив его, он забывал о своем ревматизме. Не желая обманывать отца Вандермейера, Мека говорил на каждой исповеди: «Отец мой, я утолял свою жажду, когда вполне можно было терпеть ее». Отец Вандермейер удивлялся и отвечал: «Брат мой, утолять жажду отнюдь не грешно, не следует быть более суровым, чем того требуют господь бог и церковь». Вот каким образом Мека безотказно допускался к причастию.

Мека осушил второй стакан. Вокруг царило радостное оживление.

— Он садится на постель! — исступленно кричал кто-то.

— Трааах! — отвечали присутствующие, подражая глухому звуку, который слышится, когда чей-нибудь зад опускается на бамбуковую кровать.

— Звуки там-тама доносятся из зарослей бавольника!

— За беседой не забудем о выпивке! — хором подхватили присутствующие.

— Ite, missa est...*

Все расхохотались.

— Я с вами прощаюсь, друзья! — заявил Мека.— Ведь путь мой лежит к коменданту.

Он нахлобучил шлем на голову. Ему показалось, что он впервые видит дорогу, расстилавшуюся перед ним. Она терялась вдали, на вершине холма, там, где виднелась железная кровля резиденции коменданта.

— Великолепная дорога,— пробормотал Мека,— воистину великолепная! О дорога! Дочь наших непосильных трудов, приведи меня к белому...

В голове его вертелась какая-то мелодия. Он даже принялся насвистывать, описывая палкой круги в воздухе. Затем положил палку на плечи и ухватился за ее концы обеими руками. Так было очень удобно. Меке показалось, что он избавился от тяжелого груза. Он перестал насвистывать мелодию, но она продолжала настойчиво звучать у него в голове. Мека принялся петь. То была старинная песенка, еще довоенных времен, времен Берто **. Слова сами приходили ему на память:

У меня стало солоно во рту,
Когда я заглянул тебе под мышки...

* Ступайте, обедня окончена... *(лат.)*.
** Колониальный администратор.

Мека пел, пританцовывая. И впрямь ли это его ноги? Какое там! Уж больно легки! Как славно чувствовать себя свободным, молодым, счастливым...

— Папаша, ты, видать, готов! — крикнул ему какой-то прохожий.

— Что верно, то верно! — согласился Мека.

И снова затянул свою песню.

Негры, направлявшиеся в европейский квартал, сгрудились вокруг него. Они хором подхватили припев.

Мека и не заметил, как очутился на вершине холма.

— Куда идешь, папаша? — спросил его кто-то.

— Туда вон, прямо, в тот дом, куда указывает моя палка... Я должен повидать коменданта.

— Припаси для меня краюху хлеба...

— И бутылку ликера в придачу,— поддержал шутку Мека.

Все расхохотались. Мека поочередно пожал руки стоявшим вокруг. Он снял шлем: перед ним находилось управление коменданта.

В Думе хорошо знали, к чему приводят официальные приглашения. Вот почему вызов к коменданту хоть и считался честью, но честью зловещей. Мека не принадлежал к числу тех, на кого начальство обращает внимание. Всецело погруженный в размышления о господе боге, с которым он беседовал, распростершись во прахе, среди мух, жужжавших в церкви, он старался как можно незаметнее прожить на бренной земле: к ней его привязывало пристрастие к африканскому джину, сардинам и копченому дикобразу. Должно быть, комендант обладал всевидящим оком господним, коль скоро он заинтересовался Мекой. После тщетных попыток объяснить себе причину неожиданного вызова Меки в город, его односельчане вновь погрузились в сон, твердо веря, что в округе скоро станет одним мучеником, одним святым мучеником больше.

Одна за другой распахивались двери, пропуская во двор скотину, которой разрешалось спать в хижинах. За животными из домов выходили люди в набедренных повязках или покрывалах. Ополоснув лицо водой, они небольшими группами направлялись на край деревни к хижине, служившей часовней. Жена Меки, Келара, присоединилась к ним.

— Хорошо ли ты спала, Келара? — обращались к ней со всех сторон.

— Какое там, всю ночь пересчитывала циновки на потолке... — отвечала она.

— Я тоже,— заметил кто-то.

Все избегали говорить о том, что гнало сон от их глаз. В глубине души переживали они то, о чем молчали их уста.

Верующие столпились в небольшой глинобитной часовне, где Игнатий Обебе, законоучитель, читал вслух молитвы. Келара опустилась на колени на старый ствол зонтичной пальмы с обрубленными сучьями; такие стволы служили в часовне скамьями для прихожан. Она начала молитву всем угодникам, которую не успела прочесть вместе с мужем. Больше она ни о чем не думала.

Вошел Игнатий Обебе. Этот гигант с бычьей шеей и выпученными, быстро бегающими глазами наводил страх одним своим видом. Лоб у него почти отсутствовал. Но самым комичным было то, что из этой груды мяса исходил пискливый голосок. Когда Игнатий Обебе говорил, могло показаться, будто верещит ребенок.

В то утро на законоучителе был засаленный жилет, не доходивший до пупа. Огромное брюхо выпирало между третьей пуговицей жилета и грубой шерстяной повязкой, которую он носил вокруг бедер. Он начал молитву. Собравшиеся хором вторили ему.

Все жители Дума столпились вокруг часовни, когда Игнатий Обебе произнес свое заключительное «аминь». Солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Оно струило приятное тепло, подобное тому, какое исходит от домашнего очага.

— Слава Иисусу Христу! — возвестил Игнатий, присоединяясь к группе верующих.

— Во веки веков! — ответили поселяне, расступаясь, чтобы дать ему место в центре круга.

— Келара, сестра моя! — начал Игнатий, потирая руки. — Твердо веруй в бога. Ничто не совершается без его соизволения... И те, кто верует в него... никогда не обманутся.

— Уж что-что, а в бога-то я верю! Вот прямо тут в моей старой груди так и бьется вера. Сама слышу... И каждый раз, когда я гляжу на небо, обязательно думаю: наш добрый боженька находится там, наверху! Но только с этими белыми...

— Он всех сильнее! — возопил Обебе, вздымая облако пыли своими огромными плоскими ступнями.

Он вперил взор в небо, но, ослепленный стальным блеском кучевых облаков, отражавших солнце, опустил голову и протявкал, словно почерпнув в созерцании небес новые силы:

— Все от бога!

— Не пойду я в поле,— задумчиво произнесла Келара.— Сегодня тяжелый день... Буду ждать Меку у дверей дома, все время буду молиться... Если он не вернется, отправлюсь к священнику, как мне наказал муж. Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков! — ответил сдавленным, тонким голоском Игнатий Обебе.

Толпа поредела.

Сколько времени просидела Келара у порога дома, устремив взор в тот конец деревни, где исчез ее муж? Солнце достигло уже зенита и теперь клонилось к закату. Измученные крестьяне возвращались с полей с мотыгами в руках и четками на шее; набедренную повязку им заменяла старая тряпка. Едва волоча ноги, с трудом переводя дух, они все же подходили к Келаре; поровнявшись с супругой Меки, они находили в себе силы сделать красноречивую гримасу, выражавшую беспокойство. По мере того как солнце спускалось все ниже, надежды Келары таяли. Тени стали длиннее. Вечерние небеса прочерчивал полет ласточек. Келара совсем приуныла.

И в это самое время она услышала шум автомобиля. Его услыхала и вся деревня. Люди высыпали на пороги хижин. Кто-то крикнул: «Вот он!»

Автомобиль въехал на середину двора; его сопровождала толпа голых, неистово галдевших мальчишек. Мека сидел рядом с белым, который вел машину; время от времени он наклонялся к дверце, чтобы вся деревня могла его получше разглядеть. Когда автомобиль остановился у хижины старика, белый пожал Меке руку и помог снять ящик, который, видно, был очень тяжелым, судя по напряженным движениям обоих мужчин. Затем белый тронулся с места, помахав рукой Меке, а тот в ответ размахивал шлемом до тех пор, пока автомобиль не скрылся из виду. Вознося хвалу богу, Келара подбежала к мужу.

Вся деревня собралась вокруг Меки. А этот смиренник стоял теперь, гордо выпятив грудь. Жена приняла из его рук шлем. Палку он протянул какому-то юноше, попутно одарив его широкой улыбкой.

— Долго ты еще собираешься держать нас в неведении? — сердито крикнула Келара.

— Мы тебя тоже об этом спрашиваем! — подхватила толпа.

Мека откашлялся, затем облизнул пересохшие губы.

— Так вот! — начал он.— Комендант пригласил меня и сообщил, что великий вождь белых, тот, что находится в Тимбе, приедет четырнадцатого июля вручить мне медаль...

Слова эти были встречены дружным молчанием. Его нарушили пронзительные вопли женщин. Они испускали крики радости, которые белый, еще новичок в Африке, принял бы за сигнал тревоги. Женщины сгрудились и образовали полукруг перед крыльцом Меки. А он, устроившись рядом с женой, ритмично покачивал головой.

— Что случилось? — спрашивали запоздавшие.— Что случилось?

— Говорят, будто вождь белых из Тимбы нарочно приедет сюда, чтобы вручить Меке медаль, присланную из Парижа...

Так отвечали те, кто первым услышал новость. К наступлению ночи толковали уже не о медали из Парижа, а о том, что самый главный вождь всех белых, президент республики, самолично пожалует сюда и приколет медаль на грудь Меке...

— Не нравится мне эта шумиха, которую подняли еще до того, как мне повесили медаль,— прошептал Мека жене, ткнув себя указательным пальцем в грудь.— С белыми никогда нельзя знать...

Мека выпроводил женщин. Этот преждевременный праздник мог накликать беду. Он не сомневался, что медаль уже лежит в одном из ящиков письменного стола коменданта или же вождя белых в Тимбе. Но ведь до 14 июля осталась еще неделя, и с ним самим, с Мекой, могла приключиться какая-нибудь беда. Вдруг он почувствовал себя стариком. И испугался. «Ведь как бывает со стариками,— подумалось ему,— утром заболел, а к вечеру помер». Он попытался припомнить свой возраст. Но, увы, безуспешно. Мека пожалел, что родился до того времени, когда стали записывать каждого появлявшегося на свет младенца в большую книгу. Он походил на те вещи, что не имеют возраста; зачастую их считают более древними, чем это есть на самом деле. Он поднес руку к голове и потрогал свои волосы. Радость переполнила его... Почтенные старики со всей деревни пришли в его дом и бодрствовали вместе с ним. Был здесь Нюа, так же как и Мека, забывший, сколько лет он живет на земле. Нюа весь высох, точно вяленое мясо, а нижняя челюсть у него непрерывно тряслась. Он вечно перекатывал языком орешек колы. А Нти, тот выделялся среди односельчан начинавшейся у него слоновой болезнью. Нти не был уроженцем Дума. Он явился сюда, привлеченный близостью города. И вот уже двадцать лет подряд каждое утро отправлялся туда в надежде наняться на работу. Он брался за любое дело, и к концу дня с трудом набирал несколько мелких монет. В дни сбора какао Нти предлагал свои услуги Меке. Вот почему на протяжении двадцати лет тот приглашал его разделять с ним трапезу...

Мвондо доводился Меке родным племянником. Хотя он был сыном младшей сестры Меки, но уже давно оплешивел. Вся деревня считала, что Мвондо никогда не был молодым. Ходила легенда, будто он так и родился со всеми зубами... Поэтому никто не удивлялся, что к тридцати годам Мвондо стал совершенно лысым, морщинистым и иссох, как старая ящерица.

Эвина, бывший повар священника, удалился в Дум после того, как потерял последние зубы на службе у белых. Рот его ввалился, подборо-

док свисал к шее, и благодаря этому нос с глубоко вырезанными ноздрями, в которых виднелась застывшая белесая жидкость, сильно выдавался вперед. Жена бросила его. Куда теперь годился он с согбенной спиной и руками, дрожавшими, словно листья на ветру? Целые дни он проводил, греясь на солнышке, и с мудрым спокойствием ожидал смерти. Все, кто приглашал его к столу, знали, что делают это из чистого милосердия... Ведь нечего было надеяться, что он, в свою очередь, сможет отплатить тем же.

Здесь были также родичи Меки и родичи его жены, их шурья и даже племянники одного из свояков двоюродного брата Келары. Эти молодые люди пришли в Дум на день-другой, но жили здесь уже целую неделю и каждый вечер откладывали свой отъезд на следующее утро.

Все эти люди, собравшиеся вокруг керосиновой лампы, которую Мека поставил между коленями, явились сюда разделить его радость. На каждом предмете, где только мог уместиться человеческий зад, восседало по гостю. Некоторые, приподняв набедренную повязку, чтобы не запачкать ее, усаживались голыми ягодицами прямо на землю.

— Что ж дальше? — спросил Нюа с нетерпением.

— Когда я пришел,— вновь начал Мека,— коменданта еще не было в управлении..

— Я ж говорил вам, что Мека ушел слишком рано,—вставил кто-то.

— Все идет своим чередом, но помолчи, ведь не ты рассказываешь,— пробурчал Нюа.

— Сегодня был приемный день, и все наперебой разговаривали,— продолжал Мека, — веранда резиденции была полна народу, когда я пришел. Я ждал столько времени, сколько требуется для того, чтобы разгрызть орех колы, который я разделил с... этим, как бишь его?.. Кто из вас помнит, как зовут того протестантского законоучителя?

— Какого?

— Того, у которого произошла история с женщиной и трупом павиана...

— Ах да! Знаю. Это... это Давид Ондуа.

— Именно он,— подтвердил Мека.— Мы оказались с ним рядом, на одной скамье. Он пришел по какому-то делу, что-то насчет какао... Как я вам уже говорил, мы разгрызли орех колы. Едва я успел выковырять скорлупу из зубов, как появился комендант. Вы знаете, как это бывает. Комендант входит, начальник стражи вопит. Все солдаты и приглашенные вытягиваются. Начальник стражи снова вопит, и вы продолжаете заниматься тем, чем занимались до этого...

Меку внимательно слушали. После паузы он продолжал:

— Меня вызвали первым. Комендант велел мне сесть напротив себя. Позвал переводчика. Тот стоял между нами. Белый долго говорил. Переводчик пересказал мне его слова приблизительно так: «Мека, ты пользуешься уважением среди своих соплеменников. С тех пор как я живу в этой стране, ни разу я не видал какао, высушенное лучше, чем у тебя».

— Да уж если говорить о какао, лучше твоего не найдешь,— подтвердил Нюа.

— «Ты много сделал, чтобы помочь делу Франции в этой стране. Ты отдал свои земли миссионерам, а еще раньше послал двух сыновей на войну, где они нашли себе славную кончину... (Мека отер воображаемую слезу). Ты нам друг». Он протянул мне руку через стол и закончил: «Медаль, которую мы дадим тебе, будет свидетельствовать, что ты нам больше, чем друг». Словом, переводчик говорил что-то в этом роде. Я попросил его передать коменданту, что мне очень приятно быть другом белых, и захотел узнать, кто будет награждать меня, потому что

комендант сказал «мы». Тогда белый засмеялся. Он еще что-то сказал переводчику, и тот объяснил, что вождь белых из Тимбы собственной персоной, а не какой-то там помощник, приедет и приколет мне медаль на грудь. Затем я дождался американского законоучителя *. Мы ведь с ним свойственники. В племени Йемвам он доводится мне шурином через моего шурина **. Дочь его вышла замуж за человека из племени Аусса. Мы и отправились к ней в полдень. Какой мы там ели кускус! Только в племени Аусса умеют приготовлять такой кускус! После обеда мы пошли в Торговый квартал. Там я встретил господина Коббинголома-Кроминопулоса, который всегда скупает у меня какао. Он предложил мне взять у него в лавке все, что я захочу.

— Даром? — спросил Мвондо, и в голосе его прозвучало недоверие.

— Представь себе, даром. Как видно, сердце подсказало ему этот поступок... Хотя точно я не знаю, но не сомневаюсь, что он меня здорово обворовывает.

— Может быть, он опасается, что скоро умрет, и хочет примириться с господом,— предположил Эвина.

— Уж если кто стоит одной ногой в могиле, так это, конечно, он, старый Коббинголом! — послышался из темноты чей-то голос.

— Вот я и выбрал себе ящик с сардинами,— продолжал Мека.

Все головы повернулись к ящику, который уже успели задвинуть под бамбуковую кровать.

Чей-то громадный силуэт возник в дверном проеме, и пискливый голосок произнес:

— Слава Иисусу Христу!

Присутствующие хором ответили:

— Во веки веков!

— Это ты, Игнатий? — спросил Мека, поднимая глаза; при этом он пяткой еще глубже задвинул ящик с консервами под кровать.

— Я пришел разделить вашу радость, хоть и не знаю ее причины.

— Мвондо! — обратился Мека к племяннику.— Ты у своих, уступи же место законоучителю...

Мвондо покорно встал и прислонился к стене. Игнатий уселся против Меки.

— Видишь, Келара, ведь я тебе говорил, что с ним ничего не случится...

— Я ни на минуту не теряла надежды,— ответила Келара.

— Итак, брат мой,— произнес пискливый голосок,— поделись же со мной своей новостью. Что стряслось?

— Так, пустяки,— ответил Мека с наигранной скромностью,— вождь белых из Тимбы самолично приедет, чтобы приколоть мне медаль на грудь... сюда вот... (Он снова ткнул в грудь указательным пальцем).

— Радуюсь за тебя, брат мой,— сказал Игнатий.— От всей души желаю, чтобы ты сподобился и другой медали, истинной, той... Удостоимся ли мы ее? Кто знает?

Мека нахмурил брови.

— Наш мир погряз в скверне,— продолжал Игнатий. — На земле царит гордыня. Да, гордыня толкает нас к уничтожению всего, что создал господь... Возьмем, к примеру, проституцию, которая расцвела в туземном квартале... Или алкоголь, что привозят... постоянно привозят... алкоголь, иссушающий наши души... Или взять еще дымовую бомбу, придуманную белыми... Разве не следует видеть в том возвещенные

* Протестантский законоучитель, туземец.

** Он из того же племени, что и шурин Меки.

нам знамения, которые предшествуют концу света? Мир на пути к тому, чтобы испытать судьбу Люцифера, говорю я вам, и будущее меня страшит.

Мека еще больше нахмурился.

— К чему говоришь ты все это? Уж не из-за моей ли медали? — спросил он дрожащим голосом.

— Нет и нет,— кротко ответил Игнатий.— Я говорю об иных вещах, которые куда важнее медали...

— Святые угодники! — воскликнул измученный спором Мека.— Неужели нужно жить, каждый день ожидая конца света? И уж если тебя награждают медалью, неужели надо от нее отказываться из-за дымовой бомбы и конца света? Кстати, что это еще за дымовая бомба?

— Порождение гордыни! — не задумываясь, ответил Игнатий.— Белые придумали такую бомбу, что если ее сбросить сюда — не останется больше ни деревьев, ни земли, ни всего, что вы видите и слышите... Все мы превратимся в дым.

— Ну и дела! Когда же белым надоест причинять нам неприятности?.. После артиллерии и пулеметов — еще и дымовая бомба!

— Мы, миссионеры, как совы,— заявил Игнатий, широко улыбаясь.— Стоит нам только начать возвещать будущее — и все уже кричат о колдовстве... Мека, что ты уставился на меня такими злыми глазами? Я говорю чистую правду.

— Но ты никогда не говорил правды о своем безбрачии! А между тем, ты ведь не католический священник.

— Все дело в обете, который я дал господу богу.

— Но ведь брак — такое же таинство, как крещение, причастие и все прочее...

— Не знаю, что тебе и сказать... Не думаю, что я смогу служить богу, если под боком у меня будет женщина.

— Ну, ты ведь у нас праведник,— насмешливо заметил Мвондо.

— Послушай, господин праведник,— вмешался Нюа,— не родился же ты законоучителем! И до того как ты им заделался, никто толком не знал, что это такое...

На лице Обебе застыла гримаса глубочайшего презрения. Он оглядел по очереди всех своих собеседников, затем бросил им в лицо:

— Прощаю вам, ибо вы не ведаете, что творите...

Затем он поднялся и исчез во мраке.

— Чего вы к нему пристаете? — спросил кто-то, ерзая на земле.

— Это он к нам пристает! — откликнулся Нти.— Если уж он не мужчина, сидел бы себе смирно!

— Такой-то верзила! — прыснул кто-то.

— Уверяют, будто это так, я сам слышал,— подхватил другой.

— Можете не сомневаться! — подтвердила Келара.— Вы только взгляните на его огромное брюхо!

Все расхохотались.

— Вот протестантские законоучители — это совсем другое,— пробурчал Эвина,— они, по крайней мере, настоящие мужчины.

— Знаете, с законоучителем, что был со мною в резиденции, произошла забавная история,— начал Мека.

— Я как раз хотел спросить тебя, что это за история,— поинтересовался кто-то.

— Вы ж ее слыхали! — сказал Мека, которому хотелось, чтобы его хорошенько просили.

— Нет! Не слышали! — закричали собравшиеся.

Мека откашлялся. Все взоры обратились к нему.

— Сейчас он, как вы знаете, женат,— заговорил Мека.— Так вот, еще до свадьбы он был протестантским законоучителем в деревне моих свояков. И там он влюбился в одну из жен вождя. Объясниться с ней он не посмел. Дабы изгнать беса, который поселился в его сердце, он питался только телом господним, запивая его глотками святой воды. Он изнурял себя постом и молитвой, жестоко истязал свою плоть. Так проводил он ночи напролет, стоя на коленях у изножья своей постели, обливаясь потом, уткнув указательный палец в землю и высоко подняв правую ногу. Как-то отправился он поохотиться на обезьян с арбалетом. Ему удалось убить павиана. Довольный возвращался он в деревню, и вдруг повстречал в лесной чаще женщину, смущавшую его добродетель. Вместо того чтобы, не говоря ни слова, броситься прочь, он протянул ей труп павиана. Затем расхрабрился и заговорил: «Можешь сказать, что нашла его в зарослях. Можешь спокойно взять его... не раздумывая...» Жена вождя повела себя так, как ведет себя в таких случаях любая женщина. Всем своим видом она, казалось, говорила: «Ну же, смелее, скажи мне все, что тебе хочется сказать». И не в силах больше сдерживаться, законоучитель сказал ей: «Тебе ведомо, что уста мои священны. И я не могу утверждать, будто люблю тебя. Но только вот это...», — он сделал недвусмысленный жест.

Конец истории потонул в дружных взрывах хохота.

— Здорово сказано! — с трудом выдохнул кто-то.

— Никогда я не... слы... слыш... слышал, чтобы так разговаривали с... с... женщинами! — заикаясь, выдавил другой.

— Ну этот-то знал, чего хотел! — заметил Мвондо.

— От кого ты слышал эту историю? — спросил Нюа.

— Мой шурин рассказывал мне, что один совершенно надежный человек рассказал ему, будто он сам слышал, как рассказывали, что эта история произошла на самом деле...

— Куда идет мир? — заметил кто-то.— Люди рождаются и умирают... Встречаются мужчины, которые на самом деле вовсе и не мужчины...

— Оставьте Игнатия в покое! — воскликнула Келара.

Все снова рассмеялись.

— Я потому и вспомнил о нем, что спросил себя... куда идет мир?— продолжал тот же голос.

— Если все, что рассказывал Игнатий, правда...— начал другой.

Всех клонило ко сну. Мека и его друзья задумались. Смех умолк сам собой. Никто больше не думал о медали.

— Куда идет мир? — хриплым голосом повторил совсем уже засыпавший Мека.

На кровле надрывно кричала ночная птица.

II

Если выйти из Дума и миновать два ручья, четыре деревушки, три рощи да три реки, то окажешься в небольшой деревеньке, где Келара в один прекрасный день увидела свет божий у подножья огромного дерева. В то самое утро, когда Мека отправился в город, брат Келары Ангамба заканчивал свой первый завтрак. Он состоял из двух аппетитно хрустевших кукурузных лепешек, натертых огурцом, и куска хорошо зажаренной старой змеи. Собака с грязновато-коричневой шерстью следила за Ангамбой жадным взором, стараясь осмотрительно держаться на таком расстоянии, чтобы хозяин не мог пнуть ее ногой. Ангамба бросил ей несколько подгоревших корочек; но когда он принялся за жаркое, подрумянившееся в пальмовом масле, пес Джолтан по выражению глаз

своего господина понял, что нет никакой надежды полакомиться хотя бы крошечным кусочком змеи. И тем не менее пес проделывал головой забавные движения: когда рука человека касалась блюда, собачья голова клонилась к земле, но по мере того как рука поднималась ко рту, поднималась и голова собаки. Мясо змеи дважды проделывало путь от блюда ко рту человека. Когда Ангамба облизал пальцы, собака обиженно отошла к очагу.

— Ну и обжора этот пес! — проговорил Ангамба, отрыгивая и протягивая руку к бамбуковой полке, где стояло ведро для умывания, находившееся здесь как нельзя более кстати.

Его жена, шагавшая взад и вперед по хижине, негромко застонала, затем послушно направилась к полке, взяла тыкву, служившую чашей, и погрузила ее в ведро. Она подошла к мужу, держа эту диковинную чашу между большим и указательным пальцами, с ее кисти стекала вода. Она двигалась маленькими шажками, стараясь удерживать руку в горизонтальном положении.

Муж невидящим взглядом смотрел на нее. Он зажал чашу из тыквы в своих огромных ладонях и осушил ее тремя мерными глотками; было видно, как ходит взад и вперед его кадык. Жена терпеливо ждала. Он протянул ей чашу и вытер губы тыльной стороной ладони. Затем снова рыгнул и на сей раз почесал себе живот мизинцем. Это означало, что он наелся досыта.

— Бьенг меня немного надул при дележе змеи, мне едва на один зуб хватило,— проворчал Ангамба.

— Пеняй на себя,— сказала жена.— Раз уж ты первый заметил змею, надо было потребовать от Бьенга, чтобы ты и мясо делил.

— Не люблю терять друзей из-за таких пустяков,— ответил Ангамба вставая.

Жена покачала головой. Последние слова Ангамбы находились в явном противоречии с предосторожностями, которыми он обставил свой завтрак. Есть он уселся возле самой двери, укрывшись за створкой; время от времени он нагибался и смотрел, не просыпается ли деревня.

Крестьяне возвращались из хижины-часовни — мужчины в набедренных повязках, женщины в покрывалах. Те, у кого были родичи в городе, надевали прямо на голое тело либо полученное в подарок старое пальто, либо халат, либо ночную рубаху, и одежда эта на редкость не вязалась с фигурами, увешанными украшениями, амулетами, четками, среди которых порою виднелся тяжелый свинцовый крест, болтавшийся на высушенном волокне индийского тростника. По дороге прихожане шумно обсуждали церковную службу. Когда они посматривали в сторону хижины Ангамбы, тот быстро прятался за дверью из рафии. Слишком хорошо знал он всех этих братьев своих по крови и духу...

Среди них был Мбогси; в свое время Ангамба вместе с ним подвергся обрезанию. Младший брат Мбогси эмигрировал в Испанскую Гвинею. Он жил там всего два года и уже успел прислать оттуда старое пальто, шлем и будильник. Мбогси надевал это пальто каждое утро, направляясь в хижину-часовню. Что же касается шлема, то он надел его только один раз. То было в тот самый день, когда Мбогси, эта старая глиста с головой летучей мыши, отважился просить руки председательницы их деревенского Общества святой Анны. Мбогси лет двадцать просидел на корточках перед Ангамбой, с которым он делил трапезу, и вдруг задумал жениться, ему надоело исповедоваться перед священником в канун больших праздников в одном и том же грехе — «похотливых мыслях». У председательницы Общества святой Анны от старости уже появились жировики за ушами и на затылке и выпали резцы; она наотрез отказала

Мбогси, и тому пришлось искать утешение в скупых комментариях к популярному изданию библии, с которой он никогда не расставался.

Когда Мбогси поровнялся с хижиной Ангамбы, по его гримасничавшему лицу было видно, что он силится понять, почему Иисус Христос называется именно так, а не как-нибудь иначе... Увидев его, Ангамба мгновенно юркнул за дверь.

«Только бы он не вздумал направить сюда свои слоновьи стопы»,— думал он, переставая жевать.

Мбогси поколебался с минуту, шагнул вправо, шагнул влево, а затем устремился в хижину, стоявшую напротив; там толкли бананы — верный признак, что завтрак уже готов.

Когда блюдо опустело, Ангамба смело показался на веранде и протянул руку к навесу из рафии, ища бамбуковую щепку, чтобы выковырять кусочки мяса, застрявшие в зубах. Он отвечал на приветствия запоздавших односельчан, которые не спеша возвращались из церкви вслед за первой группой доведенных до экстаза молельщиков. Когда он вытащил бамбуковую щепку изо рта, красноватая слюна брызнула оттуда, точно из насоса, и едва не попала на разноцветное оперение двух уток, подравшихся у крыльца из-за сороконожки.

Неясный гул доносился с другого конца деревни. Ангамба вышел во двор. Жена его остановилась в дверях. Из стоявшей напротив хижины показался Мбогси с костью в зубах. Вся деревня была уже на ногах. С порога домов люди окликали друг друга. На улице появился незнакомец. Штаны его были засучены выше колен. Пара белых парусиновых башмаков, связанных шнурками, висела на палке, перекинутой на манер ружья через левое плечо. Слой желтой пыли на штанах и пакет вяленой трески, который он нес под мышкой, свидетельствовали о том, что возвращается он из города. Незнакомец шел так быстро, словно за ним гнались, и ритмично покачивался на ходу; казалось, он исполняет танец живота.

— Уж не принес ли ты дурную весть? — спрашивали его со всех сторон.— Кто-нибудь умер?

Путник отрицательно мотал головой и ускорял шаг. Завидев Ангамбу, он направился прямо к нему и представился:

— Нколо Мендо, сын Мендо и Нколо из Нгольмана.

— Знаю, знаю,— отвечал Ангамба, указывая на хижину.— Входи, двери моего дома открыты для тебя.

Чужеземец вошел первым. Жена Ангамбы отступила в сторону. Гость подошел к полке, наполнил чашу водой и принялся лакать, точно пес. Затем удовлетворенно вздохнул и поискал глазами, куда бы сесть. Опустившись на бамбуковую кровать, он положил пакет с рыбой на землю, а рядом с ним — палку и парусиновые башмаки. Затем провел ладонью по губам.

— Выкладывай, чем ты начинен? — спросил Ангамба, задыхаясь от любопытства.

Гость притворился, что не слышит. Лицо его приняло загадочное и торжественное выражение. Он подтащил пакет с рыбой поближе, затем стал развязывать и вновь завязывать шнурки башмаков. Тем временем хижина Ангамбы быстро наполнялась людьми. Входя в хижину, крестьяне сразу же замолкали и уже больше не сводили глаз с лица Нколо Мендо. Когда хижина была набита до отказа и даже беднягу Джолтана пинками выгнали за дверь, чужеземец, который дотоле упорно созерцал пакет с рыбой, поднял взгляд на Ангамбу. Тот медленно посмотрел направо, затем налево, оглянулся назад и выжидательно уставился в невозмутимое лицо Нколо.

— Наши уши открыты для твоих речей, — проговорил Мбогси, взглядом ища поддержки у окружающих.

Все одобрительно закивали. Воспрянув духом, Мбогси продолжал:

— Ангамба — это мы все. Все, что касается его, касается и нас. Его горе, его радости,— он взглянул на жену Ангамбы Амалию,— его жена... все принадлежит нам.

— Сущая правда,— подтвердил кто-то.

Чужеземец погладил свою отвислую нижнюю губу и кивком головы одобрил речь Мбогси. Затем достал флакон из-под ментола. Открыл флакон и, взяв щепотку светло-коричневого порошка, глубоко засунул его в ноздри, черные и волосатые, точно шерсть гориллы. Глаза его увлажнились, но коротким движением головы он удержал выступившую слезу и протянул открытый флакон Мбогси, одновременно потерев кончик носа кистью свободной руки. Мбогси взял понюшку и передал пузырек соседу, тот — следующему.

— Да, вот это действительно табак! Давненько я не нюхал такого,— проговорил Мбогси, пощипывая кончик носа.

— Знатно прочищает мозги,— заметил кто-то,— у меня даже зубы болеть перестали.

Чужеземец поерзал на месте и сунул пустой флакон в задний карман штанов. Он не торопился, нет, он отнюдь не торопился, ему хотелось как можно дольше держать Ангамбу и его друзей в неведении.

— Здесь ли вождь? — спросил наконец Нколо.

В хижине началась паника. Мбогси, который вот уж двадцать лет не сидел иначе чем на корточках, гулко шлепнулся задом о землю. Он взглянул на Ангамбу, который пожал плечами.

— Разве у тебя такая важная весть? — спросил он у пришельца.

— И да, и нет,— отвечал тот.— Я осведомился просто так.

Ангамба поднялся и вышел на середину хижины.

— Все сущее существует, всему есть своя причина, и чему быть, того не миновать,— медленно произнес он.

Он оперся о единственный столб, подпиравший кровлю из рафии, и продолжал свои туманные изречения.

— Если шепчутся призраки — жди ночью дождя. Если я скажу: «тише, тише» — значит поблизости враг. Разве не так?

— Йеееееееее! — гортанно подхватили тридцать человек, собравшиеся в хижине.

— Ангамба изрек истину,— заметил кто-то.

— Да, это слова зрелого мужа,— подхватил другой.

Ангамба возвратился на прежнее место. Мбогси вздумал было сменить его у столба.

— Садись,—раздался чей-то голос.—Разве ты зрелый мужчина? Ты вечно являешься при звуках там-тама на праздник, куда тебя и не приглашают. Неужели ты так же охоч до речей?

— Ангамба мне брат,— отрезал Мбогси,— мы принадлежим к одному роду, ведь его мать и моя — обе из племени Банес... Все что касается его — касается и меня, у нас одна кровь, и я могу говорить за него... Скажи, я у тебя пировал, а ну-ка, скажи? — гремел он.— Если уж кого пора выставить отсюда, так это тебя! — обрушился он на какого-то старика с совершенно лысой головой.

— Да замолчите вы! — рявкнул Ангамба, снова подходя к столбу.— Не затевайте тут ссоры... Чужеземец должен сообщить мне новость. Мы еще даже не знаем в чем дело, а вы уже подняли шум! Что творится в нашей деревне!

Сопровождаемый одобрительным шепотом, Ангамба опять возвратился на место.

— Чужеземец, слово принадлежит тебе,— произнес кто-то.

— Я буду говорить,— отвечал Нколо, вставая.

Выдержав паузу, он продолжал:

— Все сущее существует... Весь день я шел вчера под палящим солнцем, всю ночь я боролся с духами, дабы принести тебе эту весть, что сокрыта еще в моем сердце. Поэтому незачем напоминать мне, что вы ждете моих слов. Я прибыл из Дума, и то, что я там видел и слышал, нельзя рассказать словами. Я пришел туда, чтобы продать немного какао-бобов. Мои будущие тесть и теща требуют связку вяленой трески, прежде чем окончательно согласиться на мой брак с их дочерью. Я уже дал им тридцать тысяч франков, бочонок пива, шлем, мешок соли, три ножа, пять баранов, ведро для воды, чугунный котелок, мешок риса. За мной оставалась только вяленая треска. Итак, я отправился продать немного какао-бобов этим грекам, что вечно нас обворовывают. Придя в Дум, я сразу почувствовал: тут что-то готовится! Все прохожие, попадавшиеся мне на пути, казалось, ждали чего-то. Заключенные подметали улицы и воздвигали на всех перекрестках арки из пальмовых веток. Грузовики с вооруженными стрелками мчались один за другим к управлению коменданта; вы ведь знаете этих стрелков, их набирают где-то в Габоне: они черны, как дно котелка, голова у них — чисто бараний зад, а зубы — острее зубьев пилы. Штыки на их ружьях сверкали на солнце. Были там и белые стрелки, их вы никогда в жизни не видали.

— Это война! Это война! Началась война! — жалобно завопил Мбогси.— Война началась! Я знал, немцы не простят, что их поколотили!..

Он выпалил это одним духом, размахивая своими огромными ручищами. Собравшиеся смотрели на него, окаменев от этих слов, наводивших панический страх на мирных земледельцев Зуриана.

— Я и сам так сначала подумал,— продолжал Нколо.

Все присутствующие вздрогнули. Их бросило в жар.

— Я и сам так сначала подумал,— повторил Нколо.— Так вот, эта опасность нам не угрожает. Но почему же в Думе такой переполох? Да потому, что вождь белых, не тот, что в Тимбе, а тот, что в Париже, явится собственной своей персоной, собственной своей персоной, говорю я, а не его призрак, не его помощник, не его двойник. Он явится в Дум, чтобы наградить...

— Меку! — завопил Ангамба. — Моего шурина Меку, не так ли? Я знал это! Нынче ночью я видел во сне, что стал ростом выше слона.

Он сжал в объятиях чужеземца, потом легонько оттолкнул от себя, чтобы лучше разглядеть, и снова обнял. Амалия от радости испустила самый пронзительный крик, на какой только была способна. Она раскачивалась всем телом; платье ее вздымалось и опадало от бурного дыхания, колыхавшего ее груди, которые покоились на самом животе.

Снаружи ей ответили пронзительными воплями другие женщины. Амалия вихрем вылетела из хижины и принялась плясать во дворе. Но вскоре ее окружили соседки, сбежавшиеся отовсюду — из закопченных хижин, со всех концов деревни, по многочисленным тропинкам, что бороздят заросли кустарника позади домов и ведут либо к реке, либо в поля.

Мужчины по-прежнему окружали Ангамбу и чужеземца.

— Твой шурин,—начал Нколо, когда восстановилось спокойствие,— твой шурин стал теперь не менее знаменит, чем комендант Дума. Мне стыдно признаться, что я с ним не знаком. Но когда мне сказали, что он женат на уроженке наших краев, я тут же подумал о Келаре. По-моему, она единственная из нашей округи вышла замуж за человека, живу-

щего возле города. Теперь, когда муж ее получит медаль, на нее станут смотреть, как на белую женщину.

— Тяжелая работа и прочие невзгоды — отныне для него позади,— задумчиво проговорил Ангамба.— Ему, можно сказать, здорово повезло.

— Ведь это и к тебе относится,— вмешался Мбогси.— Случись теперь что-нибудь с тобою — достаточно будет сказать коменданту, что ты, мол, шурин человека, которого наградил сам вождь белых.

— Что верно, то верно,— подтвердил чужеземец.— Твоя семья, твои друзья, друзья твоих друзей отныне станут людьми необыкновенными. Достаточно будет кому-либо из них сказать: «Я — друг друга шурина Меки» — и все двери откроются перед ним. Сам я, говорящий с вами, чувствую себя тоже отчасти награжденным.

— И мы тоже, и мы тоже! — поспешили утвердиться в своих правах все присутствующие.— Ведь это мы дали ему Келару в жены.

Зависть сверкала во взорах друзей Ангамбы, который неожиданно приобрел немалый вес в глазах односельчан. Он же буквально сиял от счастья: шутка ли, человеку неожиданно привалила такая лестная слава. Он заставил незнакомца еще раз повторить ему рассказ о событиях в Думе.

— Как досадно, что до четырнадцатого июля остался всего один день, ведь я не успею даже сходить за своими козлятами, что пасутся в тридцати километрах отсюда. Я могу преподнести своему шурину лишь старого козла; только он и остался у меня здесь, в деревне.

Кто-то пообещал ему цыпленка, другой — утку, третий — бутылку пальмового масла.

«Хорошо, если действительно дадут»,— подумал Ангамба.

Он уже пожалел, что заговорил о старом козле. Пожалел и о том, что ловкая ложь не считается смертным грехом: ведь в этом случае он уж наверняка получил бы от односельчан обещанное.

Когда крестьяне увидели, что чужеземец больше не расскажет ничего интересного, они удалились один за другим, и вскоре Ангамба остался в хижине вдвоем с Нколо. Он предложил ему кусок копченого слоновьего мяса и немного маниоки. Амалия завернула эти припасы в банановый лист. Нколо развязал пакет с вяленой треской и вложил туда сверток с едою. Затем вновь затянул узел, а пакет осторожно уложил себе на голову. Ангамба проводил его до околицы: деревня тянулась вплоть до крутого берега реки, где заканчивалась земля его племени и начинались земли Йемейемасов — племени, к которому принадлежал Нколо.

— Друг — дороже брата,— сказал Ангамба на прощание.— Двери нашего дома всегда открыты для тебя, и когда путь твой будет пролегать мимо моего крыльца, можешь смело остановиться там перекусить и укрыться от солнца, даже если я буду в отсутствии.

— Я приобрел больше, чем брата,— прервал его Нколо, перекладывая пакет с вяленой треской на плечо.— Если ноги приведут тебя до Нгольмана, ты отведаешь доброго пальмового вина, и вино это придаст тебе духу... У моей третьей жены славные бедра, она сумеет согреть твои кости...

Они обменялись прощальным рукопожатием. Ангамба смотрел, как удаляется Нколо своей приплясывающей походкой. Он слегка вздрогнул, когда гость едва не потерял равновесие, переходя по доске небольшую речушку. Но все обошлось благополучно. Когда Нколо очутился на противоположном берегу, оба приветственно замахали руками.

— Да хранит тебя господь! — крикнул Нколо.

— Да сопутствует он тебе в пути! — ответил Ангамба.

Он возвратился в деревню. Сначала он задумчиво шагал, заложив руки за спину и уставившись в траву, среди которой змеилась тропинка, затем обернулся. Заросли на противоположном берегу реки уже поглотили Нколо. У Ангамбы слегка защемило сердце. Он пожал плечами. Он всегда пожимал плечами, когда боялся расчувствоваться. Самого Нколо он раньше никогда не встречал, но ему было известно, что жители Нгольмана — его друзья. Ангамба пожалел, что не оставил Нколо ночевать, но тут же утешился при мысли, что этот завзятый многоженец соскучился бы, проведя ночь в одиночестве на бамбуковой кровати, где обычно спал Джолтан. И тут он подумал о своей жене Амалии, вместе с которой принял католичество.

Ангамба грустно наморщил лоб. Ему вспомнилось доброе старое время, когда он только что унаследовал достояние покойного отца. Тогда он был богат, и в Зуриане говаривали: «Богат, как Ангамба». Умирая, отец оставил ему десять своих молодых жен, не считая матери Ангамбы. Груди у его сестры Келары были тогда величиной с лимон. Ангамба проводил дни в хижине за беседою, сидя у ног одной из своих жен и рассуждая о тысяче вещей, из которых складывается жизнь африканского многоженца. То была жизнь легкая, праздная, и он бездумно пожинал плоды соперничества своих жен. В то время ему и в голову не приходило, что религия белых может таить угрозу его счастью. Он вспомнил то утро, когда первый белый священник появился в Зуриане. Пришелец разглагольствовал о смертных грехах, о рае... Его слушали потому, что нельзя было не слушать. Однако положение изменилось, когда он заговорил о церковном браке. Женщины, дотоле безропотно мирившиеся со своей долей, словно козы, привязанные к колу, теперь, воспользовавшись крещением, потребовали свободы. Предвидя близкую опасность и не желая попасть в смешное положение, Ангамба опередил события и сам принял новую веру. Амалия, единственная из его жен, согласилась обвенчаться с ним в церкви. В тот день священник говорил о деяниях святого духа; он весь побагровел, глаза его сверкали, он возвещал об успехах католической церкви в этом затерянном краю, где благодать господня впервые снизошла на сердце Ангамбы — первого обращенного язычника.

Вот Нколо, тому повезло. У него до сих пор было пять жен, и он вскоре собирался в шестой раз сломать ноги антилопы *.

— Вот-то счастливец! — воскликнул Ангамба, воздевая руки к небу.

Затем он подумал о Меке. Они были почти ровесники. Мека впервые увидел Келару в ту пору, когда девочки еще бегают голышом. Он попал в Зуриан, возвращаясь домой после того, как получил часть наследства, которое ему оставила старшая сестра. В то время отец Ангамбы был самым могущественным человеком в Зуриане. Его парадная хижина была построена у самой дороги, и каждый путник, проходивший деревней, неминуемо натыкался на его длинные ноги... Чужеземец распивал с ним пальмовое вино, которое каждое утро приносил раб. Если чужеземец был человек могущественный, отец Ангамбы предлагал ему дружбу, если же тот был человек немощный, он обращал его в раба. Когда Мека явился в Зуриан, отец Ангамбы понял, что за спиной этого негра из племени Мвема, этого жителя Дума, стоят многочисленные друзья. С равными себе старик старался жить в согласии; поэтому, кликнув Келару — в то время еще девочку с раздутым животом,— он подтолкнул ее к Меке.

— Вот тебе жена,— сказал он.— Приходи за нею, когда она вырастет.

---

* Туземное выражение, соответствующее выражению «медовый месяц».

Так Ангамба сделался шурином Меки. Теперь Меку должны были вот-вот наградить, и кто же? Вождь всех белых! В представлении Ангамбы то был человек, победивший немцев. Настоящий вождь. Должно быть, он знал Меку, во всяком случае слышал о нем. Да, Мека был действительно недюжинный человек. Имя его пересекло моря и океаны, достигло ушей великого вождя белых, и тот решил самолично приехать сюда и выказать Меке свою дружбу. Кто знает, не привезет ли он ему белую женщину или, чего доброго, несколько бутылок Берже, этого ликера, который никогда не продают темнокожим?

— Счастливец! — снова воскликнул Ангамба, воздевая руки к небу.

Разве друг вождя сам не является в какой-то мере вождем? Какая необыкновенная судьба ожидает Меку! Простой дотоле земледелец сделается человеком, которого уважают даже белые! Он будет единственным туземцем, получившим право проходить мимо управления коменданта, не снимая шлема. Не он станет обнажать голову при встрече с белыми, а те станут снимать перед ним шляпу.

— Счастливец! — возопил он, вновь воздевая руки к небу.

Внезапно Ангамба почувствовал, что и его тоже не обошло счастье. Он подпрыгнул на одной ноге, затем на другой. Кости его хрустнули. Проведя руками по бедрам, он закивал головою. Ангамбе вдруг показалось, что и он также весьма важная персона.

— Мека мне шурин! Я ему шурин! Я шурин человека, удостоенного медали!

И он, приплясывая, пустился в путь.

— Я застал тебя врасплох! — закричал ему Мфомо, которого Ангамба не заметил; Мфомо, почти совершенно голый, приближался к нему с арбалетом за плечами.

Эти слова означали, что Мфомо восхищен Ангамбой.

— Я заранее готовлюсь к великому празднику, ожидающему меня в Думе,— ответил Ангамба.— Как жаль, что я старею! Помнишь, когда мы были молоды, то могли, не уставая, танцевать целую неделю подряд! — добавил он мечтательно.— А теперь взберусь на холм — и еле дух перевожу.

— Нас старят постоянный труд и жадность к мясу,— заметил Мфомо.— Кстати, когда ты отправляешься в Дум?

— До четырнадцатого июля осталось два дня, поэтому я отправлюсь сегодня же вечером, когда спадет зной. Буду идти ночью. По жаре с козлом недалеко уйдешь. А возвратиться рассчитываю после праздника, если только Келара и ее муж нас не задержат.

— Экий счастливец. Тебе предстоит отведать говядины! — воскликнул Мфомо.— А я, я и вкус-то ее позабыл. Даже обезьяны и те перевелись. Скоро заброшу свой арбалет.

Ангамба не нашелся, что ответить. Он сделал неопределенный жест и бросился в объятия Мфомо, желая проститься с ним. Оба расцеловались.

— Да не случится с тобой ничего дурного! — проговорил Мфомо, ущипнув Ангамбу за мышцы рук.

— Благодарю от всей души! — отвечал Ангамба, в свою очередь ущипнув Мфомо.

Руки их соскользнули вниз. Обменявшись рукопожатием, они разошлись.

Мфомо, точно огромная обезьяна, исчез в чаще. Ангамба обогнул свою хижину.

Кровля из рафии потрескивала от зноя: подходила к концу жаркая пора, когда крестьяне до зари покидают хижины и уходят в поля, торопясь управиться с посевом до наступления короткого сезона дождей.

Несколько оставленных без присмотра малышей плакали в тени хижин, в руках они держали огрызки бананов и кости. Козы сбились в кучу во дворах, под навесами, на которых сушилось какао, и солнечные лучи, дробясь на их курчавой шерсти, делали мирных животных похожими на рогатых пантер.

Ангамба высморкался и вытер нос концом набедренной повязки. Он прогнал козленка, который точил рожки о стену его хижины, и вошел к себе.

Амалия сновала взад и вперед по комнате. Посредине она поставила огромную корзину. Корзина уже на четверть была наполнена земляными орехами. Затем Амалия положила туда четыре связки бананов, остаток копченого слоновьего хобота, несколько маисовых лепешек, две бутылки пальмового масла, четыре обломка сахарного тростника, два апельсина и несколько листьев табака.

Джолтан, усевшись на задние лапы, с удивлением смотрел на хозяйку. При виде Ангамбы он забился под кровать.

— Чего ты ждешь? Пора ловить козла! — сказала Амалия.

Ангамба недовольно засвистел сквозь зубы. Жена протянула ему початок маиса. Он кликнул Джолтана, который завизжал от страха, но из-под кровати не вылез.

— Выходи, живо! — взревел Ангамба и резко приподнял кровать.

Собака кинулась во двор. Ангамба направился к навесу, где собралась бо́льшая часть деревенской скотины. Он растолкал животных, желая убедиться, нет ли среди них его козла. Животные бросились врассыпную. Козла по имени Эбого здесь не оказалось.

Это имя дал козлу сам Ангамба. То был белый козел с черной бородкой и сломанными рогами, которого подарили Ангамбе еще в ту пору, когда его крестник, ставший законоучителем в деревне, находившейся неподалеку от Зуриана, справлял свадьбу. Чтобы приучить животное к дому, хозяин в первые дни держал его на привязи у единственного столба, подпиравшего кровлю. Когда Амалии надоело убирать за козлом и она решила, что он уже достаточно привык к дому, его выставили во двор. Эбого, тосковавший по утерянному раю, не желал уходить с крыльца. Сначала Ангамба радовался, видя такую трогательную привязанность со стороны козла. Он назвал его по имени молодой женщины, которую унаследовал после смерти отца. Эта Эбого любила Ангамбу, как мышь любит кота, и с нетерпением ожидала дня, когда белый священник избавит ее от ненавистного мужа.

Вскоре козел стал всем в тягость. Не раз Ангамба заставал его, когда тот мирно пережевывал жвачку, развалившись на бамбуковой кровати хозяина. Сперва это забавляло старика, но однажды жена заявила, будто от него самого разит козлом. Ангамба понюхал у себя под мышкой, а Эбого выжидательно следил за ним из темноты своими блестящими глазами. Ангамба вскочил как сумасшедший и в ярости запустил в козла камнем, выхваченным из очага. Эбого пустился наутек. С тех пор он перекочевал на другой край деревни, к козам Мфомо.

Ангамба шел по улице, подсвистывая Джолтану. Собака следовала за ним на почтительном расстоянии, подобно надоевшей жене. Старик во все горло звал козла. Только через час он обнаружил Эбого, который выскочил из-за деревьев какао и устремился в погоню за козами. Джолтан, понимавший, что от него требуется, с яростным лаем преградил путь козлу. Ангамба бросил козлу немного кукурузы, но распаленное присутствием коз животное не обратило на еду никакого внимания. Козы, нежно блея, ожидали его неподалеку. Ангамба сделал несколько шагов. Козел ловко проскользнул в свободное пространство между Джолтаном и его хозяином. Старик осыпал Эбого отборной бранью,

Джолтан залаял. Ему ответила какая-то собака, к ней присоединились другие. Вскоре вокруг Ангамбы собралась целая свора псов.

— Спасибо, Джолтан,— сказал Ангамба, улыбнувшись собаке.

Джолтан и его дружки устремились в погоню за козлом. Козы, почуя опасность, бросили самца и разбежались. Эбого тотчас же был окружен и больше не двигался. Ангамба подкрадывался к нему со спины, норовя ухватить за задние ноги. Он протянул руки к козлу, который стойко оборонялся от псов. Старик сделал еще один шаг и изо всех сил вцепился в ноги козла; тот сразу заблеял и принялся яростно брыкаться. Но Ангамба крепко держал его. Пятясь, он потащил животное к хижине. Джолтан и другие псы хватали козла за бока. Амалия принесла веревку, сплетенную из индийского тростника. Хозяин собственноручно привязал Эбого к столбу посреди хижины.

Ангамба, отдуваясь, провел ладонью по лицу и выпил кружку воды. Джолтан вывалил язык чуть не до земли. Козел перестал дергать веревку, он сосредоточенно пережевывал жвачку.

Амалия, согнувшись под тяжестью корзины, которую она пристроила за спиной, давала во дворе последние наставления соседке Менге.

— По вечерам ты будешь открывать дверь курам,— кричала она.

— Не забудь купить мне нафталина и бычий хвост,— напомнила Менга.

— Не забуду,— говорила одна.

— Сделаю все не хуже тебя самой,— говорила другая.

— Что будет с Джолтаном? — спросила Менга.

Амалия подвигала плечами, желая поправить съехавшую корзину. Она недовольно присвистнула сквозь зубы и с трудом повернулась из-за стягивавших ей шею лямок в сторону пса, который держался в отдалении от хозяина, прощавшегося с соседями. Услышав свое имя, Джолтан навострил уши и подошел к хозяйке.

— Вы его с собой не берете? — продолжала Менга.

— В городе столько автомобилей,— ответила Амалия,— и белые совершенно не жалеют собак... Не сможешь ли ты присмотреть за Джолтаном?

Менга подозвала пса. Тот послушно двинулся за новой хозяйкой.

Ангамба с копьем в руках все еще прощался с соседями. Он уходил, возвращался к группе односельчан, собравшихся во дворе, снова уходил, снова возвращался. Амалия в это время уже миновала предпоследнюю хижину деревни.

— Ты нам обо всем расскажешь по возвращении,— говорил Мбоги,— мы будем с нетерпением тебя ожидать.

— А я, я говорю вам, что он будет обедать вместе с вождем белых,— вмешался кто-то.— Приглашая к обеду Меку, шурина Ангамбы, вождь конечно же пригласит и самого Ангамбу.

Завистливый шепот послышался в толпе. Ангамба ущипнул каждого за руку, все в свою очередь ущипнули его; затем он легонько оттолкнул каждого от себя, и все в свою очередь легонько оттолкнули его. После этой операции он отвязал Эбого.

Тени деревьев пересекали дорогу. Попугаи, пролетая на ночлег через деревню, болтали что-то в небесной вышине.

Ангамба с копьем в одной руке и веревкой, к которой был привязан козел, в другой хотел было остановиться и еще раз попрощаться с соседями, но Эбого дернулся вперед. Старику пришлось последовать за ним. Набедренная повязка обрисовала его ягодицы, и в заднем разрезе куртки цвета хаки показался огромный зуб пантеры, прикрепленный к поясу.

III

Нколо не солгал. В Думе творилось нечто невообразимое. Приготовления к празднованию дня четырнадцатого июля, которые вообще-то сопровождались таким же лихорадочным волнением, как былые праздники обрезания, на сей раз велись совсем иначе, чем прежде. Напряженная атмосфера предпраздничного города вселила в умы негров мысль о близкой войне. Когда же первые грузовики, набитые пожелтевшими от пыли солдатами, стремительно промчались через Торговый квартал и остановились перед управлением коменданта, паника охватила всех.

— Опять война! Опять война! — в ужасе шептали местные жители.

Они вспоминали те мрачные дни, когда вереницы таких же грузовиков, до отказа набитых стрелками, увозили солдат сражаться в далекую страну белых. Обывателей, однако, сбивало с толку то обстоятельство, что белые, которые в дни войны отказались от своей давнишней привычки ходить гордо и спесиво выпятив грудь, на сей раз ни в чем не изменили своего поведения. И наконец все успокоились, когда заключенные стали подметать улицы, воздвигать сплетенные из пальмовых веток арки и развешивать флаги.

Недавно назначенный в Дум руководитель местной колониальной администрации г-н Фукони вознамерился придать необычайную пышность национальному празднику, совпадавшему с прибытием губернатора. Он вытребовал отряд стрелков, и они, готовясь к параду, проводили на улицах строевые занятия. Звуки военного оркестра, которого никогда не слышали в Думе в дни мира, возбуждающе действовали на туземцев. Коршуны, орлы-стервятники, ястребы — эти гиены воздуха, встревоженные непривычным шумом, царившим в городе, испуганно взлетали в небо.

Господин Фукони, сбросив пиджак, самолично наблюдал за приготовлениями к празднику. Торжества 14 июля должны были происходить перед его резиденцией. На улице заключенные мелом обводили места расположения различных групп участников парада. Неподалеку от мачты, на которой развевался флаг, начертили круг для тех, кому будут вручать награды. Когда все было готово, г-н Фукони довольно потер руки и отшвырнул в сторону окурок сигареты. Какой-то заключенный тут же подобрал его. Г-н Фукони направился к автомобилю. Захлопывая дверцу, он удовлетворенно оглядел расчерченную мостовую, и машина вихрем умчалась.

«Только бы завтра не было дождя!» — подумал он.

Господин Фукони был одним из тех европейцев, чей возраст остается вечной загадкой для негров. Он считался молодым еще человеком вплоть до того самого дня, когда удрал его камердинер, прихватив с собою искусственную челюсть хозяина. Мясистый нос торчал посреди распухшей и красной от солнца физиономии коменданта, напоминавшей зад шимпанзе. В трезвом виде г-н Фукони был страшен, но гнев его проходил после первого же стакана виски. Он жил с негритянкой и, когда к нему приходили соотечественники, прятал ее в первом этаже, на складе с товарами. Накануне приезда губернатора он отправил свою подружку в туземный квартал.

Едва только г-н Фукони прошел к себе в резиденцию, слуга принес ему от прачки белый костюм. Комендант вырвал одежду из рук боя. Он придирчиво осмотрел костюм, даже понюхал его.

— Сколько раз я говорил, чтобы льняной китель не смели крахмалить. Несчастный идиот! — загремел он.

Взгляд его блуждал поверх головы слуги, пока наконец не скользнул по прозрачной циновке, заменявшей дверь. Бутылка виски уже

ожидала его на столе. Гнев коменданта улегся. Он и думать забыл о своем белом костюме.

Господин Фукони начал было просматривать намеченную программу праздничных торжеств, как вдруг в дверь постучали.

— Кто там еще? — закричал он.

Чья-то рука отодвинула циновку. Негр, с пробковым шлемом в руках, почтительно поклонился.

— Вино для почетных гостей, господин комендант,— произнес он, широко улыбаясь,— вино для почетных гостей...

Господин Фукони молча отстранил его с пути и вышел на веранду. Построившись попарно и согнув спины под громоздкими ящиками, пятнадцать негров переминались у лестницы с ноги на ногу. Негр, постучавшийся в дверь, поднял руку и указал шлемом на трех ближайших носильщиков.

— Шампанское! — объявил он.

Указал на трех следующих носильщиков и повторил:

— Шампанское!

Затем указал на седьмого.

— Не совсем Шампанское, — проговорил он, — но похоже; пш-пш-пш-пш-пш... — прошипел он в пояснение.

Господин Фукони подошел к ящику и прочел: «Игристое вино».

— А тут что? — осведомился он, оборачиваясь к негру.

Тот на мгновенье скосил глаза: один глаз его смотрел прямо на коменданта, другой неприметно улыбался.

— Виски, виски,— выдохнул он, поглаживая себя по бедрам,— хорошее виски.

Комендант облизал губы. Взор его встретился со взором негра. И без того красное лицо г-на Фукони побагровело.

Но он сдержал гнев. Негр протянул бумагу, г-н Фукони пробежал ее глазами, затем поднял голову и взглянул на комиссионера.

— А где бочка с красным вином?

— Уже в Африканском очаге,— ответил негр.

— Ладно,— пробурчал г-н Фукони.

Тем временем носильщики равномерно покачивались вправо и влево; солнце, точно расплавленным свинцом, жгло их плечи. Те, у кого ноги были разъедены чесоткой или покрыты кровавыми волдырями, постукивали пятками, стараясь отогнать тучи мух, роившихся вокруг.

— Отнесите туда и это, — приказал комендант.

Носильщики повернулись на пятках.

— Эй, стой! — закричал г-н Фукони.

Негр-комиссионер бегом возвратился к нему. Г-н Фукони подозвал своего слугу. Затем протянул руку в сторону носильщиков.

— Пойди возьми ящик виски,— крикнул он слуге.

Носильщик, шедший сзади, тотчас же опустил на землю свою ношу.

— Отнеси на кухню,— обратился к нему слуга коменданта на местном наречии.

Господин Фукони возвратился к изучению программы празднества, а вино для почетных гостей тем временем спускалось с холма, на котором стояла резиденция, и следовало к Африканскому очагу.

Так называемый Африканский очаг представлял собою крытый листовым железом барак, где комендант обычно проводил собрания. Барак стоял на полпути между европейским и туземным кварталами. По приказу властей его побелили известкой, чтобы скрыть порыжевшие стены. На возвышении, отделенном красным занавесом, было уже расставлено несколько стульев для белых. Меблировку помещения до-

вершали скамьи, принесенные из соседней школы. У дверей стоял часовой, охранявший бочку с красным вином, которую доставили раньше, чем ящики с вином для почетных гостей. Посреди двора водрузили огромное трехцветное знамя. Негры, толпившиеся на улице, от души забавлялись, наблюдая за теми изменениями, какие претерпевал барак, накануне приезда вождя белых. Комендант собственной персоной несколько раз приходил взглянуть, как идут дела.

— Только бы завтра не было дождя, — произнес он, окидывая довольным взглядом Африканский очаг.

«Только бы завтра не пронесся первый ураган, ведь ураганы не редкость в конце жаркого сезона»,— думали негры.

В Торговом квартале, на веранде лавки г-на Ангелопулоса, где Эла, самый знаменитый портной Дума, располагался каждое утро со швейной машиной, Мека, жуя по обыкновению орешек колы, дожидался своего пиджака. Был уже полдень, и Мека с тревогой спрашивал себя, будет ли его пиджак готов к заходу солнца. Эла, как видно, задумал сотворить подлинный шедевр.

— Пиджаки белых сшиты из рук вон плохо,— говорил он, нажимая на педаль швейной машины.— Посмотришь на людей — и невольно думаешь: как они еще только в них дышат... Уж для тебя я постараюсь, сошью тебе замечательный костюм, — продолжал он, — этот покрой называется «стиляга»...

— Что это еще такое? — озадаченно спросил Мека.

— Вот ты взгляни на пиджаки белых: чисто грива павиана, ведь они даже зада не прикрывают! В них все ягодицы наружу. Я же хочу тебе сшить пиджак, который будет доходить до колен. Такой покрой называется «стиляга». Я получаю парижские журналы, и уж насчет моды не беспокойся. У меня прямо сердце заходится, когда я вижу, как белый идет себе по дороге, а ягодицы у него торчат из-под пиджака... Так и подмывает ему сказать: «Сударь, не мешало бы вам удлинить пиджачок...»

Мека пребывал в нерешительности.

— Подойди, — скомандовал Эла, — сейчас измерим длину.

Мека приблизился. Эла распустил сантиметр. Он повернул Меку лицом к стене, велел ему сдвинуть пятки, втянуть зад и выпятить грудь.

— Отлично,— пробормотал он, прикладывая сантиметр к плечу Меки и опуская его до самых икр.

Он взглянул на Меку поверх очков.

— Вот какая должна быть длина...

— А эти куртки... «истиляги»... — спросил заинтересованный Мека,— это не то же самое, что гусаровы мундиры?

Снисходительная улыбка тронула губы Элы. Он покачал головой и снова налег на педаль. Затем поглядел на старика поверх очков.

— Нелегко вашему брату-крестьянину разобраться в таких вещах,— произнес он покровительственным тоном.— Это не твоего ума дело, так же, как выращивать какао — не мое дело. Ремесел, видишь ли, на свете столько же, сколько птиц божьих, и настоящим мастером человек становится лишь после того, как с него семь потов сойдет; только тогда он до тонкости изучит свою профессию... Я сошью тебе пиджак «стиляга», и тебя наперебой все станут спрашивать, уж не из Парижа ли ты его выписал? Признаться, я просто завален заказами. И уже подумываю о том, чтобы взять еще одного подмастерья...

— У тебя есть даже подмастерье? — удивился Мека.

— А ты как думал? — воскликнул Эла, откидываясь на спинку стула.— Если у кабана есть сало, то сколько же сала должно быть

у слона? У меня пять подмастерьев, правда сейчас они заняты тем, что строят мне хижину.

Мека в изумлении смотрел на портного. Тот сидел за машиной в кожаной куртке, расстегнутой до самого пупа, и крупные капли пота текли по его лицу. Щеки сплошь заросли густой щетиной, а череп был так лыс, словно на нем никогда не росли волосы. Клетчатые штаны держались на истрепанных резиновых подтяжках. После каждого слова Эла улыбался улыбкой сатира, и Меке становилось не по себе.

Портной попросил клиента поднять руку.

— Мне нужно снять мерку для рукава,— пояснил он, осклабившись,— на твоей куртке рукава слишком короткие. Похоже, ты напялил на себя одежду законоучителя.

Мека устало подчинился. Эла снова осклабился.

— Вот увидишь, когда вождь белых приколет тебе медаль вот сюда,— продолжал он, ткнув пальцем в пиджак,— готов биться об заклад, он спросит у тебя на ушко адрес твоего портного.

Но Мека думал совсем о другом. Уныло смотрел он, во что превратилось белое полотно, которое еще утром он нес в свертке под мышкой. Старик недоумевал, как могли ему порекомендовать этого портного, такого грубияна, хвастуна и кривляку.

«Пусть уж из этих искромсанных лоскутьев выйдет хоть какая-нибудь одежда! — говорил он себе.— А там я ему откровенно выскажу все, что о нем думаю».

Не отрываясь от машины, Эла неумолчно болтал, свистел, отдувался, пил и ел. Скорлупа земляных орехов, которые он грыз, падала на полотно.

— Хочу тебя предупредить, что я не намерен стирать пиджак перед тем, как надену его,— обратился к нему Мека.

Эла улыбнулся.

— Земляные орехи не пачкают материи. Ах! Если бы все, что мы едим, не оставляло пятен...

Мека безнадежно покачал головой. Владельцы лавок уже начали опускать шторы, когда Эла вытащил, наконец, пиджак из швейной машины и откусил нитку.

— Готово, — произнес он, потягиваясь.

Он бросил пиджак на колени Меке; старик уже клевал носом.

— А теперь примерим,— проговорил портной,— мне пора возвращать швейную машину, господин Ангелопулос вот-вот запрет лавку.

Мека собрался было снять с себя куртку.

— Можешь остаться в ней, — торопливо сказал портной,— знаешь, этот фасон «стиляга»...

В первую минуту Меке показалось, что на него напялили нечто вроде рясы. Он был добрый христианин, но готов был поклясться, что еще ни один человек не щеголял в такой одежде.

— Стиляга, стиляга! — звенящим шепотом твердил портной, волчком вертясь вокруг старика.

Он опустился на колени, прямо на землю, и одернул задние полы одежды. Затем отступил на несколько шагов и попросил Меку приблизиться. Заставил его повернуться в пол-оборота и вдавил ему плечи.

— Распрямись,— приказал он.

Мека покорно выпрямился.

— Готово! — заявил Эла, откусывая нитку, на сей раз у рукава. — Да, еще пуговицы... Ну, я тебе дам катушку ниток да иголку. Это дело нехитрое. Женская работа. Моя жена больна,— прибавил он дрогнувшим голосом.

— Что с ней такое? — быстро спросил Мека, смягчившись.

— О, женские болезни,— отвечал портной, и на устах его заиграла победоносная улыбка. — У нее болит повсюду... Не можешь ли ты мне что-нибудь посоветовать?

— Отчего же! Это нетрудно,— ответил Мека, не замечая, что Эла собирает свои инструменты. — Пусть сделает себе промывание с мылом. Так отец Андермейе посоветует,— прибавил он, проглатывая звук «в» в начале и звук «р» в конце фамилии священника.

— Подумать только! — произнес Эла, который к этому времени уже успел покрыть швейную машину чехлом.— А не знаешь, какое нужно мыло?

— Нет,— смущенно протянул Мека.

Он досадливо покусывал губы.

— Не марсельское ли мыло ненароком? — спросил Эла, ухмыляясь.

— Да, да,— оживился Мека,— именно оно...

— Спасибо,— сказал портной.— Можешь снять свой новый пиджак.

Он протянул Меке руку. Тот снял пиджак, сложил его вчетверо, затем, порывшись в кармане старой куртки, вытащил пять билетов по сто франков и протянул их Эле.

— Надеюсь, этого достаточно? — спросил он с деланным безразличием.

— Такую цену я беру с друзей,— ответил портной, засовывая деньги в карман своих клетчатых штанов. — Не забудь про пуговицы...

— Знаю, — отрезал Мека, — знаю...

Эла, посмеиваясь, удалился.

«Еще один тип из тех, что воображают, будто они всех хитрее!» — подумал Мека, покачав головой.

И ускорил шаги.

IV

Ангамба с трудом приноравливался к неровной рыси козла, который тянул его за собой на веревке. Никогда еще не передвигался он с такой быстротой. В воздухе посвежело, но старик был весь в поту. Когда животное пыталось перейти в галоп, Ангамба накручивал веревку вокруг кисти, резко останавливался и начинал пятиться. Козел отчаянно брыкался. Старые ноги плохо держали Ангамбу, и он не раз растягивался в траве возле тропинки. Тогда он отбрасывал в сторону копье и изо всех сил цеплялся обеими руками за веревку. Козел начинал задыхаться и останавливался как вкопанный. Торжествующий Ангамба поднимался с земли, ослаблял петлю вокруг шеи животного и щекотал ему бока ручкой копья. Козел снова пускался в путь, на сей раз шагом.

Так брели они сквозь заросли, пока не спустилась ночь. Амалия попрежнему шла впереди. Ее корзина служила путеводной звездой Ангамбе. Амалия шла так, словно у нее выросли крылья. Ловко пристроив корзину во впадине между спиной и выставленным задом, она стремительно и, казалось, безо всяких усилий двигалась вперед, заложив руки за голову, покорно склоненную, как у навьюченного осла.

— Куда ты так торопишься! — кричал ей Ангамба, запыхавшись.— Куда ты так торопишься, ты ведь знаешь, что у меня ноги болят...

Амалия на минуту задерживалась и резким движением поясницы поправляла корзину, съезжавшую вниз. Она оттягивала веревку из индийского тростника, служившую ручкой для корзины: под тяжестью груза веревка больно врезалась в ее выпуклый лоб, с которого ручьями струился пот.

Затем она оглядывалась. Когда муж приближался, она быстро проводила тыльной стороной ладони по лицу, смахивая пот.

— Поторапливайся, — кричала она, — а то мы и завтра не попадем в Дум.

И вновь пускалась в путь привычной поступью вьючного животного. Немало тяжестей пришлось ей перетаскать на своем веку: корзины с топливом, которые она каждый раз приносила, возвращаясь с поля; корзины с песком и глиной для хижины и для дороги; корзины с камнями для дома священника, чтобы получить право на исповедь; корзины с провизией во время дальнего пути... Под тяжестью этих корзин на ее спине образовалась впадина, напоминавшая глубокую зарубку на дереве, смертельно раненном топором. Кожа в этом месте сделалась грубой, как у слона...

— Неужели это моя дочь? — вопила мать Амалии, когда девочка, тогда еще плоская, точно лепешка, капризно надув губы, отказывалась нести корзину с провизией, специально для нее приспособленную. — Кто только женится на такой хилой девчонке? — продолжала жаловаться мать.— Кто попросит руки девушки, которая не может даже корзину нести?

Амалия очень любила мать. Когда та плакала, дочь плакала вместе с нею, а потом спрашивала о причине слез.

— Над нами вся деревня смеется,— отвечала мать,— все в один голос твердят, что ты и на женщину-то не похожа... Даже корзину не можешь носить... Что твой муж будет есть? А?

Тогда Амалия, словно ужаленная тарантулом, стремительно вскакивала, хватала большую корзину матери и убегала в поля. Там она наполняла корзину двухдневным запасом провизии; затем, чтобы удобнее приладить лямки — одну на голову и две на плечи,— усаживалась прямо на землю. После этого осторожно упиралась руками в колени, стискивала зубы и медленно, пошатываясь, выпрямлялась. Домой девочка возвращалась по дороге, пересекавшей всю деревню. Она даже пела во все горло. Люди выходили из хижин, чтобы посмотреть на нее.

— Эта девушка сумеет прокормить мужа! — переговаривались кумушки.— Уж этот счастливец с голоду не помрет! Да, Атеме, матери Амалии, повезло: ее дочь — всем дочерям пример!..

Слыша такие речи, Амалия забывала о лямках, впивавшихся ей в тело, не ощущала боли в еще неокрепшем позвоночнике, гнувшемся под тяжестью ноши. Без сил валилась она к ногам матери, а та торопливо закрывала дверь, чтобы соседи не видели, как печально кончился подвиг ее дочки.

Зато позднее, когда Амалия совсем оправилась, она получила сразу десяток брачных предложений. Среди претендентов был и богач Ангамба из Зуриана. Амалия отдала предпочтение этому многоженцу перед молодыми холостяками.

«У него, по крайней мере, мне придется работать не одной», — думала она.

Вот каким образом Амалия стала женой Ангамбы...

Лес кончился. Теперь они шли полем. Спускалась ночь.

— Мы придем в Нконго еще до ужина, — крикнул Ангамба жене. — Надеюсь, мы немного передохнем, а?

Нконго — первая деревушка, лежащая на дороге Зуриан—Дум; она состоит из десятка полуразвалившихся хижин, сгрудившихся вокруг большого, крытого соломой сарая — места деревенских сборищ.

Когда Амалия и ее супруг приблизились к деревне, они различили несколько темных фигур, расположившихся вокруг огня. Один из сидевших поднял голову и, щурясь от пламени, взглянул на дорогу.

— Прохожие! Разделите нашу скромную трапезу,— крикнул он. — Ночь — неподходящее время для путешествий. В ней сокрыто много тайн...

Амалия первая вошла в сарай.

— Добрый вечер! — проговорила она.— Я — Амалия Этюа, жена...

— Да это жена Ангамбы! — воскликнул кто-то.

— Это ты, Бинама! — проговорила Амалия, протягивая руку узнавшему ее человеку.

— Я самый,— отвечал тот, поправляя небольшое мохнатое полотенце, которым были обвязаны его бедра. — Где же твой муж?

— Я здесь! — отозвался Ангамба, привязывая козла к колышку в глубине двора. Амалия опустила свою корзину на землю. Вошел ее муж.

— Примите мой привет, друзья,— произнес он.

— Принимаем от всей души,— послышались из темноты голоса людей, чьи неясные очертания еле угадывались при свете пламени.

Бинама приблизился к вошедшему и пожал ему руку.

— Уступи место пожилому человеку,— обратился он к совершенно голому ребенку; на шее мальчика, жадно вылизывавшего котелок, болталось распятие.

— Это — де Голль, мой младший сын, — произнес человек с мохнатым полотенцем. — Ты ведь помнишь, я женился на его матери после войны...

— Ай-ай! — проговорил Ангамба.— Дети в наши дни растут быстрее маиса... Подойди-ка, поздоровайся со мной, де Голль!

Малыш, испугавшись незнакомого человека, забился в темный угол вместе со своим котелком. Когда Ангамба протянул к нему руку, он забился еще глубже.

— Де Голль, сейчас же иди поздоровайся,— загремел отец.— Неужели сын у меня растет несмышленышем?

При этих словах де Голль, засунув палец в нос, подошел к Ангамбе. Невозможно было определить, какого цвета его кожа. Охряно-желтая придорожная пыль, смешавшаяся с пеплом от очага и пальмовым маслом, которым был закапан его маленький вздутый животишко, превратилась в разноцветную мастику с многочисленными разводами от струек воды. Его твердый пупок, величиной чуть не с девичью грудь, почернел от котелка, который ребенок пристроил меж колен.

Ангамба расставил ноги и раскрыл объятия. Мальчик кинулся к нему.

— Видишь, он уж совсем большой, — сказал отец.

Ангамба немного отстранил ребенка, чтобы лучше его разглядеть.

— Что правда, то правда, — сказал он, окидывая де Голля ласковым взглядом человека, которому, вопреки всем его желаниям, было отказано в радостях отцовства.— А теперь пойди поздоровайся с тетей,— обратился Ангамба к ребенку.

— Иди сюда, старичок,— позвала Амалия.

Малыш заковылял к ней.

Сын Бинамы родился в ту пору, когда имя известного генерала было еще в моде. Происходило это в первые годы после второй мировой войны. Тогда все сходили с ума по де Голлю, как теперь — по фасону «стиляга». В каждой хижине висел портрет генерала. Имя де Голля давали не только мальчикам, но и девочкам. Тому де Голлю, который пачкал сажей колени Амалии, было пять лет.

— Аааааааааа-га-таааааа!..

Это Бинама, словно муэдзин, звал свою жену, находившуюся в хижине.

— Даааааааа!..— отозвалась она.— В чем дело?

— Пришли Ангамба и его жена! — вопил Бинама.— Принеси им чего-нибудь поесть, а заодно и поздороваешься с ними. Вы пришли к концу ужина,— сказал он Ангамбе, понизив голос.

В это время Ангамба знакомился с группой местных жителей — до крайности изможденных негров; прикрывая одной рукой нижнюю часть живота, видневшуюся из-под куска засаленной ткани, они протягивали гостю другую руку. Тот по очереди пожимал им руки.

— Ну, как насчет медали? — спросил Бинама.— Это ведь послезавтра, не так ли?

— Да, я слышал, что это должно произойти послезавтра,— отвечал Ангамба...

Он прищелкнул пальцами.

— Мека — один из тех удачников, которым суждено счастье и на земле и на небесах,— заметил Бинама.

— Да,— вздохнул Ангамба,— он совсем как тот верблюд, что пройдет сквозь игольное ушко...

— Я знавал его, когда подыхал с голоду и просил помощи у миссионеров,— продолжал Бинама.— Славный малый, ничего не скажешь! Он постоянно приглашал меня к себе, потому что его жена, она, кажется, твоя сестра? — повернулся он к Ангамбе, который утвердительно кивнул головой.— Потому что его жена родилась недалеко от моей деревни...

— Вполне на него похоже,— проговорила Амалия.— У него большое сердце...

— Большое сердце, — подтвердил Ангамба.

— Воистину большое, — откликнулся Бинама.

В эту минуту вошла Агата с дымящимся блюдом на голове. От ее некогда полосатого платья остался только кружевной воротничок, прикрепленный заржавленной молнией прямо к юбке. Крепкие груди прорвали ветхую материю, которая расползлась до самого пояса. Дело разрушения довершили корзины. Из-под разорванной на выпуклом животе юбки виднелась узкая дорожка волос.

Прежде чем поздороваться с Ангамбой, Агата опустила блюдо на землю у его ног. Она шумно втянула ноздрями воздух, потерлась носом о тыльную сторону ладони гостя, затем протянула ему обе руки. Не отводя глаз от груди женщины, Ангамба лихорадочно сжал ее кисти.

— Я вижу, мне незачем вас знакомить, — сказал Бинама.

— Я знаю его,— прошептала Агата, отводя взор.

— Ты еще не поздоровалась с Амалией, она возле двери,— снова проговорил Бинама и засмеялся.

— Я здесь со своим маленьким муженьком,— послышался голос из темноты.

Агата обернулась и направилась к Амалии. Женщины расцеловались.

— Вы у нас заночуете? — спросила Агата, присаживаясь рядом с гостьей.

— Мы остановились только немного передохнуть. Вот разве на обратном пути...

— Я уж и сам подумывал об этом, — вмешался Ангамба с полным ртом.

Пока он ел, все хранили молчание. Когда он, как обычно, рыгнул, Амалия принесла ему кружку с водой. Ангамба наклонился и стал искать на земляном полу бамбуковую щепку, чтобы выковырять маниоку, застрявшую в зубах.

— В хижине у меня найдется чем покормить Амалию,— сказала Агата.

Она собрала посуду и взяла де Голля за руку. Амалия последовала за нею в хижину.

— Ты женился на женщине, у которой плодовитое чрево! — сказал Ангамба, потирая руки.

Бинама улыбнулся.

— Будь на то воля божья, у нас уже имелось бы полдюжины! У Агаты дважды были преждевременные роды, и каждый раз она разрешалась мертвыми близнецами...

— И какими чудесными младенцами! — воскликнул кто-то из присутствующих.

— У вас наверняка будут другие,— проговорил Ангамба с жаром.— Агата из тех женщин, которые способны народить столько же детей, сколько рожали наши матери. Стоит только взглянуть на ее живот.

Все степенно молчали, слушая Ангамбу. Когда тема разговора иссякла, Бинама спросил, какую именно медаль должен получить шурин Ангамбы из рук вождя белых. Старик сделал неопределенный жест.

— Я сам ничего толком не знаю, — признался он. — Кто-то мне рассказал, будто он слышал, как в Думе рассказывали, что это — медаль дружбы, любви и уважения, которые белые хотят выразить Меке... Что-то в этом роде...

— Воистину никто не посмеет сказать, что Мека ее украл,— заговорил Бинама.— Не часто встретишь в наше время человека с такой душой, как у него, и белые поняли это не хуже меня...

Вслед за этими словами наступило молчание.

— Пожалуй, пора уже в дорогу,— заявил Ангамба, беря копье. — Если бы не цель моего путешествия, я бы охотно просидел с вами всю ночь, грея спину у этого гостеприимного очага...

— Я угостил бы тебя славным пальмовым вином! — прибавил Бинама, подмигивая.

— Не говори мне о таких вещах,— простонал Ангамба, делая вид, что вот-вот разрыдается.

Все расхохотались. Ангамба поднялся и отряхнул свою набедренную повязку.

— Аааааааа-га-таааааа!

— Сеееееееей-чаааааааааас!..

— Передай Амалии, что муж ее ждет. Им пора в путь.

Через минуту вошла Амалия в сопровождении Агаты, которая несла на спине де Голля. Ребенка спустили наземь. Его мать ловким движением подняла корзину Амалии и приладила ее на спине гостьи.

— Мы проводим вас до реки,— с улыбкой сказала она.

Ее муж пошел отвязать Эбого.

Руки Ангамбы оказались теперь свободными, он положил обе кисти на копье и пристроил его горизонтально на плечах. Впереди всех шел Бинама, держа в одной руке головню, а в другой — козла на веревке.

— Отсюда Дум уже недалеко,— заметил он.— Вы наверняка доберетесь туда завтра к утру.

— Мы на это и рассчитываем,— отозвался Ангамба,— если только из-за моего ревматизма завтрашнее утро не превратится в вечер...

Маленькая группа гуськом двигалась по дороге. Во главе шел Бинама, за ним следовали Эбого, Ангамба и обе женщины. Бинама размахивал в воздухе головней — куском обугленного дерева,— чтобы она получше разгорелась.

Со двора доносились крики покинутого де Голля.

— Этот мальчишка все еще воображает, что он грудной! — негодовал отец.— Так реветь в пять лет! Иногда я спрашиваю себя, не растет ли у меня сын идиот...

— Не смей так говорить о моем ребенке,— вмешалась Агата,— не смей так говорить о моем ребенке. Что он такого сделал? Он вовсе не глуп! Я иду, де Голль,— закричала она,— иии-дуууууу...

Ребенок затих.

— Дитя — это еще неведомый плод,— изрек Ангамба, вновь пускаясь в свои туманные рассуждения.— Да и вся наша жизнь ничего не стоит...

Бинама не знал, как поддержать такой разговор.

— Как ты думаешь, дождемся ли мы дня, когда здесь пройдет настоящая дорога? — продолжал Ангамба.— Можно ли по этакой тропке прийти в страну, населенную людьми?

— Когда я ходил на поденную работу в католическую миссию Дума, где трудился ради того, чтобы снискать милость священника, быть допущенным к причастию и удостоиться благодати господней, я слыхал, будто в управлении коменданта собирались проложить новую дорогу,— отвечал Бинама.— Начнется она в Думе, пройдет сквозь Лес Шимпанзе, обогнет Холм Призраков, а затем подойдет к Зуриану...

— Дай бог, чтоб это было правдой! — вздохнул Ангамба.

— Надо тебе поговорить об этом с Мекой, чтобы он, в свою очередь, поговорил с вождем белых, когда тот станет вручать ему медаль, — сказал Бинама, оборачиваясь к своему собеседнику, которого он различал в темноте лишь по блестевшим белкам глаз.

— Гм, гм,— послышалось в ответ.

Они подошли к реке. Бинама принялся раздувать головню, она уже почти совсем потухла, и судорожно помахал ею над головой.

— Хорошо еще, что есть брод,— заметил он.— Представляешь, как весело было бы в таком мраке перебираться через реку по доске!

Ангамба взял конец веревки, который ему протянул Бинама. Амалия вскинула ношу на спину. Она первая перешла реку и дожидалась мужа на другом берегу. Хотя вода едва достигала лодыжек, Ангамба из осторожности поднял набедренную повязку, не доходившую ему даже до колен.

— От такой воды моему ревматизму одна польза,— произнес он, шлепая ногами по песку.

Обе четы, стоя на противоположных берегах реки, начали бесконечное прощанье. Теперь головня была в руках у Ангамбы.

— Счастливого пути! — кричал Бинама.— Главное, смотри не позабудь про дорогу, о которой мы с тобой говорили.

— Все могу позабыть, только не это! — отвечал Ангамба.— «Только не это»,— повторил он про себя.

— Амалия, принеси мне из города гостинец! — протяжно кричала Агата с берега.

— Конечно, принесу, — отвечала Амалия.

— Не торопитесь! — кричал Бинама.— В темноте по этой дороге тяжело идти.

— Будем глядеть в оба,— отозвался Ангамба.

— Счастливого пути, друзья! — крикнули с одного берега реки.

— Счастливо оставаться! — ответили с другого.

— Еще свидимся, если богу будет угодно! — сказала Амалия.

— Ему будет угодно! — отвечала чета друзей.— Ему будет угодно!

— Поцелуйте за меня де Голля!

— Обязательно поцелуем...

Мелькавшая в руках Ангамбы головня исчезла в ночи. Когда супругу Амалии надоело размахивать в такт шагам уже почти погасшим факелом, он отшвырнул его в сторону и обнаружил, что мрак от этого не увеличился и не уменьшился. Он пустил Эбого вперед, а сам покорно поплелся за козлом. Тот, склонив морду до самой земли, без труда продвигался в темноте. Чувствуя на своих пятках теплое дыхание животного, Амалия мерной поступью уходила все дальше.

Они миновали еще несколько деревень; там все спало. Затем долго шли в полосе света: по обеим сторонам дороги горели заросли. Когда послышалось пение первых петухов, им оставалось пройти последнюю деревню, отделявшую их от шоссе; оттуда было полчаса ходьбы до города.

— Как быстро мы дошли! — с гордостью воскликнул Ангамба.— Ведь еще на заре мы достигли леса Битон. В этой деревеньке я знаю одного человека, мы встречались с ним у Меки три сухих сезона назад, помнишь, когда я ходил в Дум покупать тебе мачете...

Амалия утвердительно хмыкнула.

— Можно было бы перекусить у него.

— Поглядим,— отвечала Амалия.— Думаю, мы попадем туда после утренней молитвы. Если ты захочешь, мы можем прийти в Дум еще до полудня...

— Поглядим, поглядим,— в свою очередь сказал Ангамба.

Он перекрестился и начал читать молитву. Амалия, хотя и не могла разглядеть мужа в темноте, последовала его примеру.

Больше они не обменялись ни словом.

Когда тропинка повернула к шоссе, которое вело в Дум, Ангамба тяжело вздохнул. Солнце еще не достигло зенита, но уже довольно высоко поднялось над горизонтом. Никогда Ангамба так не страдал от жары. Он запрокинул голову, словно надеясь найти благодатную тень. Затем положил на темя руку, сжимавшую копье.

Амалия была вся в поту. Она то и дело двигала бедрами, поправляя сползавшую корзину, платье ее поднялось и обнажило влажные ляжки, они ярко сверкали на солнце, словно политые маслом. Пот, струившийся со лба, стекал ей на верхнюю губу, а затем к уголкам рта. И тогда Амалия шипела, как разъяренная кошка.

Путники медленно продвигались вперед, стараясь не наступать на огромные булыжники, которыми было вымощено шоссе. Им предстояло пересечь весь европейский квартал, затем спуститься с соседнего холма, у подножья которого раскинулся туземный квартал, пересечь его и пройти тропинкой, ведущей к кладбищу католической миссии; там-то и находилось жилище Меки.

Внезапно раздался гудок автомобиля. Насмерть перепуганный Эбого сделал немыслимый скачок; Ангамба взлетел на воздух, а затем тяжело грохнулся на землю, уткнувшись носом в мелиссу, росшую по обочине шоссе. Полузадохшийся козел с выпученными глазами лежал неподалеку от хозяина. Забыв о ссадинах, Ангамба торопливо вскочил на ноги, чтобы ослабить веревку, душившую животное.

Амалия и тут не потеряла обычного спокойствия. Она даже не оглянулась и по-прежнему держалась правой стороны шоссе, как всегда, когда попадала в город. Грузовик, набитый неграми, обдал их облаком пыли. Ангамба пощекотал бока Эбого. Козел, жалобно блея, поднялся с земли.

— Ты не можешь идти немного быстрее? — спросила Амалия.

Ангамба выругался.

V

Когда Мека с новым пиджаком под мышкой подошел к своей хижине, он мысленно спросил себя, как удастся ему разместить на ночлег целую толпу друзей и родичей, прибывших сюда в связи с его награждением.

Гул восхищения прошел по задымленной хижине, когда Мека, приподняв над головой свой пробковый шлем, произнес:

— Добрый вечер, друзья!

— Ангамба и Амалия здесь,— сообщила Келара мужу.

— Смотрите-ка! — воскликнул Мека, обнимая по очереди шурина и его жену.

Он похлопал Ангамбу по спине, а тот поднял его в воздух и легонько встряхнул.

— Нет, сила у тебя уже не та! — воскликнул Мека.— Жены тебя совсем иссушили! Бедняжка Амалия! — прибавил он, поворачиваясь к жене Ангамбы.

— Ну нет, я пока еще бодр! — возразил Ангамба, осклабившись.— И рассчитываю снова устроить в своем доме женскую половину.

Он опустил Меку на землю. Оба продолжали смеяться.

— К нам пожаловали и Эсомба с женой,— продолжала Келара.

— Где этот потомок пигмеев? — рассмеялся Мека.— Раздуй огонь, а то я его не разгляжу!

— Я никогда не прячусь,— послышался хриплый голос.— Если б я начал прятаться, кем бы вы тогда любовались!

Мужчины обнялись.

— Где моя женушка? — шутливо спросил Мека.

Жена Эсомбы подошла и кинулась к нему в объятья. Мека обернулся к Эсомбе.

— Я всегда спрашивал себя, каким образом этакой горилле, как ты, удалось вступить в брак с такой миленькой женщиной?

— Да разве он понимает? — подхватила хрупкая молодая женщина без излишней скромности.— Он меня вовсе и не ценит...

— Я — настоящий мужчина,— заявил Эсомба, изо всех сил ударяя себя кулаком в грудь.

Все так и покатились со смеху. Эсомба доводился племянником двоюродному прадеду Меки. Однако он не унаследовал от великого рода Меки изящной и гордой осанки. Эсомба был приземистый коротышка с бегающими глазками под неправдоподобно густыми кустистыми бровями. В семье его прозвали пигмеем, и никто не подозревал, до какой степени он гордился этой кличкой.

Его жену трудно было назвать красавицей, но ее молодая гибкая фигура нравилась мужчинам.

Супруги Эсомба, как и супруги Ангамба, прибыли, узнав, что Меке должны вручить медаль... Мека безостановочно пожимал руки, которые тянулись к нему из темноты. В хижине собрались все его двоюродные братья и сестры. Были здесь и такие, которых он не видал лет десять. Они явились со своими чадами и домочадцами. Все близкие и дальние родичи Келары также были налицо. Приплелась, к примеру, какая-то старуха; Келара не узнала ее даже тогда, когда гостья назвала себя, добавив, что она в свое время ходила за матерью Келары, умершей задолго до первой мировой войны.

Были здесь и постоянные дружки Меки: вечно шамкающий Нюа, Нти с распухшими ногами, морщинистый Мвондо и несчастный Эвина, до того грязный, что с души воротило. Двоюродные братья Меки и Келары, а также их шурья, гостившие в деревне еще до знаменательного

события, вновь решили отложить свой отъезд. Были здесь и все жители Дума, явившиеся воздать честь своему односельчанину.

При виде такого нашествия Келара поспешила нарезать банановых листьев. Она подмела оба крыльца, расположенные спереди и сзади хижины и защищенные навесом из рафии. И теперь ожидала лишь конца вечерней трапезы, чтобы расстелить на полу банановые листья: они должны были служить ложем для гостей.

«Только бы не пошел дождь!» — думала она.

— Пусть зажгут лампу,— распорядился Мека, усаживаясь на свое привычное место, на бамбуковую кровать, где он спал вместе с женой.

Келара опустилась на корточки возле очага, сложенного из четырех камней, неподалеку от супружеского ложа; она зажгла веточку и просунула ее внутрь разбитого стекла старой лампы-молнии. Фитиль загорелся. Келара вывернула его побольше. Круг света выхватил из темноты первые ряды собравшихся. Келара поставила лампу у ног своего супруга. Тень Меки, который ссутулился, сложив на коленях руки, падала на плетеный потолок, почерневший от сажи.

— Ну, как ты добрался? — спросил он Ангамбу, растянувшегося на соседней кровати.

— Лучше не спрашивай! — ответил Ангамба, поворачиваясь и опираясь подбородком о бамбуковую перекладину, служившую изголовьем.— Мало того, что меня донимали мои злосчастные ноги, я еще волок сюда этого проклятого козла...

Мека улыбнулся шурину.

— Большое тебе спасибо,— произнес он,— но я просто не знаю, должен ли я тебя благодарить: ведь самого себя благодарить не принято...

— Когда вы тронулись из Зуриана? — осведомилась Келара.

— Вчера вечером,— ответила Амалия,— и шли всю ночь...

— Ну, что у вас там нового? — поинтересовался Мека.

— Что может происходить в нашем захолустье? — отозвался Ангамба. — Уж если что происходит — так это здесь, у вас... Ну, что слыхать-то?

— Даже здесь,— заговорил Мека (он хлопнул в ладоши, призывая гостей к молчанию),— даже здесь обычно ничего особенного не случается, если не считать этой истории с медалью и приезда вождя белых, о чем ты уже наверняка слышал.

— Расскажи мне сам, — попросил Ангамба, приподнимаясь на локте.— Видишь ли, я слышал эту новость из уст людей, не внушающих большого доверия.

Мека вновь начал рассказ, который он повторял всем и каждому с тех пор, как его вызвали в управление коменданта. Присутствующие внимали ему в благоговейном молчании. Лишь несколько пронзительных женских возгласов послышалось в толпе.

— Не подымайте крика! — загремел Мека, топнув ногой.— Побеpегите глотку до завтра!

Все одобрительно закивали головою.

— А что, он уже здесь, вождь белых? — осведомился Ангамба. — Я потому спрашиваю, что, проходя через город, повсюду видел развевающиеся знамена.

— Говорят, он всегда прибывает туда, где его ждут, в самую последнюю минуту,— вмешался Эсомба.— Мне рассказывал об этом приятель, он работает на морском побережье...

— Все может быть,— заметил Мека.

— А что ж все-таки нового в Зуриане? — вновь спросила Келара.— Женился ли Мбогси?

— Этот-то? — улыбнулась Амалия.— Неужели вы думаете, что он еще женится? Даже старуха Анаба его не захотела...

— Я считаю, она надеется стать сестрой милосердия,— добавил Ангамба. — Для женщины ее лет это самое подходящее занятие!

— По всему видно, она ждет жениха из города, — насмешливо подхватила Амалия.

Все так и покатились со смеху. Келара, сидевшая рядом с мужем, внимательно следила за огромным котлом, кипевшим на очаге.

— Бананы, должно быть, сварились, — сказал Мека. — Я до того голоден...

Келара приподняла крышку и тотчас же отпрянула, так как из котла вырвались клубы пара. Она взяла банановый лист и осторожно сняла котел с очага. Затем отнесла его на середину хижины; гости уступали ей дорогу. Жена Эсомбы притащила деревянную ступу и пест. Усевшись прямо на пол, она принялась толочь бананы.

— Мы принесли тебе только пальмовую крысу, жена ее поджарила,— проговорил Эсомба, подходя к Мекe и развертывая связку банановых листьев.

Ангамба присел на кровати и искоса бросил взгляд на лакомство. Эсомба облизал пальцы. Он опустился на одно колено и захватил большим и указательным пальцами кусок мяса, который тут же и отправил в рот.

— Пусть никто не посмеет сказать, что я тебя отравил,— проговорил он, усердно жуя.

— Подождите, пока дойдут бананы,— сказала Келара.

— Поторапливайтесь, — произнес Мека, поглядев на женщин поверх лампы. — Передай мясо Ангамбе, — приказал он Эсомбе.

Ангамба потянулся навстречу Эсомбе и, навалившись грудью на бамбуковую перекладину кровати, погрузил свои длинные пальцы в мясо.

— Чтобы как следует оценить вкус пальмовой крысы, приготовленной с мелиссой, баклажанами и перцем, надо есть ее без всякой приправы... А знаешь, — добавил он, — мы ели недавно мясо змеи!

— И ты даже не вспомнил обо мне? — попрекнул его Мека.

Нюа, Мвондо и прочие прихлебатели Меки, не ожидая приглашения, опустились на корточки рядом с ним. Когда Келара принесла банановые лепешки, от мяса уже не осталось ни крошки.

Она отправилась за глиняным горшком, стоявшим возле старой лохани, в которой наседка высиживала яйца.

— Надеюсь, хватит на всех, — сказала она. — Женщины поедят со мной. Мужчины — с моим мужем. А дети — вместе с матерями.

В одно мгновенье возле Меки и Келары образовалось два круга. Мужчины, собственно говоря, сидели в два ряда. Те, кому посчастливилось оказаться в первом, набросились на еду так ретиво, что, когда пришел черед задним, в котле уже ничего не оставалось...

Женщины медленно пережевывали пищу. Они еще долго наслаждались едой, уже после того как мужчины давно покончили с ужином.

В каждой группе переходили из рук в руки две кружки с водой.

Ангамба вкушал пищу, лежа на животе. Покончив с трапезой, он во весь рост растянулся на кровати, оперся подбородком о бамбуковую перекладину и шумно выпускал воздух сквозь зубы. Жена протянула ему бамбуковую щепочку.

Мека очистил ладони кусочком дерева. Фигуры мужчин, сидевших на корточках возле кроватей, расплывались во мраке, окутывавшем углы хижины. Мека ослабил пояс и улегся на спину.

Келара ходила взад и вперед по хижине. Время от времени Мвондо, желая осветить ей дорогу, поднимал лампу, горевшую у изголовья Меки. Когда все было прибрано и расставлено по местам, она уселась рядом с мужем. Амалия улеглась рядом с Ангамбой.

В той части хижины, которая тонула во тьме, началась такая суматоха, что казалось, будто туда согнали стадо баранов. Время от времени в освещенном пространстве появлялась чья-то голова, но затем тут же исчезала во мраке.

Когда какой-нибудь младенец поднимал крик, мать, чтобы успокоить его, давала ему грудь. Было слышно лишь приглушенное дыхание.

— Я хочу, чтобы каждый знал, где ему придется спать,— сказала Келара, вставая.— В хижине мало кроватей. Ангамба и его жена останутся в той кровати, на которой они лежат. Эсомба с женой устроятся в кровати Мвондо, а он ляжет вместе с Нти...

— Нти! Слышал? — закричал Мвондо. — Постарайся не храпеть хоть раз в жизни!

— Я никогда не храплю, — отвечал Нти, разминая свои распухшие ноги. — Я никогда не храплю, — упрямо повторил он.

— Ты не в суде, — отрезала Келара. — Те, у кого есть циновки, — продолжала она, — расстелят их, только я сначала подмету пол. Остается еще маленькая деревянная кроватка...

— Я уже устроилась на ней, — раздался голос старушки, утверждавшей, будто она ходила за матерью Келары.

— Именно для тебя я и решила ее оставить, — подтвердила Келара. — А те, у кого нет циновок, лягут прямо на банановых листьях, их на крыльце достаточно. Поняли?

— Йееееееее, — послышалось в ответ.

Келара улеглась рядом с мужем. Мвондо поднял набедренную повязку и уселся голыми ягодицами прямо на пол возле лампы. Другие мужчины последовали его примеру. Ангамба захрапел.

— Разбуди-ка его, — обратился Мека к Амалии. — Как может он спать, ведь мы еще не поговорили!

— Я не сплю, я не сплю, — запротестовал Ангамба, но по голосу было слышно, что его одолевает сон.

Он зевнул.

— Ты столько времени провел в городе, — сказала Келара мужу, — а до сих пор даже не показал нам своего пиджака...

— Примерь его, — попросил Мвондо.

— Не приставайте, — проворчал Мека. — Я и так весь день только и делал, что примерял его, ведь вы увидите его завтра утром, когда я буду одеваться... Да, чуть было не забыл, Келара, — воскликнул он, вскакивая, — нужно еще пришить пуговицы.

Он развернул пиджак, лежавший на полке, затем не удержался от соблазна еще раз примерить обновку. Присутствующие оторопело молчали. Было слышно только, как поскрипывает на плечах Меки новая материя. Эсомба громко расхохотался.

— Никогда у меня не было пиджака, ни разу в жизни я его не носил, — выпалил он одним духом. — Но будь у меня такая одежда, я бы обходился без штанов!

— По-моему... это — сам не знаю что... — проговорил Мвондо, лишенный дара воображения.

— Что? Что? — загремел Мека, оттягивая рукава, чтобы высвободить кисти рук.

— Да ничего, — заторопился Мвондо, — я ничего...

— У тебя никогда не хватает духу сказать то, что думаешь! — кипятился Мека. — А ведь в жилах у тебя течет моя кровь!

Он повернулся к Келаре.

— Впервые вижу такой пиджак, — проговорила она, — ты в нем, словно пескарь в море...

— Ну-ну, не преувеличивай! — закричал на нее муж.— Взгляни-ка, он мне идет,— продолжал он, снова оттягивая рукава и поворачиваясь к жене спиной.

Келара подняла лампу и внимательно осмотрела мужа.

— В этой одежде у тебя такой же нелепый вид, как у собаки, слушающей граммофон, — заявила она.

— А я нахожу, что пиджак хоть куда,— вмешался Ангамба, — это, должно быть, самый модный покрой...

— Хоть один разумный человек нашелся,— сказал Мека, успокоившись.

Он пожал руку Ангамбе.

— Это новая мода,— продолжал он, — на смену пиджаку фасона «де Голль» пришел пиджак фасона «стиляга». И я первый в Думе надену такой... Разве только вождь белых будет завтра в пиджаке того же покроя...

— Он очень практичен, — продолжал Ангамба, делая Меке знак приблизиться. — При таком пиджаке можно свободно носить штаны с дырой на заду...

Послышался одобрительный шепот.

— Ну и хорош же ты, — взорвалась Келара, — лучше бы уж заказал себе настоящую сутану! Как решишься ты предстать перед комендантом и вождем белых в этаком балахоне! Я уверена, что если белые увидят тебя завтра в этой одежде, они не дадут тебе медали! Не стану я пришивать пуговицы...

Мека знал, что если Келара приняла решение, то тут уж ничего не поделаешь... Понурив голову, он снял с себя пиджак и уныло швырнул его на полку.

— Выходит, все свои сбережения я выбросил зря, на ветер?

— Я сама пойду с тобой к этому портному, — заявила Келара и стала аккуратно складывать пиджак.

— Не понимаю, чем вам не нравится эта одежда? — снова вмешался Ангамба.

— Здесь не твое захолустье! — огрызнулась Келара.

— Помолчи! — сказала Амалия мужу.

Ангамба повернулся к стене. Тяжкое молчание воцарилось в хижине после ссоры Келары с мужем. Мека, как обычно, сидел, положив руки на колени, и раздумывал, что он наденет завтра. Время от времени он бросал гневные взгляды на Келару, которая возилась возле полки.

— Келара и ее муж любят друг друга, прямо как новобрачные, — проговорил Эсомба, смеясь.— В их годы они еще ссорятся, точно влюбленные!

Мека против воли негромко рассмеялся. Смех охватил всех присутствующих и с каждым мгновением становился все громче. Но Мека уже не смеялся. Губы его беззвучно шевелились и наконец застыли в гримасе, напоминавшей жеманную улыбку женщины, желающей, чтобы ее считали более недоступной, чем она есть на самом деле.

Келара опустилась на корточки перед мужем и положила рядом с ним пакет. И сразу же любопытные тесно сгрудились вокруг них. Келара отогнула юбку, поставила себе на голое бедро ступню мужа и принялась расшнуровывать его полотняные туфли цвета хаки.

— Давай-ка посмотрим, сможешь ли ты завтра надеть кожаные ботинки, которые мы купили у госпожи Пипиньякис.

Ноги Меки были мало приспособлены для обуви белых. До своей женитьбы на Келаре он ходил босиком, а женился он незадолго до прихода белых. Он столько раз ушибал большие пальцы ног о различные препятствия, что с них, в конце концов, сошли ногти, а вследствие «пиан краба»*, которым он переболел в молодости, пальцы его загибались кверху. В довершение беды оба мизинца на ногах свисали точно передние лапы у черепахи. Каждый раз, покупая пару полотняных туфель, Мека прорезал в них по маленькому окошечку для своих злосчастных мизинцев. И поэтому мизинцы всегда выглядывали наружу. Никогда в жизни Мека не носил кожаной обуви. Он испытывал своего рода неприязнь к ней: каждый раз, когда он слышал скрип кожаных подошв, кончик его носа — даже в самую холодную погоду — покрывался капельками пота.

Это Келаре пришла в голову мысль купить мужу пару светло-коричневых кожаных ботинок. Меке вспомнилось то утро, когда он с отчаянием в душе отправился за обувью в лавку г-жи Пипиньякис. Он спросил, по совету Келары, ботинки на номер больше. Несмотря на настояния белой женщины, примерять он их не стал: Мека не хотел показывать свои муки в присутствии посторонних. Но владелица лавки сумела уговорить его купить еще пару носков, коробочку ваксы, две пары запасных шнурков и рожок для обуви, с которым он не знал, как обращаться... Теперь он не без страха смотрел на все эти предметы, разложенные Келарой неподалеку от него. Сняв с левой ноги мужа полотняную туфлю, Келара попыталась натянуть на нее ботинок. Мека оттолкнул ее руку и стиснул ладонью пальцы своей ноги. Затем взял ботинок, который протянула жена, и сжал зубы. Крупная капля пота скатилась с его лба. Он стиснул пальцы еще крепче и сунул ногу в ботинок. Затем поднялся, чтобы облегчить процесс обувания, и с силой налег на пятку; нога его вошла наконец в ботинок со звуком, напоминавшим звук поцелуя.

— Видишь, дело идет на лад, — сказала Келара, поднимаясь с полу.

Мека вновь уселся и вытянул обутую ногу.

— Ты попробуй походи, — посоветовала Келара.

— Попробуй походи! Иди смелее! — раздавалось со всех сторон. Мека оперся на валик из рафии, служивший ему сиденьем. Закусив до боли нижнюю губу, он приподнялся, сделал несколько шагов. Внезапно старик захромал, быстро заковылял обратно к кровати и сел.

— Нет, в этих башмаках мне далеко не уйти, — заявил он, разуваясь. — Нет, в них мне далеко не уйти...

— Не можешь же ты завтра утром пойти босиком или в старых туфлях, — возразила Келара.

— Надо попробовать растянуть эти ботинки, — вмешался Ангамба.— Насыпьте в них песку и смочите немного кожу, она станет мягче... И завтра поутру мой шурин, думаю, сможет их надеть.

— Вот поистине мудрый совет зрелого человека, — одобрил кто-то.

— Я об этом и не подумал,— сказал Мека, и на губах его снова появилась улыбка. — Самому мне никогда не приходят в голову такие вещи, но когда о них заговорят, мне кажется, что я давным-давно о них знаю...

Келара послала Мвондо набрать песку в ботинки и вручила ему лампу. Хижина погрузилась во мрак. Келара раздула еле тлевшие в очаге угли. Пламя слабо вспыхнуло и осветило кровати, на которых лежали, вытянувшись, Ангамба и Мека.

— Никогда мне не дойти в этих башмаках до управления коменданта, — пробормотал Мека. — Пущусь в дорогу в старых туфлях... Если

* Пиан — инфекционное заболевание, которое сопровождается крупной сыпью. Пиан краб — пиан, поражающий подошву ноги.

Келаре угодно, пусть идет со мной до холма: там я переобуюсь в кожаные башмаки.

— Великолепная мысль, — одобрил Ангамба.

Мвондо возвратился в хижину с ботинками, наполненными песком. Он побрызгал их водой и засунул под кровать Ангамбы.

— У тебя есть еще два кителя, — заговорила Келара. — Можешь надеть тот, цвета хаки... Да, да, именно его ты и наденешь.

— Подвинь сюда лампу! — приказал Мека, срывая свой гнев на Мвондо. — Нет, вы только взгляните на этот букет морщин!

Мвондо, боясь расхохотаться, прикрыл рот рукою.

— Вот она твоя лампа, — сказал он, опуская светильник у изголовья Меки.

— Значит, завтра утром? — спросил Ангамба, поворачиваясь к Меке.

— Да, завтра утром, — откликнулся тот.

— В котором часу?

— Мне надо там быть к восьми, — еле слышно пробормотал Мека, которого клонило ко сну.

Келара принялась мести хижину, чтобы гости могли расстелить циновки и банановые листья. Когда она кончила уборку, посреди хижины началась толкотня.

— Что это еще такое? — закричал Мека, одним прыжком вскакивая с кровати. — Вы где находитесь, а? Пусть сперва старшие расстелят свои циновки; если места не хватит, остальные пойдут спать на крыльцо.

Часть гостей вышла, в то время как другие с тяжкими вздохами повалились на циновки. Мека снова улегся.

— Завтра вечером посидим подольше, — сказал он. — А сегодня я очень устал. И так как мне надо вставать спозаранку, давайте поскорее уляжемся.

— Йееееееее, — ответили гости, оставшиеся в хижине.

— А теперь помолимся, — предложил Мека, опускаясь на колени и, по своей привычке, высоко вскидывая зад.

Келара опустилась на колени рядом с мужем. Амалия и ее супруг, в свою очередь, стали на колени.

— На колени, эй вы там! — закричал Мека гостям, устроившимся на циновках.

Когда все дружно вскинули зады вверх, Мека приложил руку ко лбу.

— Во имя отца... — затянул он.

Лежа на спине и прикрыв левой рукою лоб, Мека тщетно ожидал, когда, наконец, к нему придет сон. Время от времени старик заглядывал в трещины, бороздившие глинобитную стену, лицом к которой он лежал. Вокруг царила полная тьма. Он то и дело ударял себя по щеке, стараясь прихлопнуть неуловимого москита. Впрочем, и все остальные тоже занялись охотой на москитов. Глухой шум от шлепков по голому телу, мощный храп гостей гнали сон от Меки. Ему никак не удавалось заснуть, и он томился в бессоннице.

Келара лежала, скорчившись, точно антилопа, и упершись коленями в крестец мужа. Мека, прижатый к самой стене, окликнул жену. Она застонала и, не открывая глаз, повернулась на бок. Мека вздохнул, смежил глаза и стал ожидать прихода сна. Он услышал первый крик куропаток и снова посмотрел сквозь щель. Мрак редел. Старик увидел козла, которого привел ему в подарок шурин.

«Славный человек брат Келары,— подумал Мека.— Только он один и позаботился привести козла. Остальные явились с запасом провизии на один вечер: правда, им пришлось волей-неволей поделиться с хозяином. Ну, а что они будут есть завтра? Конечно же станут дожидаться вечера, чтобы полакомиться его козлом. Ну, положим, им придется долго ждать!—

решил он.— Этого козла мы съедим вчетвером — Ангамба, Амалия, Келара и я. Должен же я хоть раз поесть вволю...»

Он попытался представить себе церемонию награждения. Какого цвета эта самая медаль, которую вождь белых привезет для него? Не раз он видел медали на груди белых, но только издали и не успевал их разглядеть.

«Лишь бы она не походила на церковную медаль законоучителя,— думал он, — лишь бы она не походила на медаль Игнатия Обебе... Пускай лопнет от зависти!»

Мека улыбнулся. Ему вспомнилась история с павианом... Он снова улыбнулся, затем попробовал представить себе вождя белых. Какая у него физиономия, и что он ему скажет? Как он, Мека, должен его встретить? Ведь они станут друзьями, стало быть нужно обнять белого? Надо ли ему сделать какое-нибудь подношение? И какое? Ну, скажем, куриные яйца; ему говорили, что белые от них без ума, что они даже и прибыли сюда ради куриных яиц... Он решил было разбудить Келару и наказать ей приготовить корзину яиц. Но передумал. Не поздно это сделать и утром.

Мека потянулся. Мизинец его правой ноги попал между двумя палочками бамбука. Стало больно, совсем как тогда, когда Келара заставила его примерить светло-коричневые ботинки. Кровь отхлынула от его лица. Он сел и высвободил мизинец.

— Экая мука! — сказал он вслух. — Сразу же, как меня наградят, разуюсь, — продолжал он бормотать. — Долго ли нацепить медаль: раз — и готово...

Мека прикоснулся рукой к груди.

— ...даже того быстрее! — закончил он.

Потом мысли его смешались. Веки налились свинцом. Тело стало таким же невесомым, как в те минуты, когда он выходил от Мами Тити...

Мека заснул.

Часть вторая

I

С непокрытой головой, вытянув руки по швам, Мека неподвижно стоял в кругу, очерченном мелом, куда его поставили в ожидании прибытия вождя белых. Стража с трудом сдерживала толпу соотечественников Меки, напиравшую сзади. Среди белых, державшихся в тени веранды г-на Фукони, старик узнал только отца Вандермейера по его черной сутане и черной бороде. Белые были для него, словно антилопы, — все на одно лицо.

Мека робко, как затравленное животное, огляделся вокруг. Огромным усилием воли он поборол желание провести рукой по лицу и утереть пот, проступивший на кончике носа. Он понимал, что с ним происходит что-то неладное. Ни его дед, ни отец, никто из членов его огромной семьи никогда не стоял, как стоит сейчас он, в кругу, обведенном мелом, меж двумя мирами — миром своих и миром тех, кого вначале, когда они только что появились в этой стране, называли «призраками». А он, он не был сейчас ни со своими, ни с теми, другими. Мека спрашивал себя, зачем он здесь. Прекрасно можно было бы подождать вместе с Келарой, которая, конечно, находится среди шумевшей толпы, а как только вождь белых появится, тогда пусть и позовут его для вручения медали. Что за нелепая мысль пришла вождю белых из Дума поставить его в круг, очерченный мелом! Вот уж целый час, а может и больше он стоит здесь. А великого вождя белых все нет да нет!

Становилось жарко. Мека подумал, уж не бьется ли его сердце в ногах. Он обул ботинки на вершине холма, откуда виднелось управление г-на Фукони. Он почти не чувствовал их, когда шел представляться коменданту. Мека шагал к своему месту под знаменем, словно был королем Дума. Ни разу он даже не взглянул на туземных вождей, которых узнал по красным нашивкам.

«Вот и эти тоже лопнут от зависти,— думал он.— Презираю их! Презираю их всех!»

Затем он сдвинул каблуки; не раз Мека видел, как военные, когда перед ними проходит белый, громко щелкают каблуками. Проходившие мимо белые улыбались Меке, потом присоединялись к своим соотечественникам и указывали на старика негра пальцем. Тогда оттуда, где толпились европейцы, до него доносился неясный шум. Однако он продолжал стоять навытяжку. Он чувствовал, что весь затвердел, как кусок дерева.

Сначала у него заныла шея. Тогда он начал озираться по сторонам. Теперь он чувствовал, что сердце бьется у него в ногах, и с опаской спрашивал себя: а вдруг он не устоит в этом круге до приезда великого вождя белых? Он взглянул на свои ботинки, и ему почудилось, будто они раздулись сильнее, чем утром, когда он вытряхнул из них песок, насыпанный ночью. Мека попробовал пошевелить ногой, сжал кулаки и затаил дыхание. На несколько секунд ему стало легче, гораздо легче. Тогда он попытался перенести всю тяжесть тела на правую ногу, которая причиняла ему меньше боли. Левая нога немного отдохнула, но зато с правой ногой происходило теперь нечто поистине невообразимое. Ему показалось, будто игла, подаренная Элой, пронзила сначала мизинец, поднялась до лодыжки, до бедра и засела в позвоночнике. Затем вместо одной иголки по его телу засновали мириады игл. Он обливался потом.

«Хорошо еще, что я не надел носков», — подумал он.

Мека попробовал представить себе еще более острую боль, чем та, какую он испытывал сейчас.

«Вот еще! — думал он, — ведь я мужчина! Каким меня сделали мои предки, таков я и есть. Они, должно быть, смотрят на меня сейчас. Неужели ж я допущу, чтоб им было стыдно за своего правнука. Ведь меня обрезали и колдун плюнул стручковым перцем на мою рану. А я не плакал...» И Мека еще крепче сжал зубы.

«Я не плакал, — думал он. — Никогда в жизни не плакал. Мужчина, настоящий мужчина никогда не плачет».

Мека и был мужчиной, настоящим мужчиной. Разве не был он сыном великого Меки, того, что долгое время давал отпор первым появившимся здесь белым? И что же? Неужели он заплачет теперь перед ними и перед своими соплеменниками, перед теми, кто знавал его отца или слышал о его подвигах?

Лицо Меки просветлело, и он взглянул в сторону белых. Вытянул правую ногу, отставил левую, затем вытянул левую и отставил правую, снова сдвинул пятки, обернулся к своим соплеменникам и улыбнулся им, как бы желая их подбодрить. Потом, сложив руки за спиной, стал ждать. Ему казалось, что он больше не чувствует своих ботинок. Он взглянул на развевающееся над его головой знамя, взглянул на белых, на военных и выпрямился.

«Если даже вождь белых приедет ночью, все равно буду ждать, — думал он.— Даже если он приедет завтра, через год или к светопреставлению...»

Вдруг глубокая морщина пересекла его лоб, и лицо сразу помрачнело. Он почувствовал тяжесть внизу живота. И внезапно у него возникло желание, правда совсем слабое желание сходить по малой нужде.

Господин Фукони стоял в первом ряду европейцев из Дума, между Птичьей глоткой и своим помощником, молодым человеком с круглыми плечами, пышной черной шевелюрой и широким тазом, известным среди негров под прозвищем «полубаба». Г-н Фукони выступил вперед, спустился по ступенькам и направился во двор. Его помощник тотчас же последовал за ним. С минуту они болтали, стоя в нескольких шагах от Меки. Г-н Фукони посмотрел на старика негра и улыбнулся ему. Мека ответил самой широчайшей из всех своих улыбок. Потом двое белых подошли к воинскому начальнику и стали что-то обсуждать. Комендант в сопровождении своего помощника вернулся к группе белых.

«А что, если я возьму и уйду! — думал Мека, ноги которого горели огнем. — Возьму и уйду!»

Повторив эту фразу раз десять, Мека пошевелил плечами, потом, набравшись храбрости, быстро утер залитое потом лицо. Он осмотрелся по сторонам, как бы отыскивая глазами свидетелей своего подвига. Вильнул всем телом, неопределенно пошевелил руками, хотел даже свистнуть, но сдержался и вытер ладонью губы. Он спрашивал себя, о чем бы ему сейчас подумать, чтобы отвлечься от навязчивой мысли и забыть жгучее пламя, палившее его ноги.

Чего бы он ни отдал, лишь бы очутиться позади своей хижины, под зонтичной пальмой, где он каждое утро после молитвы присаживался на корточки. Мека закрыл глаза.

«Всемогущий боже! — взмолился он. — Ты, который видишь все, что происходит в сердцах людей, ты же видишь, что самое страстное мое желание в эту минуту, когда я жду вручения медали и приезда вождя белых, один в этом кругу, меж двух миров, — он открыл глаза, осмотрелся и снова опустил веки, — меж двух миров, которые ты, всемогущий, сотворил совсем разными, ты же видишь, что самое мое заветное и сильное желание — снять ботинки и помочиться. Да, да, помочиться... Я всего лишь бедный грешник и не достоин того, чтобы ты утруждал для меня слух свой... Но молю тебя, помоги мне сейчас, в эту минуту величайшего события моей жизни, молю тебя во имя Иисуса Христа, господа нашего. Да будет так... Мысленно я осеняю себя крестным знамением».

Он открыл глаза и провел языком по губам. И сразу же наступило облегчение.

Было половина десятого. Г-н Фукони начал нервничать. Верховный комиссар опаздывал на целый час. Его ждали к подъему флага. Комендант подошел к группе туземных чиновников, потом к группе туземных вождей. И снова прошел мимо Меки.

— Жарко, а? — спросил он Меку.

— Да, да, — ответил Мека.

Это было все, что он мог сказать по-французски. Птичья глотка и помощник присоединились к г-ну Фукони. Теперь белые группами прохаживались взад и вперед перед Мекой.

«Им хорошо, у них ботинки не жмут,— с горечью думал Мека.— Все они в шлемах и к тому же совсем молодые... А я, бедный пожилой человек, должен стоять с непокрытой головой и жариться на солнце».

Группа европейцев снова прошла мимо Меки. От их нестерпимо белых костюмов у него заломило глаза. Он зажмурился, но от скрипа камней под тяжелыми шагами белых у него ужасно заболели уши.

Мека и сам не знал, что ему доставляло большее страдание: ноги, живот, жара или зубы. Если бы в ту минуту его спросили, как он себя чувствует, он не солгал бы против обыкновения, ответив, что боль терзает все его тело. Он пожалел, что не зашел к Мами Тити.

«Там, по крайней мере, я выпил бы чего-нибудь такого, что приглушает боль», — подумалось ему.

Он посмотрел в сторону Торгового квартала. И в ту же секунду раздался автомобильный гудок, услышав который пришла в волнение вся площадь. Мека увидел длинную черную машину с маленьким трехцветным флажком. Она мчалась как бешеная по направлению ко двору. Машина остановилась перед г-ном Фукони и его помощником. Комендант Дума почтительно распахнул дверцу машины. Двое огромных белых вышли из автомобиля. Мека старался понять, какой из двух приезжих тот самый великий вождь, приезда которого ждали уже целый час.

Двое белых, сопровождаемые г-ном Фукони и его помощником, прошли раз, прошли другой перед военными, после чего комендант повел их на веранду своей резиденции, где высокого гостя ожидали европейцы, жители Дума.

Затем г-н Фукони представил приезжим группу туземных чиновников, а также группу туземных вождей, причем гости милостиво пожали руку двум-трем чернокожим. Когда Мека увидел, что приезжие направляются сюда, ему показалось, будто острие кинжала пронзило его внутренности. Он сжал зубы и напряг мускулы, как всегда в минуту грозной опасности. Г-н Фукони кивнул в его сторону подбородком и повернулся к белым вождям, не прерывая речи. Мека испугался: уж не догадались ли они о его желании? Он судорожно мигнул и сжал кулаки. Когда г-н Фукони умолк, двое белых по очереди протянули Меке мягкие руки, которые он пожал с таким ощущением, будто его ладони коснулась мокрая тряпка. После чего белые отошли к своим соотечественникам.

Мека с трудом держался на ногах. Было так жарко, что он невольно поднял глаза, желая убедиться, что солнце пока еще находится на небе, а не упало ему на спину.

Чего они ждут, почему не вручают ему медаль? Как можно держать человека его возраста целый час на ногах? Неужели они потеряли или забыли долгожданную медаль? Эта мысль его ужаснула. Что скажет он своим друзьям, в глазах которых он стал теперь важной особой? Ох, уж эти мне белые! Никак к ним не приладишься. Когда надо идти — бегут, а когда что-нибудь вам пообещают — плетутся, словно черепахи. Вон как они прохаживаются там, на той стороне двора, никак не покончат с этими представлениями да приветствиями. Мека покачал головой и взглянул на свои ноги. Он подавил легкую дрожь, пробежавшую по телу. «У меня ноги, как у Нти. У меня ноги стали, как у Поля Нти!» — с ужасом подумал он.

Он изо всех сил прижал руки к животу и почувствовал облегчение.

Когда Мека увидел, что двое незнакомых белых, г-н Фукони, его помощник и г-н Пипиньякис направились в его сторону, он поспешил сдвинуть каблуки, прижал руки к бедрам, высоко вскинул голову и замер. Г-н Пипиньякис остановился рядом с ним. Г-н Фукони и все прочие стояли в нескольких шагах от него.

Послышался звук трубы и грохот барабана. Один из прибывших толстяков двинулся к г-ну Пипиньякису.

«Вот он — великий вождь», — подумал Мека. Он не знал, с кем или с чем его сравнить. Его особенно поразил тройной подбородок великого вождя, уступами спускавшийся на узел галстука.

Великий вождь белых говорил с г-ном Пипиньякисом, как с глухим, а тот стоял перед ним неподвижно, словно статуя. Когда вождь окончил свою речь, он взял медаль из ящичка, который ему протянул помощник г-на Фукони, и приколол ее на грудь г-на Пипиньякиса. Мека увидел, как жирный вождь белых обнял затем грека и приложился своей щекой к его щеке. При каждом его движении тройной подбородок мерно колыхался, слозно дряблая грудь цвета обожженной глины.

Наступил черед Меки. Теперь великий вождь белых вопил что-то, обращаясь к Меке. При каждом слове его нижняя челюсть ритмично опускалась и поднималась, а вслед за ней ходуном ходил, то непостижимо сокращаясь в размерах, то непомерно раздуваясь, тройной подбородок. Наконец он взял медаль из ящика и направился к Меке, продолжая что-то говорить. Старик успел заметить, что предназначавшаяся ему медаль непохожа на медаль грека.

Вождь белых был ему по плечо. Мека опустил глаза в ту минуту, когда тот прикалывал ему на грудь медаль. Даже сквозь костюм цвета хаки Мека чувствовал его горячее дыхание. Вождь белых дышал, как борец на ринге. Казалось, его насквозь промочило дождем. Большое мокрое пятно расплывалось от плеч до самых ягодиц.

Мека с тоской и страхом думал о том, будет ли вождь прикладываться своим мокрым зобом и к нему, вернее к его плечам, как он проделал с г-ном Пипиньякисом. Он вздохнул с облегчением, когда вождь белых, нацепив медаль, отступил на шаг и пожал ему руку. Мека сжал его руку в своей с прежним ощущением, что сжимает в ладони мокрую тряпку.

Искоса он взглянул себе на грудь. Медаль была там, была приколота к его костюму цвета хаки. Он улыбнулся, поднял голову и тут только обнаружил, что тихонько поет про себя и каждая жилка на его лице ходит в такт внутренней мелодии, стан против воли ритмически колышется, а колени выпрямляются и подгибаются, словно пружины. Он теперь не чувствовал боли и даже не слышал хруста своих костей. Жара, назойливое желание, боль в ногах — все исчезло как по волшебству. Он снова взглянул на медаль. Почувствовал, как шея его становится длиннее. Да, голова его поднимается, поднимается наподобие вавилонской башни, бросающей вызов небесам. Лоб его касается облаков. Его длинные руки неприметно взлетают, точно крылья птицы, готовой вспорхнуть...

«Горшок, в котором варили козла, надолго хранит его запах», — подумал он. Кто это утверждал, будто такие, как Мека, перевелись? Разве не приехал в Дум великий вождь белых, чтобы наградить его, единственного среди туземцев? Да, Мека известен в Тимбе, имя его пересекло моря, перешагнуло горы и дошло до слуха самого главного вождя белых, который послал другого великого вождя в Дум наградить его, Меку. И это знают все, все видели, как рука верховного комиссара прикрепила медаль ему на грудь.

Великий вождь белых в окружении своих помощников, г-на Фукони и его адъютанта остановился посреди двора лицом к Меке. Г-н Фукони пальцем поманил переводчика, которого Мека встретил несколько дней назад в управлении. Один из чиновников местной комендатуры в низко надвинутом на голове шлеме подбежал к Меке и сказал ему, что вождь белых и комендант приглашают его в гости, выпить и закусить, и что пир состоится в Африканском очаге. В знак согласия Мека откинул голову назад. Переводчик сказал ему, чтобы он встал рядом с г-ном Пипиньякисом. Мека с гордо поднятой головой пересек двор, но, не желая стоять рядом с греком, занял место около помощника г-на Фукони.

Послышался звук горна. В такт мелодии Лотарингского марша церемониальным шагом прошли солдаты. Как по команде, они поворачивали голову к великому вождю белых, который в ответ прикладывал три пальца к козырьку своего кепи.

Еле дыша от волнения, Мека во все глаза глядел на красивые ружья, которые проплывали перед ним. Что могли поделать туземцы с потомками Иафета? Он вспомнил о своем старом ружье — изделии туземного мастера. Подумать только, его отец надеялся расправиться с белыми с помощью такого ружья! Тщетно искал Мека взглядом дымовую бомбу, о которой говорил Игнатий Обебе. Никто из солдат не нес большой

черный шар, каким рисовалась в воображении Меки пресловутая бомба. Мека начал считать про себя ружья, но сбился со счета, попробовал начать снова и снова сбился. Теперь он думал о гориллах, этих мерзких гориллах, которые опустошали его банановую плантацию. Если бы ему дали хоть одно из этих никому не нужных здесь ружей, только одно! Тогда гориллы узнали бы, кто такой Мека! Он решил попросить ружье у великого вождя белых. Что ему стоит дать всего одно ружье? Эта мысль так крепко засела в голове Меки, что он поочередно посмотрел сначала на великого вождя белых, потом на г-на Фукони. Помощник коменданта метал на него убийственные взгляды. Мека пошевелил губами и сделал шаг вперед. Помощник повелительным жестом велел ему возвратиться на место. Мека вновь ощутил сильную пульсацию в ногах. Он провел ладонью по лицу. Помощник пожал плечами и тут же забыл о Меке. С замирающим сердцем Мека щелкнул каблуками и наклонился вперед, провожая глазами шеренгу солдат и исчезавшее вместе с ней последнее ружье. Когда он выпрямился, помощник г-на Фукони снова смерил его угрожающим взглядом. Мека почувствовал, как к нему возвращается прежнее желание.

Влажными от радости глазами Келара следила за церемонией вручения медали мужу. Когда белый пожал руку Меке, ей показалось, будто сердце ее остановилось.

— Теперь он важная персона! — слышалось вокруг нее. — Пусть-ка кто-нибудь скажет, что в Думе нет больших людей!

— А по-моему, его бы следовало всего с ног до головы обвешать медалями! — проговорил рядом какой-то злоязычный человек. — Вот это было бы справедливо. Зря он что ли потерял всю свою землю и обоих сыновей...

Фраза эта, прозвучавшая диссонансом, как ушат холодной воды, залила восторг Келары. Вдруг она поняла, что скорбь ее еще жива и ничто не возместит ей утрату сыновей. Боясь закричать, она сняла с головы косынку и зажала ею рот.

— Что стряслось с этой старухой? — заговорили в толпе. — Заболела, что ли?

Какая-то женщина тронула ее за плечо. Припав к плечу незнакомки, Келара заплакала, и незнакомка заплакала вместе с ней. Мужчины отвели глаза.

— Господи боже! Да что же случилось с этой старухой? — снова спросил кто-то.

Вместе с горючими слезами исчезал вставший в горле комок. Когда он совсем исчез, Келара поблагодарила поддерживавшую ее женщину. Потом приподнялась на цыпочки, чтобы посмотреть на двор, где заканчивался парад воинских частей. Келара увидела голый, блестевший на солнце череп мужа. Мека глупо улыбался вождю белых. Что это с ней творится? Ей показалось, будто никогда раньше она не видела Меки. Неужели это ее муж стоит там и улыбается? Она посмотрела на пару стоптанных, завернутых в газету туфель, которые держала под мышкой, затем снова приподнялась на цыпочки. Улыбающийся человек был для нее чужим. Она испугалась самой себя и протерла глаза, желая еще раз взглянуть на Меку. Углы ее рта опустились в презрительной гримасе. Она протиснулась вперед, встала рядом с каким-то нескладным молодым человеком и вдруг пожала ему руку. Тот с недоумением, разинув рот, посмотрел на нее.

— Это ты говорил сейчас? — спросила его Келара.— Спасибо! Святой дух вещал твоими устами.

Молодой человек хотел было возразить, но потом одумался и провел по губам ладонью.

— Господи боже! Что это я сболтнул? — спросил он себя вслух.

— Как что? — сказал его сосед, невысокий юноша, похожий на китайца.— Ты только что довел до слез эту старую женщину...

Когда неуклюжий молодой человек в страхе обернулся, желая извиниться перед Келарой, ее уже не было.

— Ничего не понимаю! — воскликнул он.— Должно быть, это жена того типа, которого только что наградили медалью? — спросил он у своего соседа.

— Должно быть. Видишь, она заплакала, когда ты сказал, что тип, которого только что наградили, заслуживает еще медалей... Откуда тебе известно, что он потерял землю и своих сыновей и за это получил медаль?

— Комендант рассказывал вчера за столом у г-на Пипиньякиса. Ты же знаешь, я служу у коменданта...

На этом разговор прекратился.

На веранде резиденции г-на Фукони среди белоснежных костюмов европейцев Дума один лишь Мека выделялся черно-зеленой точкой. Он старался беспрестанно улыбаться, надеясь вызвать интерес к своей особе. Время от времени чья-нибудь белая рука касалась его черепа, его ушей, и лишь затем обладатель этой белоснежной руки с минуту небрежно любовался медалью, висевшей на груди Меки. А он не помнил себя от счастья — ведь ни у одного белого не было медали, похожей на его медаль. Самой широкой из своих улыбок ответил Мека отцу Вандермейеру, когда тот похлопал его по плечу и, снисходительно улыбаясь, заметил, что Мека теперь стал важной персоной.

Мека не помнил ясно, как очутился он вне круга, который белые образовали вокруг великого вождя. Его соотечественники уже плясали во дворе. Звуки там-тама сменили Лотарингский марш, сопровождавший парад войск.

Старик не знал, у кого бы спросить, когда гости отправятся в Африканский очаг. Он тронул за плечо отца Вандермейера, но тот бросил на него испепеляющий взгляд и резким движением отстранил дерзкого. Озадаченный Мека схватился рукой за подбородок и разинул рот, как рыба. Нет, не может отец Вандермейер так ему ответить!

Отойдя в сторону, Мека прислонился к стене. Напряг мышцы ног и положил руки на бедра. Покачал несколько раз головой, потом застыл в неподвижности. От изумления рот его так и остался открытым, словно пасть задушенного животного. Точно загипнотизированный, он тупо глядел в землю, будто оттуда на него взирали завораживающие глаза змеи. Он не смотрел теперь на группу белых, и лишь гул их голосов смутно доходил до него. Где это он слышал белых, которые разговаривали так же, как сейчас, а он их не понимал и не видел? Он охватил руками голову и сильно нажал на виски, словно надеясь, что из хаоса его памяти выплывет смутное воспоминание. Мека нахмурил брови, но вдруг чело его просветлело... Он вспомнил: в граммофоне, вот где он их слышал, Мека закрыл глаза и выбросил из головы мысли об отце Вандермейере, г-не Фукони и великом вожде белых.

В эту минуту кто-то коснулся его плеча. Не открывая глаз, Мека догадался, что это отец Вандермейер. Он узнал манеру священника. Только один он похлопывал так по плечу своих прихожан, когда, пробираясь после воскресной обедни позади рядов молящихся, он поощрял их этим жестом щедрее жертвовать на святую церковь.

— Что это у тебя, сонная болезнь что ли? — спросил священник на плохом мвема. Он было засмеялся, но смех замер на его устах. Мека устремил на него первый в своей жизни разгневанный взгляд.

— Ты что, заболел, болит у тебя что-нибудь? — пролепетал отец Вандермейер.

— Нет, отец мой, я только немного утомился, — солгал Мека.

— Сейчас пойдем в Африканский очаг, — сказал священник, потянув Меку за ухо.

— Хорошо, отец мой, — ответил Мека.

Лишь с некоторым опозданием отец Вандермейер догадался, что, оттолкнув Меку, он неосмотрительно выпустил когти, и теперь пытался понять, заметил их Мека или нет. Желая в этом убедиться и не слыша за собой шагов Меки, он решил пойти с ним поговорить. Не прочитав ничего на лице старика негра, священник успокоился и возвратился к своим соотечественникам.

Наконец г-н Фукони заговорил о почетном угощении. Круг европейцев разомкнулся и пропустил верховного комиссара. Заметив его, Мека выпрямился и одернул полы своей одежды. Спускаясь с лестницы, верховный комиссар улыбнулся ему. Белые бросились к своим машинам. Отец Вандермейер, который ехал один, пригласил Меку в свой «пикап». Автомобиль верховного комиссара первым тронулся с места. За ним помчались машины г-на Фукони, Птичьей глотки, отца Вандермейера, и Мека, пристроившись на ящике из-под церковного вина, смог снять, наконец, свои ботинки.

II

Ангамба окончательно перестал что-либо понимать. Усевшись в пыли прямо посреди двора и охватив голову руками, Келара безутешно рыдала. Ей вторила Амалия. При каждом вопле, издаваемом обеими женщинами, Ангамбу бросало в дрожь.

— Замолчите вы,— крикнул он.— Да замолчите же! Почему вы хотите, чтобы в этот прекрасный день, когда Мека получил медаль от великого вождя белых, случилась беда?

При этих словах Келара завопила еще громче. Она начала кататься по земле, словно чурбан. Рвала волосы и пыталась плюнуть себе в лицо.

В селении было безлюдно. Крестьяне отправились в Дум поглядеть на великого вождя белых, приезд которого взбудоражил всю округу. Если Ангамба остался дома, то лишь потому, что ноги его не вынесли дальнего пути, даже за хижину его дотащила на спине Амалия. Он уж совсем было собрался подремать, когда она явилась поговорить с ним.

— Я слышу, кто-то плачет, похоже это голос Келары! — внезапно воскликнула она, приложив ладонь к уху.

Амалия не ошиблась. Это действительно была Келара; рыдая, брела она по другому концу селения.

— Нет женщины, нет матери на свете несчастнее меня. А я-то думала, что вышла замуж за мужчину, за силача... Господи боже мой! Почему я вышла замуж за такого тюфяка... Дети мои, бедные мои детушки, вас продали, как Иуда продал Иисуса Христа... Но Иуда-то за это хоть деньги получил. А мужчина, спавший со мной, чтобы я родила вас на свет божий, задешево продал свою кровь! Оба вы, бедные мои крошки, проданы за одну-единственную медаль... Нет женщины, нет матери на свете несчастнее меня! — вновь завела она.

— Замолчи, Келара, пожалей ты меня, — умолял Ангамба, — я очень болен, не могу я плакать — все нутро у меня пересохло.

Больше ему не удалось вставить ни слова. Обвив стан Келары, Амалия потащила ее в хижину. Келара улеглась на пол около очага. Амалия принесла ей кружку воды, которую та выпила между двумя всхлипываниями.

Ангамба пожал плечами и повернулся к Келаре спиной.

III

Теперь, когда маленький бокал для шампанского, который подал Мекe на подносе бой, разносивший напитки по всему залу, был пуст, старик вертел и перевертывал его на своей широкой ладони. Он осушил вино залпом, даже не обернувшись в сторону белых, сидевших на эстраде и державших бокалы в руках так же, как и его соплеменники, чиновники и вожди, которые наравне с Мекой удостоились чести выпить праздничного вина в Африканском очаге. Когда верховный комиссар, поднеся бокал к губам, подал знак к открытию пиршества, он заметил, что Мека успел его опередить. Комиссар обернулся к г-ну Фукони, и тот бросил на дерзкого убийственный взгляд. Но Мека ничего не заметил.

Он пытался определить вкус вина, которого ни разу в жизни не пробовал и которое пенилось теперь где-то в самой его утробе. На что оно похоже? Он вспомнил снадобье, которое ему приходилось принимать с водой, когда случалось съесть лишнего. Нет, это конечно не похоже. Не мог же комендант шутки ради угостить присутствующих слабительным под видом «почетного вина». Но с чем же сравнить вкус вина, которое он только что выпил? Правда, оно тоже пенится. Но вкус у него совсем другой. Мека почесал за ухом, хотел было наклониться к уху соседа, но, испугавшись красных нашивок на его мундире, не решился осуществить свое намерение. Он удивлялся, что остальные не последовали его примеру — не осушили разом шампанское. И белые и негры едва прикасались губами к бокалу. Они пили маленькими глотками, словно птицы на берегу пруда. Ах! Неужели эти белые, эти туземные вожди и эти чиновники достойны называться мужчинами? Одна капелька ничего не стоящего винца внушает им уважение! Мека взглянул на верховного комиссара. Еле заметная улыбка превосходства пробежала по его губам. Даже сам великий вождь белых робел перед этим винцом. А вот он, Мека, покажет им сейчас, что он сын мужчины. Он поманил боя, стоявшего у подножья эстрады, и протянул ему свой стакан. Тот отвернулся, боясь расхохотаться. Чего-чего он только не нагляделся, работая боем. Но это уже слишком — какая-то деревенщина, без носков и без галстука, еще невесть что о себе воображает. Расселся здесь, в Африканском очаге, как у себя дома, да еще в присутствии верховного комиссара.

Мека даже приподнялся со скамейки, протягивая бою пустой стакан. Однако бой ответил ему движением руки и скорчил гримасу, значения которой Мека не понял. Он поднялся во весь рост. Но сосед толкнул его в бок. Мека машинально сел на место, поскреб от смущения грудь, потом повернулся к соседу. Тот наклонился, и Мека вздрогнул, ощутив его горячее дыхание у самого уха.

— Спокойно, черт возьми! Не мешай, — прошептал ему сосед. — Мы сейчас припрем к стене этих белых. Они пригласили таких знатоков, как мы, а посмотри, какими стаканчиками нам подносят. Я, например, не верю, что они могут нас напоить допьяна...

И он потихоньку засмеялся. Мека засмеялся тоже.

— Подождем, — добавил его собеседник, — подождем...

Он осушил бокал и провел языком по губам.

— Я-то нагляделся на такие вещи на своем веку! — начал муж Келары. — Переводчик мне сказал, что сюда приходят пить. А роздали нам эти крошечные чашечки, точно сейчас будут служить обедню.

И они снова засмеялись.

Бой прошел с новой бутылкой вина мимо стола, где сидел Мека. Когда он хотел наполнить бокал, Мека спрятал его за спиной.

— Если у вас нет ничего другого, — сказал он, — то я лучше уйду. И так уж у меня живот от такого питья вспучило.

Он рыгнул. Бой молча пожал плечами и перешел к следующему гостю. Мека не без труда поставил бокал себе на голову. Бой вернулся к нему, задыхаясь от бешенства.

— Не смей, — прошептал он Меке. — Хочешь, чтобы белые бог знает что подумали, а? Хочешь, чтобы они узнали, что я тебе ничего не дал, да?

— Потише, паренек, — ответил Мека, — вино, которое стоит за дверью, откуда ты время от времени появляешься с бутылками, тебе ведь не принадлежит. Это вино белых, не так ли?

— Йе-е-е-е-е-е,— одобрительно зашептали соседи Меки.

— Принеси нам виски, — продолжал Мека. — Не съест же тебя комендант.

— Не я тут распоряжаюсь, — сказал бой, оглядываясь вокруг,— не я тут распоряжаюсь...

Он повернулся и пересек зал, неся наполовину опорожненную бутылку шампанского. Спустя несколько мгновений он вновь появился с двумя бутылками, которые Мека узнал издали. Кое-кто из туземцев, не успевших осушить бокалы, потихоньку выплеснули шампанское под скамейки.

Бой откупорил бутылку и, широко улыбаясь, наполнил бокал, который протянул ему Мека. Когда бокал был полон до краев, Мека откинул назад голову и коротким движением опрокинул его содержимое в рот. Потом снова протянул пустой бокал бою, который тотчас же наполнил его.

— Теперь можешь обслужить других, — сказал Мека, морща лицо.

Он повернулся к соседу — тот тоже подставил стакан — и подтолкнул его локтем. Сосед поднял брови, выпятил губы и начал медленно тянуть виски.

— Вот теперь я ожил, — сказал Мека между двумя глотками.

— Я тоже, — ответил сосед.

— Вот теперь я верю, что мы пьем вино белых.

— Я полагаю, что мы его еще попьем... — Оба засмеялись.

Господин Фукони приказал боям, обслуживавшим туземную знать, начать с шампанского и продолжать в том же духе. Он повторил слугам несколько раз: не давать виски до тех пор, пока в запасе есть игристое или красное вино. Видя, что бои подают неграм виски, он так побагровел, словно в его черепе запылал огонь. Как ни старался г-н Фукони внимать речам верховного комиссара, время от времени он бросал на боев столь убийственные взгляды, что те не решались идти обслуживать белых гостей на эстраде. Белых обслужили только во время первого захода. Все содержимое бутылок перешло теперь в бокалы туземцев, которые с каждой минутой становились все веселее. Когда слуги возвращались от группы туземцев, они, проходя через зал, даже не смели взглянуть в сторону эстрады. И все же чувствовали на себе горящий взгляд г-на Фукони.

«В конце концов, несчастье уже произошло, — думали они. — Грешить так грешить»...

Мека был на седьмом небе. Тысячи маленьких огоньков зажглись в его теле, и это доставляло ему несказанное блаженство. Он витал в облаках, и земля, белая и незапятнанная, простиралась у его ног. Келара правила машиной, полной башмаков, и на каждом носке, там, где приходятся мизинцы, она просверливала маленькие дырочки, окаймленные золотом. Он пригласил верховного комиссара откушать козлятины — дар Ангамбы, и оба они дружно запустили пальцы в блюдо. Виски сочилось сквозь щели крыши из рафии и проникало во все поры его тела. Словом, было чудесно. Отец Вандермейер, превратившись в большого черного пса, терпеливо ждал у двери, когда Мека бросит ему кость. Руки Меки сделались такими длинными, что он ударом кулака мог отогнать надоевшую ему собаку.

Вдруг Мека почувствовал, что его схватили за плечо. Он попытался вырваться, потом успокоился и открыл глаза.

— Ты меня напугал, — шепнул сосед Меке, указывая на верховного комиссара, который как раз кончал свою речь.

Сбитый с толку Мека начал аплодировать первым, раньше всех остальных гостей. Он хотел встать. Его удержали за полу одежды.

— Подожди, пусть сначала переводчик кончит переводить нам то, что сказал вождь белых!

Мека прислонился виском к голове своего соседа. Тот поддержал его за плечо. У подножья эстрады переводчик, потирая руки, переводил на язык мвема — наиболее распространенный диалект в Думе — слова верховного комиссара.

— Великий вождь сказал, что он очень доволен, очень рад быть с вами, что он благодарит за хороший прием, который вы ему оказали. Потом говорил о войне, о войне, что вы вели вместе с белыми против других белых... и он сказал, что мы больше, чем друзья, мы братья, словом что-то в этом роде.

Раздались дружные аплодисменты, и переводчик вернулся на свое место.

Мека, словно его подняло невидимой пружиной, вскочил со скамьи и, спотыкаясь, шагнул вперед. Он оттолкнул руку соседа, который хотел было его удержать. Глухой гул прошел по группе негров. Г-н Фукони подавил гневное движение и сказал что-то своему помощнику, растерянно смотревшему, как пробирается Мека к подножью эстрады. Явно заинтригованный приключением, верховный комиссар одобрительно кивнул негру, потом нагнулся к г-ну Фукони. Отец Вандермейер что-то шепнул ему, потом подошел к Меке. Но мощная длань Меки одним махом отбросила его прочь. Миссионер, стоявший посреди зала, покраснел как рак, Мека громко засмеялся. Черные последовали его примеру. Г-н Фукони, стоявший на эстраде, наклонился через стол, сказал что-то священнику, и тот вернулся на свое место.

Затем г-н Фукони утер вспотевшее лицо, нагнулся к верховному комиссару и подозвал переводчика.

— Я хотел бы сказать несколько... несколько слов великому вождю белых, — начал Мека на языке мвема.

Переводчик перевел его слова. Верховный комиссар улыбнулся и сказал что-то переводчику.

— Великий вождь говорит, что он с удовольствием выслушает тебя,— сказал переводчик.

Мека подтянул штаны и облизал губы. Говорил он долго, глядя по очереди то на верховного комиссара, то на переводчика. Когда он кончил, переводчик передал его слова.

— Мека сожалеет, что ему приходится говорить эти слова после нескольких стаканов вина, но пословица гласит: «Если хочешь знать, что думает о тебе твой друг, выпей с ним несколько чарок вина».

Белые зашевелились. Г-н Фукони снова утер лицо. Тройной подбородок верховного комиссара ритмически надувался и опадал. Переводчик продолжал:

— Мека приглашает вас откушать у него козлятины, которую его шурин принес ему в дар, чтобы отпраздновать получение медали, той, что вы ему вручили. Он говорит об этом потому, что с тех пор, как сюда пришли белые, он никогда не видел ни белого, пригласившего к себе туземца, ни туземца, пригласившего к себе белого. А раз теперь они друзья или даже больше, чем друзья, как сказал сам великий вождь, пора наконец сделать почин.

Верховный комиссар и его адъютант зааплодировали первыми. Остальные белые последовали их примеру. Верховный комиссар защемил кончик своего носа между большим и указательным пальцами. Он под-

нялся, и г-н Фукони услужливо отодвинул его стул. В зале воцарилась тишина. Переводчик, неподвижно стоя посреди зала, впивал каждое слово верховного комиссара.

Кое-как добравшись до своего места, Мека увидел верховного комиссара, грузно колыхавшегося над эстрадой. Казалось, он изнемогает под тяжестью своего тройного подбородка. Говорил он медленно, степенно, будто каждое произносимое им слово было последним. Когда он окончил свою речь, белые зааплодировали, к ним присоединились и негры. Вновь установилась тишина, и переводчик, не спуская глаз с Меки, перевел слова верховного комиссара на язык мвема.

— Великий вождь белых в восторге от приглашения, которое ты ему сделал. Мысленно он ест твоего козла и скорбит, что не может разделить с тобой трапезу у тебя дома, потому что он уезжает. Но он приглашает тебя откушать у него в другой раз. И это обещание послужит началом новой поры... Словом, что-то в этом роде...

Тут зааплодировали черные, и белые последовали их примеру. Туземцы смаковали речь, мерно покачивая головами. Взоры всех обратились к Меке, каждый посылал ему нежную улыбку. Самые восторженные поклонники неуклюже пересекали зал и подходили пожать руку Меке.

— Ты стал важной персоной, — говорили они. — Ты высказал то, что мы думали. Ты — кровь от крови твоего достойного отца. Теперь ты в Думе — вся наша надежда.

Мека слушал эти похвалы, склонив голову на плечо соседа. Ему казалось, будто целые годы он провел без сна и теперь весь сон, накопившийся за это время, смежил ему веки. Он думал о своей постели, стоявшей рядом с очагом Келары. Ему казалось, что как обычно он лежит на спине, положив кисть левой руки на лоб. Потом начался спуск, спуск в бездонную яму, где на язык ему капал мед... И больше ничего. Мека захрапел.

Когда г-н Фукони увидел, что атмосфера в Африканском очаге стала уж чересчур оживленной, он наклонился к верховному комиссару. Высокий гость встал. Все белые на эстраде последовали его примеру. Г-н Фукони подозвал переводчика и что-то долго говорил ему. Белые ушли через дверь в глубине эстрады, что позволило им не проходить через зал, до отказа набитый неграми.

Переводчик захлопал в ладоши, требуя внимания. Когда, наконец, тишина воцарилась, он, сложив рупором руки, крикнул своим соплеменникам:

— Комендант поручил мне сказать вам, что великий вождь устал...

— Не ел бы столько, небось не устал бы, — съязвил кто-то.

Громкий взрыв смеха покрыл голос рассерженного переводчика.

— Ну что вы за люди, я вас спрашиваю? — заорал он.

Этот в упор поставленный вопрос восстановил тишину. Переводчик воспользовался своей победой:

— Что вы за люди, я вас спрашиваю! Если бы ваши предки видели, в каком состоянии находитесь вы перед белыми, прибывшими из-за моря, что бы они подумали? Мне стыдно за вас...

Последние слова затерялись в общем гуле. Местная знать разделилась на два лагеря: одни хотели слушать переводчика, другие ополчились на беднягу. Что он вообразил себе, этот потомок пигмеев? С каких это пор рабы требуют тишины от владык? Белые уничтожили все традиции в этой стране! Какое-то ничтожество позволяет себе требовать тишины и от кого? От королей!

Переводчик, обливаясь потом, стоял посреди зала и молча сносил все оскорбления. Он сделал неопределенный жест, как бы прося прощения за смелость и требуя тишины, но это еще более распалило местную знать.

Кто-то в шутку предложил его повесить. Переводчик не стал ждать дальнейшего. Под дружный смех присутствующих он скрылся через дверь в глубине эстрады.

Какой-то здоровенный молодчик занял его место.

— Господа! — начал он, осушая свой стакан. — Господа!

Это обращение польстило самолюбию пирующих и восстановило тишину.

— Господа! — продолжал молодчик.— С вами говорит господин, господин из Эканса, сын великого Акомы.

Слова эти были встречены громом аплодисментов.

— Теперь мы можем и помолчать, — говорили представители местной знати. — Наш слух не оскорбит речь раба, речь пса раба...

— Господа! — снова проговорил детина из Эканса. — Прошу вас забыть слова раба, только что выступавшего здесь.

— ЗЗЗ-ааа-ббб-ыыы-ттт-ыыы! — закричали присутствующие. — Забыты!

— Узнаю вас по этим словам, — заявил детина.

— Йе-е-е-е-е! — завопили присутствующие.

В зале воцарилось спокойствие.

— Не понимаю даже, как осмелился спросить этот раб, что мы за люди, — продолжал молодчик, который с трудом удерживался на ногах, будто балансировал на вращающемся шаре. — Ведь мы — господа! — загремел он.

— Йе-е-е-е-е! — отвечали слушатели. — Господа, настоящие господа...

— На этом собрании, — продолжал оратор, — я услышал лишь одну речь, достойную слуха порядочных людей. Это речь господина Меки...

— Йе-е-е-е-е-е! — шумно одобрили оратора слушатели, сопровождая крик выразительным покачиванием головы.

— Как осмелился этот раб спрашивать нас, что мы за люди? Уж не хотел ли он этим сказать, что мы, как и он, перестали быть самими собою, потому что находились среди белых?

Присутствующие зааплодировали.

— Вот чего я не понимаю, — продолжал оратор, — все эти белые, и их великий вождь тоже, говорят, будто мы для них больше, чем друзья... Но кто из вас запускал руку в то же блюдо пищи, что и белый?

— Никто, никто, никтоооооо! — завопили присутствующие.

— Они все говорят, как их великий вождь... А когда белый что-нибудь обещает, в особенности если он носит нашивки, как великий вождь...

— Лучше даже не думать об этом, совсем не думать! — подхватили хором присутствующие. — Знаем мы эти обещания...

— Я только продолжил здесь мысль Меки, — закончил оратор, возвращаясь на место.

— Золотые слова! — ответили слушатели. — Наш Мека — сама мудрость.

— А где он? — спросил кто-то.

— Дайте же ему отдохнуть, — заметил сосед Меки, который поддерживал старика, словно ребенка.

Опустив голову на плечо соседа, Мека мирно спал с открытым ртом, свесив длинные, как лианы, руки, касавшиеся пола. Сосед провел ладонью по его волосам с таким почтительным видом, словно прикасался к бесценной реликвии. Мека пошевелил ноздрями, точно кролик, и еще крепче припал к плечу своего соседа. А тот как завороженный закрыл глаза.

Ораторы один за другим сменялись у подножья эстрады. Каждый высказывал свое недовольство. Эти белые по обыкновению все преувеличивали. Они говорили, будто туземцы им больше, чем братья. Но в чем же именно? Верховный комиссар и все французы из Дума сидели на эстраде с

греками, а ведь именно по вине греков негры никак не могут разбогатеть. Разве на эстраде сидел с ними хоть один туземец? Верховный комиссар не обратился ни к одному из негров с дружеским словом, торжество носило чисто официальный характер. Какая уж тут дружба. Разве это дружба, если с верховным комиссаром приходится говорить, как подсудимому с судьей? Ну и чудаки эти белые. Не умеют хорошенько солгать, а еще хотят, чтобы им верили. Правда, они построили дороги, больницы, города... Но разве хоть у одного туземца есть свой автомобиль? К тому же из этих больниц сплошь и рядом человека выносят ногами вперед. А в домах живут сами белые. Значит, вся их дружба выразилась только в этом почетном угощении? Но даже распивая вино, белые чокались лишь между собой... В чем же тогда эта дружба?

Громко скрипнув тормозами, во дворе остановилась машина. Из кабинки на землю спрыгнуло несколько человек.

— Птичья глотка и его люди! — крикнул кто-то.

В зале началась паника. Падали на пол бутылки, со звоном разбивались стаканы. Начались споры из-за шлемов и кепи, потому что в спешке кое-кто захватил головной убор соседа. В зал вошли полицейские, показалась фигура Птичьей глотки. Он шепнул что-то сержанту охраны, который обратился к местной знати.

— Птичья глотка... то есть, я хотел сказать, комиссар, говорит, что праздник окончен. Хватит, попьянствовали. Нечего зря время терять. Катитесь-ка отсюда подобру-поздорову, иначе...

Туземцы переглянулись. Нет, даже не удивление читалось в их глазах. Уже давно они перестали удивляться. Они знали Птичью глотку целых пять лет и старались понять, куда он клонит в этот знаменательный день, 14 июля, когда комендант созвал их на пирушку. Они вышли из Африканского очага, держа шлемы под мышками, даже не оглянувшись на этот крытый рифленым железом барак, где перед ними только что разглагольствовали о дружбе.

Господин Варини — он же Птичья глотка, — без труда очистив залу, не счел нужным обойти ряды скамей; он спокойно запер двери и удалился со своими людьми. Представители местной знати обрели дар речи лишь после ухода комиссара. Разбившись на кучки, они еще долго обсуждали случившееся, затем, свернув с шоссе, разбрелись по тропинкам, ведущим к туземному кварталу.

Никто не вспомнил о Меке. Когда стало известно о прибытии Птичьей глотки, сосед Меки, сам не зная, что делает, вытолкнул старика на середину залы, но поскольку там толпился народ, Мека был, как мяч, отброшен обратно. Даже не огрызнувшись, он машинально растянулся на скамье и, не встречая препятствий, вытянул ноги. Он спал, обливаясь потом в этом бараке, железная крыша которого потрескивала, как зерна маиса под лучами солнца в конце засушливого сезона. Лежал он на левом боку, одна рука его свисала до самого пола. Медаль соскользнула под мышку и, так как Мека бессознательно шевелил во сне рукой, застежка отстегнулась. Старик храпел, как молодая пантера, громко скрипя зубами. Он спал, как говорят в деревне, сном покойника.

После почетного ужина в Африканском очаге все белые сошлись в Европейском клубе, к г-ну Пипиньякису, который обмывал свой орден Почетного легиона. Здесь-то холостяк г-н Фукони и устроил прием в честь верховного комиссара.

Европейский клуб представлял собой типичное колониальное строение, какого нигде в другом месте, кроме колоний, не увидишь, и являл собой смешение всех архитектурных стилей. Его круглый купол возвышался над Торговым кварталом, над рынком, над школой и больницей. Из соображений мелочной экономии г-н Пипиньякис велел выкрасить его охрой под цвет местной, на редкость стойкой, пыли. Чтобы добраться до

клуба, приходилось перепрыгивать через мусорную канаву, которую время от времени очищали потоками воды. Накануне приезда верховного комиссара Птичья глотка самолично следил за работой по благоустройству, которую вели уголовники. Всюду расставили пальмы. Гирлянды диких цветов свисали с бамбукового потолка, затянутого огромным бумажным цветным знаменем. Боев нарядили в белые костюмы, и госпожа де Монроти, местная законодательница вкуса, целый день учила их отвешивать поклоны.

Верховный комиссар, ожидавший живописных туземных празднеств, обнаружил в клубе чисто европейскую атмосферу, поистине неожиданную среди этих забытых богом зарослей...

Часть третья

I

После долгого сна под родным кровом Мека обычно приходил в себя медленно и не сразу. А тут его внезапно сбросило под лавку. На погруженный во мглу Африканский очаг обрушился первый штормовой ливень конца засушливого сезона.

Все трещало и стонало под порывами ветра и ударами грома. Казалось, чья-то рука опрокидывала мириады ведер на старую железную крышу, прогибавшуюся под напором воды. Планки, брусья, стропила — все нависало над головой Меки, и он вопрошал себя, уж не наступил ли конец света. Молния разорвала тьму, и вслед за нею раздался удар грома, от которого задрожала земля под ногами Меки. Он почувствовал, как все перевернулось у него в животе, и сам не помнил, как его швырнуло наземь; кругом было пусто, и напрасно руки его ощупывали темноту, стараясь ухватиться за какой-нибудь устойчивый предмет. Мека хотел было подняться, но второй удар грома прижал его к полу, он покатился, будто кролик, и вновь оказался под скамейкой. Вспышки молнии и удары грома следовали друг за другом с ошеломляющей быстротой. Словно кто-то без устали раздувал и раздувал небесный огонь. Мека осенил себя крестным знамением, потом машинально поднял над головой скамью и стал размахивать ею во все стороны. В ответ он услышал лязг железа и звон разбиваемых бутылок, но тотчас же шум был заглушен новым ударом грома, еще более раскатистым, чем прежние. Он снова перекрестился. Затем вскочил как сумасшедший и кинулся бежать. Молния осветила огромное трехцветное знамя, развевавшееся над эстрадой. Отовсюду текла вода. Она дошла уже до лодыжек Меки, он хотел засучить штаны и опустился на правое колено, но потерял равновесие и грохнулся, как бревно, в лужу, плескавшуюся у его ног. Когда он вскочил, то почти коснулся головой нависшей железной крыши. Он испустил душераздирающий крик и бросился в темноту, окутывавшую внутренность барака.

Неужели ему суждено умереть, как дикобразу, в этой огромной клетке, откуда нет выхода? Он начал ощупывать каждое ребро железных стен. Наконец его пальцы встретили дверной шарнир. Ощупью он нашел створку и потянул ее. Весь барак зашатался. Мека вытянул руку над головой. Он задрожал, почувствовав, что пальцы его коснулись крыши. Вся кровь отхлынула от сердца. Он потрогал шею, желая убедиться, тут ли еще образок святого Христофора. Слава богу, на месте, вот он висит на веревочке от сушеной трески... Лишь в эту минуту Мека, наконец, понял, что он заперт в Африканском очаге и что барак скоро развалится под напором урагана. Но он был спокоен, ведь его добрый святой Христофор с ним.

Мека еще раз изо всех сил дернул дверь. Он услышал, как скопившаяся на плоской крыше вода сплошной пеленой хлынула во двор и стена, к которой он прислонился, угрожающе накренилась. Мека побежал к эстраде. Часть стены, о которую он только что опирался, рухнула, впустив кипящий водяной смерч. Кровля держалась только чудом. Вода подмывала стены, и они также накренились. Мека закричал. Он вопил, как безумный, один среди неистового урагана. Сам не зная каким образом, Мека очутился в канаве; он узнал ее по наполовину затопленным кустикам мелиссы.

На дворе стояла кромешная тьма. Мека поднялся. Вода, набравшаяся в штаны, струйками стекала по ногам. Он обрадовался, обнаружив, что ботинки его куда-то исчезли. Раскаты грома затихали, вспышки молнии становились все бледнее. Мека осторожно продвигался вперед. Прежде чем ступить, он измерял ногой глубину лужи и только затем приставлял вторую ногу. Иногда, боясь упасть, он полз на четвереньках. Когда он почувствовал под руками крупный булыжник, он вздохнул и выпрямился: шоссе!

Ураган неслыханной силы обрушился на Дум. Иссохшая земля, лишенная в течение долгого времени влаги, превратилась в сплошное месиво, она была размыта дождем, напоена им до отказа, затоплена. Как огромные факелы, горели там и сям зажженные молнией деревья.

Водная гладь, отражавшая вспышки молний, простиралась до самого горизонта. Мека был один в этом бескрайнем море, один без компаса и фонаря. Дождь все еще лил. Брови Меки вылезли от старости, и вода, стекавшая со лба, попадала ему прямо в глаза. Напрасно сжимал он веки и выплевывал воду через распухшие губы. Звуки тамтама болезненно отдавались в его черепе. Время от времени Мека ударял себя кулаком по затылку, чтобы успокоить нестерпимую головную боль. Он посмотрел в сторону Африканского очага. При свете молний на месте бывшего барака виднелась лишь груда железа. От запоздалого страха у него вновь заныло в животе. Ведь и впрямь он был на волосок от смерти. Он перекрестился, пососал большой палец и решил отложить молитву на завтра. Затем покачал головой и тревожно спросил себя, как же ему выбраться из этой водной пустыни? Ведь почти все дороги затоплены. Ему вспомнилась Келара, Ангамба, все те, кто ожидал его дома, чтобы угоститься козлятиной. Уцелела ли его хижина в эту бурю? Он решил идти прямо вперед. Непогода утихла. Однако тучи все еще грозно заволакивали небо. Мека, продвигавшийся вперед медленнее черепахи, опасался нового дождя. В конце засушливого лета ураган обычно налетает в два приема. За первой фазой грозового ливня следует дождь.

Мека заторопился. С каждым всплеском воды, который сопровождал каждый его шаг, ноги становились все тяжелее. Мека старался поднимать их как можно выше. Он прошел совсем немного, а уже окончательно выбился из сил.

«Если бы я хоть умел плавать! — думал он. Но вода доходила уже до икр.— Ну что ж, ничего не поделаешь, придется идти гусиным шагом на манер немецкого солдата».

«Человек — одинокое существо, — думал Мека.— Каким образом он, член самой многочисленной семьи Дума, оказался совершенно один среди разбушевавшейся стихии, против которой бессильны люди?». Он попробовал восстановить в памяти события минувшего дня. Но все словно туманом заволокло. Мека машинально поднял руку к груди и остановился как вкопанный. Медаль, которую ему вручил вождь белых, исчезла. Он посмотрел на воду, бурлившую у его ног. Мысли его вернулись к Африканскому очагу. Потерял ли он свою медаль или ее у него украли? Дай-то бог, чтоб ее действительно украли. Нет никакой надежды найти

что-либо после такого ливня. Он еще раз перекрестился, прочитал «Отче наш» и «Богородицу» и снова пососал большой палец.

И опять он подумал о своей медали. Господи боже! Где же он мог ее потерять? Он увидел себя в машине отца Вандермейера.

— Конечно это он, мошенник! — сказал Мека вслух.— Господи, прости меня за богохульство,— взмолился он мысленно, — я и сам не понимаю, что со мной происходит. Я потерял свою медаль... я все потерял... все. Я один, один-одинешенек в целом мире...

Но надо было продолжать свой одинокий путь. Под дождем, при свете молний, Мека шествовал, как мертвец, чудом восставший из хляби вод. Среди буйства стихий он казался апокалиптическим видением.

Наконец впереди показались первые хижины туземного квартала. Черные крыши домов четко вырисовывались на фоне оранжевого неба, где время от времени еще сверкали молнии. Мека почувствовал, как его сердце залила теплая волна. И сразу же улеглась судорожная дрожь, сотрясавшая все тело, будто пляска святого Витта. Он решил зайти посушить одежду у Мами Тити.

Туземный квартал стоял в стороне от дороги. Туда попадали, спустившись со склона по тропинке, которая вела через рощу тропических растений — верное свидетельство того, что некогда здесь простиралось болото.

Мека не думал теперь ни о чем другом. Мами Тити овладела всеми его помыслами. Он ожидал, чтобы очередная вспышка молнии осветила рощицу, откуда можно было смело пуститься в путь.

— Чего ждут эти проклятые молнии? — ворчал он вслух.

И в тот же миг сноп яркого света осветил его с ног до головы. Он невольно закрыл глаза руками.

— Кто это здесь развлекается? — спросил он в недоумении. Потом продолжал умоляющим тоном: — О человек, имеющий электрический факел, сам бог послал тебя! Помоги мне найти тропу, ведущую к туземному кварталу...

Луч света приблизился. Мека услышал плеск воды под сапогами и попытался отвести глаза от слепящего снопа света.

— Не наводи свет на мои глаза, о странник, ниспосланный провидением! Освещай господню землю, где я ищу мою тропинку... о странник! Только тропинку...

— Тушу! Но... — ответил чей-то замогильный голос.

Свет погас, погрузив Меку в первозданную тьму. И прежде чем он успел прийти в себя от удивления, чья-то железная рука схватила его за пояс с такой силой, что он чуть не задохнулся. Мека почувствовал, как его приподняли над землей. Уж не орел ли тащит его в своих когтях прямо на небо? Молния, которую он так долго ждал, осветила две черные фигуры, казавшиеся почти коническими из-за плащей с капюшонами. Тщетно ноги Меки искали опору. Он испустил гортанный крик, тут же заглушенный всплесками воды, куда погрузилось его тело. Это крещение окончательно его оглушило.

Когда он с трудом пришел в себя, в лицо ему ударил яркий сноп света. Он различил покрытые рубцами лица полицейских, горланивших что-то над его головой.

— Вставай! Грязная свинья! Документы! Что? Где твои документы? Откуда ты взялся? Что ты здесь рыщешь? Здесь... в квартале белых? Да еще в полночь! Да еще во время грозы! Где твои сообщники? Отвечай! Где твои сообщники?

Ошеломленный падением, отяжелевший от почетной выпивки и окончательно растерявшийся от грозно бушевавшей непогоды, Мека понял наконец, что с ним произошло. Как автомат, поднялся он на непо-

слушные ноги и начал лихорадочно шарить по карманам. Большой палец левой руки зацепился за левый карман куртки. Для верности Мека распахнул куртку, почти стащил ее с плеч и даже расстегнул пояс штанов. Тиски сдавили затылок, а в голове звучали пасхальные колокола.

— Пусть я потеряю все признаки своей мужественности, о старик, если когда-нибудь даже подумаю прикоснуться к тебе... — загремел стражник.— Спрячь свой дряхлый зад! И предъяви документы! — закончил он, отплевываясь, чтобы отвратить от себя беду.

Мека затянул пояс и застегнул куртку.

Он снова начал копаться в карманах, полегоньку шлепая по мокрой материи, словно отбиваясь от комаров.

— Нн-нет бумаг... потому... что... гу-гу-бернатор мне велел при-принести... Это медаль... ко-коо-торую... он приехал мне вручить, — заикаясь, произнес Мека, продолжая шлепать себя по бокам ладонью.

— Довольно! — заорал часовой. — Ты видно считаешь меня простофилей и плетешь всякую чепуху, ты — ночная крыса, решившая воспользоваться грозой, чтобы ограбить европейский квартал! Ясное дело!

— Нет, правда,— твердил Мека,— я же старик!.. А комендант — мой друг... О караульный! Это медаль...

— Замолчи, проклятый брехун! Как можешь ты, старик, лгать, подобно женщине, в такую минуту!

— Я христианин, о караульный! А уста, признающие господа, не могут лгать... караульный...

— Смотри, как бы я тебе не затолкал в твои христианские уста кошачьего помета, старая черепаха! Ну, пошли!

Меке пришлось идти быстрее, чем позволяли его старые ноги. Стражник, схватив несчастного за загривок, толкал его перед собой, и оба почти бежали. Мека задыхался. Время от времени с губ его срывался стон. На своем затылке он чувствовал дыхание стражника, который несся, как заправский бегун. Сапоги полицейского шлепали по лужам, и Меку всего забрызгало водой.

— Не могу больше, — сказал Мека и остановился. — Больше не могу...

Он упал прямо в воду. Стражник схватил его за воротник куртки и часть пути волочил, словно мешок.

— О человек! — взмолился Мека. — Что сделал тебе несчастный старик?

В ответ караульный ударил его ногой в поясницу. Мека издал жалобный крик, и голова его бессильно склонилась к плечу. Схватив пленника за ухо, стражник направил свой фонарь прямо ему в лицо. Затем пальцем приподнял веко. Мека моргнул.

— А ну, встать! Встать! — закричал стражник.— Пошел! Пошел! Да пошевеливайся ты, дерьмо этакое. Хочешь, чтобы я тебя уложил на месте?

Голова Меки снова склонилась к плечу. Стражник доволок старика по земле до канавы и окунул его голову в воду. Зафыркав, как собака, Мека сжал веки. Стражник оставил его в покое. Мека облизал губы, вытянул их, словно собираясь посвистеть, и тяжело вздохнул. Помогая себе локтями и коленями, он поднялся и, спотыкаясь, повернул к канаве. Стражник удержал его за воротник куртки. Мека чуть не задохнулся и вскрикнул, как вспугнутая обезьяна. Стражник опять отпустил его, и Мека опять ткнулся в воду, откуда его вновь извлекли за воротник куртки.

— В путь, господин друг коменданта! — приказал стражник, громко хохоча.— Поглядите-ка на этого безумного старика! Пошел! Живо!

— Сын мой, — сказал Мека, задыхаясь, — ты ровесник моему сыну, караульный! Почему же тебе хочется пролить столь же старую кровь, как и кровь твоего отца? О караульный! Почему ты хочешь, чтобы про-

клятие обрушилось на тебя и на твоих близких... О караульный! Неужели мои слова скатываются с тебя, как вода с утиных перьев?

— Заткни глотку! — рычал полицейский, тряся Меку, как манговое дерево.

Старик безропотно шатался из стороны в сторону. Он попробовал было сбросить железную руку, державшую его за шиворот. Но убедившись в тщете своих усилий, перестал двигаться. Пристально и злобно смотрели в полутьме друг на друга полицейский и Мека. Наконец полицейский с отвращением плюнул и выпустил из рук воротник куртки Меки, который с облегчением двинул шеей. Стражник еще раз направил ему в лицо свой фонарь, Мека прикрыл глаза рукою. Свет потух.

— В путь, господин друг коменданта! — снова скомандовал он, толкая перед собой Меку.

С этими словами он опять поднял фонарь и направил ослепительный сноп света прямо в глаза Меке.

Некоторое время они шли в полном молчании. Изредка вспышка молнии освещала две фигуры, идущие гуськом. Размахивая руками, Мека мысленно продолжал свой монолог.

— Караульный, сын мой! — наконец вскричал он. — Выслушай меня в последний раз! Я не бродяга, о сын мой,— упорно твердил он.— Никто в нашем роду никогда в жизни ничего не крал, о караульный! Я ходил за медалью дружбы, о караульный! Только за медалью дружбы... Я человек известный среди жителей Дума, лишь ты, дитя восходящего солнца, не знаешь меня! О караульный, я ходил за медалью дружбы...

— Ты мне все уши прожужжал этой медалью! — взорвался полицейский. — Приберегi свою песенку для Птичьей глотки.

— Неужели два человека не могут договориться между собой, сын мой? — спросил Мека, не оборачиваясь. — Почему ты решил отдать меня в руки чужеземца, сын мой? Почему ты хочешь отдать меня в руки чужеземца? Мои слова скатываются с тебя...

— А вот и участок!

Мека умолк и воздел руки к небу.

Перед ним был полицейский пост. Стражник яростно дернул дверь, из-под которой пробивалась полоска света, и втолкнул Меку в комнату.

На столе возле керосиновой лампы храпел бригадир-туземец; услышав скрип двери, он проснулся и громко выругался. Мека в страхе отступил назад. Сопровождавший его цербер закрыл дверь, оттолкнул торчавшего на дороге Меку и вытянулся перед бригадиром. Тот отдал фашистское полуприветствие и скомандовал: «Вольно!» Стражник бросил плащ на стол рядом с тетрадью, которую открыл бригадир. Сидевший взглянул поверх лампы на Меку, перевел глаза на своего подчиненного, прикладывавшего время от времени большой палец ко лбу, и опустил взгляд на свою тетрадь. Наконец он вопросительно посмотрел на прибывших.

— Пустяки! — ответил стражник, повернувшись к Меке и жестом приглашая его подойти.— Ближе,— приказал он.

Скрестив руки на животе, Мека медленно подвигался вперед, словно баран, которого выталкивают из хлева на дождь.

Когда свет лампы упал на пленника, стражник наклонился к своему начальнику, а тот слушал его, положив подбородок на ладони и широко, как ко́злы, расставив над тетрадью локти.

— Бродяга, дурачок,— докладывал стражник, то машинально поворачиваясь к Меке, то снова склоняясь перед начальником, — ни фонаря, ни документов... Ничего из того, что требует Птичья глотка...

Бригадир поднял глаза, снова уткнулся в тетрадь и потом устремил взор на своего коллегу.

— Не сажать же эту грязную свинью в только что выкрашенную камеру...

Он встал и, облокотясь о стол, повернулся к Меке.

— Откуда ты? — спросил он.

— Из... из...— начал было Мека, облизывая пересохшие губы.

— Он говорит, будто он друг верховного комиссара, — пояснил стражник,— и будто он потерял медаль, которую тот ему вручил; он, мол, господин, настоящий господин... этот идиот!

Полицейские молча смотрели на Меку. Старик стыдливо опустил глаза, как непорочная отроковица. Блюстители порядка прыснули со смеху. Мека вздрогнул всем телом.

— Твое имя? — спросил бригадир.

— Мека...

— Мека! — повторил стражник.

Бригадир вернулся на свое место за столом. Он пожал плечами, обмакнул перо в чернильницу. Потом внимательно осмотрел ручку — точно ли она пришлась между пальцами, прочно ли лежит у основания большого пальца. Склонил голову на правое плечо и высунул большой толстый язык, как собака перед гоном. С улыбкой блаженного восхищения стражник наблюдал за действиями своего начальника.

Бригадир снова взглянул поверх лампы на Меку.

— Мека, а! — повторил он как бы про себя.

— Мека! — подтвердил помощник.

Бригадир положил ладонь левой руки на стол, потом, наклонясь еще ниже, коснулся ее подбородком. При этом он все больше высовывал язык. Он поднял правую руку, которая, прежде чем лечь на белую страницу, описала над нею с десяток кругов — так кружит ястреб над несчастной пичужкой.

— Мека, — прошептал он снова.

— Мека, — подтвердил караульный, склонившись над своим начальником, чья рука по-прежнему выписывала над тетрадью круги.

Те же самые жесты повторялись при записи имени Меки, которое старик произносил «Ророн» вместо «Лоран» и которое бригадир под диктовку своего помощника записал как «Роро».

— Хватит, — одновременно воскликнули оба полицейских, обменявшись торжествующим взглядом.

Бригадир вынул из ящика стола связку ключей, помощник взял фонарь и пошел отпереть дверь. Все еще шел дождь. Но не прежний ливень, а мелкий дождик, пронизавший, словно туча булавок, бледный круг света, падавший от лампы на землю.

— Вот чертова погодка! — сказал стражник, открывая шествие.

— Пошел! — закричал бригадир.

Мека попытался было идти в ногу с караульным, освещавшим дорогу, но запнулся, зацепившись пальцами левой ноги за пятку правой. Желая сократить расстояние между собой и обогнавшим его стражником, он подпрыгнул, как петух, которого гонят прочь со двора.

— Этот человек — сумасшедший! — заявил бригадир. Его помощник повернулся и поднес фонарь к лицу Меки; старик поспешил укрыться во мраке от нестерпимо яркого света.

— Сюда! — загремел караульный.

Они обогнули веранду, потом подошли к маленькой двери, сбитой из досок ящиков для вина. Помощник светил бригадиру, нагнувшемуся к висячему замку. Дверь широко распахнулась. Мека шагнул, потом обернулся с порога к полицейским.

— Бог видит все! — бросил он.

Караульный наподдал ему сзади ногой, так что Мека зашатался, и

поспешил скрыться в караулке. Дверь с шумом захлопнулась. Мека очутился в первозданной мгле.

Словно лунатик, продвигался он во мраке, вытянув руки, пока наконец не коснулся пальцами стены, прислонился к ней, потом рухнул на землю. Провел рукой по лицу, от удивления захлопал в ладоши и вытер уголки губ. Так он и сидел, тщетно стараясь привыкнуть к темноте. Назойливый москит жужжал над самым его ухом, но Мека даже не пошевелился. Никогда еще не доводилось ему быть в таком глубоком одиночестве, наедине с самим собой. Мысли, какие-то картины вихрем проносились у него в голове, и напрасно пытался он уловить их. Опершись подбородком о ладонь, старик некоторое время сидел неподвижно, потом вдруг воскликнул:

— Боже мой!

Он погладил рукой голову и щеки. Прислушался к мерному перестуку капель, барабанивших по цементу. Глубоко вздохнул и снова прошептал:

— Боже мой! — Растопырив руки, он покачал головой, потом сжал ладонями лоб. Он чувствовал себя очень усталым. Тьма порабощала его, да не только тьма, но и надоедливое жужжание москитов, и пустое, ледяное, словно морг, помещение, где он валялся, как окоченевший труп. А главное, он не мог забыть событий прошедшего дня, картины которого упорно теснились в его мозгу. Он вытянулся на полу, надеясь успокоить ломоту в пояснице. — Какой срам! — громко произнес он. — Какой срам!

Он поднялся и прислонился к стене, потом снова рухнул на землю и вытянул ноги.

— Бедные мы! — сказал он.

Где-то рядом крикнула ночная птица. Мека почувствовал себя очень, очень несчастным. Этот мрачный крик внезапно напомнил ему бамбуковую кровать и яркий огонь, который в дождливые ночи разводит Келара. Как любил он, засыпая, слушать стук дождя по тростниковой крыше. Он подкладывал руку под голову Келары, а она прижималась к его плечу тугими, заплетенными на ночь косичками. Слезы навернулись на его глаза.

— Бедные мы! — простонал он. — Бедные мы! — задыхаясь, повторил он.

Ему захотелось уткнуться в невидимое плечо, как он обычно это делал, когда ему хотелось довериться Келаре, но, взмахнув рукой в пустоте, он потерял душевное равновесие.

— Человек одинок в этом мире! — рассуждал он, стараясь как можно крепче упереться спиной в стену.

Он обхватил голову руками. Каким образом он, потомок великих Мека, прозванных «Ветви, недвижимые в грозу», «Реки, не боящиеся лесов», «Змеи-питоны», «Скалы», «Слоны», «Львы», как он, сын тех самых Мека, которые никогда не сгибались перед другим человеком, как бы силен тот ни был, как мог он, сотворивший себе из дружбы кумир, очутиться в таком положении, что с ним обращаются, как... как... с безвестным бродягой.

Меку раздирали самые противоречивые чувства. Он заранее предвкушал те извинения, которые ему принесут караульные в присутствии Птичьей глотки. Он живо представил себе эту сцену. Сначала его подтолкнут к белому, ведь арестованных всегда грубо выталкивают вперед. Минуты две он будет стоять, низко потупив голову, чтобы усугубить эффект сцены, затем устремит свой пронзительный, как кинжал, взор в лицо белого. Как побледнеет Птичья глотка! Ах! Бедные караульные! То-то будут они изворачиваться... невнятно бормотать извинения!.. Но он, Мека, согласится ли он простить их? Ибо они совершили ошибку,

чудовищную, нелепую. В конце концов полицейские всегда, еще во времена Иисуса, были ублюдками собаки. Нет у них нюха, и не могут они отличить бога и честного человека от разбойника. Ай-ай-ай! До чего же жалкие люди! Стоит ли сердиться на таких... И Мека махнул в темноте рукой. Именно так махнет он стражникам в присутствии Птичьей глотки, как бы прощая их, а мысленно посылая ко всем чертям!

Он не чувствовал за собой вины и потому вдвойне презирал своих стражей. Он даже успокоился. Но, господи боже! К чему быть невинным и скромным на сей земле, если добродетель и честность теперь не в цене и человек безлик, как песчинка в пустыне? Мека почувствовал себя совсем старым. Но, черт возьми, он ведь еще не в могиле! Ни разу в молодости его лопатки не коснулись пыльной земли, как бы ни был силен противник, и он сейчас докажет это караульному. Мека направился к двери. Удивленный тем, что она оказалась запертой, он стал яростно пинать ее ногой.

— Рабы необрезанных! — вопил он.— Откройте! Сейчас же откройте, и вы увидите подлинного Меку!.. Негодяи! Посмеете ли вы взглянуть на меня? Никогда еще мои лопатки не касались пыли, как бы ни был силен противник! Вы, сыны шлюхи!

Выкрикивая эти слова, Мека ходил взад и вперед по темному сарайчику. Он опустился на одно колено и протянул руки к невидимому противнику — так в молодости он вызывал мужчин на борьбу. Передернул плечами и так заорал, что чуть не слетела железная крыша. Затем разразился безумным хохотом, от которого затряслось все его тело, и снова стал поносить караульных.

Мека замолчал только тогда, когда почувствовал, что пот градом струится по его лицу. И тут же заметил, что одежда высохла. Ему хотелось кричать и кричать, но с губ сорвался лишь хриплый стон. Он говорил теперь, как прокаженный, чей слабый голос похож на свист воздуха, вырывающегося из узкого отверстия. Пробормотав еще несколько ругательств по адресу полицейских, он замолк, опасаясь совсем лишиться голоса. Присел на корточки, а потом упал на пол. Свежесть цемента была ему даже приятна.

— Негодяи! — шепнул он еще раз и заснул, мечтая, как убьет первого же караульного, который откроет поутру дверь.

Когда Мека проснулся и обнаружил, что спал глубочайшим сном, ему стало стыдно.

— Нам не дана власть над своим телом...— произнес он вслух.— Бедные мы!

Хорошо еще, что вернулся голос. Вероятно, было уже поздно, так как сквозь щели проникал дневной свет; он разгонял мрак, наполнявший караулку. Помещение, куда заперли Меку, было совершенно пусто. Стены побелили, чтобы скрыть непристойные рисунки, но Меке все же удалось разобрать их сквозь тонкий слой мела. Значит, вот она какова, камера полицейского участка! Настоящая клетка для диких зверей. Даже не подумали о табурете, чтоб заключенный мог присесть. Мека почувствовал, как горло его судорожно сжалось. Глаза горели. Он с трудом удержался, чтобы не стать на одно колено. Отряхнул штаны и рукава куртки цвета хаки. Потом начал разминку, словно боксер перед первым ударом гонга. Старые кости громко хрустнули; затем Мека подошел к двери и стал ждать, припав к щели.

Сердце Меки забилось, когда он услышал, что кто-то возится с замком. Старик отступил на шаг и испугался, обнаружив, что он так ничего и не приготовил для Птичьей глотки. Когда дверь открылась. Мека стоял у стены, скрестив руки на груди.

Стражник, которого Мека узнал по росту и толщине, с любопытством посмотрел на узника и, гулко ступая, направился к нему. Мека хотел было шагнуть в сторону, но вдруг все его тело налилось непомерной тяжестью. Караульный, подойдя ближе, схватил старика за шиворот.

— Выходи! — заорал он. — Сейчас увидишь Птичью глотку!

Мека почувствовал, что дрожит с головы до ног. Как во сне, схватил он руку полицейского, да, схватил словно шею дикобраза, обнаруженного полумертвым в капкане. Пальцы его с наслаждением впились в тело этого высокого, жирного негра, будто в холеное тело городского адвоката. Караульный подпрыгнул от боли и вырвался. Мека использовал свою победу до конца. Он был поистине страшен, хотя в душе желал, чтобы все этим и кончилось... тем более, что толстяк-караульный мог стереть его в порошок. И все-таки он коснулся коленом земли, вызывая противника на бой.

— Вчера вечером ты был сильнее потому, что я ничего не понял! — бросил он. — Теперь, если ты не слюнтяй, давай сведем счеты здесь, без свидетелей...

Стражник тупо взглянул на Меку. Он сделал шаг по направлению к узнику, тот отступил, но тут и сам караульный сделал три шага назад. Мека обозвал его сыном шлюхи. Караульный засвистел, сзывая своих товарищей.

Мека почувствовал, как его приподняли над землей, как набросились на него люди в красных фесках. Кто-то надел на него наручники. Он хотел крикнуть, но из гордости не проронил ни звука: каждому лестно стать объектом нападения десятка полицейских... Над ним глумились всю дорогу до самого кабинета Птичьей глотки, и тот, в свою очередь, поднял хлыст и прогулялся им два, три, четыре, десять раз по плечам Меки. Плюнув в лицо старику, он отослал караульных и крикнул бригадира.

— Кто этот бесноватый? — спросил он.

Бригадир щелкнул каблуками и машинально поднес руку к козырьку кепи. Это щелканье взбесило Птичью глотку, и, побагровев от злости, он грозно повторил свой вопрос. Судорожно проглотив слюну и взглянув на Меку, бригадир выкрикнул, глотая по своему обыкновению концы фраз, что у этого — красноречивый жест в сторону Меки — ни документов, ни фонаря...

Птичья глотка приблизился к Меке и немного смутился, встретив оскорбленный взгляд человека, уверенного в своей невиновности. Кончиком хлыста он почесал висок, потом приказал бригадиру удалиться. Рассмеялся, надеясь вызвать ответную улыбку Меки. Но Мека даже не шелохнулся. Он оглядел Птичью глотку с головы до ног, потом уставился в дальний угол комнаты. Г-н Варини положил ему на плечо руку. Мека потупился, и под темной кожей, обтягивавшей впалые щеки, двумя желваками вздулись челюсти и быстро-быстро задвигались взад и вперед. Птичья глотка встряхнул старика. Тот пошатнулся, потом от нетерпения присвистнул сквозь зубы. Птичья глотка взял Меку за подбородок, но тот упрямо смотрел в землю. Затем закрыл глаза. Птичья глотка отнял руку. Голова Меки бессильно упала на грудь. Пришлось кликнуть переводчика.

— Что это с ним? — спросил г-н Варини.

Переводчик пожал плечами. Птичья глотка покачал головой, снова поскреб хлыстом висок и заговорил с переводчиком. Когда он замолк, молодой человек коснулся рукой локтя Меки. Старик пошевелил губами и бросил на него отсутствующий взгляд. Но переводчик не растерялся. Он долго переводил на язык мвема слова белого. Когда он замолк,

Мека вытер ладонью губы и, все так же пристально глядя перед собой, сказал переводчику:

— Я очень устал, так устал, что не знаю, что сказать Птичьей глотке. Пусть делают со мной все, что хотят... А раз он спрашивает, кто я, скажи, что я последний дурак, который вчера еще верил в дружбу белых. Я очень устал, пусть делают со мной все, что хотят...

Раздув ноздри, Мека вздохнул и вытер тыльной стороной ладони кончик носа. Слушая речь переводчика, г-н Варини как-то странно смотрел на Меку. Время от времени он бросал недовольные взгляды на караульных, ожидавших конца допроса в противоположном углу веранды. Когда переводчик кончил, комиссар позвал бригадира. Оба они исчезли в управлении.

Мека даже не оглянулся. Мыслью он перенесся в прошлое на несколько лет назад. То было время, когда селение, откуда брал своих жен его грозный дед, простиралось за домами белых, которые теперь стоят перед ним. Что осталось от селения великих Мека, тех самых Мека, которые в этой стране были людьми, настоящими людьми! Тень грусти затуманила взор старика. Он подпер подбородок левой рукой.

«Надо уметь выстоять на нашей земле,— думал он.— Иной раз это очень трудно... Кто мог бы подумать, что вчерашние хозяева станут сегодня рабами?»

— Меки,— шептал он.— «Люди-львы», «Люди-молнии», «Люди неба», люди, что были воплощением подлинного могущества и господствовали над небом и землей во всем этом краю...

Старик закрыл глаза. Мысленно он вновь увидел «своего» первого белого. Сколько лет ему тогда было? Трудно сейчас ответить на этот вопрос. Он вспомнил, как мать повела его однажды к реке, где купались женщины их селения. Тогда он был еще крошкой, присутствие которого не смущало женщин. Мать позволила ему побегать у берега, где вода доходила до щиколотки, потом снова посадила мальчика на спину и отнесла домой.

Мрак забвения окутал воспоминания Меки о том времени. Он думал о своем обрезании, о волнении, охватившем местных жителей как раз в то время, когда зарубцевалась его рана. Звуки там-тама раздавались с утра до вечера и с вечера до утра. Говорили, что в их краях появился человек-привидение. Был он весь белый, как известь, с глазами пантеры и с длинными, словно лошадиная грива, волосами. Собирались идти на него войной. Мека вспомнил о военных приготовлениях, которые происходили в хижине, где держал речи его дед. Здесь точили копья и кривые сабли, вырезывали дротики из дерева, пропитывали стрелы ядом. Мужчины смазывали тела священной мазью, которая должна была сделать их неуязвимыми. Потом воины отправились к реке Двух кайманов. Мека, которого, как всех мальчишек, оставили с женщинами, принял всерьез свое новое положение хозяина дома и взрослого мужчины; как смеялась его мать, когда он, набрав в легкие как можно больше воздуха, грубым голосом просил дать ему поесть! После короткого сезона дождей взрослые вернулись домой. Их триумфальное возвращение сопровождалось звуками там-тама и пронзительными криками женщин. Человека-привидение поймали. Его привязали в селении к стволу пальмы.

Мека открыл глаза и попытался найти взглядом то место. Зеленый купол высокого мангового дерева, росшего у госпиталя, заслонял горизонт. Он снова закрыл глаза. Все смешалось в голове: и человек-привидение, которого убили, поняв, что его можно убить, и его череп, доставшийся деду Меки, великому вождю племени Мвема; череп потом перешел к Меке, когда он убил свою первую пантеру...

— Я не боюсь белых! — сказал он громко. Он вспомнил о черепе, это был череп немца; в день своего крещения Мека бросил его в реку.— В тот день я стал рабом! — произнес он.

На другом конце веранды раздался громкий взрыв смеха. Мека заметил караульных, которые, держась за бока, бросали на него насмешливые взгляды. Мека сделал шаг вперед. Смех застыл на губах у караульных. Старик посмотрел на них с глубокой ненавистью, но она растаяла в долгом вздохе, вырвавшемся из груди. С жалостью он оглядел себя, покачал головой и шепнул:

— Бедные мы!

Он совсем забыл о караульных. За ним пришел переводчик. Птичья глотка озабоченно взглянул на старика и нерешительно протянул ему руку, потом спохватился и вынул пачку сигарет — вечно эти сигареты! Он предложил Меке закурить, но так как Мека даже не шелохнулся, воткнул ему сигарету в рот и сам зажег ее.

— Кури, кури! Не серди белого, — сказал переводчик на языке мвема. — Можешь думать о нем все, что тебе угодно, но только когда будешь далеко отсюда... Смотри не делай глупостей, все улажено!

Губы Меки задрожали. Он жадно схватил сигарету и еще глубже засунул ее в рот, в щель между верхними зубами. Втянув щеки, он выпустил дым из ноздрей и уголков рта. Потом подумал о пустой комнате, где провел ночь, о Келаре и ярком огне их очага.

Птичья глотка улыбнулся. Мека вынул сигарету изо рта и улыбнулся в ответ. Белый долго говорил что-то переводчику. Когда он окончил, переводчик сказал:

— Белый говорил об очень многих вещах, и если бы я начал переводить все его слова, мы провели бы здесь целый день... Вот что я могу тебе сказать — возвращайся-ка ты к себе домой... тебе закажут другую медаль. Тебе повезло — белый тебя узнал, а в будущем не забывай брать с собой фонарь, когда станешь ходить ночью по городу. Вот и все...

Птичья глотка еще раз улыбнулся Меке, и тот смешно распялил свой рот до ушей. Комиссар протянул ему руку. Мека колебался. Он посмотрел на свои руки, затем на руки белого и смущенно улыбнулся.

— Пото-пото! — сказал он, глядя поочередно на свои желтые руки, покрытые засохшей грязью, и на белоснежные руки Птичьей глотки.— Я не хочу пачкать белого.

— Что он говорит? — спросил у переводчика белый.

— Он говорит, что у него грязные руки, — ответил переводчик.

II

Как только крыша резиденции скрылась из вида, Мека замедлил шаг. Он дошел до подножья пограничного холма. Перед ним возникли крыши хижин туземного квартала, похожие на островки в безбрежном океане густого тумана, которому суждено было висеть над Думом до конца недели.

Мека испытывал странное чувство. Не то чтобы ему было по-настоящему весело, но он чувствовал себя счастливым, хотя в приливе запоздалого страха время от времени боязливо оглядывался назад. С каждым шагом, приближавшим его к туземному кварталу и уводившим прочь от резиденции, крышу которой заволакивало туманом, постепенно таяла непонятная тяжесть, давившая грудь. Когда он почувствовал себя, наконец, совсем легким, как завиток дыма, он сорвал пучок листьев мелиссы, росшей на краю дороги, растер их в своих мощных ладонях и почистил листьями зубы. Выплюнув кашицу, вытянул нижнюю губу, так что она закрыла верхнюю, и глубоко вздохнул. Сорвал другой пучок

листьев мелиссы и повторял ту же операцию, пока во рту не исчез утренний дурной вкус. Вымыл руки стоячей водой, собравшейся в канаве, и ополоснул лицо. Возобновив свой путь, Мека перекрестился и начал читать молитву.

Первые слова сами пришли на память. Старик шел степенно, скрестив на груди руки, подняв к небу глаза, но вдруг споткнулся и ударился большим пальцем ноги о булыжник.

— Тебя ждет славное угощение, — бросил ему прохожий. — Хороший знак для утра.

Мека чертыхнулся, сделал три мелких шажка и нагнулся, разглядывая ушибленное место. Человек, заговоривший с ним, неожиданно вынырнул из тумана.

— Больно? — спросил он.

— Бывало и похуже, — ответил Мека, распрямляя спину.

Прохожий протянул ему руку.

— Доброе утро!

— Доброе утро! — проворчал Мека, пожимая протянутую руку.

— Что это с тобой приключилось? — спросил участливо прохожий.

— Белые!.. Кто кроме белых...— ответил Мека, сопровождая свои слова красноречивым жестом.

Незнакомец покачал головой.

— Так я и думал, так я и думал, — кратко ответил он. — С первого взгляда узнаешь того, кто побывал в гостях у Птичьей глотки! Так я и думал, так и думал...

— Н-да! — проговорил Мека, разочарованно вздохнув.

Он протянул в свою очередь руку прохожему, который с самым серьезным видом пожал ее. Мека не знал, что еще сказать. Заложив руки за спину, выгнув спину, как рычаг капкана для дикобразов, он побрел вперед, все еще переживая горечь своей неудачи. Он хотел было продолжать молитву, но забыл, на чем его прервали, и, махнув безнадежно рукой, ускорил шаг.

На утро после грозы 14 июля Дум узнал настоящее горе. Туземцы, которые собрались на праздник из самых отдаленных лесных уголков, исчезли как по волшебству. Те жители туземного квартала, чьи жалкие хижины уцелели во время урагана, не выходили из дому. На улицах ни души, только изредка пройдет заплутавшийся в тумане чернорабочий, спеша к европейскому кварталу и спотыкаясь на изрытой дождем дороге.

— Уж не разносчик ли ты дурных вестей? — спросил Меку какой-то прохожий, приглядываясь к его измятой одежде, на которой красноватой коркой засохла грязь. Старик отрицательно покачал головой и воскликнул:

— Белые!.. Кто кроме белых...

Размахивая руками, он попросил прохожего извинить его и пошел вперед раскачивающейся походкой. Он подумал о Мами Тити. Но тут же отбросил эту мысль, и длинные ноги сами понесли его по кратчайшей тропинке, ведущей к дому и огибающей стороной туземный квартал. Он шел мелкими шажками, потому что после ночного ливня тропинка стала совсем скользкой. Когда лес сомкнул над ним шатер своих ветвей, старик вздохнул и на ходу приласкал рукой еще влажную после ливня траву и придорожные кусты. Пятнистая крыса выскочила из зарослей, галопом пересекла тропинку и исчезла в кустарнике.

— Пятнистая крыса бежит по дорожке. Она знает, куда бежит, — вслух произнес Мека. Эти ритуальные слова полагалось произносить всякий раз при виде пятнистой крысы, чтобы не сбиться с дороги.— Выходит, мои предки меня не предупредили. Вчера-то я не видел пятнистой

крысы. Как же мог я добраться до Дума, не заметив пятнистой крысы? — Большим пальцем ноги он опять задел о корень. — И впрямь меня ждет хорошее угощение! — сказал он.

Он пошел еще быстрее. Словно бегемот, пустившийся на поиски нового жилья, брел он, не разбирая дороги. Только ветви трещали кругом. После вчерашнего урагана тропа почти совсем исчезла. Сваленные бурей деревья, поломав кустарник, преграждали путь, будто настоящие баррикады. Тысячи зеленых рук цеплялись за одежду, осыпали дождем капель. Мека раздвигал траву, ветки, перепрыгивал с одного ствола на другой, а там, где поваленные деревья оставляли проход, полз, как змея. Наконец он выбрался на поляну. Он помочился прямо на траву, а известно, что моча придает травам свойство возвращать мужчине его молодую мощь. Затем связал два листика эссесонго, надеясь отвратить дурную судьбу. На голову ему с ветки упала капелька птичьего помета.

— Вот удача! — сказал Мека, проводя ладонью вдоль головы, чтобы получше размазать по волосам небесный дар.

Горлинка, порхавшая с куста на куст, задела его своим крылом, потом уселась на толстый корень пальмы, перегородившей тропу.

— Дорожный спутник! — сказал Мека, обращаясь к горлинке, как к человеку. — Какую добрую весть ты несешь мне?

Птица вспорхнула, описала круг над головой Меки и уронила вторую каплю помета. На сей раз Мека чуть было не чертыхнулся, но поскольку удача так щедро изливалась на него, вовремя спохватился.

— Удача! — повторил он.

Все старые предрассудки ожили в его памяти и смели словно морской волной долгие годы, когда он свято чтил священное писание и столь же свято соблюдал церковные обряды.

Как обычно, воздух наутро после ливня был напоен запахом гниющих деревьев, шелестящей листвы кустарников, ароматом влажной земли, всеми испарениями леса. Эти освежающие, как водяная лиана, благоухания вызывали в памяти псовую охоту на дикобраза, которого выгоняют из норы, разведя возле нее огонь: метательное копье так ловко вонзается в тело антилопы, африканский кабан удирает из своей берлоги, костер в лесу, где так весело трещат сухие пальмовые листья, его возжигают в Вербное воскресенье, чтобы земля родила обильный урожай... Словом, перед ним прошла вся жизнь африканской земли, та жизнь, которой так не хватало Меке с тех пор, как его вызвали за медалью дружбы. В траве виднелись следы животных. Мека с удовольствием заметил, что в этой части леса, какую он решил окрестить «Лесом возвращения», водится много антилоп.

До его слуха донесся крик петуха. Мека перепрыгнул еще через несколько поваленных бурей деревьев и очутился на кокосовой плантации, которая примыкала к его хижине. С волнением почувствовал он, как его ноги погрузились в ковер опавшей, еще мокрой листвы. Осторожные шаги человека все же потревожили кур, копавшихся в куче навоза. Стая коз разбежалась при его приближении. Куры закудахтали. Залаяла собака и вприпрыжку бросилась навстречу Меке.

— Мендомо! Мендомо! — позвал ее Мека, прищелкнув пальцами.

Пес остановился. Потом недовольно фыркнув, с лаем повернул назад. Эта собака принадлежала повару священника. Мендомо частенько убегал из миссии в селение и кормился там от щедрот прихожан.

— Мерзкое животное, не узнает меня,— загремел Мека.— Посмей только сунуть нос в мою хижину...

Мека обошел кустарник, служивший ему уборной. Он улыбнулся, увидев, что свинья, поджидавшая его каждое утро, на сей раз ждала хозяина особенно долго. Бедняжка! Мека сделал вид, что присаживается

на корточки. Переваливаясь с ноги на ногу, свинья приблизилась к нему. Она обошла Меку и, перейдя через тропку, стала поодаль, ожидая своего часа. Мека задумался. Где же он видел этот профиль? Вдруг он захохотал и поднялся на ноги.

— Мир действительно дело рук господа бога...— произнес он вслух.

Мека потер рукой лоб, стараясь этим привычным жестом вызвать в непослушной памяти забытое воспоминание. Потом шагнул к свинье, которая с хрюканьем отскочила. Мека опять расхохотался.

— Вот, вот, — проговорил он, задыхаясь от смеха. — Как это я раньше не заметил. Да у нее профиль совсем как у великого вождя белых... И впрямь мир дело рук господа бога, — повторил он. — Сразу видно, что один и тот же мастер сотворил великого вождя белых и эту свинью...

Продолжая тихонько смеяться, Мека направился к своей хижине. Только она да десяток других уцелели после урагана. Будто целый отряд бульдозеров прошелся через селение. Вместо деревни лежало ровное поле, лишь там и сям виднелись крупные глыбы земли. Вооружившись кривыми ножами, кирками, лопатами, крестьяне суетились среди развалин, надеясь извлечь оттуда домашнюю утварь. Мужчины, женщины и дети рылись в куче обломков хижин, которые вчера еще служили им кровом. Деревянные песты и ступки, эмалированные тазы, ведра для воды, старые, почерневшие от дыма корзины, москитные сетки грязно-серого цвета, наполовину изъеденные термитами и все в кровавых точках от раздавленной мошкары, закопченные иконы, большие булыжники, которыми растирают земляные орехи, ножки кровати из пальмового дерева, старые банки из-под горючего, бидоны для керосина, стоптанные башмаки, довоенные журналы, какое-то немыслимое тряпье, мешки земляных орехов и соли — весь этот нищенский скарб, собранный кучками, заполнял двор. Сюда же согнали уцелевшую домашнюю птицу; утки и куры с жадностью клевали тараканов, сколопендр и пауков, улепетывавших с насиженных мест. Мека вошел во двор.

— А вот и Мека! — крикнул кто-то.

— Где он? — спросил другой.

— Да вот! Вот я! — крикнул Мека, и при этих словах вся толпа оцепенела. Мужчины побросали топоры, потом, развязав и вновь завязав свои набедренные повязки, провели ладонями, в знак удивления, по губам.

Мвондо, племянник Меки, подбежал к дяде. Бесполезно было спрашивать, не случилось ли с ним несчастья, ибо, оказавшись среди своих, старик тут же принял самый похоронный вид, что впрочем вполне подходило к его замызганной одежде. Словом, Мека теперь ничем не отличался от тех нищих бродяг, которых отец Вандермейер и на ружейный выстрел не подпускал к святой церкви.

Мвондо с криком ужаса схватил дядю за руку.

— Что с тобой случилось? Что с тобой случилось? — спрашивали поселяне, окружив старика.

— Белые! Кто кроме белых...— ответил Мека.

Слова эти сопровождались достаточно красноречивой гримасой. Мека тотчас же стал объектом всеобщего внимания. Кто-то просунул голову между коленями мужа Келары, чтобы донести его до хижины на своих крепких плечах, хотя до дома оставалось всего два шага.

— Спасибо, Бомо, — прошептал Мека умирающим голосом. — Плелся же я до сих пор, могу доползти и до своей постели...

Казалось, старика разбил паралич. Десятки рук подхватили его и понесли.

— Не могу больше, — простонал Мека. — Эти белые чуть меня не убили... Если даже я доживу до ста лет, все равно я уже умер, умер в тюрьме Птичьей глотки...

— В тюрьме Птичьей глотки? — хором переспросила толпа.

— В тюрьме Птичьей глотки, — подтвердил Мека дрожащим голосом. — На краю могилы... в ледяном холоде... я чуть было не умер от холода и москитов... вы же знаете, что у меня... (он кашлянул), что у меня сла... (он кашлянул посильнее)... бая грудь...

— Бедная Келара! Бедная Келара! — завопила Амалия, покатавшись на земле и завязав платок вокруг поясницы. Скрестив на голове руки, она бегом выскочила из хижины, желая предупредить Келару, которая до сих пор ждала мужа у реки. Ее крики затихли, наконец, за хижиной.

— Ангамба пошел тебе навстречу, — сказал Мвондо, укладывая дядю в постель. — Мы условились, что если он не вернется к вечерней молитве, я пойду за ним...

— Я не встретил его, — прошептал Мека слабым голосом.

— Он отправился по большой дороге, — сказал кто-то.

— Отправился по большой дороге, — повторил другой.

Одна из женщин пошла за дровами, которые лежали под полкой, где Келара хранила свою посуду, затем вернулась и подбросила их в печь, затопленную в честь Меки.

— Мне холодно... Мне очень холодно...— стонал тот, скрипя зубами.— Я возвращаюсь с дороги привидений...

В хижине Меки уже не оставалось свободного места. Гости и односельчане набились туда до отказа. У изголовья кровати сидели на земле мужчины, подобрав свои набедренные повязки, а женщины, заливаясь горючими слезами, время от времени вслух призывали на помощь какого-нибудь святого.

— Мека жив! Мека жив! — вдруг заорал Нти, он резко поднялся, забыв опустить на голые ягодицы набедренную повязку... По толпе прошел рокот. Но голос Нти легко покрыл голоса присутствующих.— Если вы будете корчить такие лица, с нами и впрямь случится несчастье... Не вздумайте начинать здесь свои колдовские штучки!..

— Нти прав,— подтвердил Мвондо.— Они его вернули живым... Восхвалим же господа!

— Замолчи! Замолчи, гнилая глотка! — зарычал Мека, приподнявшись на локте. — Взгляните на меня! Вы, воображающие себя мужчинами лишь только потому, что вас кое-чем не обошел господь! Белые издевались надо мной, а ты, ты болтаешь здесь о господе! С тех пор, как ты его кропишь святой водой, твои морщины не исчезли! И он мне еще толкует о господе!..

— Мека прав, — одобрил кто-то. — Сам господь бог говорит, что мы должны спасать тело, а уж он займется всем прочим.

— Он поможет нам спасти все прочее... — поправил кто-то.

— Кто это вещает здесь, как Игнатий Обебе? — спросил Мека, приподнимаясь на локте.

— Он самый и есть, — ответил законоучитель. — Да благословенно будет имя господне...

— Оставь... меня в покое! Вон из моего дома! — взревел Мека, вскакивая с постели.

— Ты как будто нынче не в духе! — насмешливо отозвался Игнатий Обебе. — Я приду к тебе, когда ты успокоишься!

Обебе ушел. В хижине царили смятение и ужас. Никто не знал, что стряслось с Мекой. Его просто нельзя было узнать. Почему столь добрый христианин не желает больше слышать о господе?

— Может быть, он умирает? — прошептал кто-то.

— Вполне возможно, — подтвердил другой.

— Уж наверняка в хижину проник злой дух, он ведь, как известно, не прочь присутствовать при последних минутах христианина.

Эти предположения были прерваны жалобным дуэтом, который достиг слуха собравшихся в хижине. Это возвращались Амалия с Келарой. Они причитали. Все замолкли, вслушиваясь в их голоса.

О-о-о-о-о господи!
Моря страданий
исторгли
Океан слез
Из моих очей...

От невзгод, от рыданий,
От мольбы и страданий
Угас мой голос,
О-о-о-о-о господи!

Моя вера крепка,
Не в том ли грех мой.
О-о-о-о-о господи!

Ты отнял детей у меня,
Трудно мне было возносить тебе
хвалу,
О-о-о-о-о господи!

Я только бедная негритянка,
О-о-о-о-о господи!
Оставь мне старого моего дуралея,
Моего дряхлого черного питона,
О-о-о-о-о господи!

Моя вера крепка,
Не в том ли грех мой?
О-о-о-о-о господи!

В ответ из хижины тоже понеслись вопли. От монотонных завываний, крепнувших с каждой минутой, казалось, задрожала земля под голыми задами гостей. Все горланили, плакальщицы останавливались лишь затем, чтобы сплюнуть или громко высморкаться.

Поддерживаемая Амалией, Келара протиснулась в комнату. Несколько человек посторонились, чтобы ей было удобнее кататься по полу, что она и не замедлила сделать. Келара рухнула на пол с быстротой молнии. Она каталась от полки до изголовья кровати, на которой лежал Мека, и от изголовья кровати до самого далекого угла, где спали куры. Супруга Меки сучила ногами, дергала руками, ползала по полу, вставала на колени, снова валилась наземь, со свистом втягивала воздух, плевала, рвала на себе платье, обнажая старческое тело, вопила во все горло, и поднималась лишь затем, чтобы опять с новой силой пасть ниц. Амалия подражала всем движениям Келары, равно как и другие женщины. Мужчины горящими глазами следили за любопытным зрелищем, слабым голосом призывая соседей к тишине. Все взоры обратились к жене Эсомбы, которая сорвала с себя платье и продолжала кататься по земле.

Мека лежал, как труп, скрестив на груди руки и устремив глаза на тростниковую крышу. Когда Келара подкатывалась к его изголовью, он зажмуривал веки — и открывал глаза, лишь когда ее рыдания доносились из-под полки. Но когда очередь доходила до молоденькой жены Эсомбы и она начинала извиваться у его постели, Мека оборачивался и искоса бросал на нее быстрый взгляд.

Спектакль прекратился после того, как обессиленные женщины вытянулись у огня, совсем как крокодилы на берегу реки. Время от времени слышались тихие стоны Келары, которая вновь начала причи-

тать и, сравнивая мужа с богатырями и гигантами, вопрошала себя, кто же будет теперь приносить ей дикобразов.

Нти снова поднялся, хотя все уже перестали плакать.

— Я требую, чтобы вы замолчали,— сказал он, одергивая набедренную повязку, которая на сей раз заняла положенное ей место.— Мы довольно поплакали и будем еще плакать... но в глубине наших сердец... Такова жизнь...

Без всякого стеснения он развязал набедренную повязку, вновь завязал ее и, протянув руку в сторону Меки, продолжал:

— Когда Келара плакала вчера, потому что какой-то юнец, какой-то вонючий юнец заявил, будто Мека продал своих детей за медаль, я сказал, что не пристало ей слушать подобные речи, ибо я спрашиваю вас, всех вас здесь присутствующих...— он оглянулся и сделал неопределенный жест,— ...всех вас здесь присутствующих, существует ли действительно хоть какая-нибудь вещь, которая принадлежит вам, принадлежит в том смысле, как понимали это наши предки до появления белых в этой стране?

— Нееееееет! — ответили присутствующие.

— И что же? — вновь заговорил Нти. — Что происходит? Есть ли здесь среди присутствующих брат белого?

— Нееееееееееет! — крикнули присутствующие.— Нет!..

Нти уселся.

— Это белые думают, что нет среди нас ни одного умного человека,— поднимаясь, начал Эсомба,— а я, я позволю себе сказать, что речи Нти — речи мудрого человека, и весят они много тонн!..

— То же самое хотел сказать и я,— прервал оратора Бомо.— Вот каковы дела...

— И тому есть виновники... — хором подхватили присутствующие.

— И совершаются дела так, как должны они совершаться...— продолжал Эсомба.— Наши предки! Они покинули нас! С тех пор, как они ушли, они перестали интересоваться нами! Они в своих могилах не думают о наших несчастьях.

— Перестали интересоваться,— повторили хором присутствующие.

— Я не знаю, до чего дойдут белые! — продолжал Эсомба.— Ничто из того, что мы почитаем, не имеет в их глазах никакой цены. Наши обычаи, наши предания, наши снадобья, наши старики — все это для них ничто... А теперь они расставляют нам капканы, как крысам. Я спрашиваю, до чего они дойдут...

— Это... это подлость! — добавил Бомо, но выпрямиться во весь рост не посмел и продолжал стоять, согнувшись чуть ли не вдвое. — Да, да, подлость! — разгорячился он. — Если необходимо таскать людей по тюрьмам, посулив им медаль, то, по моему мнению, это удар в спину...

— Ну и что? — взревел Нти. — Вы говорите о белых так, будто они жители соседнего села? У кого из вас красное лицо, кто из вас не обрезан?

— Никто! Никто! Никто! — отвечали присутствующие.

— Почему же вы тогда удивляетесь тому, что исходит от белых словно они похожи на нас? — продолжал Нти.

— Вот говорит! Вот это говорит! Так говорят лишь мудрецы! — вновь закричали присутствующие.— Шимпанзе горилле не брат!

— О мои старшие! — робко произнес Мвондо, опустив глаза и теребя узел набедренной повязки.— Я знаю, что не имею права говорить среди вас, но все же я осмеливаюсь говорить, ибо уже ел бараньи кишки*...

---

* Только взрослые мужчины имеют право есть бараньи кишки.

— А кто тебе позволил их есть? — гневно крикнул кто-то.

— Какой стыд! Какой позор! — отозвались присутствующие. Толпа сердито зашумела.

— Разве молодая черепаха станет старой оттого, что у нее морщины? Кто позволил тебе есть бараньи кишки? — допытывались у бедного Мвондо.

Замечания градом сыпались со всех сторон. Хорошо селение, где даже ребятишки, еще вчера бегавшие нагишом, осмеливаются есть бараньи кишки! И к тому же без соизволения старейшин! Пусть Мвондо назовет имя хозяина, в доме которого он ел кишки, требовали присутствующие, хотя каждый подозревал в этом преступлении Меку. И когда, скажите на милость, ели этого барана? Возмущение росло. Значит, имеются такие люди, которые ведут себя, как белые. Какой стыд! Съесть украдкой целого барана и накормить малышей бараньими кишками, не предупредив жителей селения!

— О, всё Мвема! — гремел Нти.

— Йеееееееееее! — ответили собравшиеся.

— Что здесь происходит? Почему вы говорите так, будто думаете не головой, а задом, спрашиваю я вас?

При этих словах стало тихо.

— Вы здесь взбесились от ярости! Я говорю — взбесились от ярости потому, что эти необрезанные на сей раз хватили через край... Неужели вас еще недостаточно мучили белые, неужели этого мало?

— Достаточно! Достаточно! Достаточно! — проскандировали собравшиеся.

— Если Мвондо и съел бараньи кишки без вашего согласия, то, должно быть, ел их в селении своих дядей с отцовской стороны, которые не могли ему отказать в этом...

Он повернулся к обвиняемому:

— Какое лакомство ты предпочитаешь всем прочим?

Мвондо ругнулся про себя и искоса взглянул на распухшие ноги Поля Нти.

Однако Нти, пользуясь своим правом старшего, продолжал его отчитывать:

— Все знают, что морщины являются уделом старости, но морщины на твоем лице я объясняю только неумеренным обжорством!

— Йе-е-е-е-е-е-е-е! — одобрила толпа.

— Не чем другим, как неумеренным обжорством! — с жаром повторил Нти.— И ты еще имеешь наглость приходить и признаваться в этом здесь! Обещай нам, что ты пойдешь за бараном к твоим дядьям с отцовской стороны, иначе мы не сможем плюнуть тебе в лицо*...

Мвондо обещал отправиться за бараном, однако, проходя мимо Нти, попытался наступить ему на ногу; но попытка его не увенчалась успехом, ибо, присев на корточки, Нти успел скрыть ступни под своей набедренной повязкой, спускавшейся до самой земли.

Мека застонал. Его стон подхватила Келара. Плакальщицы вновь оживились, но так как все их силы ушли на катание по полу, они ограничились лишь хриплыми вздохами и мерным покачиванием головы.

Нти снова поднялся.

— Мы много плакали,— начал он.— Если слезы и не воскресят мертвеца, то все же мы не напрасно плакали...

— Нти прав, — одобрил кто-то.

— Мы не напрасно проливали слезы, ибо то, что случилось со старым человеком по имени Мека, касается всех нас...

---

* Чтобы благословить и очистить.

— Всех нас! Всех нас!

Слова эти переходили из уст в уста.

— Кто еще с открытыми глазами попадется в ловушку? — спросил Нти.

— Мы не дикобразы! — ответили собравшиеся.

Эсомба внезапно подскочил и, вскинув обе ноги в воздух, встал на руки. Волнообразно раскачиваясь всем туловищем, он, стоя в столь неудобном положении, быстро вращал ногами, словно ехал на велосипеде. Присутствующие сопровождали пляску, известную под названием танца хамелеона, громким хлопаньем в ладоши. Танцор сделал мост, потом, подпрыгнув, как резиновый мяч, снова вскочил на ноги.

— Вот это да! Вот это танцует! Какая сила! Какая ловкость! Такое не каждый день увидишь! Уууууууу-ииииииии! Иииииииии-аааааа!

Каждый на свой лад выражал восхищение, даже Мека, который перевернулся на живот, забыв, по-видимому, что он сильно болен. Танцор заговорил:

— Слезы бывают разные...

— Как и птицы у господа бога! — подхватили присутствующие.

— Я хотел бы плакать по-своему... — продолжал Эсомба дрожащим голосом.

Он снова начал раскачиваться всем телом, а присутствующие запели, хлопая в такт руками:

— Хамелеон ходит на двух ногах! Двуногий хамелеон!

Извивавшееся тело Эсомбы было подобно мерцающему огоньку. Он продолжал танец и тянул на одной ноте бесконечно «гггрррр!» Когда он остановился, кто-то подхватил.

— Звуки там-тама доносятся из зарослей бавольника! — крикнул он.

— За беседой не забудем о выпивке! — радостно ответили присутствующие.

— Наконец-то мы начали говорить интересные веши,— сказал кто-то.

— Первое дельное слово...— подтвердил другой.— Пусть-ка попробует белый помешать мне его услышать.

— Пусть посмеет! — повторил еще кто-то.

Раздался дружный хохот.

— Есть ли вино в этом доме? — спросил Бомо среди неожиданно установившейся тишины.

— Нннннет, — нерешительно ответила Келара. — Священник...

Ей не дали закончить.

— Священник! Священник! Вечно этот священник! — негодовали присутствующие.

Его стали честить скрягой, пьяницей, который никого не приглашает выпить ни к себе домой, ни в церковь...

— Пусть кто-нибудь из нас пойдет за пальмовой водкой,— приказал Нти.

— Нти прав! Нти прав!

Глаза всех обратились к постели, на которой лежал, распростершись, Мека. Он вытянул руку и показал пальцем под кровать. Нти ловко подлез под ложе и вытащил оттуда маленькую тростниковую корзинку, которую и подал Меке. Тот отодвинул ее тыльной стороной руки и слабым голосом приказал Нти взять оттуда, что следует. Нти судорожным движением запустил руку в корзинку, нахмурил брови и улыбнулся. Он извлек тысячефранковый билет и несколько монет, которые лихо подбросил на своей широкой ладони.

— Тут хватит на две оплетенные бутыли... Кто может быстро сбегать на ту сторону ручья? Говорят, там есть хорошее вино у...

— У жены шофера Пипиниса, — подтвердил Нюа, которому до сих пор ни разу еще не удалось вставить ни словечка.

Он поднялся и протянул руку в сторону Нти, а тот еще строже нахмурил брови.

— Это ты пойдешь за вином? — спросил он без особого восторга. — Ладно! Вот билет в тысячу франков, за них еще пять лет назад можно было купить женщину, и... раз... (он начал отсчитывать монеты в ладони Нюа)... два... три... шестьдесят франков. Вы все видите, что я дал Нюа тысячу шестьдесят франков.

Не удостоив Поля Нти взглядом, Нюа удалился, жуя по обыкновению орех колы. Беседа возобновилась и пошла своим чередом в ожидании доброй пальмовой водки, за которой на тот берег ручья отправился Нюа...

III

Наконец в тумане обрисовалась крыша резиденции. Добравшись до вершины пограничного холма, Ангамба замедлил шаги и спросил себя, куда он идет.

— Я сошел с ума! — вполголоса пробормотал он. — Как мог я отправиться сюда без приглашения коменданта? И потом, если Мека еще спит, не время будить его...

Произнося эти слова, которым Ангамба сам ничуть не верил, он поспешил удовлетворить свою естественную потребность, позыв к которой внезапно обнаружил на вершине холма. Он развязал набедренную повязку и еще раз задал себе вопрос, что делает он — крестьянин из джунглей — в самом центре Административного квартала в этот утренний час... Разумеется, он обещал Келаре привести ее мужа, вырвать его хотя бы из пасти льва. Но такие слова произносишь не думая. Келара сумела польстить самолюбию Ангамбы, заставила его пуститься нынче утром в опасную авантюру, грозившую ему тюрьмой. Да, риск немалый, ибо у коменданта разговор короток — увидит туземца, бродящего в его квартале без приглашения, и сразу же упрячет в тюрьму. Но разве мог он равнодушно внимать словам Келары? Ведь, напомнив ему о славных деяниях их отца, она горько и с негодованием объявила, что брат ее Ангамба, сто́ит ему заговорить с необрезанными, сейчас же готов бежать от страха по нужде. Вначале Ангамба протестовал, потом, призвав в свидетели покойного отца и святую троицу, пообещал сестре пойти к коменданту и спросить, что тот сделал с Мекой, которому вручали медаль.

Теперь, очутившись перед управлением коменданта, Ангамба понял всю безрассудность своей затеи. Случалось не раз, что таких людей, как он, хватали у веранды резиденции, не интересуясь причинами их появления. И сажали в тюрьму на неопределенный срок... Ни один туземец не осмеливался добираться до вершины пограничного холма.

— С открытыми глазами в капкан не попадают, — громко произнес Ангамба, поворачивая обратно.— Наши предки говорили: «Если в конце пути у тебя забьется сердце, поворачивай назад...»

Поэтому Ангамба начал спускаться с холма, у подножья которого виднелись хижины туземного квартала. Он шел до тех пор, пока не скрылся холм, затем присел на придорожную тумбу, расправил свою набедренную повязку, разгрыз орех колы и стал поджидать первого прохожего. Когда он начал уже отчаиваться, из тумана вынырнула какая-то тень. Незнакомец направлялся к европейскому кварталу.

— Эй, прохожий! — крикнул Ангамба, когда путник поровнялся с ним.— Доброе тебе утро!

— Также и тебе, друг! — ответил прохожий, закутанный в шерстяное покрывало. Он подошел к Ангамбе. Ангамба предложил ему кусок ореха колы, и тот отправил его в рот, откуда вырвался клуб пара.

— Белые заведут нас далеко! — начал Ангамба.— Ты сам рассуди, если я вместо того, чтобы сидеть у горячего очага, дрожу от холода на этой тумбе, то лишь потому, что я уже больше не я...

— Да, ты уже не ты... — подтвердил прохожий, поправив сползавшее покрывало.— Бесполезно спрашивать тощего хамелеона, не болен ли он.

— Все изменилось в этом мире белых... — продолжал Ангамба.— Люди сделались невидимы, как духи, и исчезают, как серебряная монета... Тот, кого я ищу, женат на моей сестре. Он пожилой и достойный человек. О прохожий, не видел ли ты пожилого человека с медалью?

— Клянусь матерью! — ответил прохожий.— Я не видел пожилого человека, о котором ты спрашиваешь... Но если увижу, я узнаю его по медали и скажу, что другой пожилой человек поджидает его на придорожной тумбе.

— На краю большой дороги,— уточнил Ангамба.

— На краю большой дороги,— повторил прохожий, отходя.

— Именно так! Именно так! — обрадованно повторял Ангамба, пока спутник не исчез из виду.

С этими же словами обратился он еще к двум-трем прохожим, которые отваживались двигаться по шоссе в такой туман по направлению к европейскому кварталу.

Дожевав орех колы и успокоившись, Ангамба встал и тронулся в обратный путь. Он придумал, что сказать Келаре. Это не трудно... Легко догадаться, где находится пожилой человек вроде Меки, которому накануне вручили медаль и который был приглашен в резиденцию. Ведь Мека один из немногих туземцев, которому разрешалось есть и пить с белыми... Если он не вернулся в поселок, значит комендант приготовил ему постель в резиденции. Не стоит поэтому расстраиваться и портить себе кровь.

Погруженный в свои мысли, Ангамба быстро шагал вперед. Когда он добрался до поселка, его удивило, что двор пуст и никто не копается среди обломков сметенных ураганом хижин. Зато в хижине Меки царило оживление. Ангамба ускорил шаг, боясь упустить свою долю угощения... Он переступил порог, и от пронзительных криков Келары у него началась резь в животе. Женщины заплакали, и Ангамба почувствовал, что ноги не повинуются ему.

— Что случилось? Что случилось? — воскликнул он дважды, надеясь избавиться от охватившей его тревоги.

В ответ послышались рыданья. Ангамба кинулся в хижину, отдавив кому-то по пути ногу, и направился к постели, где лежал Мека.

— Белые чуть не убили его! — объяснил Поль Нти и по своему обыкновению поднялся, не одернув набедренной повязки.— Мы пришли сюда плакать вместе с ним...

Ангамба присел на кровать возле Меки, и тот глубоко вздохнул.

— Что с тобой приключилось? — со слезами в голосе спросил Ангамба.— Я дошел до самой резиденции, до самой резиденции, хотел узнать, что с тобой стряслось...

Эти слова вызвали волнение, и Ангамба, на которого присутствующие смотрели словно он о двух головах, величественно встал посреди хижины.

— Я возвращаюсь от коменданта, — начал он, — а туда осмелится пойти только мужчина, достойный этого наименования.

Среди общего гула, сопровождавшего эти слова, Ангамба различил насмешливое фырканье Амалии и быстро обернулся к ней. Он продолжал:

— Я спрашиваю, что вы все здесь делаете, ведь Мека, насколько я вижу, еще не умер?

Он обернулся к кровати, на которой, вытянувшись, лежал Мека.

— Мы бросили работу потому, что его поразило несчастье, а значит, и нас оно также поразило. Какого черта...

— Мы не белые, и нам не пристало плевать на несчастье других...— ответил Нти, после чего наконец-то опустил свою набедренную повязку.— Мы пришли поплакать вместе с ним,— добавил он.

Нюа с бутылью пальмового вина на голове и с другой бутылью в корзине, которую он закинул за спину, вошел в хижину.

— При чем здесь вино? — взорвался Ангамба.

Нюа положил свою ношу посреди хижины и пошел к полке за кружкой.

— Вы понимаете, что делаете, или нет? — сердито спросил Ангамба. — Что вы за люди, вы все? Мека ходил получать у белых медаль, вернулся из города полуживой, а вы пользуетесь этим и грабите его!

— Грабим? Нет! Таков обычай! Таков обычай! — запротестовали присутствующие.

Нти поднялся, чтобы выступить от имени собравшихся.

— Надоели нам твои старые ляжки! — бросил кто-то. Все засмеялись, в том числе и Ангамба, уже успевший остыть

Когда установилась тишина, Нти заговорил:

— Мы все здесь принадлежим к племени Мвема, и наши предки действовали так же, как и мы сейчас, когда случалось несчастье. Белые чуть не отняли у нас Меку, Меку, а ведь он для нас всё... Такие события происходят не каждый день... Если нам уж надо плакать, то надо плакать так, как завещали предки.

— Нти прав! — одобрил кто-то.

— Нти — мудрый человек! — подхватил другой.

— Он говорит умные вещи!

— Разумные вещи!

— Настоящая мудрость Мвема!

— Нти пойдет далеко!..

Вращая глазами, Ангамба подобрал свою набедренную повязку. Задыхаясь от волнения, он схватил метательное копье, торчавшее из-под кровати, и стукнул им трижды о землю, требуя тишины.

— Слово принадлежит Ангамбе,— сказал Нти.

— Замолчите! — добавил Эсомба.— Неужели в этой хижине нет больше мудрых мужчин?

Кто-то откашлялся, затем воцарилась тишина. Ангамба снова гулко ударил рукояткой копья о пол. Все уставились на него.

— Кто находится в этой хижине, спрашиваю я вас, старики или дети?

Никто не ответил, так как было понятно, куда клонит оратор.

— Вместо того, чтобы возмущаться белыми, которые позволили себе оскорбить Меку, вы думаете только о том, как бы хлебнуть пальмовой водки, болтаете разный вздор... Хотел бы я знать, что вы за люди?..

Ангамба говорил твердым, даже каким-то безразличным тоном, но лицо его кривила презрительная гримаса, приподымавшая углы губ.

— Вот это крепко сказано! — шумно одобрил Нюа; сам он уже получил за свои труды натурой и теперь облизывался.

— Закрой оплетенную бутыль, которую ты держишь между коленями! Закрой ее! Вы, сидящие здесь, помните ли вы, где вы находитесь, а? — гремел Ангамба.— Разве вы обнаружили труп слона?

— Потише! Потише! — вмешался Нти. — Успокой немного свое сердце. Пожилому человеку не пристало так говорить...

— Заткни свою грязную пасть! — зарычал Ангамба.— Как назвать такого человека? — добавил он, ткнув мизинцем левой руки в сторону Нти.— Вот уже целых двадцать лет ты ежедневно делишь с Мекой его трапезу, не упускаешь даже тех пустяков, которые женщина подносит мужу, чтобы ему было что пожевать. Я и не знал, что всюду находятся Мбогси! Увы, мой отец!

Губы Нти, сидевшего на корточках, задрожали от бешенства, хотя он не понял еще, что происходит. Он хотел приподняться и прыгнуть, но его чудовищно распухшие ноги напомнили о себе. Зад его описал в воздухе траекторию и мирно плюхнулся на землю. Нти испустил гортанный крик, плюнул перед собой, перепугав соседей. Ангамба продолжал насмешливо смотреть на него, но чьи-то могучие руки вовремя удержали Нти, рвавшегося в бой.

— Пожилому человеку не пристало лезть в драку! — кричали ему со всех сторон.— Тоже выдумал! С каких это пор пожилой человек дерется, а? Это ж позор! Стыд!

— Успокойся, Поль! Не горячись на манер твоего святого тезки!

— Ой! Иисусе!

— Оставьте меня, оставьте! — задыхался Нти, силясь вырваться из могучих рук, крепко державших его. — Пустите меня!

— Сейчас разберемся,— предложил какой-то насмешник.— Надоел он всем, этот Нти!

— Болван! — отозвался другой. — Нти ничего не сделал, это все негр из джунглей, который...

— Не слушай его! — перебил кто-то.

— Я не узнаю тебя, Поль! Экая горячность! Прямо юноша! Ты, пожалуй, еще и не на такое способен.

— Оставьте меня! — вопил Нти, вырываясь.— Не терплю, когда мне наступают на мозоль...

— Ведь и Христос позволял себя поносить и истязать! — добавил Эсомба.

— Ладно! Ладно! Повинуюсь, — сказал Нти, скрестив на груди руки, — повинуюсь...

Кто-то протянул ему орех колы, кто-то дал понюхать табаку... Гордый оказанным ему вниманием, Нти поднялся и сел не на корточки, а по своему обыкновению прямо на землю. В хижине установилось спокойствие.

Подрагивая левой ногой, Ангамба с высоты своего роста смотрел на присутствующих, сгрудившихся вокруг него. Где они, храбрые мужчины, настоящие мужчины? Перевелись, что ли?.. Как можно иметь дело с этой сворой псов? Неужели же это мужчины? Он плюнул, слюна попала ему на ногу, и он торопливо отдернул ее... Он оглядел всех по очереди, и пренебрежительная гримаса исказила его лицо. Да, все эти люди, пришедшие плакать с Мекой, как они сами заявляли,—просто шакалы. Они цеплялись за любой предлог, лишь бы попить и поесть на дармовщинку. Взгляд Ангамбы переходил с одного присутствующего на друго-

го и, наконец, упал на постель, где лежал Мека. Гримаса исчезла с его лица.

— Бедные мы! — шепнул он, опуская голову.

Эти слова потерялись в общем шуме.

— Мвема! Мвема! — крикнул он.— Неужели вы стали белыми? Неужели вы не понимаете больше шуток? — добавил он с жалкой улыбкой.

Присутствующие развеселились. Первым расхохотался Поль Нти. Его рассмешила подрагивающая нога и гримаса Ангамбы. Некоторые шутники, осмелев, подтрунивали над самим Мекой, кто-то весьма выразительно изобразил в лицах сцену вручения медали и заключения Меки в тюрьму. Взрывы смеха продолжались до тех пор, пока кто-то не воскликнул: «Ах, эти белые!» Воцарилось молчание, все лица стали серьезными. Перешагивая через соседей, Ангамба подошел к постели Меки.

— Не тряси на меня, пожалуйста, свою перхоть! — бросил ему кто-то.

— Не бойся, у меня перхоть от белых! — ответил тот со смехом. — Это не опасно...

Все рассмеялись и продолжали добродушно шутить. Приподняв набедренную повязку, Ангамба по рассеянности чуть было не сел на голову Меки, тот испуганно отодвинулся, и в животе у него заурчало. Ангамба шумно вздохнул и спрятал копье под кровать.

— Такие вещи теперь не нужны,— сказал он, показывая на копье,— никому не нужны...

— Да! — важно подтвердил Поль Нти.

Ангамба печально покачал головой, провел ладонью по лицу и пристально посмотрел прямо перед собой.

— Когда я подумаю, что там, в Зуриане, мне завидуют потому, что Мека получил медаль от вождя белых...— пробормотал он задумчиво.

Подражая Ангамбе, Поль Нти печально покачал головой, потом закивал его сосед, потом сосед соседа, и, наконец, последним закивал Нюа, сидевший в самой глубине хижины у полки.

— Я спрашиваю, чего хотят от нас белые? — начал Ангамба.— Они всё взяли у Меки — землю... сыновей...

Женщины хором запричитали. Когда вновь установилась тишина, Ангамба добавил:

— Всё взяли... всё...

— Кладу уголек на твою трубку *,— сказал Нти, поднимаясь.— Что осталось у нас в стране? Я спрашиваю вас! Ничего! Ничего! Не осталось даже свободы отказаться от их дара.

Он снова сел.

— Даже свободы отказаться! — подхватил Эсомба.— Даже этой свободы нет...

Слова Эсомбы обошли всю хижину.

— Мека все же мог показать, что плевать хотел он на их медаль!— продолжал Эсомба.— Уверен, что мог...

— Как так? Каким образом? — нетерпеливо воскликнул кто-то.

Эсомба поднялся, прочистил горло, потом лукаво осмотрелся вокруг. Его охватил неудержимый смех. Присутствующие тоже дружно засмеялись. Эсомба провел пальцами по векам.

— Я иной раз и сам думаю, откуда приходят ко мне такие мысли... быть может, потому, что я любитель черепашьего мяса? — улыбаясь, сказал он.

---

* Лишаю тебя слова.

Лицо его приняло серьезное выражение, и на всех лицах тотчас угасли улыбки.

— Так вот, Мека мог бы им показать, что он плевать хотел на их медаль, и для этого должен был явиться в город... только... в биле*.

Присутствующие наморщили лбы. Никто не понял, куда клонит оратор. Эсомба снова захохотал, но никто ему не ответил. Согнувшись чуть не вдвое, Эсомба, стоя посредине хижины, вертелся во все стороны и похлопывал себя по бедрам. Каждый приставил ладонь к уху, чтобы получше разобрать слова, которые Эсомбе никак не удавалось произнести из-за неудержимых приступов хохота.

— Я... я говорю, что Мека... должен был надеть... билу... и тогда вождю белых... пришлось бы наклониться, чтобы приколоть ему медаль на... на... его билу!

В ответ раздался такой оглушительный взрыв хохота, словно бурный поток прорвал, наконец, плотину, преграждавшую ему путь. Раскаты смеха вырвались из хижины, напугав кур, которые мирно охотились на тараканов; обезумевшая от страха птица бросилась на кладбище католической миссии, где отец Вандермейер читал молитву и при виде куриного нашествия громко чертыхнулся.

А в хижине Меки творилось нечто неописуемое, все присутствующие, казалось, сошли с ума. Они вопили, топали ногами, кричали до изнеможения. Замолкали на мгновенье, чтобы вытереть выступившие на глазах слезы, и вновь продолжали хохотать. А когда смеяться не стало сил, начали рассуждать.

— Хорошо придумано! — сказал Ангамба, потирая рукой щеку.— Я отсюда вижу, как вождь белых пытается приколоть медаль на голую грудь Меки.

— И нагибается, чтобы приколоть ее...

— Куда? — прыснул Нти.

Каждый посмотрел на низ своего живота. Женщины вновь принялись хохотать.

— Жаль, что мне никогда не удавалось придумать ничего подобного,— сказал Мека,— жаль, что мне не пришлось в молодости есть мясо черепахи... Угостите всех вином!

Пока шли разговоры, Нюа налил себе вторую кружку пальмовой водки.

— Не желаю я, чтобы пошел слух, будто я вас отравил...— пояснил он, осушая кружку.— Эсомба сам черепаха! — добавил он, передавая кружку с вином Меке.

— Воплощение черепахи! — повторил Мека, поднося кружку ко рту.

Кружка переходила из рук в руки. Молочно-белая жидкость, наполнявшая оплетенные бутыли, исчезала прямо на глазах. Когда водка была выпита до последней капли, Мека, которому угощение прибавило сил, поднялся и, хотя отлично мог передвигаться без посторонней помощи, оперся на руку Ангамбы. Оба вышли на середину хижины.

— Пусть женщины идут к реке, а мужчины возвратятся к работе... Мы ничем не можем помочь тому, что произошло, белые остаются белыми...— произнес Мека, окидывая растроганным взором своих гостей.— Может быть, в один прекрасный день...

— Черт возьми,— ответил Ангамба.— Ночная крыса не рассказывает о том, что приключилось с ней в темноте... Люди рождаются и умирают... Черт возьми! От белых мы еще и не то увидим.

---

* Повязка, вроде плавок.

Один за другим удалялись друзья Меки. Каждый из них, отряхнув набедренную повязку и потягиваясь, направился во двор, даже не взглянув в сторону хозяина, который уселся на валик из рафии, служивший ему изголовьем. В хижине остались только Нти и Ангамба.

— Что скажу я людям Зуриана?! — воскликнул муж Амалии, покачивая головой.— Ах! Мои предки... Я ушел из родного селения с гордо поднятой головой, а после всего, что с тобой произошло, я...

— Мне на это наплевать,— перебил его Мека и действительно плюнул на стену.

Между двумя зевками он добавил, как бы обращаясь к себе самому:

— Я ведь уже старик...

Николае Лабиш

Познанье жизни

ИЗ ПОЭМЫ

Перевод с румынского Н. Стефановича

*

На радугу смотрю я, что сейчас
На небесах души моей зажглась.
Сбегаются, теснясь, мои олени
И на нее взирают в изумленье.
Рога, как чаща зарослей густая,
И звезды в них запутались, сверкая.
И много птиц из дальнего предела
На праздник небывалый прилетело.
Узоры ослепительные крылий
Все небо необъятное закрыли.
Моя душа сегодня в опьяненье
От аромата, трепета и пенья.
Да, я влюблен — и радуга сейчас
На небесах души моей зажглась.
Ручьи ликуют — словно блеск зеркал
Между кустов внезапно засверкал.
И все мои деревья — сосны, ели —
От радости, как струны, зазвенели.
Взволнованно трепещет виноград,
Клубится песен звонкий водопад,
И брызги разноцветные созвучий
Блестят росой в траве моей дремучей,
И весь ушел я в эту песнь святую:
Я вне ее уже не существую.

*

Для твоих изображений
В сердце храмы я построю.
Изумит моих оленей
Изваяние святое.

Сосны, тополи, каштаны,
Под покровом снежным клены
Лик увидят несказанный,
Многократно повторенный.

Тени вечера нависли.
Гладь зеркальная светла.
Отразит узоры мыслей
Купол нежного чела.

На уступах величавых
Взор твой вспыхнет, как зарница,
И в моих холодных травах
Жемчугами загорится.

Если ж ты проходишь где-то
По иным мирам вселенной —
На песках любой планеты
Остается след нетленный.

Легкий трепет благовоний,
Рук твоих прикосновенье...
Эти нежные ладони —
Щит от прошлых увлечений.

И один лишь образ мимо
Не промчится легкой тенью, —
Той любви неповторимой
Я храню благословенье.

Та любовь весны чудесней,
И согретый той любовью,
Для тебя пою я песни
И слагаю славословья.

*

Пусть молодость моя познала голод,
Взрывались бомбы на путях войны —
Но ярко все вокруг для тех, кто молод,
Чьи души светом солнечным полны.

Короткие, но острые печали
Порой врывались, радость оттесня,
И вновь легко, и снова возвращались
Веселый смех, забавы и возня.

Мы жили, мир неведомый создав.
Он логике противоречил часто,
Он был пронизан запахами трав
И населен виденьями фантаста.

Там образы меняли очертанья,
И наши сны собой заполонив,
Они и в явь полуденную тайно
Вносили ночи сказочный мотив.

И жизнь тогда казалась мне игрою,
Я видел в ней мистический обряд.
Но даже игры детские порою
В себе черты печальные таят.

Скрывались в играх страстности мятежной
И будущих желаний семена...
Но между миром внутренним и внешним
Плыла тумана серого волна.

Война угасла, и по всей стране
Голодные блуждали, словно тени...
Партийный знак, возникший на стене,
Рождал во многих бурное волненье *.

Отец соседям раздавал «Скынтейю»,
И руку на него сосед занес...
Вдова в землянке таяла, слабея:
Ее одолевал туберкулез.

И было много холода и мрака...
Я гнев познал, а может быть, испуг...
Я был еще подростком, но, однако,
Я видел все, что делалось вокруг.

Когда отец, придя домой усталый,
Негромко говорил, друзей собрав,
Я затихал и стыдно мне бывало
И наших игр, и шуток, и забав.

Я чувствовал какой-то трепет вещий,
Но разобраться не умел ни в чем.
Я разгадать хотел большие вещи
Своим еще ребяческим умом.

Я ночи проводил, склонясь над книгой,
Я торопился лист перевернуть...
Я подошел к дверям любви великой,
И новый воздух вдруг ворвался в грудь.

Она пришла, как радости дыханье,
И хоть рассудку сразу не далась,
Она проникла в сердце и в сознанье —
И словно пелена упала с глаз.

Быть может, я добрался вдруг до сути,
И скорбь отца понятна стала мне,
Я понял, почему дерутся люди,
Как только знак возникнет на стене.

О жизнь, в тебе — и мрак и светотени,
В тебе смешались злоба и любовь.
Я чувствую твое сердцебиенье,
В моих висках твоя стучится кровь.

* В буржуазной Румынии во время избирательных кампаний расклеивались плакаты различных партий с изображением их партийных знаков. Иногда эти знаки просто рисовались на стене.

Среди страстей, среди их пестрой гущи
Сегодня ясно взор увидел мой
Компартию, что строит мир грядущий,
И мчится в колеснице боевой.

За ней следил я жадными глазами,
И свет ее тогда в меня проник.
В ее рядах я встретился с друзьями —
И каждый был прекрасен и велик.

Я превратился весь в одно сиянье,
Святой восторг звенел в моей крови.
То было жизни первое познанье.
То было пламя первое любви.
. . . . . .

*

Вечно полярной звезды сверканье,
Ей безразлично веков мельканье.
Ей не покинуть неба ночного,
Каждую ночь загораясь снова.
Кружатся звезды, миры вселенной,
Ось их кружения неизменна.
Всюду бессмертья расцвет живой,
Всюду незыблемый лад и строй.

Если б вселенной сломалась ось —
Все бы обрушилось, сорвалось;
Сразу рассыпавшись на лету,
Все провалилось бы в пустоту.
Если последний наступит срок —
Значит, вулканов расцвел цветок,
Значит, поблекнут полей цветы,
Значит, погибнешь, душа, и ты.

Только единой звездой зажжен
Купол небесный и шелк знамен.
Красной звезды золотая ось
Сердце пронзила мое насквозь.
Кружится мир на оси живой
В зимнюю стужу и в летний зной.
К звездному свету сквозь полог мглы
Мчатся олени, летят орлы.

Если б моя поломалась ось —
Сразу исчезли б орлы, олени,
Сразу умчались бы прочь в смятенье —
Если б моя поломалась ось.

Все потонуло бы в темной бездне,
И навсегда бы заглохли песни.
Сразу исчезли б орлы, олени —
Если б моя поломалась ось!

Знаю, что в сердце моем частица
Оси, которой нигде не вместиться.
Я говорю себе: что ж, носи
В сердце частицу святой оси.

Знай же, любимая: не подвержен
Бедам коварным всемирный стержень.
Знай же: на вечную ось надеты
Два наших сердца, как две планеты.

Уильям Фолкнер

ДЫМ

РАССКАЗ

Перевод с английского
Р. Райт-Ковалевой

Ансельм Холленд приехал в Джефферсон много лет назад. Откуда он прибыл — никто не знал. Но в те дни он был человек молодой, должно быть незаурядный, во всяком случае видный собой, потому что года через три он женился на единственной дочери владельца двух тысяч акров самой лучшей земли в наших краях и переселился в дом к своему тестю, где его жена через два года родила ему сыновей-близнецов и где несколько лет спустя тесть умер, оставив Холленда хозяином всей фермы, записанной на его жену. Но и до смерти тестя мы, джефферсонцы, уже наслушались его разговоров — что-то чересчур громко он говорил: «Моя земля, мое поле»; и те, чьи отцы и деды родились тут, посматривали на него довольно косо, считая его человеком бессовестным и (судя по рассказам его белых и черных арендаторов, да и всех, кто имел с ним дело) жесто-

Рис. В. Горяева

ким. Но из жалости к его жене и уважения к тестю мы относились к нему вежливо, хотя и недолюбливали его. А когда и жена умерла, оставив ему двух малышей-близнецов, мы решили, что во всем виноват он, что жизнь ее была отравлена грубостью этого безродного хама. Когда сыновья выросли и (сначала один, потом другой) совсем ушли из дому, мы даже не удивились. А когда его полгода назад вдруг нашли мертвым, запутавшимся в стремени лошади, на которой он ехал верхом, и со следами ушибов на теле оттого, что лошадь, очевидно, протащила его сквозь железную ограду (вся спина и бока лошади были в рубцах от побоев, нанесенных, как видно, в припадке бешенства), никто из нас не пожалел его, потому что незадолго до смерти он совершил поступок, который всем, кто жил в то время в нашем городе и думал по-нашему, показался чудо-

вищным преступлением. В день, когда он умер, все узнали, что он разрыл могилы на семейном кладбище, где были похоронены предки жены, не пощадив и той могилы, где уже тридцать лет покоилась его жена. И вот этого сумасшедшего, одержимого ненавистью старика похоронили среди могил, которые он пытался осквернить, а в положенный срок его завещание было вскрыто и подано на утверждение. Нас оно ничуть не удивило. Мы не удивились, что даже из-за гроба он нанес последний удар именно тем, кого он был властен обидеть или оскорбить: своим родным сыновьям.

В год смерти отца близнецам исполнилось сорок лет. Ансельм-младший был, по слухам, любимцем матери — может быть, потому, что больше походил на своего отца. Но после смерти матери, когда мальчики были еще совсем детьми, мы слышали, что старый Анс вечно ссорится с молодым Ансом, а Вирджиниус, второй близнец, старается их помирить, за что его ругательски ругают и отец и брат. Но он иначе не мог, этот Вирджиниус. А второй брат тоже был с характером: лет шестнадцати он удрал из дому и пропадал десять лет. Вернулся он уже совершеннолетним и официально потребовал у отца разделить всю землю, которая, как он узнал, была только под опекой старого Анса, и отдать ему, Ансу-младшему, его надел. Старый Анс в ярости отказался. Должно быть, и сын требовал землю с такой же яростью — оба они, старый Анс и молодой Анс, стоили один другого. А потом мы узнали, что, как ни странно, Вирджиниус стал на сторону отца. Так мы, по крайней мере, слышали, потому что землю никто не тронул, и нам рассказывали, что после бешеной ссоры, какой даже у них никогда не бывало, — такой страшной, что слуги-негры разбежались и прятались всю ночь, — молодой Анс уехал, забрав принадлежавшую ему упряжку мулов, и с этого дня до самой смерти отца, даже после того как и Вирджиниус был вынужден уйти из дому, Ансельм больше никогда не разговаривал ни с отцом, ни с братом. Однако на этот раз Ансельм уехал недалеко. Он просто поселился в горах («оттуда ему было видно, что делают старик и Вирджиниус»,— сказал кто-то, и мы все с ним согласились) и в течение пятнадцати лет жил один в двухкомнатном домишке с земляным полом, жил, как отшельник, сам себе стряпал и раза четыре в год появлялся в городе на своих двух мулах. Несколько лет назад его арестовали и судили за то, что он гнал виски. Он отказался от защиты, ни в чем не признался, был приговорен к штрафу за нарушение закона и за неуважение к суду, а когда его брат Вирджиниус предложил заплатить за него штраф, на него накатил такой же припадок бешенства, как, бывало, на его отца. Он пытался избить Вирджиниуса тут же, в суде, сам потребовал, чтобы его отвели в тюрьму, и через восемь месяцев был освобожден за примерное поведение и вернулся в свою хижину — угрюмый, молчаливый, горбоносый человек, которого побаивались и соседи, и случайные прохожие.

Второй близнец, Вирджиниус, остался дома и обрабатывал землю, о которой их отец никак не заботился. (О старомАнсе так и говорили: откуда он и кто он — неизвестно, но ясно, что он не фермер. И мы тоже все сходились на одном: старик оттого и поссорился с молодым Ансом, что тот видеть не мог, как отец запустил землю, предназначенную матерью для него с братом). Но Вирджиниус остался с отцом. Конечно, ему, должно быть, жилось несладко, и мы потом часто говаривали: «Вирджиниус должен был понимать, что долго так продолжаться не может». А уж после того, что произошло, мы думали: «Возможно, он и понимал». Такой уж он был человек, этот Вирджиниус. Никто не знал, что он думал тогда, и вообще никто не знал, о чем он думает. Старый Анс и молодой Анс — тут мы как в воду глядели. Может, вода и была темная, но все-таки каждому было ясно, что у них на уме. Но ни один человек не знал, что думает Вирджиниус, что он делает, и только потом все узнали. Мы даже не зна-

ли, как случилось, что Вирджиниус, прожив наедине с отцом десять лет, пока молодой Анс отсутствовал, тоже в конце концов ушел. Он об этом никому не рассказывал — даже Гренби Доджу и то, наверно, ни слова не сказал. Но мы знали старого Анса и знали Вирджиниуса, и вот как мы себе представляли их ссору.

Мы видели, как старый Анс злился целый год, после того как молодой Анс забрал мулов и ушел в горы. А потом, наверно, его прорвало, и он сказал Вирджиниусу что-нибудь такое:

— Думаешь, раз твой брат ушел, ты теперь можешь тут торчать и ждать, пока вся земля достанется тебе?

— Не нужна мне вся земля, — ответил Вирджиниус. — Мне бы только получить свой надел.

— Ага,— сказал, наверно, старый Анс,— ты тоже хочешь сразу разделить землю. Так? И ты за ним? Считаешь, что надо было ее разделить, как только вы с ним оба стали совершеннолетними?

— Мне бы лучше взять немного да обработать получше, чем видеть, что она пропадает, — ответил Вирджиниус как всегда рассудительно, как всегда кротко: никто ни разу не видел, чтобы Вирджиниус вышел из себя или хоть взволновался, даже в тот раз, когда Ансельм хотел избить его в суде из-за штрафа.

— Ах так! — сказал старый Анс. — А то, что я обрабатывал эту землю все годы, платил налоги, а вы с братом только деньги копили, без всяких налогов, это как по-твоему?

— Ты знаешь, что Анс за всю жизнь не скопил ни цента, — сказал Вирджиниус, — говори о нем что угодно, но не обвиняй его в жульничестве.

— И не обвиняю, клянусь богом! У него хватило храбрости прямо потребовать то, что он считал своим, и убраться вон, когда он ничего не получил. А ты не такой. Ты тут будешь околачиваться, черт тебя дери, ждать, пока я кончусь, хоть на языке у тебя мед! Верни мне все налоги, которые я платил за твой надел с того дня, как умерла твоя мать, и бери землю!

— Нет, — сказал Вирджиниус, — не верну.

— Значит, нет? — сказал старый Анс.— Не вернешь? Правильно, зачем тебе тратить деньги ради половины земли, когда в один прекрасный день тебе она вся даром достанется, без всяких затрат. — И тут мы себе представили, как старый Анс встал (мы представляли себе, что они до этой минуты сидели спокойно, разговаривали, как приличные люди), встал весь взлохмаченный, брови насуплены. — Убирайся из моего дома! — говорит. Но Вирджиниус даже не поднялся с места, не пошевельнулся и только смотрел на отца. Старый Анс надвинулся на него, поднял руку.— Уходи! Убирайся из моего дома, не то я тебя...

И тут Вирджиниус ушел. Он не спешил, не бежал. Он уложил свои вещи (у него их было побольше, чем у молодого Анса, кое-что скопилось) и ушел за три-четыре мили жить к своему родственнику — сыну какого-то свойственника матери. Этот родственник жил один, у него была хорошая ферма, хотя и заложенная и перезаложенная, потому что фермер он был плохой, занимался больше перепродажей скота и проповедями,— с виду невысокий, рыжеватый, неприметный, такого увидишь, а через минуту уже и не помнишь его лица, — да и, наверно, торговать и проповедовать он умел ничуть не лучше, чем обрабатывать землю. Ушел Вирджиниус без всякой спешки, без всяких криков и ссор — не так, как его брат, хотя, как ни странно, мы ничуть не попрекали молодого Анса за то, что он бранился и требовал свое. По правде сказать, мы всегда как-то косились на Вирджиниуса, слишком уж он владел собой. Мы называли его хитрецом и не удивились, когда услышали, что он все свои сбережения потратил на

то, чтобы снять задолженность с фермы родственника. Не удивило нас и то, что через год старый Анс вдруг отказался платить налоги за свою ферму, а за два дня до того, как его должны были объявить несостоятельным, шериф вдруг получил по почте неизвестно от кого сполна всю сумму налогов, причитающуюся за холлендовские владения.

— Никто, как Вирджиниус, — говорили мы, потому что, хотя подписи и не было, мы догадались, кто послал деньги. А до того шериф уже предупреждал старого Анса.

— Объявляйте торги и катитесь к чертям, — оборвал его старый Анс. — Если они думают, что им только и остается, что сидеть и дожидаться, подлое отродье...

Шериф уведомил и молодого Анса.

— Земля не моя, — ответил тот.

И Вирджиниуса шериф предупредил. Вирджиниус приехал в город и сам просмотрел налоговые книги.

— Сейчас у меня на руках большое хозяйство,— сказал он,— но, конечно, если отец упустит ферму, я, наверно, смогу ее купить. Впрочем, не знаю. Такая хорошая ферма не застоится и дешево не пойдет.

И всё. Он не возмущался, не удивлялся, не жалел. Но он был себе на уме. И мы ничуть не удивились, узнав, что шериф получил деньги с анонимной запиской: «Налоги за ферму Ансельма Холленда. Расписку вручить Ансельму Холленду-старшему».

— Не иначе — это Вирджиниус,— говорили мы. Потом мы весь год часто вспоминали Вирджиниуса: живет в чужом доме, работает на чужой земле и смотрит, как дом, где он родился, и земля, принадлежащая ему по праву, — все идет прахом. Старик запустил ферму окончательно: из года в год обширные, тучные поля зарастали бурьяном, дичали и гибли, хотя каждый год в январе шериф получал анонимно деньги по почте и посылал расписку старому Ансу, потому что тот совсем перестал ездить в город, дом у него разваливался, и никто, кроме Вирджиниуса, у него не бывал. А Вирджиниус раз пять-шесть в году подъезжал верхом к крыльцу, и старик выскакивал навстречу, осыпая его гнуснейшей бранью. Вирджиниус спокойно смотрел на отца и, убедившись, что тот жив и здоров, поговорив с оставшимися на ферме неграми, снова уезжал. Больше там никто не бывал, хотя многие издалека наблюдали, как старик разъезжает по одичавшим полям на старой белой лошади, которая его потом убила.

А прошлым летом мы услыхали, что он раскапывает могилы в кедровой роще, где покоились предки его жены до пятого колена.

Об этом рассказал один негр, после чего санитарный инспектор города поехал на кладбище и увидел белую лошадь, привязанную в роще, а старик выскочил на него из-за деревьев с ружьем наготове. Инспектор уехал, а через два дня на кладбище поехал шериф и нашел старика на земле рядом с лошадью, запутавшегося в стремени, а на крупе лошади увидал следы от ударов палкой — именно палкой, а не хлыстом,— глубокие следы, видно он ее бил, и бил, и бил без конца.

И вот старика похоронили среди тех могил, которые он осквернил. Вирджиниус со своим родственником пришел на похороны. По правде сказать, они и составляли всю похоронную процессию, потому что Анс-младший вовсе не пришел. Он и в дом не пришел, хотя Вирджиниус пробыл в усадьбе, пока не запер все и не расплатился с неграми. Но и он тоже уехал к своему родственнику, и в положенный срок завещание старого Анса было предъявлено на утверждение судье Дюкинфилду. Суть завещания ни для кого не была тайной: мы все об этом знали. Составлено оно было по всей форме, и нас ничуть не удивило, что все было сказано точно и определенно: «...за исключением перечисленного в следующих

двух пунктах, завещаю... все мое имущество старшему сыну моему Вирджиниусу, если будет доказано, к полному удовлетворению председателя суда... что именно он, вышеупомянутый Вирджиниус, вносил налоги за мою ферму, причем единственным и неоспоримым судьей должен быть председатель суда».

Два другие пункта гласили:

«Младшему моему сыну, Ансельму, завещаю... два полных комплекта упряжи для мулов с тем, чтобы вышеупомянутый Ансельм на этой упряжке съездил единожды на мою могилу. Иначе данная упряжь остается неотъемлемой частью моего имущества, перечисленного выше!»

«Свойственнику моему, Гренби Доджу, завещаю один доллар наличными, дабы он приобрел себе псалтырь или несколько псалтырей, в знак моей благодарности за то, что он кормил и поил сына моего Вирджиниуса с того дня, как вышеупомянутый Вирджиниус покинул мой кров».

Вот какое это было завещание. И мы слушали и ждали, что скажет или сделает молодой Анс. Но ничего мы так и не услышали и не увидели. И мы смотрели и ждали, что будет делать Вирджиниус. Но и он ничего не сделал. А может быть, мы просто не знали, что он делает, что думает. Но такой уж он был, Вирджиниус. Правда, в сущности, все уже было сделано. Ему оставалось только ждать, пока судья Дюкинфилд утвердит завещание, а потом Вирджиниус мог отдать Ансу его половину — если он только собирался ее отдать. «Они с Ансом никогда не ссорились», — сказал кто-то. «А Вирджиниус никогда ни с кем не ссорился, — возражали другие. — Если исходить из этого, ему придется делить ферму со всем штатом». «Но штраф за Анса хотел заплатить именно Вирджиниус»,— возражали первые. «Да, но Вирджиниус стал на сторону отца, когда Анс хотел разделить землю», — говорили другие.

Словом, все ждали, что будет. Мы ждали, что скажет судья Дюкинфилд: вдруг оказалось, что все в его руках и что ему, как самому провидению, надо судить этого старика, который никак не хотел успокоиться, даже из-за гроба издевался над всеми; надо рассудить этих непримиримых братьев, которые пятнадцать лет назад словно умерли друг для друга. Но мы считали, что последний удар старого Анса не попал в цель и что, выбрав судью Дюкинфилда своим душеприказчиком, он промахнулся, ослепленный собственной яростью. Мы отлично знали, что в лице судьи Дюкинфилда старый Анс выбрал из всех нас самого мудрого, самого честного и неподкупного человека и что усиленное изучение законов не могло затемнить и поколебать его честность и неподкупность.

Самый факт, что утверждение такого простейшего документа он откладывал на столь необычно долгое время, был для нас лишним доказательством того, что судья Дюкинфилд был из тех людей, которые верят, что правосудие состоит наполовину из знания законов, а наполовину — из выдержки и веры в себя и господа бога.

Законный срок утверждения уже подходил к концу, мы каждый день наблюдали за судьей Дюкинфилдом, когда он шел из своего дома через площадь в суд. Шел он неторопливо и спокойно, осанистый, седовласый — ему уже было за шестьдесят, и он давно овдовел, — держался он прямо и с достоинством, «в струночку», как говорили негры. Семнадцать лет назад он был выбран председателем суда; он обладал небольшим запасом юридических знаний и огромным запасом простого здравого смысла, и вот уже тринадцать лет подряд никто не выступал его соперником на выборах, и даже те, кого сердила его мягкая и вежливая снисходительность, голосовали за него с какой-то ребяческой доверчивостью и надеждой. И теперь мы все терпеливо наблюдали за ним, заранее зная, что его окончательное решение будет справедливым не только потому, что решать будет он, но и потому, что он никогда не позволит ни себе, ни другим людям

поступать не по справедливости. И каждое утро мы смотрели, как он переходит площадь ровно в десять минут девятого и направляется в суд, куда ровно за десять минут до него проходил швейцар-негр, чтобы с точностью семафора, открывающегося на стрелке перед приходом поезда, открыть двери в суд. Судья удалялся в свой кабинет, а негр усаживался на свое место, в старое, поломанное, чиненное проволокой кресло в коридорчике с каменным полом, отделявшем кабинет судьи от зала заседаний, и весь день дремал в этом кресле, как дремал уже семнадцать лет подряд. А в пять часов пополудни негр просыпался и заходил в кабинет и, может быть, будил судью, понявшего за свою долгую жизнь, что всякое дело обычно осложняется поспешными выводами философствующих умников, которым больше не о чем думать. Потом мы видели, как оба старика снова переходят площадь друг за другом на расстоянии пятнадцати футов и подымаются по улице к себе домой и оба смотрят вперед и держатся так прямо, что сюртуки, сшитые портным на судью, падают с их плеч ровными, как доска, складками, без всякого намека на талию или бока.

Но однажды, около пяти часов дня, вдруг через площадь к зданию суда побежали люди. Увидев это, за ними побежали другие, тяжело топая по камням мостовой, пробираясь среди грузовиков и машин и перебрасываясь отрывистыми, взволнованными словами. «Что такое?», «Что случилось?», «Судья Дюкинфилд»...— слышались голоса, и люди бежали дальше, проталкивались в коридор между кабинетом судьи и залом заседаний, где старый негр, в сюртуке с чужого плеча, в ужасе вздымал руки к небу. Толпа пробежала мимо него, влетела в кабинет. За столом, удобно откинувшись на спинку кресла, сидел судья Дюкинфилд. Глаза у него были открыты, пуля попала точно в переносицу, так что казалось, будто у него три глаза. Все видели, что это пуля, но ни те, кто был на площади, ни старый негр, сидевший весь день в коридоре, выстрела не слыхали.

Гэвину Стивенсу круто пришлось в этот день — ему и бронзовой шкатулке. Сначала присяжные никак не могли понять, к чему он клонит, да и все, кто был в суде в тот день — судья, оба брата, родственник, старый негр,— никто ничего не понимал. Наконец староста присяжных прямо спросил его:

— Считаете ли вы, Гэвин, что между завещанием старого мистера Холленда и убийством судьи Дюкинфилда существует какая-то связь?

— Да, считаю, — сказал прокурор, — и я докажу не только это.

Все посмотрели на него — присяжные, оба брата. Только старый негр и родственник братьев на него не взглянули. За последнюю неделю негр с виду постарел лет на пятьдесят. Когда его хозяина выбрали в судьи, он тоже поступил на службу в суд, потому что всегда, на нашей памяти, служил семье Дюкинфилдов. Годами он был старше судьи, хотя еще неделю тому назад, до того самого дня, он выглядел на много лет моложе — сухонький, в просторном сюртуке, скрывавшем его фигуру, он каждый день приходил за десять минут до судьи, открывал кабинет, подметал его, вытирал пыль на столе, ничего не трогая с места, все это с умелой небрежностью, которая была плодом семнадцатилетней привычки, а потом отправлялся к своему креслу с подвязанными проволокой ножками и спал в нем весь день. Вернее, казалось, что он спал. (В кабинет можно было попасть и по узкой боковой лесенке, которая вела из зала суда, — ею обычно пользовался только председатель суда во время сессии, но и тут надо было пройти шагах в восьми от старика негра, если только не свернуть по коридору в тупичок под окошком кабинета и не вылезти в это окно). До сих пор никто — ни один человек — не мог пройти мимо стула, чтобы навстречу ему сразу не поднялись морщинистые веки над коричне-

выми, без зрачков, старческими глазами. Иногда мы заговаривали со стариком, чтобы послушать, как он с важным видом коверкает пышные и непонятные юридические термины, которые пристали к нему незаметно, как пристает хворь. И произносил он их с таким велеречивым пафосом, что потом многие из нас уже слушали и самого судью с дружелюбной усмешкой. Но старик совсем одряхлел, он забывал наши имена и годы, путал нас друг с другом, и случалось, что из-за этой путаницы имен и лет, пробудившись от дремоты, он докладывал о посетителях, которых давно не было в живых. Но никогда еще никто не прошел мимо него незамеченным.

Все остальные смотрели на Стивенса — и присяжные со своих мест, и два брата, сидевшие на разных концах скамьи, оба одинаково худые, горбоносые, смуглые, с одинаково скрещенными на груди руками.

— Значит, вы утверждаете, что убийца судьи Дюкинфилда здесь, в этом зале? — снова спросил староста присяжных.

Прокурор штата окинул взглядом всех, кто смотрел на него.

— Я берусь доказать не только это! — сказал он.

— Доказать? — спросил младший из близнецов, Ансельм. Он сидел один на конце скамьи, уставившись на Стивенса злым, жестким, немигающим взглядом, а на другом конце пустой скамьи сидел его брат, с которым он не разговаривал пятнадцать лет.

— Да,— сказал Стивенс. Он стоял в конце стола. Он заговорил, обводя глазами весь зал, мирным, полушутливым тоном, рассказывая о том, что всем было давно известно, то и дело обращаясь ко второму близнецу, Вирджиниусу, за подтверждением. Он рассказывал обАнсе-младшем и о его отце. Говорил он спокойно, мягко. Казалось, он встает на защиту наследников, рассказывая, как Анс-младший ушел из дому, рассердившись — и совершенно справедливо — на отца за то, что тот губит наследие их матери (к тому времени половина ее земли по праву принадлежала Ансу-младшему). Говорил Стивенс очень убедительно, правдиво, откровенно, может быть несколько предвзято по отношению к Ансельму-младшему. В этом-то и было все дело. Именно эта кажущаяся предвзятость, это кажущееся пристрастие создавали какое-то неблагоприятное впечатление, словно Анс в чем-то был виноват, хотя в чем — неизвестно; виноват именно из-за своего стремления к справедливости, из-за любви к покойной матери, виноват оттого, что эти чувства были искажены злобностью его характера, унаследованного от человека, который так глубоко обидел его. Братья сидели на разных концах отполированной временем скамьи, и младший смотрел на Стивенса, еле сдерживая бешенство, а старший смотрел так же пристально, но спокойно. Стивенс рассказал, как Анс-младший в сердцах ушел из дому и как через год Вирджиниус, гораздо более тихий, гораздо более скрытный человек, много раз пытавшийся примирить его с отцом, тоже был вынужден уйти. И снова Стивенс нарисовал правдоподобную и ясную картину: братьев разлучил не отец, когда он еще был жив, а те черты характера, которые каждый из них от него унаследовал, объединяла же их общая привязанность к земле, где они родились, к земле, не только по праву им принадлежащей, но принявшей прах их матери.

— Так они жили, глядя издали, как гибнет добрая земля, а дом, где они родились, где родилась их мать, разваливается по воле сумасшедшего старика, который выгнал их из дому и, чувствуя, что никак их больше ущемить не может, пытался навеки отнять у них все и пустить имущество с торгов за неуплату налогов. Но тут кто-то обошел старика, кто-то очень дальновидный и сдержанный, сумевший скрыть свое имя, хотя, в сущности, эти дела никого не касались, раз налоги были уплачены. Словом, братьям только и оставалось ждать, пока старик умрет. Он уже был стар, да и если б он был моложе, человеку спокойному, сдержанному ждать

было не так уж трудно, даже не зная, что написано в завещании старика. Правда, человеку вспыльчивому, несдержанному ждать было труднее, особенно если этот человек, при своей вспыльчивости, случайно знал или подозревал, что́ сказано в завещании, и больше ему ничего не было нужно, потому что он чувствовал себя непоправимо обиженным тем человеком, который сначала отнял у него лучшие годы жизни, заставив уйти от людей, забиться в горы, жить в хижине, а теперь обездолил его и замарал его честное имя. Такому человеку ни времени, ни охоты не было чего-то дожидаться.

Оба брата не спускали с него глаз. Могло бы показаться, что их лица высечены из камня, если бы не глаза Ансельма. Стивенс говорил негромко, ни на кого особенно не глядя. Он был прокурором почти столько же лет, сколько судья Дюкинфилд занимал судейское кресло. Стивенс окончил Гарвардский университет, он был высокий, нескладный, с растрепанной седой гривой, мог спорить о теории Эйнштейна с университетскими учеными и часами сидеть на корточках у стены деревенской лавки вместе с жителями поселка, разговаривая с ними на их диалекте. Это он называл «отдыхать».

— В конце концов отец умер, как и мог ожидать каждый дальновидный человек. И завещание старика было подано на утверждение. И даже далеко в горы дошел слух о том, что там написано, о том, что заброшенная земля наконец-то попадет к своему законному владельцу. Или, вернее,— владельцам, потому что Анс Холленд знал не хуже нас, что Вирджиниус возьмет только свою законную часть, будь там хоть сто завещаний, как хотел взять только половину и тогда, когда отец ему предлагал всю землю. Анс знал это, потому что и сам поступил бы так же, то есть отдал бы Вирджу его половину, будь он на месте Вирджа. Потому что они оба были не только сыновьями Ансельма Холленда, но и родными детьми Корнелии Мардис. Но даже если Анс не знал этого, он знал наверняка, что теперь земля, принадлежавшая его матери, земля, где покоится ее прах, наконец-то попадет в хорошие руки. И может быть, в ту ночь, когда Анс узнал, что отец умер, может быть, в эту ночь, впервые с детских лет, впервые с тех дней, когда мать еще была жива и по вечерам подымалась наверх и заглядывала к нему в комнатку посмотреть — спит ли он, может быть, впервые с тех пор Анс-младший уснул спокойно. Понимаете, теперь все отошло в прошлое: и обида, и несправедливость, и потеря доброго имени, и позор тюремного заключения — все исчезло, как сон. Теперь все можно забыть, теперь все пойдет хорошо. К этому времени он уже привык жить один, жить отшельником, ему трудно было менять жизнь. Лучше было остаться в одиночестве, в глуши. А главное — знать, что все ушло, словно дурной сон, что эта земля, земля матери, ее наследие, место ее успокоения, теперь в руках единственного человека, которому он мог доверять и доверял, хотя давно не разговаривал с ним. Вы меня понимаете?

Мы смотрели на него, сидя за тем самым столом, где все оставалось, как было в день смерти судьи Дюкинфилда, за столом, где еще лежали те вещи, над которыми поднялось дуло револьвера, — последнее, что судья увидел на этом свете,— вещи, знакомые нам много лет: папки для бумаг, заплесневелая чернильница и тупое перо, к которому привык судья, маленькая бронзовая шкатулка, служившая ему, без особой на то надобности, прессом. На разных концах деревянной скамьи неподвижно сидели оба брата и пристально смотрели на Стивенса.

— Нет, не понимаем, — сказал старшина присяжных. — К чему вы клоните? Какая связь между всем этим и убийством судьи Дюкинфилда?

— А вот какая, — сказал Стивенс. — Судья Дюкинфилд должен был утвердить завещание, но его убили. Завещание несколько необычное, но от мистера Холленда можно было всего ожидать. Впрочем, составлено оно

по всей форме, и наследники вполне удовлетворены; все мы отлично знали, что половина земли отойдет к Ансу, как только он потребует. Значит, завещание правильное и утверждение его — пустая формальность. Однако судья Дюкинфилд задержал бумагу почти на три недели, а потом погиб. Значит тот человек, который считал, что ему надо только выждать...

— Какой человек? — перебил старшина присяжных.

— Погодите, — сказал Стивенс. — Этому человеку было нужно одно — выждать. Но не ожидание его смущало — он уже пятнадцать лет ждал. Не в том было дело. Дело было совсем в другом, а узнал он об этом (или вспомнил), когда оказалось, что уже поздно и что забывать ничего не следовало. А человек он был хитрый, человек он был терпеливый, дальновидный, настолько терпеливый, что спокойно ждал пятнадцать лет, настолько дальновидный, что он все обдумал, все принял в расчет, кроме одного — кроме своей памяти. А когда стало слишком поздно, он вдруг вспомнил, что существует еще один человек, которому должно быть известно то, о чем он сам забыл. И этот человек — судья Дюкинфилд. Судья тоже знал, в чем дело, а именно: та белая лошадь никак не могла убить мистера Холленда.

Он замолчал, и в зале стало совершенно тихо. Присяжные молча сидели за столом, глядя на Стивенса. Ансельм повернул свое злое, исхлестанное морщинами лицо сначала к брату, взглянул на него, потом снова уставился на Стивенса, слегка наклоняясь вперед. Вирджиниус сидел неподвижно, серьезное, сосредоточенное выражение его лица не изменилось. Между ним и стеной сидел Гренби Додж, их родственник. Он сложил руки на коленях, наклонил голову, как в церкви. Мы знали о нем только то, что он был бродячим проповедником, а иногда собирал табунок захудалых коней и мулов и где-то продавал или менял их. Он был так молчалив, так неуверен в себе и застенчив, что всякое общение с людьми было для него пыткой, и мы жалели его той смешанной с отвращением жалостью, с какой смотришь на раздавленного червяка, и боялись даже заговорить с ним, чтобы не заставлять его вымучивать из себя ответы на наши вопросы. Но мы видели, как по воскресеньям на амвонах сельских церквей он становился другим человеком, словно его подменяли, и голос у него был звучный, задушевный и уверенный, совершенно не соответствующий его внешности и характеру.

— Теперь представьте себе, как тот человек ждал, — сказал Стивенс, — ждал, что выйдет, и потом вдруг понял, почему ничего не вышло, почему завещание попало в руки судьи Дюкинфилда, а потом исчезло для всего мира, понял, что причиной всему была его собственная память, что он забыл то, чего забывать не следовало. Он забыл, что судья Дюкинфилд тоже знал, что мистер Холленд не стал бы никогда бить свою лошадь. Он понял, что судья Дюкинфилд знал, что тот человек, который бил лошадь палкой так, что у нее на спине остались рубцы, тот человек и убил мистера Холленда, сначала убил, а потом засунул его ногу в стремя и стал бить лошадь палкой, чтобы она понесла. Но лошадь не понесла. Тот человек знал, что она не понесет, знал это давным-давно, знал — и забыл. Забыл, что эту лошадь, когда она еще была жеребенком, страшно избили и что с тех пор при одном виде палки она ложилась на землю, о чем знал и мистер Холленд, и все, кто был близок к его семье. Потому-то лошадь и легла сразу на труп мистера Холленда. Но и это бы ничего, это бы еще полбеды. Так думал тот человек по ночам, лежа в кровати и выжидая, как выжидал он пятнадцать лет. Даже тогда, когда было уже слишком поздно и он понял свою ошибку, даже тогда он не сразу вспомнил то, о чем нельзя было забывать. Но он все вспомнил, когда уже было поздно, уже после того как нашли тело и все видели рубцы на спине лошади, говорили о них так, что скрыть это было уже поздно. Впрочем, к

тому времени, как он вспомнил, рубцы уже, наверно, зажили. Но заставить людей забыть о них можно было только одним способом. Представьте себе его состояние в те минуты, его страх, его обиду, чувство непоправимой ошибки, погубившей его, отчаянное желание повернуть время вспять хоть на мгновение, чтобы переделать, исправить то, что уже поздно было исправить. И все потому, что он слишком поздно вспомнил, как мистер Холленд купил ту лошадь у судьи Дюкинфилда, того самого судьи, который сидел вот за этим столом и проверял правильность завещания, отдававшего в чьи-то руки две тысячи акров лучшей земли в штате. И тот человек ждал, что будет, потому что он мог только одним способом заставить забыть эти рубцы, ждал — но ничего не произошло. Да, ничего не произошло, и тот человек знал, почему. И он ждал, пока хватало сил, пока не понял, что тут на карту поставлено больше, чем какая-то земля. Что же ему оставалось делать, кроме того, что он сделал?

Он не успел замолчать, как заговорил Ансельм. Голос его звучал резко, отрывисто.

— Вы ошибаетесь, — сказал он.

Мы все смотрели на него, на его грязные сапоги и поношенную одежду, видели, как он впился глазами в Стивенса. Даже Вирджиниус обернулся и посмотрел на него. Только родственник и старый негр не пошевелились. Казалось, они ничего не слышат.

— В чем же я ошибаюсь? — спросил Стивенс.

Но Ансельм не ответил. Он не спускал глаз со Стивенса.

— А Вирджиниус все равно получит землю? Даже если... если...

— Даже если что? — спросил Стивенс.

— Даже если он... если...

— Вы хотите сказать — даже если отец не умер, а убит?

— Да, — сказал Ансельм.

— Конечно. Вы с Вирджиниусом получите землю, независимо от того, утвердят завещание или нет,— разумеется, если Вирджиниус поделится с вами. Но человек, убивший вашего отца, не был в этом уверен, а спросить не посмел. Он не хотел, чтобы земля досталась вам обоим. Он хотел, чтобы всю землю получил Вирджиниус. Вот почему он так хотел, чтобы завещание утвердили.

— Вы неправы, — сказал Ансельм грубым, отрывистым голосом. — Я убил отца. Но только не из-за этой проклятой фермы. Ну, зовите шерифа!

Но Стивенс, пристально поглядев на искаженное злобой лицо Ансельма, спокойно сказал:

— А я говорю, что вы неправы, Анс.

Мы сидели в каком-то оцепенении, глядя на них, слушая их разговор — точно во сне, когда заранее знаешь все, что должно случиться, и в то же время понимаешь, что это ровно ничего не значит: все равно сейчас проснешься. Казалось, мы очутились вне времени и наблюдали за происходящим со стороны; да, мы были вне времени и наблюдали как бы извне с той самой минуты, когда, взглянув на Ансельма, мы как будто увидели его впервые. И тут пронесся звук, словно кто-то медленно перевел дыхание, совсем негромко, с облегчением что ли. Может быть, мы все подумали, что наконец-то кончились кошмары Анса; может быть, мы все мысленно перенеслись в прошлое, когда он ребенком лежал в своей кровати и мать, любившая его больше всех, мать, чье наследие у него отняли и чей многострадальный прах был осквернен даже в могиле, его мать заходила на минуту взглянуть на него перед сном. Было все это в далеком прошлом, хотя оттуда и вел прямой путь. Но хотя и вел этот путь прямо из прошлого, наивный мальчик, лежавший тогда в постели, давно сбился с этого пути, давно исчез, как все мы исчезаем, исчезли или долж-

ны исчезнуть. Тот мальчик уже умер, как и родные его по крови, чей покой был нарушен в кедровой роще, и сейчас перед нами был человек, на которого мы смотрели через разверзшуюся пропасть, смотрели, быть может, с жалостью, но без всякой пощады. Оттого и слова Стивенса дошли до нас не сразу, как не сразу дошли они до Анса, и Стивенсу пришлось еще раз повторить:

— А я говорю, что вы неправы, Анс.

— Что? — бросил Анс. Он весь подался вперед. Не вставая с места, он как будто рванулся к Стивенсу. — Лжете!

— Нет, вы неправы, Анс. Не вы убили вашего отца. Его убил тот, кто с заранее обдуманным намерением убил и старика, сидевшего изо дня в день тут, за этим столом, пока не приходил старый негр и не будил его, говоря, что пора идти домой,— убил старика, который никогда в жизни никому — ни женщине, ни мужчине, ни ребенку — ничего, кроме добра, не сделал, веря, что всегда поступает по своему и божьему разумению. Нет, не вы убили вашего отца. Вы с него потребовали то, что считали своим по праву, а когда он отказал, вы бросили его, ушли из дому и больше с ним не разговаривали. Вы слышали, что он губит землю, но вы молчали, потому что для вас родной дом уже стал «этой проклятой фермой». Вы молчали, пока не услышали, что сумасшедший старик оскверняет могилы, где лежали предки вашей матери, ваши предки. Тогда — и только тогда! — вы пришли к отцу, чтобы усовестить его. Но вы не из тех, кто умеет усовестить другого, а он был не из тех, кто слушается. Тогда вы подкараулили его на кладбище в кедровой роще, увидели, что у него в руках ружье. Впрочем, я полагаю, что вы даже не обратили внимания на ружье. Наверно, вы просто выхватили у него это ружье, поколотили старика и бросили там вместе с лошадью. Может быть, вы и подумали, что он мертв. Но после вас пришел другой, увидел старика, а может быть, этот другой все время подсматривал за вами. Он желал смерти старику, желал не от обиды, не от гнева, а из расчета. Может быть, он рассчитывал на завещание. Он-то и подошел к старику после вас, он-то и прикончил его, а потом вдел ногу вашего отца в стремя и стал бить лошадь, чтобы она понесла, и все вышло бы хорошо, если б он второпях не забыл то, о чем забывать не следовало. Но это были не вы. Вы уехали к себе домой, а когда услыхали, как нашли старика, вы ничего не сказали. Не сказали, потому что подумали о чем-то таком, в чем вы даже себе не могли признаться. А когда вы узнали о завещании, вы решили, что теперь все ясно. И вы были рады. Рады, потому что привыкли жить в одиночестве, потому что прошла молодость, прошла жажда жизни. Вам хотелось одного — дожить спокойно, хотелось, чтобы прах вашей матери лежал спокойно. Да и что значит земля и общественное положение для человека с запятнанным именем?

Мы слушали молча, пока голос Стивенса не замер под сводами этой маленькой комнаты, где воздух всегда застаивался, где никогда не было ни малейшего сквозняка, оттого что комната расположена в самом углу здания, упиравшегося в высокую стену.

— Нет, не вы убили вашего отца, не вы убили судью Дюкинфилда, Анс. Если бы убийца вашего отца вовремя вспомнил, что та лошадь раньше принадлежала судье, судья Дюкинфилд сейчас был бы жив.

Не дыша сидели мы за столом, за тем самым столом, за которым судья Дюкинфилд увидел направленное на него дуло револьвера. На столе ничего не трогали. По-прежнему на нем лежали бумаги, перья, чернильница и маленькая, искусно вычеканенная бронзовая шкатулка, которую дочь судьи привезла отцу из Европы лет двенадцать тому назад, а для чего она предназначалась — ни дочь, ни сам судья не знали:

в таких обычно держат табак или нюхательные соли, а судья ни того, ни другого не употреблял, но он сделал из этой шкатулки пресс для бумаг, что тоже было лишним, так как в комнате никогда сквозняков не бывало. Всегда он держал эту шкатулку на столе, и всем нам она была знакома: сколько раз мы следили, как судья играет ею во время разговора, открывает крышку на шарнире и смотрит, как от малейшего прикосновения шкатулка сердито захлопывается сама собой...

Сейчас, когда я это вспоминаю, мне кажется, что все должно было выясниться гораздо скорее. Сейчас мне кажется, что мы уже обо всем догадывались; я и сейчас еще чувствую это немилосердное отвращение, которое иногда граничит с жалостью, как бывает, когда видишь жирного червя, извивающегося на булавке, чувствуешь брезгливую тошноту, и кажется, если нет ничего под рукой, ты сам готов раздавить его голой ладонью, с одной только мыслью: «Скорее! Прикончи его! Раздави, разотри, кончай скорей!» Но у Стивенса был другой план. А план у него был, и только потом мы поняли, что он, зная, как трудно ему изобличить убийцу, хочет заставить его самого изобличить себя. И сделал он это не совсем честным путем, мы ему потом так и говорили. («Пустое! — отвечал он. — Разве правосудие всегда идет честными путями? Разве оно не состоит из несправедливостей, счастливых случаев, из набора общих мест, и неизвестно, чего в нем больше?»).

Но сначала мы не поняли, к чему он клонит, когда он опять заговорил тем же тоном — легким, непринужденным, положив руку на бронзовую шкатулочку. Но в людях так сильны предубеждения. Нас часто поражают не факты, не обстоятельства, нас потрясает то, что мы должны были бы и сами понять, если бы наши мысли не были заняты тем, что мы считали правдой без всякого на то основания, считали только потому, что в ту минуту мы верили, будто это действительно правда. Стивенс вдруг заговорил о курильщиках, о том, что человек никогда не наслаждается табаком по-настоящему, пока не решит, что это ему вредно, и что некурящий лишает себя того, что составляет одно из самых больших удовольствий для человека утонченного: сознания, что ты подвержен пороку, который может повредить только тебе одному.

— Вы курите, Анс? — спросил он.

— Нет,— сказал Анс.

— И вы тоже не курите, Вирдж?

— Нет,— сказал Вирджиниус. — Мы все некурящие — отец, Анс и я. Наверно, это наследственное.

— Фамильное сходство, — сказал Стивенс. — А по материнской линии тоже все некурящие? Как у вас в семье, Гренби?

Родственник мельком поглядел на Стивенса. Он не пошевелился, но казалось, все его тело в аккуратном поношенном костюме медленно извивается.

— Нет, сэр. Я никогда табака не употреблял.

— Наверно, оттого, что вы — проповедник? — сказал Стивенс. Родственник не ответил. Он снова посмотрел на Стивенса кротким, бесконечно растерянным взглядом.

— А я вот всегда курил,— сказал Стивенс, — с четырнадцати лет, как только оправился от тошноты после первой затяжки. Давно курю, стал разборчив насчет табака. Впрочем, почти все курильщики — народ разборчивый, несмотря на то, что психологи это отрицают и что все табаки в сущности стандартны. А может, только сигареты стандартизованы? А может быть, они кажутся одинаковыми только любителям, но не заядлым курильщикам? Я заметил, что некурящие говорят всякие глупости про табак, совершенно так же, как мы говорим чепуху про то, чего сами не употребляем, о чем понятия не имеем, просто потому, что

люди склонны к предрассудкам, к заблуждениям. Но возьмите продавца табака, даже если он сам не курит, но видит, как покупатели распечатывают пачку сигарет и закуривают тут же, у прилавка. Спросите его — все ли табаки пахнут одинаково? Может ли он отличить по запаху один сорт от другого? Впрочем, возможно, тут играют роль форма и цвет упаковки, потому что психологи до сих пор нам как следует не разъяснили, где кончается зрение и начинается обоняние или где кончается слух и начинается зрение. Вам это каждый юрист скажет.

Тут староста присяжных снова остановил его. Мы спокойно слушали, но, по-моему, все думали то же самое: «одно дело — сбивать с толку убийцу, другое дело — нас, присяжных».

— Надо было вам провести все это расследование до того, как вы нас сюда созвали,— сказал староста. — Даже если у вас есть улики, какое значение они имеют без осмотра трупа убитого? Можно, конечно, гадать и предполагать, но...

— Хорошо, — перебил его Стивенс, — позвольте мне еще немного заняться догадками, а если, по-вашему, это ни к чему не приведет, остановите меня — и я буду вести дело не по-своему, а по-вашему. Я готов к тому, что сначала вам покажется, будто я беру на себя огромную смелость, пусть даже в виде предположения. Но мы нашли судью Дюкинфилда убитым тут, в этом кресле за столом. Это уже не догадка. А дядюшка Джоб весь день сидел на своем стуле в коридоре, и каждый, кто проходил мимо него в эту комнату (если только он не вздумал бы спуститься по боковой лесенке из зала заседаний и влезть в окно), каждый должен был пройти в трех футах от дядюшки Джоба. А мы знаем, что за семнадцать лет ни один человек не прошел мимо него незамеченным. Это тоже не догадка.

— Так в чем же ваша догадка?

Но Стивенс опять заговорил о курении, о табаках:

— На прошлой неделе я зашел в табачную лавку Уэста за табаком, и он мне рассказал об одном человеке, который не меньше моего привередничал, когда дело коснулось табака. Достав мой табак из ящика, Уэст протянул руку и снял с полки коробку сигарет. Коробка была вся пыльная, выгоревшая, будто она пролежала очень долго, и он рассказал мне, что какой-то коммивояжер всучил ему однажды две такие коробки. «Курили когда-нибудь такие?» — спросил он меня. «Нет, — говорю,— это, видно, городские сигареты». Тогда он рассказал мне, что вторую коробку продал только вчера. Говорит, что сидел за прилавком, развернув перед собой газету, почитывал ее и поглядывал на двери, пока приказчик обедал. Он сказал, что не видел и не слышал, как вошел человек, вдруг поднял голову — а тот стоит у прилавка, да так близко, что Уэст даже вздрогнул. Маленький такой человечек, одет по-городскому и требует такую марку сигарет, про которую Уэст и слыхом не слыхал. «Нет у меня их, — сказал Уэст, — мы таких не держим». — «А почему не держите?» — спрашивает тот. «У нас на них спроса нет»,— говорит Уэст. Он мне описал этого человечка в городском платье: лицо, говорит, как у восковой куклы, чисто выбритое, а глаза у него словно притушенные и голос словно приглушен. А потом Уэст посмотрел ему в глаза, посмотрел на его ноздри и понял, что с ним. Он весь был прококаинен насквозь. «Нет у меня на них спроса», — говорит Уэст. А тот ему: «А я что у вас спрашиваю — бумагу от мух, что ли?» Потом купил коробку тех старых сигарет и вышел.

Уэст говорит, что его такая злость взяла, даже пот прошиб — вот-вот стошнит. Говорит мне: «Понимаете, если бы я хотел пойти на какую-нибудь пакость, а сам побоялся бы, знаете, что бы я сделал? Дал бы этому типу десять долларов, сказал бы ему, какую пакость он должен

сделать, и велел бы никогда больше мне на глаза не показываться. Вот какое у меня чувство было, когда он вышел. Просто с души воротило».

Стивенс посмотрел на нас, помолчал. Мы не спускали с него глаз.

— Он приехал откуда-то на машине, на шикарной машине, этот городской человек. Городской человек привык к определенному сорту сигарет, а они у него кончились. — Стивенс опять помолчал, потом медленно повернул голову и посмотрел на Вирджиниуса Холленда. Нам показалось, что они целую минуту смотрели друг другу в глаза. — Мне один негр сказал, что эта шикарная машина стояла в гараже у Вирджиниуса Холленда в ночь накануне убийства судьи Дюкинфилда.— И снова мы увидели, как они оба пристально смотрят друг на друга с непроницаемым выражением лица. Стивенс заговорил спокойно, задумчиво, почти мечтательно: — Кто-то не позволил этому человеку въехать к нам в поселок на этой машине, на шикарной машине, потому что всякий, увидев ее, запомнил бы ее и узнал. Может быть, кто-то запретил ему показываться на этой машине тут, у нас, может быть, его кто-то запугал. Но, пожалуй, тот человек, которому наш доктор Уэст продал сигареты, не побоялся бы никаких запугиваний.

— По-вашему, этот «кто-то» — я? — сказал Вирджиниус. Он не двинулся с места, не отвел взгляда от Стивенса. Но Ансельм повернулся к брату. Он посмотрел на него в упор и отвел глаза. В комнате стояла тишина, но когда родственник заговорил, мы не сразу его расслышали, не сразу поняли, что он сказал. Он только второй раз заговорил за все то время, пока мы сидели в кабинете судьи, после того как Стивенс запер двери. Голос у него был слабый, и снова нам показалось, что он извивается всем телом, хотя он и не двигался с места. Он заговорил униженно и робко, с тем мучительным желанием стать незаметным, которое мы давно уже наблюдали в нем.

— Тот человек, он ко мне приезжал, — бормотал Додж. — Заехал ко мне. Вечером явился к нам, говорит, что ищет малорослых лошадок, для этого, как его... ну, игра такая...

— Поло? — спросил Стивенс.

— Да, сэр. Вирджиниус тоже был дома. Говорили про лошадей. А утром он сел в машину и уехал. Не знаю, откуда он взялся и куда уехал,— родственник говорил, ни на кого не поднимая глаз, казалось, что он обращается к своим рукам, дрожавшим на коленях.

— И кого он еще тут хотел повидать,— добавил Стивенс,— и что он тут вообще делал. Ничего этого вы не знаете.

Додж не отвечал. Да ему и не нужно было отвечать, и он снова ушел в себя, похожий на слабого лесного зверька, забившегося в норку.

— Вот к чему привели мои догадки,— сказал Стивенс.

И тут нам следовало бы все понять. Все было как на ладони. Мы должны были почувствовать, что есть в комнате кто-то, в ком Стивенс вызвал ужас, злобу, отчаянное желание хоть на миг повернуть время вспять, сказать все по-другому, сделать по-другому. Но может быть, этот «кто-то» еще не почувствовал ничего, не почувствовал толчка, удара, как иногда в первую секунду человек не чувствует, что его подстрелили. Потому что вдруг заговорил Вирджиниус, заговорил резко, сердито:

— А как вы это докажете?

— Что именно, Вирдж? — спросил Стивенс. И снова они посмотрели друг другу в глаза, спокойно, твердо, как два боксера. Именно не фехтовальщики, а боксеры или как дуэлянты с пистолетами.— Доказать, кто нанял этого убийцу из Мемфиса, этого бандита? А мне нечего доказывать. Он сам все рассказал. По дороге в Мемфис, около Баттенбурга, он переехал ребенка (он все еще был под кокаином, наверно опять на-

нюхался, когда кончил тут свою работку). Его поймали, заперли, а когда наркоз стал проходить, он все рассказал — и где он был, и к кому приезжал. Он весь трясся, рычал, когда у него отнимали пистолет с глушителем.

— Ага,— сказал Вирджиниус. — Очень хорошо. Значит, вам только остается доказать, что он был вот в этой комнате, в тот самый день. Как же вы это докажете? Дадите этому черномазому еще один доллар, чтобы он лучше вспомнил?

Но Стивенс как будто не слышал его слов. Он стоял у конца стола, среди свидетелей и присяжных, и когда заговорил, то держал бронзовую шкатулочку в руке, вертел ее, рассматривал, и голос его звучал по-прежнему спокойно и задумчиво:

— Все вы знаете одну особенность этой комнаты. Известно, что здесь никогда не бывает сквозняков. Известно, что если тут курили, скажем, в субботу, то утром в понедельник, когда дядюшка Джоб откроет дверь, дым будет лежать у притолоки, как спящая собака. Все вы это видели.

Мы подались вперед, как и Анс, не спуская глаз со Стивенса.

— Да, — сказал старшина, — видели.

— Да,— сказал Стивенс, словно не слушая, и опять завертел закрытую шкатулку в руках. — Вы спросили, какие у меня соображения. Вот мои соображения. Сделать то, что я предполагаю, мог только человек хитрый — такой, что сумел подойти к владельцу лавки, когда тот читал газету и посматривал на двери, подойти так, чтобы его не заметили. Он был городской человек и спросил городские сигареты. И вот этот человек вышел из лавки, перешел улицу к зданию суда, вошел, поднялся по лестнице, как мог сделать всякий. Возможно, что его видело человек десять, возможно, что еще больше людей на него не обратило никакого внимания, потому что есть два места, где не обращаешь на людей внимания,— это храмы правосудия и общественные уборные. Он вошел в зал суда, спустился по боковой лесенке в коридор и увидал дядюшку Джоба, спящего в своем кресле. Может быть, он прошел по коридору и пролез в окно за спиной судьи Дюкинфилда. А может быть, он прямо прошел мимо дядюшки Джоба, идя с боковой лестницы. Понимаете? Пройти мимо спящего старика не так уж трудно для человека, который сумел незаметно войти в лавку под носом у владельца, стоявшего за прилавком. Может быть, он закурил сигарету из пачки, купленной у Уэста, прежде, чем судья Дюкинфилд заметил, что он в комнате. А может быть, судья спал в своем кресле, как это с ним часто бывало. Возможно, что этот человек стоял и докуривал сигарету, смотрел, как дым медленно стелется по столу и ложится у стены, и раздумывал о легких деньгах, легкой добыче, прежде чем выстрелить из револьвера. И выстрел произвел не больше шума, чем чирканье спички, потому что этот человек так умел избегать всякого шума, что ему даже и думать не приходилось, как бы не нарушить тишину. А потом он ушел тем же путем, каким пришел, и десятки людей видели и не видели его, а в пять часов дня дядюшка Джоб пришел разбудить судью и сказать ему, что пора идти домой. Правильно я говорю, дядюшка Джоб?

Старый негр поднял голову.

— Я за ним смотрел,— сказал он,— как обещал госпоже, всегда за ним смотрел. Ухаживал за ним, как обещал госпоже. Вхожу я сюда, думаю — он спит, с ним это часто бывало...

— Погоди, — перебил его Стивенс. — Ты вошел, увидел его, как всегда, в кресле и заметил, что у стены позади стола клубится дым. Так ты мне рассказывал, правда?

Согнувшись в своем сломанном кресле, старый негр вдруг заплакал. Он походил на старую обезьянку и молча плакал черными слезами, утирая лицо узловатой рукой, которая дрожала от старости, а может быть, еще от чего-нибудь?

— Я сюда по утрам ходил, убирал тут. А дым так, бывало, и висит, а он войдет, сам он ни в жизни не курил, понюхает, нос у него такой острый, и скажет: «Ну, Джоб, повыкурили мы, видно, отсюда вчера вечером нашу судейскую шатию, верно?»

— Погоди,— сказал Стивенс. — Ты расскажи, как дым стоял над столом в тот день, когда ты пришел будить судью и звать его домой, хотя мимо тебя никто не проходил, кроме мистера Вирджиниуса Холленда — вон он сидит. А мистер Вирджиниус не курит, и судья не курит. И все-таки тут было полно дыму. Расскажи всем, как ты мне рассказывал.

— Ну да, дыму было полно. А я думал, судья спит, подошел его будить...

— А шкатулка стояла на краю стола, и когда судья разговаривал с мистером Вирджиниусом, он вертел ее в руках, а когда ты хотел разбудить судью и протянул руку...

— Да, сэр, шкатулка соскочила со стола. А я думал, что судья спит...

— Значит, шкатулка соскочила со стола. И загремела, а ты удивился, почему судья не проснулся, и ты посмотрел на пол, где лежала шкатулка, вся в дыму, с открытой крышкой, и подумал, что шкатулка сломалась. Ты нагнулся, чтобы поднять шкатулку, судья так ее любил за то, что мисс Эмма привезла ее в подарок из-за моря, хоть ему-то эта шкатулка была ни к чему. Ты захлопнул крышечку, поставил шкатулку на стол. И тут ты увидел, что судья не спит, а хуже...

Он замолчал. Мы старались не дышать — и слышали, как дышим. Стивенс не отрывал глаз от шкатулки, медленно поворачивал ее в руке. Он разговаривал со старым негром, слегка отвернувшись от стола, так что теперь он смотрел скорее на скамью свидетелей, чем на присяжных.

— Дядюшка Джоб называет шкатулку «золотой» — очень подходящее название. Не все ли равно, как ее называть. По правде сказать, все металлы одинаковы. Только одни нужны людям больше, другие — меньше. Главное, что у всех металлов есть общие качества, общие свойства. И одно из этих свойств — то, что в металлической коробке все дольше сохраняется, чем в бумажной или деревянной. Например, можно запереть дым в металлической шкатулке, вроде этой, с тугой крышкой, и через неделю дым все еще будет держаться в ней. И не только это: любой химик, любой курильщик или специалист по табаку, как наш доктор Уэст, легко сможет определить, какой это сорт табака, особенно если это редкий сорт, какого никогда у нас в Джефферсоне не покупают, да еще если у него было всего две пачки этого сорта и он запомнил, кому была продана одна из них.

Мы не двинулись с места. Мы сидели и вдруг услыхали торопливые спотыкающиеся шаги, увидели, как подбежал человек и выбил шкатулку из рук Стивенса. Но мы смотрели не на него. Мы вместе с ним смотрели только, как от шкатулки отскочила крышка и оттуда показалось облачко дыма, медленно расплывающееся в воздухе. Все как один мы перегнулись через стол и уставились на невыразительную, рыжеватую макушку Гренби Доджа, который, стоя на коленях, разгонял руками улетучивающийся дым.

— Я все-таки не понимаю...— сказал Вирджиниус. Мы впятером стояли во дворе суда и, мигая, смотрели друг на друга, словно нас выпустили из темной пещеры.

— Вы-то написали свое завещание? — спросил Стивенс. И тут Вирджиниус, словно окаменев, уставился на Стивенса.

— Вот оно что! — сказал он наконец.

— Написали, конечно, в виде обязательства, какими обычно обмениваются деловые партнеры, — сказал Стивенс. — Вы с Гренби обменялись такими завещаниями, по которым каждый из вас являлся наследником и душеприказчиком другого, для того чтобы ваше общее имущество было в безопасности. Это вполне естественно. Вероятно, Гренби первый предложил написать эту бумагу, сказав, что он уже сделал вас своим наследником. Так что теперь вы лучше уничтожьте свое завещание, разорвите его. Сделайте своим наследником Анса, если уж хотите составить завещание.

— Зачем ему ждать,— сказал Вирджиниус. — Половина земли и так его.

— Главное, что вы будете эту землю беречь, — сказал Стивенс,— и он об этом знает. Ансу земля не нужна.

— Да,— сказал Вирджиниус и отвернулся.— Но мне бы хотелось...

— Главное, вы ее берегите, — сказал Стивенс. — Анс знает, что вы землю будете беречь.

— Да, — сказал Вирджиниус. Он посмотрел на Стивенса. — Да, я... я вам... верней, мы оба вам очень обязаны...

— Больше, чем думаете, — сказал Стивенс. Он говорил очень спокойно и трезво.— Обязаны и мне, и той лошади. Через неделю после смерти вашего отца Гренби купил столько крысиного яду, что можно было бы отравить трех слонов, это мне Уэст рассказывал. Но, вспомнив про эту лошадь и про то, что он сначала забыл, он побоялся травить крыс, пока завещание вашего отца не будет утверждено. Человек он хитрый, но при этом невежественный: опасное сочетание. Он был настолько невежествен, что полагал, будто закон похож на динамит: кто первый его захватит, тому он и станет рабски служить, хотя и этот «раб» может взбунтоваться. Но он был настолько хитер, что думал, будто люди пользуются законом только для себя, в своих личных целях. Я это понял, когда он прошлым летом подослал ко мне какого-то негра, которому поручил узнать, может ли повлиять на утверждение завещания то, какой смертью умер человек. Я догадался, кто подослал этого негра ко мне, и знал, что какие бы сведения этот негр ни передал тому, кто его послал, тот все равно решил мне не верить, потому что считал меня слугой закона, этого «динамита», этого «раба». Так что если бы у вашего отца была обыкновенная лошадь или если б Гренби вспомнил о ее характере вовремя, вы бы сейчас лежали в могиле. Может, Гренби ничего от этого не выиграл бы, но вы-то были бы покойником.

— Да, — сказал Вирджиниус очень спокойно и трезво, — полагаю, что я очень обязан...

— Да, — сказал Стивенс, — на вас лежит большое обязательство. Вы очень обязаны Гренби. — Вирджиниус посмотрел на него. — Вы должны ему за те налоги, которые он платил ежегодно в течение пятнадцати лет.

— А-а, — сказал Вирджиниус. — А я думал, это отец... Да, Гренби каждый ноябрь брал у меня деньги в долг, не так чтоб очень много, и суммы брал разные. Говорил, что ему надо закупать скот. Иногда он отдавал по частям. Но он мне еще должен... нет, пожалуй, теперь я ему задолжал. — Вирджиниус говорил очень серьезно, деловито. — Когда че-

ловек начинает делать дурное, важно не то, что он делает, важны последствия.

— Но наказывать-то его будут за то, что он делает, и наказывать будут посторонние. Ведь те люди, которым будет плохо от последствий его дурных дел, эти люди его наказывать не станут. Словом, для нас, для всех остальных хорошо, что он за свои дела попадает в руки к нам, а не к тем, другим. Вот сейчас он в руках у меня, а не у вас, Вирдж, хоть вы ему и родственник. Вы меня понимаете?

— Понимаю, — сказал Вирджиниус. — Да я бы все равно его не стал... — Вдруг он посмотрел прямо в лицо Стивенсу. — Слушайте, Гэвин, — начал он.

— Что такое? — спросил Стивенс.

Вирджиниус пристально поглядел ему в глаза.

— Вы там очень умно рассуждали насчет химии и так далее в связи с этим дымом. Пожалуй, я кое-чему поверил, а кое-чему — нет. И пожалуй, если я вам скажу, чему я поверил, а чему — нет, вы будете надс мной смеяться. — Лицо у него было вполне серьезное. И у Стивенса на лице была такая же серьезность. И все же в его взгляде что-то мелькнуло, что-то острое, внимательное, но без всякой насмешки. — Случилось-то это неделю назад, — продолжал Вирджиниус. — Если вы тогда открывали шкатулку, смотрели, есть там дым или нет,— он бы непременно улетучился. А если бы в шкатулке не оказалось дыма, Гренби себя не выдал бы. И все это случилось неделю назад. Откуда же вы знали, что в шкатулке еще останется дым?

— А я и не знал, — сказал Стивенс. Он ответил быстро, весело, даже радостно, чуть ли не с улыбкой. — Ничего я не знал. Я напустил туда дыма перед самым заседанием. Как раз перед тем, как вы все вошли в комнату, я напустил полную шкатулку дыма из трубки и захлопнул крышку. Но я ничего не знал. И боялся я, наверно, еще больше, чем Гренби Додж. Но все сошло хорошо. Дым продержался в шкатулке чуть ли не целый час.

Юлиус Доланский

Великий Октябрь и чешская литература

Уже сорок лет отделяет нас от памятного Октября 1917 года, когда победила пролетарская революция на одной шестой земного шара и началась новая эра в истории человечества. Нет такой страны, где бы не проложили себе дорогу животворные идеи марксизма-ленинизма. Пример русского революционного пролетариата оказывал и оказывает влияние на трудящиеся массы всего мира.

И мы, чехи и словаки, с глубочайшей благодарностью помним заветы Великого Октября. Только ему мы обязаны тем, что осуществились мечты многих поколений нашего народа, что после векового ига мы добились национальной свободы и государственной независимости. Падение царизма и победа пролетарской революции в России подорвали основы и старой монархии Габсбургов. После 1917 года никакая сила не могла воспрепятствовать окончательному распаду Австро-Венгрии. Возникновение самостоятельной Чехословацкой республики можно считать одним из прямых результатов эпохальных революционных событий в России. Народу Чехословакии не удалось, правда, сразу же в то время на развалинах Австро-Венгрии образовать социалистическую республику, так как оппортунистические вожди социал-демократической партии слишком охотно пошли на службу буржуазии, растратив богатое наследие Октября. Однако и у нас революционная борьба не остановилась. Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновила прежде всего наш рабочий класс. Вскоре родилась Коммунистическая партия Чехословакии, которая высоко подняла знамя решительной борьбы за истинную свободу и счастье всего нашего народа.

Как отразился стремительный поток исторических событий на чешской литературе? Как она откликнулась на Великую Октябрьскую социалистическую революцию?

Огромная сила ленинских идей воодушевила не только чехословацкий пролетариат, но и лучшую, передовую часть чешской и словацкой интеллигенции. Она вдохнула новую жизнь и в чешскую литературу. Нашей наукой собрано огромное количество документальных материалов, убедительно показывающих, как велико было воздействие Великой Октябрьской социалистической революции на мысли и чувства наших поэтов. Влияние русских революционных событий на чешскую жизнь более всего проявлялось в области художественной литературы, в первую очередь в поэзии и литературной критике. Труды чехословацких исследователей Ладислава Штолла, Мирослава Дрозды, Яна Иши убедительно показывают, какое серьезное идейное брожение породила у нас Великая Октябрьская социалистическая революция, какой большой творческий подъем она вызвала у многих писателей. Достаточно привести основные факты.

* * *

Легендарный революционный перелом в России глубоко потряс чешскую общественность. Одним из первых пропагандистов идей Октября явился крупнейший чешский поэт С. К. Нейман. Уже в начале 1918 года он основал журнал «Червен» («Июнь»). В нем он давал отпор клевете, которой чешская буржуазия обливала русскую революцию. Нейман назвал большевистскую революцию «чистым цветком русской натуры».

В течение всего 1918 года, пока еще длилось безумие войны, чешская литература не могла свободно откликнуться на русскую революцию. Даже в первые месяцы независимой Чехословацкой республики для этого не существовало подходящих условий. Умами беспредельно владело головокружительное ощущение обретенной свободы. Но и в это время у нас не забывали о России. Было хорошо известно, что там с неослабевающей силой ведутся решительные бои за лучшее будущее всего человечества. Давнишняя любовь к России дополнилась искренним интересом к великим событиям, происходившим на славянском Востоке.

Уже в марте 1919 года пражское общество «Чешско-русского единства» издало манифест, призывая к тому, чтобы наши от-

ношения с Россией основывались на подлинном знании русской действительности. За пропаганду правды о новой России ратовал один из самых известных чешских деятелей культуры, тогда еще молодой университетский профессор Зденек Неедлы. Он опубликовал 27 марта 1919 года в журнале «Ческа страж» («Чешский страж») статью под названием «Русский вопрос». Неедлы доказывает, что отношение к революционной России становится жизненным вопросом для будущего всего чешского народа: «Разве Россия своей революцией не совершила самый великий освободительный акт всей мировой войны, последствия которого мы чувствуем настолько глубоко, что считаем русскую революцию началом нашего внутреннего освобождения?» — писал он.

Не прошло и полугода после 28 октября 1918 года, когда Зденек Неедлы открыто заявил, кому мы обязаны своей свободой: не западным державам, как утверждала в то время официальная чехословацкая пропаганда, руководимая Масариком и Бенешем, а революционной России. Этого взгляда Зденек Неедлы никогда не изменил и впоследствии. Всю свою жизнь он принадлежал к самым преданным друзьям новой России — Союза Советских Социалистических Республик.

В первые же годы существования Чехословацкой республики четко обозначились лагерь прогресса и лагерь реакции. Передовые деятели культуры все сознательнее сочувствовали революционной России. «К поэзии социальной отваги» призывал Иосиф Гора в своей одноименной статье, напечатанной 15 мая 1919 года в журнале «Кмен». Он напоминал об известном манифесте чешских писателей в мае 1917 года, адресованном чешским депутатам, в котором писатели заговорили как истинная совесть народа. «Они бы проявили мужество, — подчеркивал Иосиф Гора, — если бы с такой же смелостью обратились к социальной проблеме, конечно, не только на словах, но и на деле».

Чешские писатели не заставили себя долго ждать. Уже через полтора месяца — 3 июля 1919 года — Нейман опубликовал в журнале «Червен» статью «Пролетарская культура», где отстаивал право пролетариата на все культурное наследство и резко отделял культуру передовую от мещанской буржуазной культуры. Вскоре после этого в Праге был основан «Социалистический совет работников просвещения», манифест которого от 10 июля 1919 года подписали самые видные чешские писатели, и среди них С. К. Нейман, Иван Ольбрахт, Иосиф Гора, Елена Малиржова, Антонин Сова, Франя Шрамек. Эти работники просвещения примкнули к трудящемуся народу Чехословакии, к его борьбе за социалистическую республику. В чем они видели пример для себя? Отчетливо выразил это С. К. Нейман, написав: «И здесь эпоха, показывающая удивительные попытки социалистических республик Востока добиться настоящей демократизации культуры, является естественным и ясным комментарием к нашему манифесту». В «восточных социалистических республиках», то есть в молодой революционной России, усматривали они образец самого тесного сотрудничества прогрессивной интеллигенции с революционными рабочими и крестьянами.

В 1920 году несколько известных чешских общественных деятелей совершили поездку в революционную Россию, чтобы там познакомиться с русской действительностью и идейно вооружиться против нападок и клеветы буржуазии. Из видных политиков Россию посетили Богумир Шмерал и молодой в то время Антонин Запотоцкий. В наши дни уже хорошо известно, какой огромный вклад внесли эти поездки в дело ознакомления с великим ленинским учением. Товарищ Запотоцкий лично встретился с Владимиром Ильичем Лениным. Гениальные труды Ленина сыграли огромную роль в освободительной борьбе чехословацкого пролетариата. Особенно большую роль сыграла книга Ленина «Государство и революция», изданная в 1920 году на чешском языке С. К. Нейманом. Этот труд — первое ленинское произведение в чешском переводе — самым действенным образом помог в «очистительной критике», направленной против остатков социал-демократического ревизионизма у нас, и оказал серьезное воздействие на чешских писателей и поэтов.

Чешские литераторы, в свою очередь, тоже не бездействовали. В марте 1920 года в Россию поехал Иван Ольбрахт. Все увиденное там он воплотил в новаторских «Картинах современной России», которые вместе с «Правдой о Советской России» Шмерала, изданной в том же году, помогали рассеивать искусственный туман клеветы и лжи, распространяемый у нас буржуазной пропагандой.

Еще накануне 1 Мая 1919 года Нейман напечатал в «Червене» обращение М. Горького к народу и трудящейся интеллигенции, сопроводив его большим, занимающим целую страницу, портретом гениального русского писателя.

Осенью 1920 года на страницах журнала «Кмен» С. К. Нейман знакомит чешского читателя с трудами Луначарского — «Пролетариат и культура» и «Основы пролетарской эстетики».

Большое значение для познания новой революционной советской поэзии имела поездка в Советскую Россию молодого переводчика и публициста Иржи Вейла. В том же 1920 году он перевел на чешский язык некоторые произведения Маяковского: «Левый марш», пролог к «Мистерии-Буфф», «Мы идем» и другие. Хотя их перевод на чешский язык не отличался большим мастерством, они обогатили репертуар первого рабочего драматического ансамбля «Дедрасбор», возникшего по примеру советских самодеятельных коллективов осенью 1920 года под руководством режиссера Индржиха Гонзла и актера Иосифа Зоры.

Все это происходило накануне решительной схватки между так называемыми левы-

ми социал-демократами и правыми оппортунистами. Никто не смог заставить чехословацкий пролетариат отступиться от своей революционной цели. Но предательство правых социал-демократических вождей привело к подавлению рабочего движения после кровавой битвы за «Народный дом» в Праге. Вскоре — весной 1921 года — возникла Коммунистическая партия Чехословакии, которая несла победоносное знамя революции.

Чешская литература — к чести ее надо сказать—не отнеслась безучастно к описанным событиям. Лучшие ее представители от самых старших до наиболее молодых остались верны своему народу. Они находили опору в заветах Великого Октября и в революционном литературном творчестве своих советских друзей. В течение первых двух лет чехословацкой государственной самостоятельности писатели готовились к наступлению на социальном фронте, а с конца 1920 года, и в особенности с 1921 года, появилось много стихотворений, сборников стихов и критических статей, одушевленных идеей социальной революции. Все это было связано с тем революционным подъемом, на вершине которого родилась Коммунистическая партия Чехословакии — авангард чехословацкого пролетариата.

* * *

Жизнь неслась бурным потоком, овладевая сердцами и мыслями чешских поэтов. Оплотом чешской прогрессивной литературы стала организация «Пролеткульт», основаниая Коммунистической партией Чехословакии в августе 1921 года и оказавшая благотворное влияние на развитие литературы.

По инициативе «Пролеткульта» уже в октябре 1921 года вышел сборник «Советской России», изданный чешскими писателями и художниками-коммунистами «в пользу кампании по организации помощи голодающим в России». Книгу эту бесплатно набрали товарищи из пражской типографии «График». Сборник разошелся большим тиражом, для этого времени необычным у нас, — 10 000 экземпляров. Под руководством С. К. Неймана здесь объединились передовые представители чешской литературы: Иван Ольбрахт, Мария Майерова, Елена Малиржова, Иосиф Гора, Владислав Венчура, Ярослав Сейферт, Индржих Горжейши, А. М. Пиша, Иржи Волкер и другие. Так чешские поэты и писатели помогали мобилизовать помощь общественности страдающей от голода революционной России в трудное время гражданской войны и вражеской интервенции. С. К. Нейман опубликовал вдохновенный «Привет Советской России», где он воспевал ее как «нашу мать», «защиту, надежду, нашего учителя», «единственную звезду на померкшем небе» старого отживающего мира.

Эта глубокая вера и любовь С. К. Неймана к первой социалистической стране органически связана со всей его деятельностью. Он давно полюбил русскую литературу, в особенности Горького. Нейман снова напечатал перевод горьковских «Воспоминаний о Л. Н. Толстом» (в книжном издании 1921 года), чтобы подчеркнуть громадное значение культурного наследия прошлого. Подобно гениальному автору «150 000 000» Нейман читал лекции для рабочих и писал тексты к рабочим песням. Ощутимее всего Нейман приблизился к новой поэзии социалистического реализма в своих «Красных гимнах» (1923). В них он выразил всю свою горячую веру в справедливость революции, в ее окончательную победу.

Одновременно с Нейманом, в начале двадцатых годов, заветы Октября воспринял ряд других чешских поэтов. Тонкий лирик Антонин Сова, представитель старшего поколения, издал книгу стихов «Кровоточащее братство» (1920) и вслед за этим «Ясные видения» (1922). В первый сборник он включил пламенные «Строки писателям», в которых призывал тружеников пера поднять «знамя кроваво-алое» против всех «двурушнических служак» мошеннической буржуазной демократии.

Иосиф Гора выступает в эти годы с критическими статьями, пропагандирующими социалистическое искусство. Одна за другой появились в свет книги его стихов, полные революционного энтузиазма: «Рабочий день» (1920), «Сердце и хаос мира» (1922) и «Бурная весна» (1923). Хотя Гора не был прирожденным революционером и тяготел в своем творчестве к интимной лирике, все же и он был захвачен революционным движением масс. Спустя много лет он заявлял: «Я не хотел писать тенденциозную поэзию, а просто высказывал то, что сильнее всего пробивалось наружу. Этим и была прекрасна социальная революция: она помогла тебе забыть о твоем маленьком человеческом «я», а то настоящее «я», без которого поэт не может ничего создавать, включила в борьбу». Чешские читатели благодарны Иосифу Горе за многочисленные яркие стихотворения, напоминающие своей атакующей смелостью Демьяна Бедного и Маяковского. Таковы были, прежде всего, боевые стихи «Почему», «Гимн массам», «Голод в России 1921 года», «Запад и Восток» и другие. Гора— один из первых в чешской литературе — сделал попытку написать роман на революционную тему. Само название его —«Социалистическая надежда» (1922) — программно: это попытка изобразить политическое брожение в современной чешской жизни. Роман содержит резкую критику буржуазии и ее социал-демократических приспешников, но автор не сумел еще отобразить революционную роль пролетариата.

Из сверстников Горы (им всем было тогда около тридцати лет) Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновила и талантливого лирика Индржиха Горжейши, который с большим вниманием следил за развитием событий в России. Горжейши гневно разоблачал интервентов (стихотворение «Автомобиль»), в своем «Благовещении» он приветствовал новую русскую молодежь, носительницу идеалов будущего. В нейманов ский сборник «Советской Рос-

сии» поэт прислал стихи «In memoriam Александра Блока», которого любил так же, как и Маяковского.

Но больше всех взбудоражила Октябрьская революция самое молодое поколение чешских поэтов, которое только в начале двадцатых годов вышло на литературную арену. Это были люди, на чью юность пришлись и бурные отзвуки Октября, и разгром закоснелой габсбургской монархии. Свои первые стихи они издали, когда им было по двадцать с небольшим лет. Все они переживали свой «тяжкий час» внутренних смятений, глубокое противоречие между мечтой и действительностью. Все они мечтали о жизни прекрасной, радостной и с постоянно растущей глубокой скорбью осознавали, что окружающая действительность далека от их идеальной веры в справедливость «нового мира» буржуазной демократии. Тем глубже они чувствовали свою кровную связь с рабочим классом и его борьбой. Тем с большим энтузиазмом они обращали взоры на Восток, к революционной России.

Эти чувства молодого поколения поэтов ярче всех выразил безвременно погибший Иржи Волкер, один из величайших талантов, когда-либо украшавших чешскую поэзию. Оба сборника его стихов — «Гость на порог» (1921) и «Тяжкий час» (1922) — продолжают национальную поэтическую традицию. Они тесно примыкают к народной поэзии и к поэзии Эрбена и Неруды. Обе книги были преисполнены чистейшего гуманизма. От простой человеческой любви к бедным и страждущим, к униженным и оскорбленным они поднимаются до революционного пафоса. Строфы монументальных баллад были проникнуты гневом народа и ненавистью к несправедливому строю. Поэт с восхищением говорит в своих стихах о мудром Ленине. С новой советской поэзией Иржи Волкер был мало знаком, зная только несколько первых чешских переводов Маяковского. Однако «Левый марш» Волкер включил в октябре 1921 года в программу рабочего декламационного вечера. Он хотел в то время учиться русскому языку, чтобы лучше ознакомиться с сокровищницей советской поэзии. Свидетельством его живого интереса к русской революционной тематике является и его одноактная пьеса «Высшая жертва», написанная на тему русского революционного движения.

Медленнее Волкера созревал политически его друг поэт Константин Библ. Однако уже его первая книга лирических стихов, названная «Путь к людям» (1923), была одновременно и путем к молодому Советскому Союзу. Этому пути Библ никогда не изменял.

Отзвуки революционной бури звучат и в первых произведениях поэта Ярослава Сейферта. Он принадлежал тогда к искренним почитателям С. К. Неймана, вместе с которым сотрудничал в коммунистической прессе и участвовал в организации рабочих вечеров. И. он принял участие в сборнике «Советская Россия». Сейферт первым перевел поэму Блока «Двенадцать»; под его влиянием он не раз пользовался библейскими образами для символизации революционных целей. Значительным событием в чешской пролетарской поэзии стал поэтический дебют Сейферта — книга «Город в слезах» (1921). Некоторые его стихи были проникнуты влиянием Блока и Маяковского, например «Распеваемая молитва», «Доброе известие» или «Речь толпы». В стихотворении «Декабрь 1920 года» он увековечил борьбу пражского пролетариата. Двадцатилетний поэт считал себя «одним из толпы». Он верил, что с приходом революции он со своими песнями будет стоять на баррикаде. Правда, в потоке дальнейших событий его голос звучал по-иному. Но все же едва ли из хроники того бурного времени исчезнет имя певца, изобразившего под впечатлением великого Октября свою родную Прагу «городом в слезах», вопреки официальной пропаганде победившей чешской буржуазии.

Образ Великой Октябрьской социалистической революции запечатлен и в поэзии молодого в те дни лирика и умного литературного критика А. М. Пиши. Пиша выступает и с теоретическими статьями как борец за социалистическую поэзию. Свои теоретические требования он подкрепил собственной поэтической практикой. В первой половине двадцатых годов вышло несколько тоненьких сборников его глубоко прочувствованных стихов. Хотя поэт называл себя во второй из книжек «непонятым святым», третья его книжка под названием «Приветы» (1923) ясно раскрывала его стремления. Пиша говорил о себе как о сыне бедного рабочего квартала, «где щедро сеется дым, нужда, ненависть и смерть». С гневной скорбью он вспоминает о трагически погибших вождях немецкого пролетариата — Розе Люксембург и Карле Либкнехте (стихотворение «15.1.1919 г.»). Он верил, что за их смерть отомстят, «когда разгромим тиранов, когда растопчем предателей и над руинами милитаризма и капитала засияет на ясном небе солнце коммунизма в новый день человечества». С пламенным воодушевлением он объявлял, что придет решительный день революции, и обещал: «мы не изменим Советской России, мы не допустим, чтобы погасла ее звезда, горящая в нас».

* * *

Великая Октябрьская социалистическая революция ярко отразилась также и в чешской прозе и драме, хотя и не столь непосредственно и стихийно, как в поэзии, быстрее отвечающей благодаря своей сжатой форме на переломные исторические события. У нас, к сожалению, нет до сих пор более или менее обширного исследования, посвященного этому вопросу. Ясно лишь, что незабываемый Октябрь глубоко затронул художественную деятельность чешских прозаиков и драматургов, оставив неизгладимые следы в их творчестве.

Революционный семнадцатый год застал нашу литературу в разгар мировой войны, когда десятки тысяч чешских и словацких

солдат жили в русских лагерях для военнопленных. Многие из них образовали первые чехословацкие легионы, чтобы на стороне России воевать против Австро-Венгрии за свободу своего народа. В нашу задачу не входит исчерпывающая оценка роли чехословацких легионеров в революционной России. Империалистические державы Запада обманным путем использовали чехословацкие легионы в интервенции против пролетарской революции. И все-таки тысячи и тысячи чехословацких легионеров не поддались на приманку лжепатриотических лозунгов, распространяемых официальным руководством легионов, и без колебаний стали на сторону большевиков.

Среди чешских легионеров, живших тогда в России, было несколько даровитых молодых писателей и поэтов. Они внимательно наблюдали за революционными событиями, а некоторые принимали в них и непосредственное участие. Возвратившись после войны и революции домой, они не раз изображали в романах, рассказах, стихах и драмах свою жизнь в революционной России. В двадцатые (да еще и в тридцатые) годы возникает, получившая у нас широкое распространение, так называемая «легионерская» литература. Эта литература стремилась создать документальную картину исторического Октября, увиденного глазами чешских писателей. Правда, отражение его подчас в значительной мере искажалось в зависимости от классовой принадлежности и политических убеждений самих авторов.

К писателям, которые вовсе не поняли переломного значения Октября и отнеслись к нему враждебно, принадлежал Рудольф Медек, типичный представитель контрреволюционных кругов. Лирический сборник его стихов «Львиное сердце» (1921) проникнут буржуазным национализмом, для которого характерно смешение традиционной для чехов любви к России с панславистскими надеждами. Однако и Медек враждебно относился к царскому деспотизму. Поэтому он после низвержения царизма признал буржуазно-демократическую февральскую революцию, но резко отрицательно отнесся к эпохальным преобразованиям Ленина. Согласно своим убеждениям, он и описал жизнь легионеров. К тематике революционной России он снова и снова возвращался в ряде книг, в романе-пенталогии «Огненный змей» (1921), «В великие дни» (1923), «Остров в буре» (1925), «Могучий сон» (1926), «Анабазис» (1927), в драме «Полковник Швец» (1928) и драме «Сердце и война» (1930), в ряде сатир и детских рассказов. Сторонник политики Крамаржа, Медек впоследствии выступает в этих произведениях глашатаем тех кругов чешской буржуазии, которые враждебно отнеслись к Октябрьской революции, движимые узко классовыми интересами.

С гораздо большим вниманием подошел к действительности революционной России Иосиф Копта, автор обширного романа-трилогии — «Третья рота» (1924), «Третья рота на магистрали» (1927), «Третья рота дома» (1934—1935) — и нескольких книг фельетонов, драм и рассказов. Солдаты его «Третьей роты» принимают участие в революционных демонстрациях. Они поют вместе с восставшим народом Интернационал, отдают честь красному знамени и горячо приветствуют революцию: «Будь здорова, милая, будь здорова, сестра ты наша!» И их командир Сук осознает, что существует одна только правда: «Чехословацкий солдат революцию ожидал, революцию призывал, революцию любит!»

Герои коптовской трилогии всерьез захвачены ленинским учением. Они пылают ненавистью к «капиталистам, царю, знати, попам и остальной банде». Они отрицают Керенского и готовы пролить кровь за дело русского народа, «рабочих и мужиков». Чешские легионеры слышат в словах Ленина «что-то ужасно родное, что-то общее шахтерам и рабочим всего мира». К этому сознанию социальной солидарности присоединяется у них еще издавна свойственная чешскому народу любовь к России.

С чехословацкими легионами в революционной России был и сверстник Копты Франтишек Кубка, в то время молодой поэт импрессионистского толка. Пребывание в далекой Сибири на границе Монголии дало ему сюжет для драмы «Атаман Ринов, или Вихрь» (1928). В его книге «Цвета Востока» (1923), книге красочных и тонких фельетонов, запечатлена богатая смесь впечатлений и воспоминаний о любимой русской земле и о Сибири, «будущей Америке мира». Вскоре, в 1924 году, Кубка публикует работу о «Поэтах революционной России», которая вместе с книгой Вейла «Русская революционная литература» (1924) давала первые более или менее точные сведения о молодой литературе Советского Союза.

Из так называемых писателей-легионеров наиболее глубоко понял смысл Великого Октября Ярослав Кратохвил, трагически погибший от рук гитлеровцев. В объемистом двухтомном романе «Источники» (1934) он нарисовал документальную историю жизни чешских и австрийских солдат в лагере для военнопленных, по преимуществу еще до начала революции. Большой заслугой Кратохвила можно считать его солидную историческую монографию, характерно названную «Путь революции» (1922), где он убедительно показывает путь легионеров в России. Ему хорошо удалось соединить историю легионов с показом развития русских революционных событий. В движении легионеров он подчеркивал революционные традиции чешского гуситства, потому что «чехословацкое революционное движение за рубежами страны было делом народа, добивавшегося уничтожения какого бы то ни было господства и гнета». Кратохвил понимал, насколько тесно была связана свобода Чехословакии со свободой русского народа. Ярослав Кратохвил назвал Великую Октябрьскую социалистическую революцию «поворотным пунктом в развитии человечества», находящимся «на грани отживающего мира капиталистического и рождающегося мира социалистического». Россия, благодаря Октябрю, заняла ру-

ководящее место в истории человечества: «Часы прогресса на нашей планете вскоре будут бить в Москве». Так написал один из самых передовых чешских писателей уже в 1922 году, спустя пять лет после победы Октября.

Русский революционный ураган оставил заметные следы не только в книгах, посвященных легионерскому движению. Он увлек и тех чешских мастеров слова, которые в своих произведениях не занимались непосредственно революционной Россией. Первое место среди них бесспорно занимает Ярослав Гашек. Он во время первой мировой войны попал в русский плен и некоторое время работал журналистом в легионерской печати. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла ему глаза. Он принадлежал к легионерам, вступившим в ряды большевистской партии. Только в России в совершенстве созрело его гениальное сатирическое дарование, проявившееся во множестве рассказов. После возвращения на родину возникают его «Похождения бравого солдата Швейка» (1920—1923) — сатира, увековечившая имя Гашека. Резкость нападок его романа, воинственный антимилитаризм Швейка лучше всего выражали отпор всего чешского народа грабительским войнам империалистических держав. Идеалы русской революции 1917 года дали Гашеку силы беспощадно осмеять все, что мещанам казалось святым.

Задача исследователей — подробнее проследить, насколько глубоко Октябрьская революция отразилась в других произведениях чешской прозы того времени. Это относится прежде всего к произведениям, в которых отображено освободительное движение на чешских землях в эпоху мировой войны, когда события в России способствовали подъему чешского самосознания и вселили еще большую ненависть к братоубийственной войне. Отблеск ленинского Октября виден, без сомнения, в таких выдающихся творениях чешской романической прозы, какими являются «Поля пахотные и бранные» Владислава Ванчуры (1925), «Отвалы» Анны Марии Тильшовой (1927) и трилогия Божены Бенешовой — «Удар» (1926), «Подземное пламя» (1929), «Трагическая радуга» (1933).

Само собой разумеется, что на революционный опыт молодого Советского Союза опирались и наши писатели — пионеры социалистического реализма с самого начала двадцатых годов. Это прежде всего относится к тем писателям, которые с готовностью черпали жгучую тематику из истории боев чешского пролетариата. Памятный декабрь 1920 года изобразила Мария Майерова в романе «Лучший из миров» (1923) и Иван Ольбрахт в романе «Анна пролетарка» (1928). Оба произведения, проникнутые горячей верой в революционный Восток, стали образцами для многих чешских литераторов.

Настоящая статья не ставит себе целью проследить отношение чешских писателей к советской литературе и к дальнейшим достижениям Советского Союза. Мы остановились более подробно только на самых главных явлениях первых пяти лет после Октябрьской революции, потому что именно в то бурное время 1917—1922 гг. чешская литература стояла на одном из своих решающих перепутий. Она была свидетельницей распада Австро-Венгрии под ударами победоносного Октября. Она должна была говорить от имени миллионных масс чешского народа, завоевавших после долгих столетий желанную национальную свободу и государственную самостоятельность. Казалось бы, она должна была выразить их радость и счастье. Но именно самая передовая чешская литература засвидетельствовала тот факт, что желанное счастье для подавляющего большинства чехословацкого народа оказалось мнимым.

Новая буржуазно-демократическая республика не сумела решить самые злободневные вопросы. Вопреки всем прекрасным словам о гуманности и демократии, она сохранила и еще более углубила существующие противоречия между нуждой и богатством, между пролетариатом и буржуазией. Вот почему так высоко поднялась волна революционного отпора рабочего класса. Вот почему и у нас, в Чехословакии, распространялось влияние советских писателей. Чешская революционная поэзия во главе с С. К. Нейманом с самого начала правдиво передавала чувства и настроения широких трудящихся масс. Ей не была страшна никакая травля, никакие преследования со стороны правящих господствующих классов.

В то время как в первые годы после государственного переворота у нас на культурном фронте не было такой силы, которая могла бы соперничать с прогрессивными писателями и художниками, с начала двадцатых годов реакция попыталась бороться против революционного подъема в литературе и в искусстве. Положение осложнилось тем, что многие видные прогрессивные деятели культуры стали пропагандировать в искусстве и в поэзии разные модернистские произведения. Нет никакого сомнения в том, что в большинстве случаев их толкал в сторону модернизма осознанный протест против условностей мещанского искусства. Многие из них даже не теряли революционного пыла. Они одновременно ориентировались и на модернистские течения Франции и на современных советских поэтов.

Мы пока только начали дискуссию, которая должна в новом свете правдиво показать все сложное развитие чешской литературы в домюнхенской республике. Однако уже в данный момент можно и на самой объективной карте нашей тогдашней поэзии провести четкую пограничную черту, отмежевывающую тех писателей, которые сохраняли и увеличивали богатое наследство победоносного Октября, от тех, которые были его ярыми противниками. В течение всего этого долгого времени велась в области чешской литературы весьма ожесточенная борьба, похожая на длительные окопные бои. Позиции обеих сто-

рон укрепились. Борьба шла за каждую душу. Поле брани — по словам С. К. Неймана — проходило в каждом из нас, в душе каждого работника культуры. Именно советской литературе и советским поэтам мы обязаны тем, что они помогли нам все это время находить путь к социализму и коммунизму. Из их новых произведений мы узнавали всемирное значение ленинского семнадцатого года.

Чешские писатели и поэты многому и с радостью учились у своих советских друзей. Мы назвали имена только некоторых, самых значительных писателей: тех, которые первыми поняли Великую Октябрьскую социалистическую революцию или же стали ее непосредственными свидетелями. Однако за ними следовали многие другие. И они любили ездить в Советский Союз, и они приносили в нашу литературу и жизнь советский опыт. Среди них дорогие нам славные имена Юлиуса Фучика, Витезслава Незвала, Марии Пуймановой и Ярмилы Глазаровой вплоть до имен самого молодого поколения писателей. В течение всех сорока лет мы могли следить за успехами Советского Союза и читать произведения советских деятелей культуры в бесчисленных чешских переводах. И для нас тоже все сорок лет не переставала сиять путеводная звезда Великого Октября. Мы и впредь верно будем ей следовать во имя счастья, благосостояния и мира всего нашего народа.

П. Джорджеску

Михай Бенюк — народный поэт Румынии

Какова роль поэзии в жизни общества? Этот вопрос постоянно волнует Михая Бенюка. Отвечая на него, Бенюк затрагивает и другую извечную тему: что такое поэзия. Эту тему, конечно, трудно исчерпать, но каждый большой поэт должен внести в нее свой вклад.

Собрав воедино все образы, характерные для стихов Бенюка, написанных до освобождения Румынии от фашистского гнета, мы можем воссоздать типичный для его поэзии пейзаж. Это поможет понять особенности лирики Бенюка и его представление о творчестве и о долге поэта.

Пейзаж в стихах Бенюка всегда выражает в пластической форме чувства поэта. В ранних стихах пейзаж обычно скалист и суров. Лес содрогается от бури крестьянского восстания, ночью слышится звон: это точат о камень косы—оружие мести; величественно высятся горы, огромные, как человеческие страдания; а в лесу каждый сучок — свидетель убийств, совершенных боярами. С горных вершин медленно спускаются одетые в белое потомки Хории, вооруженные острыми косами; а в это время в городах толпа бушует подобно бурному морю; в реве ее слышатся голоса бури, и знамена развеваются над ней. Океан стонет; морские пучины кипят; метеоры вспыхивают в пространстве. И тогда гибнет в пламени вековой гнет, превращаясь в груды пепла. А народ, двинувшийся в великом гневе на угнетателей, опрокидывает Карпаты.

В стихах этого времени чаще всего встречается красный цвет: пылающий полевой мак, пурпурная клужская гвоздика, красный павлин, алый флаг, реющий над толпой. Это красный цвет крови, пролитой за свободу, красный цвет пламени крестьянских восстаний.

Другие характерные черты поэзии Бенюка — способность создавать гигантские образы и та легкость, с которой воображение переносит поэта во времени. Широкая перспектива в поэзии Бенюка — результат правильного отношения поэта к прошлому и будущему. Прошлое для него — не живописная легенда и не убежище, где можно скрыться от настоящего, а гнев и опыт, накопленные поколениями. В творчестве поэта кристаллизуется гнев угнетенных масс и вырисовываются контуры мечты, к которой народ стремился столетиями.

Проследить развитие основных линий поэзии Бенюка можно по наиболее значительным стихотворениям, созданным поэтом за последнее время, которые были недавно собраны в книгу «Яблоня у дороги». В этом сборнике поднимается извечный вопрос о роли поэта в обществе. Читая книгу, мы вспоминаем о написанном ранее Бенюком стихотворении — «Дерево-страж». Оно начинается полемикой с формалистическим искусством, которое, довольствуясь меланхолическим созерцанием жизни, вздыхает о «далеком лунном Олимпе», о «желанном рае», где страсти угасают, уступая место полному забвению.

Подлинный поэт подобен дереву: его могучие корни глубоко уходят в землю, он связан со всей жизнью народа, с родной землей, которая поит его своей неистощимой влагой. Поэт не просто регистратор событий: он мечтает о будущем, провидит его. Единение прошлого, настоящего и будущего в творчестве поэта открывает для его поэзии широкие горизонты.

Поэт-борец стремится к тому, чтобы и после его смерти стихи его звали к борьбе:

Молния пусть увенчает
Голову мою огнем,
Чтоб возгорелось пламя
По всей стране!

Это стихотворение было написано еще при старом буржуазно-помещичьем режиме. Смысл его, хотя и очевидный, из-за преследований цензуры выражен символически. В нем, как и во многих других своих стихах, Бенюк определяет поэзию как результат тесной связи между народом и поэтом — борцом за народное дело.

В «Яблоне у дороги» — одном из самых прекрасных стихотворений Бенюка — стихи названы плодами. Любой путник может сорвать их, потому что это плоды, выросшие на земле его родины, «что стала матерью тебе и мне». Щедрость и великоду-

МИХАЙ БЕНЮК

(К 50-летию со дня рождения)

шие получают в этом стихотворении красноречивое выражение:

Я вырос яблоней — не за оградой,
А близ дороги, чтобы стать отрадой
Прохожему. Не заходя в сады,
Ты можешь обрывать мои плоды.
И благодарности я не приемлю,
Благодари одну лишь эту землю...
(Пер. М. Петровых)

Было бы ошибкой, однако, видеть здесь простое повторение старых стихов. В стихотворении «Яблоня у дороги» находит выражение новое чувство, не встречавшееся в более ранней поэзии Михая Бенюка,—радость. Это радость дерева, усыпанного плодами:

Когда земля цветет порой весенней,
Я сердцем чувствую мое цветенье.
(Пер. М. Петровых)

Это радость каждого трудящегося человека свободной Румынии:

Священный летний впитывая зной,
Сгибаю ветви я к земле родной,—
В немом поклоне выскажу пред нею
Все, что сказать словами не умею.
(Пер. М. Петровых)

«Яблоня у дороги» продолжает быть «деревом-стражем», но она усыпана плодами радости мирного труда освобожденной родины. Перемены в настроениях народа дали свои плоды и в поэзии Михая Бенюка.

Автор смелого стихотворения «В Румынии можно еще петь», опубликованного в годы фашистской диктатуры, сегодня прославляет свободу — это драгоценное завоевание, призывая: «Свободы ни за что не отдавай!»

Поэт обращается к народу, поверяет ему свои думы, зовет вперед, потому что он не только выразитель чаяний народа, но и знаменосец, смотрящий в будущее:

Когда ж неверным станет шаг крылатый,
Когда пробьет мне горький час заката,
Я крикну, умирая: — Милый край,
Свободы ни за что не отдавай!
(Пер. Б. Лейтина)

Но разве эти чувства присущи только поэту? Любой гражданин может переживать то же самое и либо шептать эти стихи наедине с самим собой, либо повторять их во весь голос на митинге:

А в час опасности с могучей силой
Зажжется пламя над моей могилой—
И выйду я на правую войну,
Чтоб защищать свободу и страну.
(Пер. Б. Лейтина)

В стихотворении «Мне не нужны почести», обращаясь к народу, поэт говорит о радости труда и борьбы во имя осуществления великого идеала социализма. Художник менее обычного гражданина имеет право колебаться перед лицом врага. Если поэт предаст интересы народа, он достоин жестокого наказания:

На самой высокой вершине Карпат
Посадите меня на кол,
В пламя, как в саван, оденьте меня,
Если враг, которого я вижу, уйдет от меня.

Как уже отмечалось, подобные гигантские образы характерны для творчества Михая Бенюка, а широкая перспектива его произведений является следствием конкретно-исторического мышления поэта.

В творчестве Михая Бенюка прошлое тесно связано с настоящим: это — бытие в развитии, кристаллизация надежд, конденсация гнева. Особенность поэзии Бенюка состоит в том, что, говоря о прошлом, он провидит будущее, а проникая в будущее, он не забывает о прошлом. Когда поэт воссоздавал в своих ранних стихах восстание Хории, он делал это для того, чтобы еще раз напомнить, что потомки Хории готовы свергнуть угнетателей, против которых некогда поднялись вооруженные косами и серпами массы крепостных.

Лишь в «Красном шлеме», написанном после освобождения Румынии, поэт показывает завершение борьбы против социального угнетения — борьбы, начатой Хорией:

И свершилось чудо —
Из пурпурной дальней дали
Вдруг слова загрохотали:
«Грозный суд грядет,
Правый суд идет!»
(Пер. И. Френкеля)

Прошлое румынского народа для Бенюка — не абстрактное понятие. Он видит в прошлом беспощадную войну масс против кучки угнетателей—румын, венгров или турок. Будущее в те мрачные времена означало алую зарю народной революции.

В стихах последнего времени намечаются новые перспективы, вызванные к жизни победой народа «после двух тысячелетий» борьбы. В стихотворении «На кладбище» вновь появляется характерная для поэзии Бенюка идея преемственности поколений, передающих друг другу опыт, надежды, справедливый гнев. Но предки, исполненные гнева в прежних стихах, теперь умиротворены, потому что справедливость восторжествовала. На кладбище, у могил деда и отца, крестьянский сын не испытывает уже угрызений совести.

Среди могил пасутся ягнята; издалека доносится лай собак; Криш*, воды которого некогда стремительно неслись по камням, теперь течет спокойно, лениво греясь на солнце. Настала минута торжественного молчания в память отцов, в которой символически участвует вся природа. В царстве мертвых — растет трава и спелые сливы клонят ветви к земле. Триумф жизни наполняет утро. Доносится грохот тракторов и крики купающихся ребятишек — будущих трактористов, хозяев необозримых полей. Стихотворение, говорящее о преемственно-

* Криш — река в Трансильвании.

сти поколений и о связях с прошлым, заканчивается взглядом в будущее:

Гляжу на крест в отцовском изголовье:
Как будто засучил он рукава,
Чтоб пропахать просторы этой нивы,
Расстеленной, как полотно без шва.
(Пер. С. Шервинского)

Финал заставляет вспомнить более раннее стихотворение Бенюка. Он писал об отце — бедном крестьянине, который мучился всю жизнь, чтобы защитить три погона* земли от гнева воды, размывающей берег, и от гнета помещиков и кулаков, и умер, убедившись, насколько непрочна собственность на клочок земли. Маленькие клочки земли приносили одни убытки и не могли служить источником изобилия, о котором мечтали крестьяне.

Жизненный опыт отцов был унаследован сыновьями, которые, восприняв его, обратили теперь свои взоры к «этой ниве, расстеленной, как полотно без шва».

С любовью и вниманием наблюдает поэт новую жизнь, еще не окрепшую, но уже заключающую в себе неодолимую силу будущего. Именно так воспринимается стихотворение «Поэтическое искусство», прославляющее то мгновение, когда на свет появляется новое хрупкое существо или чувство.

За последнее время Михай Бенюк неоднократно обещал, что на его палитре появятся и краски радости. Раньше он писал:

Я изведал все печали!
Из радостей — лишь часть одну.
Я много говорил о пустыне
И о смерти.

Но «те, кто привык улыбаться тайком», сегодня могут открыто выражать свои чувства. Радость, содержащаяся в «Поэтическом искусстве», глубокое и сосредоточенное чувство осени, радующейся своим плодам: «...первые блики утреннего света на тяжелых гроздьях винограда»...

Первая девичья любовь, первое боязливое «да» напоминают душевную чистоту героинь «Сбуратора» Элиаде**, «Кэлина» Эминеску и «Идиллий» Кошбука***. Прекрасно не только начало любви. Новая, глубокая красота ее, о которой девушка не подозревает «в школьные годы», раскрывается для нее, когда девушка находит друга жизни.

...Будет стрелкой на часах,
Что минуты встречи обозначит...
Пусть он будет солнечным пятном,
На знамена бросит отблеск зыбкий—
Перед полной чашей за столом
Заиграет праздничной улыбкой.
(Пер. Н. Подгоричани)

Эти образы внушают мысль о радости победы, добытой в борьбе, и празднике завершенного труда.

Идеи, выраженные в стихотворении, подкрепляются и разъясняются группировкой образов. Сад, где зреют плоды, цветут цветы и целуются влюбленные, напоен ароматами румынской поэзии:

Куст над лугом стелется, как дым,
Запахом волнующих травинок.
У ручья под деревом густым
Перекрестком будет двух тропинок.
(Пер. Н. Подгоричани)

Эта строфа воссоздает поэтическими средствами сельский пейзаж, запечатленный у Григореску и Андрееску*. «Запахи волнующих травинок» заставляют вспомнить известное описание фруктов и овощей в «Истории поговорок» Антона Панна**. А последние две строки рисуют традиционное место отдыха странников, характерное для румынских, русских и венгерских сказок. Здесь никто не смыкает глаз: дорога зовет путника, и те же ветви скроют от солнца другого странника, после того как первый освежится водой из источника. В другой строфе рядом находятся два образа, внешне не связанные друг с другом,— полет орла и первые вехи стройки:

Пусть твой стих взлетает, как орлан,
В облаках парит на крыльях
стойких.
Пусть он намечает гордый план,
Забивая колышки на стройках.
(Пер. Н. Подгоричани)

Полет орла рождает мысль о широких просторах; на них возникает новая стройка со всеми приметами того, что называется человеческой жизнью.

И это, конечно, социалистическая стройка, потому что только на ней вырастают люди, соединяющие в себе широкий кругозор со смелостью, символом которой с древних времен является орел.

То, что поэт ставит рядом «первые блики утреннего света на тяжелых гроздьях винограда» с «...получением первой награды молодым передовым рабочим», имеет свой смысл: радость — плод труда. В целом стихотворение «Поэтическое искусство» — выражение радости свободной жизни, цветущего будущего. Или, как Бенюк пишет в другом месте:

Воспевал я лес весною —
Птиц зеленое жилье
И топор, когда порою
Ударяет он в гнилье.
(Пер. Н. Подгоричани)

Когда-то романтики пытались уйти от современной им действительности. Одна-

---

* Погон — мера площади = 5,012 м².

** Ион Элиаде Радулеску (1802—1872) — румынский поэт. «Сбуратор» — одно из наиболее известных его стихотворений. Сбуратор — злой дух в румынских народных сказках.

*** Кошбук (1866—1918) — замечательный румынский поэт, автор книги «Баллады и идиллии» (1893).

* Николай Григореску (1838—1907) и Ион Андрееску (1850—1882) — румынские художники.

** Антон Панн (1794—1854) — поэт и музыкант, один из первых собирателей румынского фольклора.

ко для писателей, которые не могли в силу исторических условий объяснить настоящее в свете будущего, подобный уход не имел другой цели, кроме поисков в прошлом решения современных проблем. В свою очередь их интересовало именно настоящее, и их уход был лишь иллюзорным.

«Родина жизни — настоящее», — писал Эминеску.

В стихах Бенюка еще не остыл пыл прежних битв, вместе с тем в них открыта широкая дорога будущему. Это поэзия высоких мечтаний, большой смелости, поэзия, утверждающая связь с прошлым и перспективы будущего.

В Румынии в период между двумя войнами не было поэзии более насыщенной проблемами современности, чем стихи Михая Бенюка. Угроза фашизма, ненависть к преступной антисоветской войне, великие страдания и надежды передовых людей эпохи составляют сущность его поэзии.

Современная лирическая поэзия Бенюка— поэзия больших человеческих чувств. Любовь к свободе, радость за торжество нового, нежность к любимой, стремление работать во имя построения новой жизни, ненависть к врагу — вот те чувства, которые выражены оригинально и поэтично в стихах последних лет. Это индивидуальные чувства поэта, но каждый рабочий воспринимает их так, будто сам он написал эти стихи или они рассказывают о нем.

Читатель ждет от Михая Бенюка еще более ярких выражений чувств, владеющих новым человеком перед лицом великих свершений нашего времени. Они ждут от «дерева-стража» плодов сегодняшнего дня — золотых яблок из сада поэзии. Последние стихи Михая Бенюка красноречиво говорят о том, что поэт оправдывает эти надежды. Читая его стихи, мы можем сказать Михаю Бенюку, перефразируя его собственные строки:

Так ты живешь, плодов своих не пряча,
И что ни год твой урожай богаче.

П. Балашов

Свобода выбора и историческая необходимость

(Заметки о послевоенной прозе Джеймса Олдриджа)

Ужасы колониального порабощения занимали умы и сердца самых разных английских писателей XX столетия. «Колониальные мотивы» во всей своей устрашающей обнаженности проникали в английскую литературу так же неизбежно, как неизбежно наступает день после ночи. Писатели-гуманисты с большей или меньшей последовательностью в духе лучших традиций английской литературы выражали протест против всех форм национального унижения.

Ядовитая сатира Шоу вскрыла парадоксальное несоответствие между словами проводников колониализма о свободе и их практикой огня и меча («Избранник судьбы»), политикой «кнута и пряника» и усмирением непокорных «британских туземцев» при помощи бамбуковых палок («Дом, где разбиваются сердца»). Но почва уходит из-под ног колонизаторов, время бамбуковых палок миновало, и мир праздности и паразитизма, как показал драматург в форме утопической аллегории, обречен историей на исчезновение («Простачок с Нежданных островов»).

Роман видного писателя Э. М. Форстера «Поездка в Индию» (1924) показал, какие прекрасные плоды приносит искреннее стремление автора понять страну, душу угнетенного народа и все особенности уклада его жизни, его древнюю культуру. Произвол и насилие, чинимые привилегированной кучкой англичан, зараженных всеми предрассудками, кастовой ограниченностью, вызывают горячее возмущение героини романа англичанки м-с Мур, которая по-человечески подошла к людям этой великой страны. Писатель-гуманист, далекий от каких-либо радикальных воззрений, увидел Индию страдающую, угнетенную, недовольную своей судьбой и мечтающую об освобождении. Не декоративная экзотика, а подлинная Индия привлекла художника, создавшего поэтический образ страны и образ униженного, но гордого народа.

Обличение национального и социального гнета в пьесах и в автобиографической эпопее Шона О'Кейси, относящейся к числу крупнейших явлений современной прогрессивной литературы, органически сливается с темой народного возмущения, с изображением различных этапов национально-освободительной борьбы ирландского народа. Вышедший из народных глубин, герой Шона О'Кейси не просто объект сочувственного внимания или жалости художника, а человек, который осознает свои цели и свое место в общей борьбе народа за свое раскрепощение. В образе вызывающе непокорного ирландца, героя освободительной борьбы, ярко нарисованного художником, нет и следа приниженности и фатальной примиренности с судьбой, нет тех черт, какими обычно наделялись порабощенные народы в произведениях «имперского», «колониального» жанра.

После второй мировой войны тема национально-освободительной борьбы народов колониальных и зависимых стран приобретает еще большую остроту и актуальность. Роман Грэхема Грина «Тихий американец», по-своему отозвавшегося на колониальную тему, является в этом смысле знамением времени.

Картины национально-освободительной борьбы народов Ближнего и Среднего Востока, как важное историческое явление современности, даны крупным планом в послевоенных романах Джеймса Олдриджа «Дипломат», «Герои пустынных горизонтов» и «Не хочу, чтобы он умирал».

В своих публичных выступлениях писатель не раз говорил, что он пишет с расчетом на английского читателя, то есть принимает во внимание прежде всего его духовные запросы и интересы, волнующие его национальные проблемы. И где бы ни развертывалось действие книг Олдриджа, мы не можем не заметить, что и эти книги и те проблемы, которые в них возникают и мучают многих героев, порождены условиями английской действительности, отражают противоречия общественного строя Британской империи. Именно то, что Олдридж как художник глубоко проникает в самую сущность проблем национальной жизни своей страны, откликаясь на важнейшие явления современности, и открыло ему путь к читателям многих стран мира.

У Олдриджа обостренное чувство природы, которая оживает в его книгах, особенно в лирической интермедии «Охотник», и предстает в своей суровой простоте и естественности, отливает блеклыми и яркими красками, кажется суровой и непостижимой и все же доступной человеку, умеющему заглянуть в ее тайны. Но предметом особого интереса художника остается человек в его общественных связях, особенно человек ищущий, думающий, действующий. Человек — душа его книг, за достоинство человека борется художник-гуманист, и этот гуманизм носит действенный, наступательный характер. Художник настойчиво ищет и утверждает в человеке прекрасное, в противоположность принижению его в декадентской литературе. Героический характер людей труда, их ясный нравственный облик, сила и красота их души предстают в его произведениях во всей первозданной цельности. И эти характеры изображены не статично, а в процессе глубоких изменений.

Развитие человеческих характеров и композиционный строй некоторых послевоенных романов Олдриджа имеют свои особенности: магистральная линия развития темы национально-освободительной борьбы тесно переплетается в романах с другой линией — показом исканий или заблуждений самих англичан, будь то Мак-Грегор, Гордон или Скотт. В силу исторических условий они поставлены перед необходимостью переоценивать свои взгляды и принимать важные для всей последующей жизни шаги. Лорду Эссексу, генералу Мартину или кровавому Черчу нечего пересматривать в своих взглядах, это характеры объективно статичные, эти герои не хотят признавать нового, не хотят мириться с ним.

Другое дело Мак-Грегор, Гордон или Скотт — им есть о чем поразмыслить при столкновении с новыми факторами истории. Мастерство Олдриджа состоит и в том, что при художественном решении глубоко интересующей его общей проблемы выбора пути и «поворотного пункта» в сознании героев-англичан он не исходит из готовых рецептов, из штампов и не повторяет самого себя. Каждый роман открывает новые грани, новые подступы в художественном освещении национально-освободительного движения, новые повороты в выборе пути. Каждый его роман, при общем единстве стиля авторского повествования, дан как бы в особом «ключе», в особой тональности, определяемой всем образным строем произведения.

Роман «Дипломат» — победа реализма, улавливающего всемирно-исторические изменения в жизни буржуазного общества. Столкновение идей здесь выражено в столкновении характеров. И каких характеров! Самый придирчивый критик не сможет упрекнуть автора в том, что он нарисовал лорда Эссекса предвзято, не таким, каким он может быть в жизни. И то, что этот умный и незаурядный человек остается глухим, поворачивается спиной к освободительному движению, преследуя узкоэгоистические цели, — разве это не убедительно развернуто в романе? А движение Мак-Грегора, очень сложное, медленное, навстречу правде, навстречу поразительным для него открытиям — как тонко и обстоятельно передано в романе его прозрение, его сближение с силами национально-освободительного движения в Иранском Азербайджане!

«Слава русским за то, что они открыли дорогу к восстанию, и проклятие нам за то, что мы всеми силами пытаемся это восстание сорвать» — ведь это итог, а не начало, ведь эти слова Мак-Грегора *вынашены* им при самом тесном и целительном общении с силами, борющимися за идеалы свободы и человечности.

Иранские впечатления Мак-Грегора очень многообразны и богаты и оказывают решающее влияние на ход мысли ученого-геолога, вовлекая его в мир политических страстей и помогая уяснить истоки народных движений. Размышления Мак-Грегора над образом жизни иранца, встречи и беседы с борющимися людьми Иранского Азербайджана и гордыми жителями Курдистана, проникновение в самую суть всех ходов и козней Эссекса, привязанности и эстетические запросы героя, его беседы с доктором Ага, стремление проникнуть в волнующие тайны персидского искусства, уменье почувствовать силу и красоту персидского языка — все это помогает глубоко понять, что происходит в душе ученого и в жизни страны.

Какие бы дикие небылицы ни распускались о героях народных восстаний их врагами, они насквозь лживы — в этом легко убеждается Мак-Грегор, сблизившись с простым и скромным инженером Джаватом Гочали и поняв силу его убежденности и его мечты. Именно этот новый человек овладел всеми мыслями Мак-Грегора. В образе Джавата Гочали нет ничего внешне кричащего, но он проявляет подлинный героизм, храбрость и спокойную рассудительность человека, убежденного в своей правоте. Гуманизм этого борца, желающего избежать лишних жертв и мирно урегулировать споры, как это ни кажется трудным и даже немыслимым, находится в резком контрасте с вероломством, жестокостью коварного губернатора. Джават Гочали — созидатель по натуре и образу мысли: он мечтает только о возрождении и преображении родного края. Именно все эти черты спокойного мужества и убежденности так решительно расположили Мак-Грегора в его пользу; откровенные беседы в Тахт-и-Сулеймане с гордым вождем курдского племени Салимом убедили его в том, как сильно в душе курдов желание сохранить свою независимость.

Народная мудрость сквозит в немногословной, но содержательной образной речи Джавата Гочали. Подчеркивая трусливость губернатора, Гочали говорит: «Как только он поймет, что мы в состоянии его одолеть, он сдастся и будет блеять, как овца». Лишь

откровенность может внести ясность и убедить других: «Вежливость — капля меду в потоке горьких слов. — Джават покачал головой. — Понимание — вот что по-настоящему ценно. Но можете ли вы, англичане, понять нас». В этих характерных словах весь Гочали — в его точных выражениях проявляется тоска народа о свободе. Писатель передает «поэтическую интонацию» в речах своих героев, владеющих богатством народного языка.

Через восприятие Мак-Грегора в романе дается внешний облик Джавата Гочали. В сознании Мак-Грегора встает образ человека, который являет живой пример глубочайшей преданности интересам народа. Весь облик Гочали, его поступки, беседы с ним убеждают Мак-Грегора в том, что Гочали борется за справедливое дело. Гочали завоевал не только личные, но и «политические симпатии» Мак-Грегора. Сближение с ним, как и ряд других причин, уже предопределило выбор Мак-Грегора.

Портрет у Олдриджа не просто живописная иллюстрация, он всегда отражает существенные черты духовного мира героя, будь то уверенный в своей правоте Джават Гочали, или погруженный в раздумье, лишенный внешнего лоска, но внутренне собранный и цельный человек науки Мак-Грегор, или утонченный аристократ, молодящийся лорд Эссекс, умеющий пускать в ход все свои чары ради достижения своекорыстных целей, человек, закостеневший в своих узкоэгоистических взглядах на жизнь и неспособный чему-нибудь научиться у других.

Углубленная реалистическая трактовка образов, раскрытие их психологии предполагает изображение их многообразных, прямых и опосредствованных связей с действительностью в общественном и личном плане. Внешний мир, окружающий героев романа, чувственно-материален, радует глаз богатством красок, разнообразием очертаний. Путешествующие по Ирану герои Олдриджа не могут равнодушно относиться к красотам природы. Вот с каким мастерством описан в романе открывающийся перед путниками вид на Хаджиабад: «Пологие холмы кончились так же внезапно, как и начались. Еще немного, и впереди на небольшой возвышенности показался Хаджиабад. В ярком морозном свете остророгого месяца лепились друг к другу красные, розовые, коричневые и желтые стены, едва поднимавшиеся над землей. Поселок словно притих в черно-синей пустоте. Посредине его высился тоненький столбик серебристого света. Это был стройный минарет, слегка тронутый с одной стороны сиянием месяца, а с другой — окутанный лиловой тенью». Эссекс, знаток живописи, воспринимает красоты пейзажа прежде всего с эстетической точки зрения, а Мак-Грегор вносит в оценки опыт ученого и знатока страны. Он не просто восхищается симметрией чудесной башни, но и высказывает предположение, что она «в свое время была сторожевой башней против курдских набегов». И это предположение звучит естественно в устах человека, отлично знающего страну. Это вовсе не значит, что Мак-Грегор лишен чувства природы, эстетического чувства. Он глубоко понимает природу, он испытывает «двойное наслаждение», какое свойственно ученому, «проникшему в тайну этих красот».

Именно проницательная Кэтрин Клайв по достоинству оценила «преимущества геолога в восприятии красот природы», как и цельность его натуры. Сложно складывалась капризная линия развития их личных отношений: художник обнаруживает то нарастание, то спад лирической струи, то приступы нежности, то взрывы колких насмешек Кэтрин Клайв, мечущейся между двумя антагонистами. И чем сильней проявляется нерешительность и колебания Мак-Грегора, тем яростнее колкие выпады Кэтрин против него, тем циничней ее тон. В Мак-Грегоре она обнаруживает ту же слабость, что присуща и ей самой. И тем проще, ближе и естественней становится изломанная Кэтрин Клайв, когда замечает, что Мак-Грегор, возможно, не станет лишь тенью лорда Эссекса, а выберет тот путь, по которому он должен идти.

Новаторским достижением Олдриджа является «открытие» нового Мак-Грегора, человека, расставшегося с иллюзиями нейтрализма науки и сделавшего смелый выбор, вставшего на защиту национально-освободительного движения как исторической необходимости. Лорд Эссекс выписан безусловно выразительно, и показан он с точки зрения передового мировоззрения, но Мак-Грегор представлял для писателя не меньшую, если не большую трудность — это исследование мало изведанного, но жизненно важного перехода в сфере сознания, в глубинах человеческой психологии. Без искусственных натяжек проследил Олдридж подготовку и наступление неизбежного «поворотного пункта» в убеждениях, в мироощущении героя, который почувствовал ответственность за судьбы национально-освободительного движения.

Мак-Грегор был волен сделать свой выбор, и он сделал его. Перед ним открывалась блестящая карьера преуспевающего чиновника, верного королевскому флагу и, вопреки своей совести и демократическим убеждениям, делающего все для упрочения незыблемости империи. Но он с мужеством человека, увидевшего историческую правду и ощутившего в себе силу, отверг этот путь ради служения интересам народа. Он не захотел утверждать свое благополучие, свою свободу на порабощении других народов, Мак-Грегор избрал тот путь, какому следуют лучшие представители английской демократической интеллигенции, и он обрел полную духовную свободу.

Перед выбором своего пути стоит в мучительном раздумье главный персонаж романа «Герои пустынных горизонтов» Нед Гордон, принимающий непосредственное участие в восстаниях кочевых племен Аравии, борющихся против марионеточного правительства Бахраза (вымышленное на-

звание), действующего по указке британских империалистов. Этот герой подобен человеку, который отчалил от одного берега и, обуреваемый сомнениями, не может решиться причалить к другому. Ему все время хочется найти место где-то между двух стульев, но такого места он не находит и найти не может, ибо его нет в самой действительности.

«Одиссей интеллекта» Нед Гордон происходит из семьи «твердокаменных снобов» (по характеристике сестры Гордона Грэйс), семьи, приученной свысока относиться к людям простого труда и в то же время «ненавидеть правящую клику». Своевольный анархиствующий бунтарь по натуре и воспитанию, Гордон мечется в поисках правды, но, скованный классовыми предубеждениями, проходит мимо нее. Историк-востоковед, человек честный и бескорыстный, он близко к сердцу принимает судьбы арабских племен, отстаивая их независимость и свободу. Он ясно видит, что́ несет народам колонизация, что́ значит закулисная англо-американская борьба за нефть. Его не пленяет ни толстый кошелек дяди Сэма, ни перспектива стать преуспевающим английским дельцом, «делающим деньги» на производстве средств уничтожения, как не увлекает и парламентская карьера. Борясь за сохранение патриархального уклада кочевой жизни арабов, разрушаемого неизбежным ходом общественного развития, Нед Гордон питает иллюзии найти здесь свой идеал личной, ничем не ограниченной свободы. Логике и жизненным фактам вопреки, с отчаянным упрямством он смотрит назад, а не вперед, и в этом проявляется его слепота, в этом и трагизм его личной судьбы.

На первый взгляд может показаться, что путь Гордона, героя пустынных горизонтов, зашедшего в безысходный тупик, как бы служит отрицанием жизнеутверждающего пути Мак-Грегора — пути к освобождению от иллюзий. Но Гордон это не Мак-Грегор. Гордон оказался более скованным буржуазными предубеждениями, чем Мак-Грегор. Гордон весь во власти идеалистических представлений о свободе личности, от которых он никак не может освободиться до конца трагически оборвавшейся жизни. Его личный крах выражает и крах философии своеволия, ничем не ограниченного буржуазного индивидуализма. Это вытекает из всей логики вещей: из сложного движения сюжета, из взаимоотношений действующих лиц, из бесконечных стычек и споров между Гордоном и любимой им девушкой — коммунисткой Тэсс, между ним и марксистом Зейном, стремящимся соединить воедино освободительное движение рабочих и крестьян Бахраза с восстаниями арабских племен за независимость.

Сложная задача развенчания идеалистических взглядов, развенчания буржуазного индивидуализма определила философскую направленность романа и вызвала необходимость жарких споров вокруг ошибочных воззрений Гордона Аравийского, определила сложный стилистический узор этого произведения. В этом — особенность романа «Герои пустынных горизонтов», внутренне полемичного в отношении всех тех произведений английской «высокобровой» литературы, в которых отстаивается, даже воспевается неограниченная «свобода личности». Гордон ощупью подходит к познанию исторической необходимости, но останавливается на полпути. И лишь только поэтому он обречен на тоскливое одиночество и в конечном счете на гибель.

Живая жизнь идет своим чередом, устремляясь вперед, хочет или не хочет этого Нед Гордон,— такова логика раскрытия действительности в романе «Герои пустынных горизонтов». Все близкие Гордону люди желают помочь ему освободиться от ошибочных воззрений. Чуткость и терпеливость проявляет Тэсс — дочь рабочих окраин Глазго, искренне озабоченная судьбами простых людей Англии. Олдридж очень убедительно показывает, как разница во взглядах неизбежно вносит холод и отчуждение в чистое чувство Тэсс и Гордона, как к словам радости Тэсс примешивается «тень печали». Всегда готов поспорить с Гордоном умный и дальновидный бахразец Зейн; он настойчиво разъясняет Гордону несостоятельность его суждений, весь их вред для дела освобождения арабов. И жизнь подтверждает слова Зейна. События национально-освободительного движения в арабских странах принимают именно тот оборот, какой предугадывал Зейн, вооруженный научным революционным мировоззрением. К его советам, как это ни досадно Гордону, прислушивается и дальновидный вождь арабских племен принц Гамид, видящий в единстве действий залог независимости своего народа.

Олдридж как передовой мыслитель и художник, всегда идущий от наблюдений над сложным процессом изменяющейся действительности, обладает завидным умением подмечать ростки новых явлений, верно схватывать перспективы общественного развития. Это его качество проявилось в «Дипломате» и в других романах.

Роман «Герои пустынных горизонтов» как бы предварял события национально-освободительной борьбы, развернувшиеся с такой широтой в арабских странах в последние годы. Основное направление их развития писателем схвачено верно, хотя, конечно, конкретно-исторический опыт помог бы внести новые штрихи, которые еще более обогатили бы этот сложный и интересный роман.

* * *

Олдридж сказал новое слово о минувшей мировой войне в своих ранних произведениях, принесших ему заслуженную известность, но это слово не было последним. Да оно и не могло им, в сущности, быть. Все, кто с интересом следил за развитием недюжинного дарования Олдриджа, были вправе ожидать появления романа «Не хочу, чтобы он умирал», освещающего дела и

дни английской армии в Египте и вплотную подводящего к пониманию истоков национально-освободительного движения в арабских странах. Велики были испытания, выпавшие на долю народов в их исторической борьбе с гитлеризмом, значителен и личный опыт Олдриджа, военного корреспондента, чтобы можно было его полностью исчерпать, даже в очень талантливых и свежих книгах, какими явились первые военные романы писателя («Дело чести», «Морской орел»). Глубокое внутреннее побуждение заставило писателя вновь обратиться в определенном аспекте к событиям второй мировой войны — ее уроки все еще имеют первостепенное значение в наши дни.

Военная тема у Олдриджа звучала иначе, чем в модернистских эстетских сочинениях с их копанием в разорванном, смятенном подсознании, чем в воинственно-апологетических романах, утверждающих извечную, незыблемую устойчивость «имперского» уклада, несмотря на все политические потрясения. У Олдриджа, жадно впитывавшего исторический опыт борющихся за свою свободу народов, военная тема представала как тема народного сопротивления.

Художник подмечал суровую правду истории, нисколько не обеляя, а, наоборот, развенчивая «верхи» — виновников человеческих трагедий и невосполнимых, порой бессмысленных утрат. Писатель вдумчиво и всесторонне отражал те сдвиги в сознании людей, которые влекла за собой война.

В романе «Не хочу, чтобы он умирал», связанном общей проблематикой с предыдущими произведениями, писатель находит свой аспект в развитии темы войны и темы пробуждающегося национального самосознания. Он сосредоточил свое внимание на том, как война еще больше расшатала искусственные путы «империи» и обострила кризис капитализма, обнажила противоречия английской действительности. Социальные противоречия проступают в армейской жизни: правящая каста чудовищно далека от низов, «повелители» империи и их прислужники из числа предателей народных интересов вызывают ненависть порабощенного египетского народа.

В образе кровавого генерала Черча, низенького краснолицего военного, у которого, по словам Скотта, руки были по локоть в крови, Олдридж беспощадно развенчал одного из верховных служителей империи. Ничтожный, бездарный и в то же время надменно кичливый представитель военной аристократии с полнейшей беспечностью и безответственностью совершает одну роковую ошибку за другой, очень мало заботясь о тех жертвах, которые несет в войне английский народ. Это — живое воплощение каирского начальства, преступные действия которого уже были в той или иной форме освещены в ранних романах. Это образ бездарного вояки — порождения всей системы буржуазных отношений.

Автор глубоко раскрывает тот факт, что война обострила элементы брожения и недовольства и среди прилежных строителей империи, которые не хотят быть слепыми и безропотными, хотя и щедро оплачиваемыми, слугами, и среди тех, кто нес постыдное бремя гнета и национального унижения и больше нести его не хочет, решительно вставая на защиту своих прав, на защиту своего народа. Процесс поисков сложен, иногда сопряжен с ошибочными, ложными шагами, и автор не упрощает всей сложности и мучительности рождения нового в сознании людей, рождения новых взглядов и отношений, прямо противоположных устоявшимся, традиционным. Не прихоть, а историческая закономерность определяет поступки и действия героев романа «Не хочу, чтобы он умирал». При яркой выразительности и верности в деталях роман с большой силой реалистического постижения действительности выражает существенные черты противоречивого общественного развития.

Герои романа «Не хочу, чтобы он умирал» вычеканены точно на меди. Художник делает приметной каждую черточку их лица, подчеркивает характерность их жестов, освещая движения внутреннего мира, искания мысли, порывы чувства. Он выразительно передает особые краски и стилистическую интонацию их речи, которая льется то бурно, то тихо и неприметно, как бы приглушенно, заключая в себе затаенный смысл, напряженность поисков живой мысли, выражая драматизм ситуации — драматизм общественных противоречий военного времени. Герои романа встают в воображении читателя не как аморфные, расплывчатые или условные абстракции, а как люди живой плоти со всем разнообразием в их склонностях, характерах, привычках, со всем различием их отношений к жизни, общественным движениям, к своему месту в них.

Медлительный и немного угрюмый капитан Скотт, вносящий в повествование тревожную ноту своими настойчивыми исканиями правды, и полярная ему противоположность, его антагонист кровавый генерал Черч, написанный гневно, сатирически; бунтующий, человечный Гамаль аль-Мухтар, прокладывающий пути к освобождению своего народа; деловитый и методичный Куотермейн, хорошо знающий не только технику, но и блуждающие в потемках человеческие души и пытающийся показать, как важно ясно видеть перспективы общественного развития; мастер своего дела ловкий механик-радист Сэм Гассун; яростный, вспыльчивый штурман Атыя, обладающий чувством пустыни и крайне изощренными математическими способностями; женственная Люсиль Пикеринг, со здоровым румянцем деревенской девушки, стремящаяся вновь устроить личное счастье и упрочить карьеру задиристого Скотта,— самые различные люди вовлечены в развернувшийся в романе общественный конфликт.

С первых же страниц романа запоминается ладная фигура Скотта, его лицо,

опаленное солнечными лучами и лишенное светотеней: «пустыня состарила и будто стерла его лицо, высушила все его тело». Но за сожженным солнцем покровом, как заметила Люси Пикеринг, «прятались очень точно вылепленные черты». Скотт еще больше замкнулся и ушел в себя после трагической истории в Джало: там по вине генерала Черча бессмысленно погиб офицер Пикеринг и почти все люди его отряда. Скотт оказался среди случайно выживших. Все началось с Пикеринга, а пошло дальше — Скотт столкнулся со всем строем общественных отношений. Человек незаурядного ума, до тонкости знающий и любящий свое дело, умеющий беречь людей от ненужной гибели, он столкнулся с полной и преступной безответственностью «вершителей» человеческих судеб. И с этим мириться не хотел и не мог.

Совсем не кажется странным, что линию исканий английского капитана Скотта как бы сопровождает и проясняет повествование о поисках египтянина Гамаля аль-Мухтара, хотя, конечно, различные побудительные причины поставили двух героев перед необходимостью принимать важные в их жизни решения, серьезно размышлять и решительно действовать. Представители разных народов и стран — страны угнетающей и страны угнетенной — постепенно находят общий язык, взаимное понимание в коренных вопросах бытия, в решении проблем, которые неотступно преследуют их.

Проблема выбора пути встала перед Скоттом как решающая в его жизни: идти ли ему проторенной и знакомой дорогой, какой шли его деды и прадеды, отдавая свои знания и опыт строительству империи, оставаясь в ней пасынками и укрепляя позиции кровавых черчей, или решительно восстать против вопиющей несправедливости, против всего, что глубоко возмущает Скотта и вызывает у него приступы бессильного гнева и ярости. Быть или не быть — современный вариант рефлексии, затаенных, почти подспудных раздумий, неизбежно прорывающихся наружу и властно дающих знать о себе. Обстоятельства таковы, что Скотт уже не может бесконечно молчать, он должен решать, должен действовать.

Из как бы случайно оброненных фраз мы воссоздаем в нашем воображении картины родословной героя, его предысторию. Ее лучше всего кратко обобщил Куотермейн: «Англичане утвердили себя на двух китах: на лицемерии и на технике, — говорил Куотермейн в откровенной беседе со Скоттом. — А это — вы. Я хочу сказать, что вы — это техника. Инженер, прокладыватель путей, лоцман — это вы. Это ваш отец строил каналы в стране и оснащал ее техникой, чтобы выращивать дешевый хлопок. Это — ваш пьяница-дед, который, как вы сами рассказывали, еще дома, в Перте, старался так тонко раскатать стальные листы, чтобы они годились для обшивки китобойных судов. Такие вот пасынки, как вы, построили Британскую империю, но вы построили ее для Черча и компании...» По глубокому убеждению Куотермейна, время всех этих властителей империи — «командующих, губернаторов, канцлеров, вице-королей, земельных магнатов, плохих генералов» — прошло. Молодому Бентинку, одному из родовитых потомков этих властителей империи, после войны, по словам Куотермейна, уже «не достанется ни шиша». Сэм Гассун и подобные ему наследуют по праву то, что у них было отнято: «Миру Бенти пришел каюк, — говорит Куотермейн, — и мир Сэма грядет. Все уже решено и подписано, Скотти. Это история, капитан! История. Надо и вам делать выбор, не то вас захлестнет хаос».

Скотт не может быть прежним безмятежным Скоттом, отдававшимся лишь захватывающим целям научного исследования неизведанных пространств. Трагическое уже непоправимо совершилось — по вине Черча, у которого руки в крови и которому он в лицо бросил обвинение в убийстве Пикеринга и его отряда; этот факт, как и многое другое, бередит душу честного и прямого Скотта. Его страшит судьба людей, за которых он отвечает, он испытывает недоверие к каирскому начальству, которое бездушно бросает людей в костер войны, прикрывая свою беспомощность и неумение всякими «высшими» соображениями. «Страх за отряд стал преследовать его как наваждение: он не верил больше в предусмотрительность командования. И не только генералу Черчу, а им всем, — его точила мысль о тех провалах, которые сводили на нет тяжкий труд солдата, его бесконечную игру с опасностью, но никак не волновали каирское начальство».

Еще не поднялся занавес, а кровавая драма уже совершилась, отбрасывая огненные блики на все происходящее, порождая тяжелое, мрачное раздумье капитана Скотта. Разговоры и споры героев вспыхивают непринужденно, возвращая действие к прошлому, освещая его со всех сторон, чтобы как-то выяснить и решить проблемы будущего. Композиция романа, отличающаяся естественностью и простотой, очень динамична и служит целям реалистической обрисовки героев в их поисках. Крутые повороты в судьбах героев оправданы всем ходом событий.

Как ни медленно «распаляется» Скотт, как ни медленно он раскачивается — в его душе назревают перемены. Олдридж мастерски, всесторонне, с большой психологической глубиной мотивирует это приближение к поворотному пункту в сознании, в убеждениях героя, вызванное жизнью. Лед трогается, но трогается сначала очень медленно, после того как происходило невидимое сжатие и раздавался гул ломающихся льдин. Но вот оно началось — это еле заметное движение, которое все ускоряется, воды вырываются наружу, образуя неудержимый весенний паводок. Как и всякая аналогия, это сравнение очень условно и лишь подчеркивает силу начавшегося дви-

жения, не передавая всех оттенков и переходов, сложной диалектики душевных движений, которые совершались в сознании Скотта, томимого желанием найти правильный выход в той острой ситуации, в какой он оказался: увидев зло, он не мог с ним равнодушно мириться. Но нелегко Скотту сделать выбор, многое затемняет ему истину. Даже Куотермейну, к которому он, вообще говоря, относится с уважением, но в то же время и с известным скептицизмом к его советам,— он не верит на слово. Он ищет и хочет сам до всего дойти, докопаться до истины и не принимать на веру готовые решения, даже если они исходят от дружественно расположенного к нему человека.

Художник не грешит против правды действительности, наглядно выявляя то, что́ именно мешает Скотту прямо и безоговорочно принять ясную и последовательную точку зрения Куотермейна, его трезвую классовую оценку событий, хотя Скотт как будто и движется в близком направлении. Велика сила инерции, сила предубеждений и иллюзий абстрактного гуманизма, которые еще цепко держат Скотта в плену. Так же как и Пикеринг, он склонен ясную оценку событий заменять туманными рассуждениями о «человеке вообще». Он инстинктивно тянется к низам, презирая «верхи», отчетливо видя их никчемность, но страшится сделать решительные, логические выводы. Об этом ему прямо говорит Куотермейн, видя в нем незаурядную личность, скованную ошибочными, иллюзорными представлениями о мире. «Вы подсознательно делаете выбор, — замечает Куотермейн, — но при этом морочите себе голову теориями Пикеринга насчет *человека* вообще. Пожалуйста! Человек — конечно большая ценность. Но это только начало решения вопроса, а не конец. Люди делятся на имущих и неимущих, вот в чем суть!» Вызывая Скотта на откровенность, споря с ним, Куотермейн стремится доказать бесплодность его межеумочной позиции «вундеркинда из специалистов». «...День уж на исходе и ночь близка. Вам надо решить, чьими все это сотворено руками. И тогда обнаружится, что вы неимущий, нравится вам это или нет». В ироническом замечании Куотермейна о том, что ему надо бы постараться обратить Скотта в правильную веру, но что «Черч, ей-богу же, сделает это лучше меня», содержится меткая характеристика того горького опыта, который вынес Скотт, тесно соприкоснувшись с миром кровавых черчей.

Эта кровавая школа черчей не проходит даром для Скотта. «Огнеупорный герой» «безошибочных решений», привыкший твердо стоять на земле, почувствовал, что почва у него уходит из-под ног. Он поколеблен в самых основах, он доходит до войны с Черчем, сомнения одолевают его. Он объявил войну Черчу, но все же не знает, с чего начать, хотя последующие события, в том числе и разговор с генералом Уорреном, мягко отстаивающим право на ошибки, и убеждают его в необходимости вести эту войну. Его совесть не спокойна, ибо он видит, что «такие люди, как Черч и ему подобные, превратили в пытку войну в пустыне. Своими оплошностями они обрекают нас на верную гибель. Заранее знаешь, что бессмысленно погибнут лучшие люди. И только из-за глупости тех, кто претендует на *право* делать промахи. Тут я согласен с Куорти и считаю, что это должно когда-нибудь кончиться».

Вот на чем Скотт сошелся с Куотермейном, как и с Гамалем, — на желании положить предел всей бессмыслице и неразберихе, всей несправедливости, какую он видит, но как это сделать, он еще не знает. Любящая и по-своему выделяющая его среди других Люси Пикеринг тянет героя на старый путь, стараясь ввести его в избранный круг влиятельных лиц, упрочить его карьеру. Здесь она и Куотермейн выступают как антагонисты.

Художник открыл и эстетически утвердил в образе Скотта черты независимости и неподкупности. Он ищет только правду. Неприкаянным и чуждым он чувствует себя в розовом саду генерала Уоррена среди привилегированных военных. Человек с разбуженной совестью, человек, поглощенный мыслью об отмщении Черчу, не мог так легко прельститься перспективами блестящей карьеры, которая открывалась перед ним. Весь этот мир влиятельных лиц, готовых признать его таланты, опыт, знания, готовых выделить его из массы других и сделать своим, отталкивает его, а бунтующий египетский капитан Гамаль аль-Мухтар завоевал его внимание, а затем и искреннее дружеское расположение. Ведь как-никак они оба искатели, оба не хотели сторониться правды, хотя и совершали ошибочные шаги на своем пути в утверждении исторической справедливости.

Выстрел Гамаля в предателя интересов египтян — новый кульминационный момент в развитии драматического действия романа, оттеняющий интенсивность мрачных раздумий Скотта и напряженность поисков Гамаля, выступающего защитником попранных прав народа. Выстрел Гамаля прозвучал именно в тот момент, когда Скотт мучительно искал для себя ответа на вопрос — как же ему разделаться с проклятым Черчем, чтобы не оставить безнаказанным содеянное им. Вот что бередило его совесть, заставляло помышлять не только о разоблачении Черча, но и о физическом его уничтожении. Но выход ли это? В своей борьбе против Черча Скотт наталкивался на целую систему. Что в ней мог изменить единичный террористический акт? Не будет ли он очередным донкихотством? И вот выстрел Гамаля... Он обострил все тревоги Скотта — не здесь ли выход и для него самого? Скотт не выдал Гамаля, он помог ему скрыться. Он и не мог выдать его, хотя не считал себя ни другом, ни врагом и с холодным скептицизмом нарочито подчеркивал в разговоре с ним, что он еще может его выдать. Но это было скорей позой, чем истинной сущностью Скотта. Уже

в тот момент Скотт знал, что́ побудило Гамаля решиться на этот отчаянный поступок.

Олдридж предоставляет полную свободу своему герою размышлять над тем, что он увидел в Египте, и сквозь призму восприятий Скотта создается печальная картина страданий и унижений египетского народа. Скотт не мог и не хотел отвернуться от этой правды и закрыть на нее глаза, «понимание гнездилось у него в душе». Он понимал, откуда проистекает у Гамаля ненависть к англичанам, он знал ее причину — «нищету и страдания народа», и потому она «казалась ему естественной, в ней не было ни коварства, ни несправедливости, он понимал ее закономерность».

Встречи с Гамалем вносят новые важные штрихи в духовную эволюцию героя, пробуждая лучшие человеческие чувства. Он выказывает искреннее дружеское расположение и серьезную тревогу за жизнь и судьбу Гамаля, снимает с него бремя тяжких подозрений: неужели и этот англичанин — предатель. Если сначала Скотту казалось куда более важным, чем все остальное, прежде всего для себя уяснить — чего же достиг Гамаль своим одиночным убийством, то потом выступают и заботы о самом Гамале: рискуя, как английский офицер, многим, Скотт стремится встретиться с Гамалем и, если возможно, вызволить его. Он становится все более человечным. В этом проявляются глубина и тонкость социального и психологического анализа писателя, вскрывшего глубокие общественные мотивы, движущие Скоттом.

Выстрел Гамаля принес Скотту неутешительный ответ — при всех лучших побуждениях Гамаля-патриота, мечтавшего о величии родины, этот одиночный акт отчаяния не сможет внести существенных изменений в систему насилия и гнета, не поможет «вырубить лес продажности и угнетения», как того хотел Гамаль. Он понял, что это ошибка, хотя и «достойная ошибка». Мужественный шаг Гамаля помог Скотту еще яснее осознать, что и у англичанина есть выбор между правдой и неправдой. И он этот выбор сделал; увидев перед собой «напыщенную физиономию кровавого Черча», он «вдруг почувствовал, что вся его долголетняя привычка выжидать куда-то исчезла», он избавился от «вредной» черты своего характера. «Теперь он мог себе ответить на мучавшие его вопросы: и относительно Гамаля, и относительно Куотермейна, себя самого и бессмысленной гибели людей». Наконец-то Скотт обрел самого себя и покончил с растлевающим душу выжиданием. Это пришло к нему неизбежно, как итог всех мучительных раздумий, как спасительный итог. Нет, Скотт, как и Гамаль, не позволит растлить свою душу.

«Придите к нам», — сказал Гамалю полицейский. «Придите к нам», — сказал генерал Скотту. Ответ был один и тот же, только тут не было нужды стрелять. «Все, что от вас требовалось, — это отклонить великодушное предложение»,

Скотт решительно его отклонил, как Гамаль отклонил какую-либо возможность капитуляции и пресмыкательства, несмотря на реальную угрозу расправы. Весь ход действия подводил героев к той черте, когда они сказали свое решительное «нет», пусть одному из них грозило крушение карьеры и, может быть, утрата надежд на личное счастье с Люси Пикеринг, а другому — смерть. Это не остановило их.

Встречи и откровенные беседы Гамаля со Скоттом освещают богатый духовный мир египетского патриота. Всеми своими помыслами герой связан с народом, он живет страстной мечтой о его будущем, которое он нетерпеливо и горячо хочет утвердить. Реальный мир разнообразных интересов Гамаля предстает сначала в восприятии Скотта, в его мыслях о судьбе глубоко заинтересовавшего его человека, а также в самих поступках и откровенных признаниях Гамаля. Победа реализма художника в обрисовке образа Гамаля аль-Мухтара состоит в том, что Олдридж делает его интимно знакомым, с его национальными чаяниями и со всеми особенными черточками, с его горячим темпераментом. В Гамале нет ничего от мистической таинственности и экзотической примитивности, от экзальтированности «непостижимого» человека Востока, каким он рисовался иным писателям.

Выстрел в ночи в Хусейна Амера пашу, самого проанглийского политического египетского деятеля, показал, каким нетерпеливым желанием изменить ход жизни был одержим Гамаль и трое других его единомышленников, испытывавших презрение и ненависть к колонизаторам и предателям своего народа. В этих испытаниях раскрылся характер тяжело раненного Гамаля — «человека с пулями в животе» и «встревоженными, жадными глазами», каким он встает в памяти Скотта. Скотт при новых с ним встречах все более способен понять истинные побуждения Гамаля, томление его духа и борьбу с самим собой — прав он был или не прав, поднимая руку на пашу. Ведь не чувство личной мести, не жажда власти, а лишь искреннее желание хотя бы в какой-то мере помочь освобождению народа, внести иоту надежды — вот что руководило им. «Убрав одного человека, — говорил Гамаль Скотту, — мы надеемся предостеречь *других*, ...помешать *другим* длить наш позор. Мы надеялись поднять дух нашего народа, заставить его бороться». Поняв, что он ошибся, Гамаль еще, на наш взгляд, не нашел ответа: конечно, лучше создавать, чем разрушать, но историческая необходимость требует и разрушать то, что противится появлению нового, но только не в тех индивидуалистических формах, к каким прибег Гамаль Гамалю еще предстоит решить, что он должен делать, чтобы избавить страну «от проклятых англичан», но ясно, что освобождение не придет само собой.

Предпосланный роману эпиграф, как и его название, взяты из работы Гамаля Абдель Насера «Философия революции», осве-

ющей опыт египетского национально-освободительного движения. Взятый в общем контексте книги эпиграф, отражая одну из фаз египетской революции, говорит о том, что идея индивидуального политического террора как метода «решительных действий» утратила в глазах ее участников свою привлекательность, и они должны были искать новых путей для осуществления своей мечты об освобождении египетского народа.

Многозначительно замечание Скотта о том, что нельзя «сделать яичницу, не разбив яиц». На его вопрос, что Гамаль и его единомышленники «намерены делать, чтобы спасти вашу страну от проклятых англичан», Гамаль дает такой ответ: «Мы решим, что нам делать». Это решение еще должно быть выношено на опыте исторических уроков. Поиски героев еще не закончены. Но ясно, что роман «Не хочу, чтобы он умирал», подобно другим произведениям Олдриджа, не ставит под сомнение необходимость борьбы с общественным злом. Разговор идет не о непротивлении злу насилием, не об устранении отдельных личностей, а о борьбе с системой национального и социального гнета в целом.

Речь героев принимает характер диспута, носит напряженный, взволнованный характер. Она помогает двум ищущим людям найти истину, рассеять сомнения и даже чувство известного смятения, которое испытал Гамаль. Она будит мысль, порождает надежду на будущее. Мечта Гамаля о величии родины, о появлении того, кто должен прийти, сопровождается лирической заставкой, полной света: «Скотт смотрел в сад, на глинобитную стену, освещенную солнцем. Комнату наполняли полутьма и прохлада, а снаружи, в заросшем саду, слепило и пекло солнце. Там было лучше. По сухой и твердой египетской земле пробегали легкие, ненадежные тени. Ползучая бугенвиллея на шпалере высохла, пропылилась, и казалось, сама чирикала от множества сидевших на ней воробьев».

У художника ясное, жизнеутверждающее видение мира. В драматических сценах свиданий двух героев, особенно в завершающей, заключительной сцене свидания, когда Скотт ободряет Гамаля, — к его сердцу «прилила горячая волна, но он знал, что это не жалость», — ясно звучит ободряющий голос надежды. Гамаля «здорово потрепали на допросе, взгляд у него был какой-то отсутствующий... но лицо по-прежнему выдавало самого волевого и самого здравомыслящего человека, каких Скотт когда-либо видел».

Очень непринужденно льется этот спор-диалог, принимающий самые острые формы, освещающий со многих сторон поднятые жизнью проблемы. Серьезность и значительность этого разговора несомненны, и протекает он в самой живой форме. Колоритная, образная речь Гамаля не кажется вычурной — она естественно звучит по-арабски. И Гамаль всякий раз прибегает к родному языку, когда хочет полней, откровенней и сильнее довести свою мысль, пробудить в сердце англичанина чувство дружбы. Олдридж удачно и оправданно вводит эту многокрасочную лексическую игру в живой поток эмоционально насыщенной речи.

В самых тяжких испытаниях Гамаль остается человечным человеком, приверженным своему нравственному идеалу — быть достойным своего народа. Гуманистическая трактовка образа Гамаля, выражающая историческую правду, внутренне полемична. Роман противостоит всем вымученным и чахлым созданиям модернизма, пытающимся исказить демократическую сущность героев народного возмущения, внушить страх перед теми силами, которые несут избавление от колониального и социального гнета.

Высокое мастерство диалога обнаруживает Олдридж-рассказчик в романе «Не хочу, чтобы он умирал», само название которого звучит как страстная реплика в большом и волнующем споре, как выражение лучших человеческих побуждений.

Подводное течение мысли, глубокой и содержательной, проявление эмоций гнева, яростного негодования, презрения, знаков дружественного расположения и сочувствия — очень многое передано в этих броских, кратких и подчас острых, как бритва, репликах романа. Именно диалогическая форма раскрытия конфликтов и драматических событий минувшей войны является в этом романе, пожалуй, преобладающей. Отчетливо слышатся в общем хоре различные голоса, и трудно смешать их тембр, их особую окраску, интонацию. Художник наделяет своих героев не только приметными чертами характера, но и характерной внешней манерой выражения и своим особым складом мыслей и складом речи. В столкновении различных мнений и идей познается истина, проясняется в сознании героев истинный ход исторических событий, но это столкновение идей дано через столкновение человеческих характеров с их личной судьбой, с их исканиями, заблуждениями, открытиями.

Оставаясь непременным участником спора и находя обобщенные художественные оценки событий, художник дает волю движению и самораскрытию характеров, выявляет сложные, мучительные, но в силу исторических условий неизбежные поиски новых путей к более осмысленному человеческому существованию. В этом романе, как и в предшествующих, свобода выбора героя, его устремленность в будущее глубоко, мотивированно, с полным раскрытием индивидуального своеобразия пути героя определяются в конечном счете исторической необходимостью. И в этом залог жизненности, правдивости и эстетической значимости романа «Не хочу, чтобы он умирал».

Ю. Кагарлицкий

О Джозефе Конраде

(К 100-летию со дня рождения)

О Джозефе Конраде нельзя, пожалуй, сказать, что ему не повезло у нас в критике или в переводе. Писали о нем немало и почти все его книги перевели на русский язык. Критики в оценке Конрада разошлись — одни ругали, другие хвалили. К тридцать пятому году этот спор был, можно сказать, доведен до конца—Конрада перестали печатать, и критики перестали доказывать, одни — что Конрад романтик и, значит, хорош, а другие — что он, Конрад, романтик и, значит, плох.

Читатель, которому случайно попадется под руку роман этого автора, с трудом, вероятно, сумеет соотнести его с теми или иными привычными для него литературными явлениями. Конрад писал о море, о приключениях в далеких неизведанных странах, о дерзости первооткрывателей, о людях сильных страстей, и на первый взгляд его проще всего причислить к авторам приключенческих романов. Однако человека, пожелавшего увидеть в нем второго Стивенсона, Конрад не удовлетворит. Его герои покажутся слишком сложными, действие порой слишком растянутым. К новеллам и небольшим повестям Конрада (таким, как знаменитая «Фрейя Семи островов», «Конец рабства», «Тайфун», замечательный антиимпериалистический рассказ «Форпост цивилизации») это относится в меньшей степени, к романам — в большей. В конечном же счете, все творчество Конрада весьма далеко от жанра приключенческой литературы. Слишком сложны проблемы, к которым обращается писатель. Слишком сложны задачи —идейные и творческие, которые он перед собой ставит.

В одном, как мы видели, враги и друзья Конрада сходились — в том, что он был романтиком. Жизнь, которую он прожил, тоже была жизнью романтика.

Теодору Йозефу Конраду Коженевскому, будущему английскому писателю Джозефу Конраду, исполнилось всего пять лет, когда его отец, малоизвестный польский литератор, был сослан в Вологду за участие в подготовке восстания 1863 года. Мальчиком Теодор Йозеф очутился на Украине, подростком — в Галиции, юношей поступил на французский корабль и несколько лет спустя сдал экзамен на звание офицера английского торгового флота. Еще через несколько лет мы встречаем Теодора Коженевского капитаном корабля. В 1895 году английские читатели познакомились с первым романом Джозефа Конрада.

Конраду было в это время уже около сорока лет. Впечатлений у него было накоплено на весь остаток жизни. Литературный опыт его к тому времени тоже был немал. Уже много лет подряд этот немногословный, сдержанный и строгий морской офицер, встав со своего места во главе стола кают-компании, запирался в каюте и, отодвинув хронометры, клал перед собой лист начатой рукописи, который надо было переписать набело, потом снова править и снова переписывать. Он только один раз за все эти годы читал другому человеку написанное. Среди пассажиров своего корабля он встретил как-то молодого юриста, специализирующегося по мореходному праву. Они разговорились — сначала о море, потом о литературе, которая интересовала пассажира значительно больше его собственной профессии. Конрад увел его в свою каюту и долго читал ему. Молодой человек слушал, хвалил, но ни словом не обмолвился о том, что тоже собирается писать. Несколько лет спустя молодой человек обратился к литератору Конраду с просьбой помочь ему напечатать сборник рассказов «Четырьмя ветрами», написанный в манере, очень близкой к конрадовской. Фамилия молодого человека была Голсуорси. Они остались друзьями на всю жизнь.

Голсуорси уже несколько лет спустя старательно скупал и прятал сохранившиеся экземпляры своего первого романтического сборника. Конрад до конца остался верен романтической новелле. И все же в известном смысле Конрад и Голсуорси делали одно дело.

В конце девятнадцатого века английская литература начала все больше отходить от специфически английской традиции «гротескного реализма», от принципов Филдинга, Смоллетта, Диккенса. Обыденней становятся обстоятельства жизни героев, детальнее психологический анализ. Английский реализм постепенно сближается с реализмом

французским и русским. Центральными именами в романе и новелле становятся для английских литераторов имена Тургенева, Мопассана, Флобера, а несколько позднее — Толстого и Чехова.

В движении от реализма XIX к реализму XX века, от реализма эпохи «свободного» буржуазного развития к реализму эпохи империализма немалую, хотя и очень специфическую, роль сыграл Конрад.

Иные критики даже отказывались признать Конрада английским писателем, объявляя его некой «славянской душой» или, в лучшем случае, «общеевропейским писателем», случайно писавшим по-английски. Эти критики ссылались на то, что, перечисляя авторов, которым он больше всего обязан, Конрад говорит о Тургеневе, Мопассане, Франсе, Доде, Флобере, но не упоминает ни одного англичанина. При этом забывают, что Голсуорси тоже не называл в числе своих учителей ни одного английского писателя. Ни в том, ни в другом случае это, разумеется, не означает, что таковых не было. Просто английская традиция была усвоена Конрадом и Голсуорси настолько органически, что об этом можно было и не говорить; Конрад, изучавший английский язык по литературе, и в первую очередь по Диккенсу, «Холодный дом» которого навсегда остался его любимым произведением, усвоил эту традицию, может быть, даже более органически, чем его молодой друг. Голсуорси, наряду с Харди, явился создателем английской реалистической новеллы. Конрад, несмотря на то что он проделал очень значительный путь от девятнадцатого века к двадцатому, продолжал работать в старой английской традиции новеллы романтической. Достаточно прочитать хотя бы один рассказ Конрада, чтобы убедиться, насколько полно и глубоко усвоил он уроки стиля и мастерства, преподанные английскими классиками девятнадцатого века.

Конрад подчеркнул и выделил романтические элементы Диккенса. Но необычайное у Диккенса становится обычным у Конрада, потому что необычна сама обстановка, в которой действуют его герои, и притом — если у Диккенса психологический анализ вступает в свои права в тех случаях, когда герой переживает самый напряженный, кризисный момент своей жизни, у Конрада он присутствует всюду, ибо его герои живут жизнью, в которой каждый момент — самый напряженный. Психология становится у Конрада, как и у Голсуорси, уделом каждодневности, но сама каждодневность у него необычна оттого, что страсти его героев — это не страсти людей, сидящих у домашнего очага. Они обыденны на море и необычны на суше.

Герои Конрада всегда находятся как бы перед решительным поступком. Все, что они делают, служит внутренней подготовкой к этому поступку. Они живут в ощущении этого главного, конечного деяния, хотя делают пока что только самые обыденные вещи. Духовная жизнь героя не просто богата, а целеустремленно напряжена. Он живет в мире, насыщенном событиями. Он борется со стихиями. Ему часто отведены какие-то доли секунды для принятия важнейших решений.

Отсюда рождается у Конрада психологический подтекст, составивший одно из важнейших завоеваний реализма XX века. Подобный подтекст характерен, например, для «Тихого американца» Грэхема Грина или, выходя за рамки собственно английской литературы,— для Хемингуэя. Нельзя сказать, чтоб этот метод уже выкристаллизовался у Конрада. Хотя герои его немногословны, автор очень часто знакомит нас с одним, а то и несколькими рассказчиками, объясняющими поступки героя. Но чем меньше объясняет Конрад, тем он сильнее.

Впрочем, не слишком ли много имен художников-реалистов появилось вокруг имени романтика Конрада? Не удивительно ли, что сам Конрад не числит среди своих предшественников ни одного романтика,— нет их и среди тех, кому проложил он путь. Нет, в этом нет ничего удивительного. Путь от реализма просветителей к реализму девятнадцатого века лежал через романтизм. Путь или, по крайней мере, участок пути от реализма девятнадцатого к реализму двадцатого века лежал через временное усиление романтических тенденций в литературе. И каждый раз, пройдя через романтические тенденции, реализм выходил психологически насыщеннее.

Содержанием романтизма Конрада, как бы оно ни было опосредствованно, всегда остается крах иллюзий буржуазного общества, надежда на что-то новое, лучшее, более человечное и светлое.

Своих героев он увел в страны яркого солнца, где человек не скован столькими условностями, где шире душевные движения и свободнее изливаются страсти,— увел подальше от опротивевшего мира буржуазной подлости и буржуазной корысти. Мало того, что он пишет почти исключительно о море и далеких странах; он рассказывает о тех давно минувших временах, когда там «еще считались с отдельными людьми». Но, изолировав человека, насколько возможно, чтоб изучать его отдельно от общества, Конрад в процессе изучения обнаруживает полную обусловленность его судьбы все тем же обществом.

Герой Конрада может уйти от трущоб Лондона — он не уйдет от проблем, которые родились в этих трущобах.

Можно сказать, что если бы Конрад не был романтиком, он не вошел бы в традицию реализма. Конрад писал в период, когда декадентская литература на все лады разрабатывала темы упадка, кризиса, распада человеческих связей. И если мы вправе рассматривать сегодня Конрада как писателя, во многом разрывающего рамки декадентской литературы, то исключительно потому, что романтизм Конрада сумел в конечном счете восторжество-

вать над пессимизмом и неверием в человека.

Конрад в подлинном смысле слова был сыном своего века. Трудно найти писателя, который бы так остро чувствовал кризисность своей эпохи, почти физически ощущал тупик, в который зашла буржуазная мысль. Когда общественные идеалы прошлого изжиты, когда идеалы будущего неясны или неприемлемы, основной темой литературы становится тема одиночества. Она же — в центре внимания Конрада. Всякий человек говорит на своем собственном языке; каждый преследует свои корыстные цели; никому не дано понять другого.

Обреченность человека на одиночество декларировалась уже в первом романе Конрада «Каприз Олмейера» (1895). Голландец Олмейер живет в одном из далеких княжеств Малайского архипелага. Он здесь единственный белый; какие-то невидимые перегородки стоят между ним и всеми окружающими. Но и в собственной семье Олмейер одинок. Его презирает жена, его не уважает дочь — да и за что уважать этого слабого, опустившегося человека? Однако и Найна, дочь Олмейера, мучается одиночеством — мучается тем, что нет человека, способного ее понять, мучается, что не может любить своего несчастного отца и помочь ему своей любовью. Впрочем, у Найны есть способ избавиться от своего одиночества, способ, доступный только молодым. Она бежит из дому с малайским принцем Дейном — бежит, отнимая последнюю привязанность у другого человека — своего отца, бежит, чтобы, когда пройдет любовь, снова почувствовать всю меру человеческого одиночества.

Читая романы Конрада, поражаешься, как часто его герои оказываются один на один с природой где-то в далеких уголках земли, на необитаемых островах, среди людей другого языка, других обычаев, другой жизни.

На необитаемых островах... Уж не робинзонада ли это?

Да, это своеобразная робинзонада, только катастрофа, разбросавшая героев Конрада, была страшнее крушения корабля, на котором плыл купец из Йорка, Робинзон Крузо, — это крушение всех иллюзий века, вернее, двух веков.

XVIII век объявил человечество многочисленными робинзонами крузо, каждый из которых борется сам за себя, но тем самым способствует и благу всего человечества, робинзонами, заключившими между собой общественный договор. Конрад знает, что общественный договор давно уже перестал приносить плоды. Феодальная жестокость была обуздана, но на смену ей пришла жестокость чистогана.

Очевидно, один материальный интерес не может служить здоровой основой для жизни общества. Корысть неспособна ни поднять людей до осознания великих нравственных принципов, ни объединить их. Робинзонада — это одиночество. Но робинзонада остается, вместе с тем, фактом жизни буржуазного общества, а для Конрада — всякого общества, потому что общество, в конце концов, не может быть основано на чем-либо ином, нежели материальные интересы. Отсюда тоска по истинно человеческому, которой проникнуты все романы и повести Конрада, отсюда глубокий пессимизм, который служит исходной точкой для всех его построений. Исходной точкой, но не конечным выводом.

Конрад боготворил море. Мало кто с такой любовью, с таким знанием и мастерством описал спокойные его дни и страшные штормы, рокот берегового прибоя и тихую смену красок на морской глади, сквозь которую словно просматриваются неизмеримые глубины океана. Но Конрад любил море и за то, что на нем раскрываются сила и неустрашимость человека.

«Надо ли говорить вам, что значит идти по океану в открытой шлюпке? Помню ночи и дни полного штиля, когда мы гребли, а шлюпка, казалось, не двигалась с места, как будто обреченная вечно оставаться в пустом кругозоре морей. Помню зной и ливень, грозивший затопить нас (но наполнивший наш бочонок), помню последние шестнадцать часов за рулевым веслом, которое направляло по прибойной волие мое первое судно. И то, как рот мой весь ссохся, словно зола. До того я и не подозревал, что́ я за человек. Помню запавшие щеки, обмякшие тела моих двух матросов и помню свою молодость и чувство, которое уже никогда не вернется, — чувство, что я буду жить вечно, переживу море, землю и всех людей...» («Юность», 1898).

Конрад, в отличие от Стивенсона, не скрывает от читателя всех тягот морской жизни. Он не скрывает от него всех ее опасностей. Его море — это не живописное море с голубой литографии. Его злодеи — это не живописные пираты Стивенсона, которые непрерывно палят из пистолетов, но никогда не попадают в цель. Тесные кубрики, просоленная одежда, грязные, разбухшие в воде тяжелые сети — и труд, непрерывный тяжелый труд...

И за это Конрад еще больше любит море, любит его так, как никогда не мог бы любить турист, как любит море труженик, навеки связавший себя с ним, как мог любить его только человек, приведший к берегу «свое первое судно» — маленькую шлюпку, когда корабль, на котором он служил, загорелся посреди моря.

Мир, по Конраду, как море, — такой же огромный, такой же непонятный, бесконтрольный и требующий всех нас целиком, всех наших сил и всех наших мыслей. И каждый раз, когда Конрад пишет о том, как люди преодолевают стихию, мы узнаем о том, как человек умеет отстоять себя и все, что ему дорого, от жестоких противоборствующих сил. В море на корабле человек не одинок. Здесь он трудится бок о бок с другими, здесь у людей общие радости и общие опасности. Здесь у них общая

судьба, и она в руках у каждого из членов команды.

Морские повести, рассказы и романы Конрада, появляющиеся одни за другими после первого его романа, свидетельствуют о том, что Конрад все более настойчиво утверждает свои идеалы. Романтика моря, романтика большой человеческой судьбы — такова тема и романа «Негр с «Нарцисса» (1897), и повести «Юность», и романа «Лорд Джим» (1900), и повести «Тайфун» (1903). Их герои зачастую, очень простые люди с очень большими недостатками, но ценность человека определяется по тому, каков он в момент испытаний. Тогда обнаруживается то замечательное, часто не видимое простому глазу, что скрывается в человеке. Капитан Макуир («Тайфун»), угрюмый тупица, больше всего обеспокоенный тем, чтоб замки на пароходе были в порядке и чтоб слона на флаге (судно ходит под сиамским флагом) не подняли как-нибудь по ошибке вверх ногами, в момент шторма показывает себя настоящим героем. Он думает не о себе. Когда вся палубная команда забивалась в укромные уголки, часами простаивал он на капитанском мостике, продолжая упорно своим прежним ворчливым голосом твердить: «Мне не хотелось бы потеряет его» — свой корабль. Тяжелое бремя несут матросы, герои романа «Негр с «Нарцисса», но в свободное от вахты время они высыпают на палубу, с восторгом следя за ходом своего судна, «прекрасного существа», созданного где-то на берегах Клайда под грохот молотов, в черных водоворотах дыма и уплывшего в солнечный мир, чтобы завоевывать сердца людей...

В 1904 году Конрад выпускает роман «Ностромо» — свой самый социально-конкретный и, можно сказать, реалистический роман. Конрад рассказывает историю одной южноамериканской республики, в течение какого-нибудь десятилетия проделавшей путь от феодализма к капитализму. Героям этого романа суждено на собственном опыте убедиться, что их мечты об утверждении справедливого строя идут прахом, столкнувшись с реальностью буржуазного чистогана. Столько крови было пролито, столько жизней загублено, чтобы на смену феодальной жестокости пришла жестокость капитализма...

После написания «Ностромо» подъемы у Конрада все время чередуются со спадами. В 1911 году Конрад публикует роман «На взгляд Запада», написанный под явным влиянием плохо понятого Достоевского, а всего год спустя он выпускает одну из лучших своих книг — «Фрейю Семи островов» — повесть о красоте и силе человеческой любви. В сборнике рассказов «Приливы и отливы», появившемся в 1915 году, рядом с замечательным, гуманным рассказом «Из-за долларов» стоит типичный «рассказ ужасов» — «Гостиница двух ведьм».

В 1915 году, двадцать лет спустя после «Каприза Олмейера», Конрад опубликовал роман «Победа», в котором писатель подводил итоги своему духовному развитию за минувшие — самые творческие — два десятилетия своей жизни.

Аксель Гейст, герой «Победы», в молодости покинул Европу и много лет скитался по островам Малайского архипелага. Но и здесь он не нашел себе места. Презирая буржуа, он изверился в человеке вообще. Вернуться к дикости? Но дикости достаточно и в современном «цивилизованном обществе». не от нее ли он бежал? Гейст бродит по свету наблюдателем, чураясь всякого действия, ибо оно, по его мнению, неизбежно носит корыстный характер. В конце концов он поселяется на необитаемом острове и лишь изредка наведывается к людям.

Впрочем, так ли просто уйти от общества? Человек большой души, Гейст спас бедную девушку Лену, которую преследовал трактирщик Шомберг, и перевез ее на свой остров. Теперь они одни, вдали от людей. Но скоро к ним являются «посланцы общества» — авантюристы Джонс и Рикардо (извращенный ум и примитивная жестокость рука об руку). Гейст наверное зарыл на острове клад. Надо заставить его выложить денежки... Джонс и Рикардо, может быть, не так уж сильны, но Гейст, отравленный неверием в людей, не способный к решительным действиям, оказывается не в силах противостоять им, не в силах защитить ни себя, ни Лену. У него нет настоящей воли к жизни. За обоих приходится бороться Лене. И тут, может быть слишком поздно, Гейсту дано убедиться, что буржуазное — это еще не есть человеческое. Силу душевного порыва, на который способен человек, красоту активной человечности Гейст сознает только тогда, когда Лена жертвует ради него жизнью. «...горе человеку, сердце которого в молодости не научилось надеяться, любить и верить в жизнь!» — таковы последние слова Гейста. Это победа Лены — победа любви, верности, чести — над подлостью общества, над неверием Гейста. Это победа Гейста-человека над Гейстом-мыслителем.

Конрад-художник одержал победу над Конрадом-мыслителем значительно раньше — за два десятилетия до того. И пусть эта победа была не окончательная — она оказалась достаточно значительной, чтобы темой его произведений стали, в отличие от декадентской литературы, не поэтизация и не страдание одиночества, а поиски выхода из него. Одиночество противно человеческой природе. Робинзонада — нелепость. Одиночество убивает, как убило оно одного из героев «Ностромо» — Мартина Деку. очутившегося на необитаемом острове и через несколько дней покончившего самоубийством. Человек должен бороться не ради того, чтобы лучше прожить самому, а ради того, чтобы лучше жилось другим людям. И герои Конрада не упиваются своим одиночеством — они ищут выхода из него. Вместе с автором.

Иногда трудно бывает судить при первом чтении, удался Конраду тот или иной

образ или не удался,— даже самые, казалось бы, мало разработанные образы бывают проникнуты у него каким-то необычайным, трудно уловимым очарованием. Может быть, секрет этого кроется в исключительной заинтересованности автора судьбами своих героев. Как бы ни был автор далек от героя, мы в Конраде ни на минуту не почувствуем той холодной и несколько надменной отгороженности от него, которая так неприятно поражает в произведениях натуралистов. «Он был одним из нас»,— как часто повторяет Конрад эту фразу! Писатель, говорил Конрад, должен обладать такой силой проникновения в души героев, какая дается только симпатией и сочувствием. Достаточно ли точно определил Конрад характер своего отношения к героям? Не очень. Скорее, это были не симпатия и сочувствие, а любовь — требовательная любовь. В отношении литературы это значит, пожалуй, то же, что в жизни. Требовать, чтобы человек обладал собственным обаянием и общечеловеческими достоинствами. Любить человека за то, что он такой, а не иной, любить его во всем его своеобразии и вместе с тем требовать, чтоб он ни в чем не уклонялся от того идеала, который каждый создает себе в любви. Чувствовать радость любви — не просто радость созерцания или радость обладания, но и радость узнавания, той меры узнавания другого человека, какая дается только любовью.

Такой любовью любит Конрад молодого моряка Джима («Лорд Джим»), человека, который совершил однажды позорный поступок и искупил его потом всей своей жизнью. Когда-то Джим смалодушничал и прыгнул за борт с тонущего корабля, оставив на произвол судьбы беспомощных пассажиров. В решительный момент Джим думал только о себе и поэтому потерял себя. Обрести снова свое человеческое «я» Джиму удается лишь тогда, когда он посвящает себя служению людям заброшенного туземного княжества, жертвует ради них своей любовью, а потом и жизнью.

Такой любовью любит Конрад старика капитана Уолея, героя повести «Конец рабства» (1902), который, скрывая от всех свою слепоту, продолжает водить корабль потому, что иначе не на что будет жить его дочери, — и гибнет в своем последнем рейсе.

Такой любовью любит Конрад капитана Дэвидсона, героя многих его произведений, крейсирующего на своем утлом суденышке по морям и судоходным рекам, чтобы помогать людям, заброшенным волею судьбы в далекие уголки земли. Он умудрен жизнью, этот добрый моряк, он знает, что не раз еще столкнется со злом, неблагодарностью, ложью, но он знает также, что быть человеком — значит быть верным, смелым, великодушным. Это всегда помнит Конрад.

В том, что темой Конрада становится одиночество, — важнейшая примета эпохи, в которую жил Конрад, примета того, что буржуазные связи изжиты для всех людей с настоящей совестью. Однако в том, что Конрад не признает неизбывности одиночества, хотя выход из него рисуется ему мучительным, подчас трагическим, через смерть ради торжества человечности, — в этом, по сути дела,— преодоление гнилой философии декаданса.

Конрад, как и многие другие, не знал, куда вывезти грязь, которой обросло буржуазное общество. Восторженный сторонник национально-освободительных движений, он не признавал социальной революции, не верил, что ей удастся что-либо изменить во взаимоотношениях людей в буржуазном обществе, негодовал против социалистов за то, что они намерены «бороться против капиталистов их же оружием». Но Конрад, в отличие от многих других, ненавидел эту грязь и не в человеке видел ее источник. На вопрос, кто виноват — человек или общество,— он давал ответ, противоположный тому, который давали декаденты. Он немало писал о больном, и в этом нет ничего удивительного, ибо он писал о больном веке. Но он не смаковал болезнь, а ненавидел ее.

Конрад оставался крупным художником до конца первой мировой войны. В дальнейшем поражения его становятся чаще, победы — все реже и реже. Он долго искал выхода, но когда значительная часть человечества нашла этот выход, он не обрадовался. Он целиком олицетворял собой, если можно так выразиться, «романтический» период поисков путей западной интеллигенцией. Неверие в то, что социальная революция может что-либо изменить в отношениях между людьми, он сохранил и тогда, когда революция уже многое изменила. И с этого момента Конраду суждено было перестать быть крупным художником.

Про Конрада нельзя сказать, что он пережил свою славу. Число его переизданий во всем мире насчитывается сейчас сотнями, только в Англии вышло пять собраний его сочинений, на сюжеты Конрада снято десяток кинофильмов. Но Конрад пережил себя как писателя. Он продолжал говорить и тогда, когда ему уже нечего было сказать.

Конрад не выдавал себя за учителя жизни. Он знал, что то, чему учили его предшественники, оказалось на поверку неправдой, а сам не знал, какой правде учить. Но Конрад считал себя воспитателем — воспитателем настоящих человеческих чувств. «Моя цель, — писал он, — силой печатного слова заставить вас слышать, заставить вас чувствовать и — прежде всего — заставить вас видеть. Это немного, но в этом все». Договорим здесь за писателя то, что он сказал своими романами, повестями, рассказами: умейте слышать голоса мира. Умейте чувствовать горе и радость мира. Умейте видеть краски мира — и сами ищите с открытыми глазами свой путь. Он не может его вам указать. Но так, с открытыми глазами, легче искать его.

«Заставить вас слышать... Заставить вас чувствовать... Заставить вас видеть...»

Это не все. Но это много.

Ел. Романова

Заметки о современном американском романе

В последнем романе одаренного американского прозаика Нельсона Олгрена «По джунглям» (Nelson Algren. "A Walk on the Wild Side", 1956 г.) есть необычайно сильная сцена: исполин-негр демонстрирует собравшимся бой черепах. «Вперед и вверх!» — таков, поясняет автор, боевой клич черепах, уверенных в том, что побеждает в жизни только тот, кто пробивается, и что «там, наверху, всегда найдется много места еще для одного». Одержав победу в ожесточенной схватке с соперниками, истекающий кровью король черепах влезает — из последних сил — на кучу окровавленных трупов, чтобы на мгновение перед гибелью оказаться хозяином положения.

Неискушенный, еще почти не тронутый цивилизацией герой—юноша Дав Линкхорн—проходит через многие испытания, трудности, смертельные схватки с такими же, как он, жаждущими занять свое место где-то там, наверху. И вот в сцене черепашьего боя Нельсон Олгрен символически воссоздает путь человека в жизни, в обществе, где человек человеку — враг.

Эта сцена, как и вся книга Олгрена, привлекшая к себе внимание литературной печати Соединенных Штатов, глубоко пессимистична. Судьба отдельного человека в обществе, движимом законами джунглей,— страшная судьба. Такова главная тема книги.

Читая книгу Олгрена, невольно вспоминаешь размышления героя другого романа, принадлежащего перу известного в СССР американского писателя Айры Уолферта, автора «Банды Тэккера». В своем последнем романе «Женатые мужчины» (1953 г.) Уолферт описывает преуспевающего провинциального бизнесмена Уэса Олмстэда, раскрывая при этом внутренний мир этого честного по своей натуре человека, которому не под силу жизнь в мире «хищных акул», где все построено на ожесточенной борьбе, на взаимной жестокости.

«Там, где выигрывает один, другой непременно теряет, — думает Олмстэд, — чтобы двигаться вперед, надо откусить ногу впереди идущего и выплюнуть ее. Проделав это, ты оказываешься впереди, — иначе позади идущий проделает это же с тобой самим».

Великолепный представитель рода человеческого, сильный, волевой, исполненный достоинства потомок свободолюбивых шотландцев, — таков герой очень своеобразного и по-своему яркого произведения Олгрена «По джунглям». Многое довелось увидеть Даву, когда он скитался по дорогам и городам Америки. Многому научила его суровая жизнь того социального «дна», изображению которого посвящено все творчество Олгрена. Не раз помогали ему в тяжелую минуту приходившие на ум слова старшего брата: «Может статься, что я умру бедняком, но связанным я не умру ни за что».

Все его искреннее, честное существо восстает против судьбы простого человека в буржуазном обществе. Жизненный путь героя воплощает обличительный замысел книги, как бы сформулированный в следующих словах краткого авторского предисловия: «...Почему тот, кто больше других пострадал от рук человеческих, глубже всех верит в человека, а тот, кому дано право брать все, не отдавая ничего, презирает человечество...»

Вернувшись домой после долгих лет скитаний по Америке ослепшим от диких побоев озверевшего соперника, герой романа Олгрена с горечью размышляет:

«Сдается мне, всюду я побывал, где только у бога есть земли, и ничего не нашел, кроме людей, идущих по трудным дорогам. Повсюду одно только горе и упадок. И повсюду именно те, кому тяжелей всего, скорее приходят на помощь другим, чем те, кому все легко. Всего только два сорта людей я и увидел. Таких, кто готов всю жизнь прожить на той стороне улицы, где одни неудачники, но не поживиться за чужой счет. И таких, кто рвется в число победителей, даже когда единственный путь к победе — по телам тех, кого уже сшибли с ног.. Лично я никогда бы не променял самой худшей доли на судьбу людей второго сорта. Я убежден, что имен-

но те, неудачники, и составляют соль земли».

И действительно, наиболее тепло, человечно рисует Олгрен обитателей той стороны улицы, где одни неудачники: семнадцатилетнюю Кейт, сбежавшую ко времени нашего знакомства с ней уже из пятого исправительного заведения; пожилую негритянку, экономку публичного дома, осуждающую ханжество тех самых чиновников, которые, проповедуя благочестие и порицая порок, сами бесчинствуют в домах терпимости; падших женщин, живущих мечтой о тихой, семейной жизни где-нибудь на ферме.

* * *

Если в романе Олгрена «По джунглям» человеческая жизнь предстает в виде бессмысленной, но смертельно тяжелой битвы черепах за главенствующее место на самой верхушке окровавленной кучи трупов, то в романе Райта Морриса «В поле зрения» (Wright Morris. "The Field of Vision"), удостоенном одной из крупнейших литературных премий за 1956 год, человеческое существование прямо и недвусмысленно сопоставляется с традиционным зрелищем мексиканцев — боем быков.

Горстка американских туристов, связанных друг с другом узами родства или давним знакомством, сидит на трибунах и смотрит, как сначала в торжественной процессии появляются перед зрителями участники боя, как непродолжителен и жалок сам бой и как затем одного за другим выволакивают с поля боя истекающих кровью, смертельно раненных животных.

«Как все это зрелище, вся эта процессия напоминает жизнь!» — размышляет вслух один из персонажей романа.

Изнурительно тяжел труд матадоров, которым приходится играть роль героев-победителей ради услаждения этих праздных туристов. А бездельники-туристы и смотрят и не смотрят на то, что происходит на арене. Смотрит, по существу, один только мальчуган, Гордон Макки, — ему все это и внове и интересно. Его дряхлый прадед почти совсем слеп в свои 90 лет; старика привели сюда, просто чтобы не оставлять одного в отеле. Бабушка мальчугана Луиз Макки целиком ушла в собственные мысли — она взволнована появлением вновь на ее горизонте Гордона Бойда, давнего друга ее мужа, человека, однажды, незадолго до ее свадьбы, при всех поцеловавшего ее. С тех пор прошло много лет, но поцелуй Бойда все еще словно горит у нее на губах, а ноги и теперь дрожат и подкашиваются, как и тогда, после памятной минуты на крыльце ее дома. Пробужденное этим беглым поцелуем чувство к Бойду она, мать трех сыновей, пронесла потом через всю жизнь. Теперь у нее уже четверо внуков, старший из них резвится возле нее, но она ничего не видит и не слышит. Ее муж тоже полон мыслями о Бойде, друге детства, так внезапно и так прочно вошедшем в его семейную жизнь, хотя они не виделись уже много лет.

Гордон Бойд, этот баловень судьбы, человек без профессии, прошатавшийся всю жизнь где-то между театральными подмостками Нью-Йорка и знойными тропиками Южной Америки, стареющий шалун, которому все дозволено, — вот подлинный герой этой столь нашумевшей книжки. Это он привез с собой в машине старого психиатра австрийца Леманна, за тридцать восемь лет жизни в Бруклине так и не научившегося говорить по-английски, и его постоянную спутницу, птицеподобное существо неопределенного пола, известную то под именем Паулы Калер, то под именем Пауля Калера.

На протяжении двухсот пятидесяти страниц романа, в сущности, ровным счетом ничего не происходит. Каждый занят своими мыслями, изредка отвлекаясь от них рядом мелких незначительных событий на поле боя; все персонажи романа живут прошлым, кроме двух младенцев — седеющего Гордона Бойда и всеобщего любимца шаловливого Гордона Макки, поразительно схожих между собой чем-то неуловимым.

И снова тот же мрачный, исполненный пессимизма вывод о суетности человеческой жизни, о бессмысленности героизма, о бесплодности борьбы, в которой одна часть человечества проливает столько крови, тогда как другая видит в этой борьбе всего лишь однообразное, слегка щекочущее нервы зрелище.

Очень различны книги Олгрена и Морриса. Ни по сюжету, ни по литературной манере в них нет, пожалуй, и тени сходства. И все же есть в них нечто общее: у Олгрена и у Морриса человечество делится на две части — на тех, кто составляет, по выражению Дава Линкхорна, «соль земли», кто всю жизнь проводит в тяжелой борьбе за существование, и на тех, кому, по его словам, «дано право брать все и не отдавать ничего». Однако и здесь есть весьма существенное различие: внимание Олгрена, его симпатии явно на стороне первых — простых людей, гордых, несокрушимых в своей волевой устремленности вперед. В его героях, взятых из гущи жизни, в его изображении человеческого дна есть что-то горьковское. Внимание же Райта Морриса целиком сосредоточено на душах тех, все помыслы которых устремлены в самые темные уголки незавидного, лишенного каких-либо подлинных ценностей прошлого. Вместе с тем герои романа Райта Морриса, писателя нам до сих пор совсем неизвестного, словно служат нарочито задуманной иллюстрацией к сетованиям известного американского литературоведа и критика Малколма Каули. В книге «Положение в литературе» (1954 г.) он писал:

«...у героев книг... отсутствуют какие-либо действенные связи с американской жизнью. Они не сеют и не жнут, не строят, не добывают руду, не обрабатывают ее, не торгуют, не лечат, не судят... Еще более широко говоря, они ни к чему не принадлежат, ни в одной организации не со-

стоят... По сравнению с населением Америки среди героев книг ненормально много лиц, живущих на доходы от наследства... Среди них значительно больше престарелых и малолетних, нежели встречается в жизни».

Иными словами, мысль Каули сводится к следующему: жизнь Америки—сама по себе, а американская литература — сама по себе.

Делая «попытку остаться вне времени», ссылаясь на то, что натурализм и даже социальный реализм изжили себя, многие из нынешних романистов, по словам Каули, именуют себя «моральными реалистами». Ставя перед собой совершенно ложную задачу писать «о человеческих существах в неизменно человечных ситуациях», исключая из своих романов всякое упоминание о каких-либо социальных институтах, они «изображают своих героев как бы в виде силуэтов на фоне голого неба, под конец придавая им лишь странное подобие почти неощутимой и далеко неполной реальности».

И в этом сказывается то, что губит многих американских писателей наших дней — отход от реалистических традиций, измена этим традициям во имя псевдопсихологической «глубины» изображения характеров. Для серьезных, вдумчивых критиков вроде Малколма Каули или Ван Уик Брукса это очень тревожные симптомы.

Тревога за судьбы романа звучит и в высказываниях некоторых американских писателей. Так, Генри Миллер с присущей ему резкостью суждений в одной из своих статей так характеризует героя современных произведений: «Посмотрите на этого человека!.. его изображают как однозначное число некоей механической формулы, не имеющим ни лица, ни имени, его передвигают из стороны в сторону, как робота из плоти и крови, как жертву бездушного общества, помещенную на электронную шахматную доску, управляемую манекеном, скрытым в извилинах больного мозга издателя».

Оставим на совести Генри Миллера то обстоятельство, что и он сам не украсил историю американской литературы ни одним подлинно художественным человеческим образом. Так зло оценивая состояние литературы, Миллер имеет в виду не настоящую, большую литературу, а те многочисленные сочинения, что сначала появляются на страницах иллюстрированных журнальчиков, а затем распространяются миллионными тиражами через книжные клубы. Но, по правде сказать, порою даже трудно провести четкую, ясную грань между этим чтивом на заказ и литературой, претендующей на принадлежность к подлинному искусству. Ну, куда, скажем, отнести такой немало нашумевший два года назад, хотя теперь уже и заслуженно позабытый, роман, как «Человек в сером фланелевом костюме» Слоуна Уилсона? На мой взгляд,—это стряпня, приготовленная по заданной схеме с применением готовых литературных рецептов, которыми изобилуют справочники типа «Как добиться успеха на литературном поприще?».

Но ведь зачислялся же этот роман иными американскими критиками чуть ли не в эпохальные явления литературы! Видимо, очень уж прельщало их в бесталанном и ходульном романе то, что его герой — преуспевающий за чужой счет делец — изображался весьма благопристойным молодым человеком в сером элегантном костюме, порядочным мужем и отцом двух очаровательных малюток.

Вот специальная критическая работа, посвященная проблеме героя в современной американской литературе. Речь идет о статье профессора Реджинальда Кука в еженедельнике «Сэтердей ревью» (апрель, 1956 год) «Что мы делаем с нашими героями?». Подчеркнув привлекательность героических образов выходцев из народа в литературе XIX века, Кук писал: «Теперь положение героя настолько принижено, что нашу эпоху можно определить, как эпоху исчезновения героя или как эпоху антигероичности... Внимательный читатель современной американской беллетристики ощущает значительную разницу между героем XIX и XX века. Одно из очевидных отличий сводится к преобладанию явно антигероических характеров...»

* * *

Неоднократно приходится слышать от американцев недоуменный вопрос — почему именно такие-то американские книги наиболее популярны в Советском Союзе, чем привлекают наших читателей те или иные публикуемые по-русски романы?

Думается, ответ на этот вопрос ясен. Привлекает все то, что раскрывает повседневную жизнь большого народа, все то, что помогает понять человеческую душу, обнажает круг интересов американца. Но наш читатель, взращенный на мировой реалистической литературе, просто не приемлет изображение человека в полном отрыве от земли, на которой он стоит, от профессии, которая его кормит, от традиций, в которых он воспитан. Он такой жизни не верит. Писатель, копошащийся в сумрачных потемках бездеятельной души, никогда не завоюет популярности у народа строящего, народа созидающего.

Значит ли это, как пытается иногда представить буржуазная критика, что советских читателей интересуют только те романы, в которых мастерство подменено социально острой тематикой? Вовсе нет. От романов, написанных по любой схеме — будь она как угодно идеологически безупречна, — взыскательный читатель отворачивается так же решительно, как и от чтива, состряпанного по канонам покойного «Колльерса» или ныне здравствующего «Лайфа».

За последние два года у нас вышли и были хорошо встречены книги Хемингуэя «Старик и море», Митчела Уилсона «Брат

мой, враг мой», Декстера Мастерса «Несчастный случай», Роберта Силвестра «Вторая древнейшая профессия». В планах издательств — «Человеческая комедия» Уильяма Сарояна, «Вашингтонская история» Джея Дайса, «Янгблад» Джона О. Килленса, «Семейный вечер» Джона О'Хара. Положительно оценивались в нашей печати и другие книги, среди них роман Феликса Джексона «Да поможет мне бог» и антивоенный роман Уильяма Фолкнера «Притча».

Среди упомянутых авторов нет ни одного коммуниста. И по воззрениям, и по литературным приемам авторы этих десяти-двенадцати книг совершенно различны. Силен элемент символики в повести Хемингуэя и в «Притче» Фолкнера. Документальны, целиком основаны на подлинных фактах жизни «Несчастный случай» Мастерса и «Вашингтонская история» Дайса. Лучшим традициям старого реализма верны в своих книгах и маститый художник Джон О'Хара и начинающий прозаик Джон О. Килленс. Остро публицистичны по замыслу и материалу романы Силвестра и Джексона.

И все же есть нечто такое, что сближает эти произведения между собой, что пробуждает к ним всеобщий интерес наших читателей и нашей критики.

Правда жизни — вот то прекрасное, что, по законам эстетической науки, составляет основу основ подлинного искусства. Наш читатель не ждет от литературы США ни той крикливой рекламы прелестей американского образа жизни, к которой по существу сводится роман Слоуна Уилсона, ни того полного обессмысливания человеческой жизни, которое так прельстило литературных судей в романе Райта Морриса. Наш читатель хочет видеть в литературе Америки то, что в своей многогранности составляет ту мучительно сложную фактуру жизни, которая так трудна для воспроизведения средствами искусства, средствами слова.

Вдумчиво анализируя присущий литературе США сегодня разрыв между искусством и реальностью, один из самых молодых, но несомненно одаренных американских критиков Джон Олдридж в книге «В поисках нового» пишет между прочим:

«...нам надлежит, как и всегда надлежало нашей литературе, вмещать в себя всю сложность сосуществования старого и нового, конформизма и инакомыслия, ненависти и любви, вины и невинности, греха и раскаяния и из самого этого сочетания создавать то внутреннее напряжение, которое привносит искусство в жизнь и живую жизнь в искусство».

Этот призыв Джона Олдриджа весьма своевременен, его стремление как можно более упрочить связи литературы с жизнью, с действительностью во всем ее многообразии — явление весьма отрадное в американской литературной критике.

Однако и для Олдриджа в известной мере характерна определенная тенденциозность в отборе книг из весьма разнообразной продукции американских издательств. Его оценки литературных явлений, впрочем, не так мрачны, как те, о которых упоминает в своей чрезвычайно интересной статье в «Нейшн» литературовед У. Биттнер. Эта статья о подспудных течениях в литературе начинается со следующих слов: «Литературная жизнь, по мнению многих усердных похоронных дел мастеров от критики, выглядит безрадостно и производит просто гнетущее впечатление. Роман мертв, кричат они, критика потеряла остроту, поэзия стала похожа на скелет, костями которого гремят профессора. Конформизм распространился повсюду...»

Не станем упрекать «похоронных дел мастеров от критики» в том, что за своим собственным погребальным звоном они не слышат жизнеутверждающих криков рождающегося нового. Им и дела до него нет! Ну, а вот Олдриджу, этому молодому и полному задора противнику приспособленчества, ратующему за поиски нового и всяческой «ереси» в том точном лексическом смысле этого слова, о котором он напоминает читателям на первых страницах своей книги, следовало бы, мне думается, в поисках этого нового (если он действительно заинтересован в успешном их завершении!) обратиться не только к книгам Сола Беллоу, Дж. Салингера или Райта Морриса, но и к тем, в которых действительно бьется горячий пульс живой жизни, где в сознании героев пробуждается мысль, а не витают в горячечном бреду темные клочья пережитых кошмаров. Не станем предъявлять Олдриджу — в достаточной мере, надо думать, предубежденному против коммунизма, — претензий в том, что он в своем исследовании игнорирует книги писателей-коммунистов. Это дело его совести. Но к чему же преднамеренно обеднять свою национальную литературу, обходя молчанием книги, в которых человек являет собою нечто значительное, где он в той или иной форме утверждает себя; книги, где человек показан в прямой и непосредственной связи с жизнью, где он созидает нечто, порою жертвуя при этом или своим личным счастьем, или даже самой жизнью, — словом, книги, утверждающие жизнь в ее разноликих проявлениях?

Ведь проанализировать такие произведения, на их примере показать, какое богатство писательского материала таит в себе жизнь, как неисчислимы приемы ее изображения, — разве есть задача благороднее для критика, если он действительно любит свою страну, свой народ и его литературу?

* * *

Вот передо мной обаятельная в своей простоте и отмеченная высоким мастерством маленькая повесть популярного в Соединенных Штатах прозаика Джона О'Хара «Семейный вечер». Сделана эта

книжка в форме стенографического отчета о торжественном обеде с участием двухсот горожан и приезжих гостей в честь уходящего на покой местного врача и общественного деятеля, д-ра Сэмюэля Меррита. Сорок лет проработал юбиляр на благо города, в котором заслужил своей жизнью и деятельностью уважение и любовь горожан. Если не считать двух страничек введения с рассказом о программе обеда и его участниках, текст книги как бы воспроизводит полностью речь, произнесенную другом детства юбиляра, президентом местной издательской фирмы Альбертом Шумейкером.

Незамысловатый рассказ простодушного провинциала содержит в себе, по существу, историю городка за сорок лет. В прошлом оживленный железнодорожный узел и центр угольных разработок, этот пенсильванский городок постепенно заглох и захирел.

В застольной речи Шумейкера сквозят то и дело иронические нотки. И все же перед читателем постепенно возникает облик честного, мужественного, до самозабвения преданного своему делу врача, выходца из простой семьи, в детстве мечтавшего о будущности столяра.

Какое множество в этом бесхитростном рассказе типичных деталей, бытовых штрихов! Если бы взяться за разработку мельком затронутых в нем эпизодов, хватило бы на целую эпопею.

И страшный рассказ о неутомимой, самоотверженной помощи доктора шахтерам — жертвам железнодорожной катастрофы; и повесть о трудной кампании по сбору средств на постройку городской больницы в тяжелые месяцы долгой и изнурительной забастовки угольщиков; и трогательное повествование о личной трагедии д-ра Меррита, любимая жена которого уже 25 лет как больна тяжким психическим расстройством, — разве все это не сама жизнь с ее трудностями и превратностями судьбы?

В отличие от романа Райта Морриса «В поле зрения», такие книги, как повесть Джона О'Хара «Семейный вечер», не разоружают морально читателя, не внушают ему мрачные мысли о бессмысленности человеческого бытия, а наоборот — будят в нем самые благородные стремления, поднимают в его глазах престиж Человека.

А вот другая книга, роман о самом, пожалуй, страшном, что в глазах всего человечества накладывает на Америку такое мрачное, позорное пятно, — о расовой дискриминации. Речь идет о талантливом романе молодого писателя Джона О. Килленса «Янгблад»*. В нем рассказана история негритянской семьи, история страшная, трагическая и в то же время поразительно светлая, лиричная и теплая. Весь жизненный путь ее героя с детства вплоть до бессмысленного и трагического его завершения проходит на глазах у читателя.

Несгибаемый, мужественный, честный труженик, он черпает силы в сознании той большой социальной справедливости, которая — твердо верит он — одержит верх над силами мракобесия и белого шовинизма. В дни, когда сердца миллионов людей во всем мире наполняются гневом и ненавистью к тем, кто творит свои гнусные бесчинства в Литтл-Роке, эта правдивая и в то же время глубоко оптимистическая книга молодого прозаика приобретает совершенно особую, новую силу. Несмотря на описания страшных мук, издевательств, выпадающих на долю темнокожих, бесправных граждан Америки, книга О. Килленса вся словно насквозь пронизана солнцем, теплом, светом. И эта книга в целом и обоаз ее героя наверное распрямили не одну спину, согнувшуюся под непрестанными ударами и обидами, наносимыми оголтелыми расистами. Вера героя в светлое будущее его народа заражает своим неизбывным оптимизмом и читателя.

Эти лучшие черты человеческой природы, это святое стремление к целям, в достижении которых заинтересован не только один человек, но и все человечество,— вот что неизменно привлекает читателей, воспитанных на подлинно гуманистических произведениях мирового искусства.

Именно этим объясняется та популярность, какую прочно завоевали в сердцах русских читателей романы Митчела Уилсона «Живи среди молний» и «Брат мой, враг мой». Беспокойный дух первооткрывателя, творческий пафос самозабвенного труда, самоотверженность в борьбе за овладевшую его умом идею, богатство души — вот что определяет характеры главных героев Уилсона. В этом почти неповторенная в современной литературе США особенность его писательской индивидуальности. И еще одно: все, о чем пишет Уилсон, не родилось в его сознании в тиши его рабочего кабинета, все это увидено, а многое и пережито им самим. В повседневной жизни американской интеллигенции черпает Уилсон темы и человеческие характеры для своих произведений.

Но и это еще не все. Ведь можно утверждать, например, что и характеры в романе «В поле зрения» Р. Морриса тоже взяты писателем из жизни. Возможно. Не знаю людей такого рода лично, но вполне допускаю возможность их существования в американском обществе. Во всяком случае, нарисованы они писателем правдоподобно и убедительно. Есть среди буржуазии Америки и шалопаи типа Гордона Бойда, и врачи-психиатры вроде д-ра Леманна, и впавшие в маразм 90-летние старики вроде прадеда маленького Гордона Макки. Но извлеченные из общества, помещенные автором на трибуну мексиканского стадиона, где им предоставлена возможность праздно наблюдать процесс человеческой жизни, борьбы, страданий и гибели — в том виде, как жизнь представляется автору,— они все вызывают глухой протест, больше того — гнев. Можно ли спокойно смотреть на бар-

* См. рецензию об этом романе в «Иностранной литературе», № 3, 1955.

ски пренебрежительное безразличие к тем, кто не только борется за свое собственное существование, но и созидает своими руками все те ценности, которыми совершенно несправедливо владеет та часть общества, которой, пользуясь все тем же выражением Олгрена, «дано право брать все и не отдавать ничего».

Отдельные страницы романа Морриса написаны с той силой мастерства, которая дается далеко не каждому. Тем досаднее видеть, как талант художника, не озаренный большой гуманистической идеей, растрачивается на пустячные зарисовки незначительных минут в жизни незначительных людей, а смысл человеческой жизни упрощается до абсурда.

* * *

Однако вернемся к иным героям, к литературе, связанной с жизнью.

Вспомним повесть Хемингуэя «Старик и море». Символика всего, что происходит со старым Сантьяго, поддается не единому, а многообразному толкованию. Иные критики, например, упорно делают акцент на бессмысленности, на бесплодности его героической схватки с морским чудом — марлином гигантских размеров. Но нет, не пафос поражения определяет талантливую повесть Хемингуэя! Подобное толкование опровергается и обликом старого, просоленного в морских просторах рыбака, и той беспредельной преданностью, которую проявляет к заветам Сантьяго мальчик. Воплощенное в нем будущее — на стороне героя, оно — с ним.

В поисках остро-конфликтных ситуаций, событий высокого драматического накала американская литература сегодня обращается отнюдь не только к сфере извечных схваток Человека с Природой или к эпизодам далекой истории, хотя и то и другое, разумеется, есть в литературе США и поныне.

Молодое поколение прозаиков все чаще обращается к темам, волнующим их соотечественников, к тому, что оказывает прямое и непосредственное воздействие и на ход их собственной жизни. Неслучайно, например, за последние годы появились один за другим несколько значительных романов о том, как закон о проверке лойяльности, вызовы в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности и чрезвычайная активизация пресловутого федерального бюро расследований, вторгаясь в жизнь простого американца, чаще всего интеллигента, в корне меняет не только размеренное течение их жизни, но и души, психологию людей.

Уже сейчас можно назвать несколько подобных книг: «Вашингтонская история» Джея Дайса, «Луч прожектора» Марты Додд, «Пора страха» Абрахама Полонского, «Да поможет мне бог» Феликса Джексона и, наконец, «Антиамериканцы» Альвы Бесси.

Тема у всех этих романов примерно одна и та же. И судьбы их героев схожи между собой. Однако ведут себя герои в аналогичных ситуациях по-разному. Иначе и быть не может. Так ведь и в жизни: одни под влиянием бедствия, настигающего их извне, помимо их воли и власти замыкаются в себе, отчуждаются; эти очень болезненно, мучительно переживают происходящее с ними. Другие, напротив, преодолев невольно возникшее в них чувство страха или отчаяния, чаще всего ощутив опору дружеской руки, смыкаются с людьми, близкими им по духу или по судьбе, и в этом единении черпают силу, стойкость, готовность к сопротивлению, к борьбе.

Именно эта последняя особенность отдельных героев и представляет собою то принципиальное, качественно новое, что отличает американский реалистический роман пятидесятых годов от тех его предшественников в литературе, которые составляют ценнейшее ее наследие — традицию критического реализма.

Серьезное исследование американского романа, анализ развития и становления американской прозы за последние десятилетия не входят, разумеется, в задачи данной статьи.

Хотелось бы, однако, хоть в самых общих чертах охарактеризовать то новое, что все отчетливее выявляется в изображении нашими современниками писателями Соединенных Штатов Америки.

Герои всех названных здесь романов одной темы, которую для краткости можно обозначить как тему гонений против рядового американского интеллигента, как правило предстают перед читателем поначалу в привычной, нормальной обстановке их жизни. Различны обстоятельства, ставящие их под подозрение, навлекающие на них беды расследований, проверок, допросов и репрессий. Донос пьяного мужа («Вашингтонская история»), сбор подписей под присягой установленной формы, начавшийся в научном учреждении, согласно закону о проверке лойяльности («Пора страха») или, наконец, сознательный акт анонимного доноса на самого себя с целью проверки на личном примере объективности расследований, проводимых сенатскими органами («Да поможет мне бог»),— так или иначе начатое «дело» проходит затем по инстанциям, постепенно затягивая петлю на шее очередной жертвы.

По-разному реагируют на происходящее те, кого оно задевает. Впрочем, все они в тот или иной момент, в большей или меньшей степени испытывают вполне понятное человеческое чувство самого примитивного страха. Такие, как инженер Хейр из романа Абрахама Полонского «Пора страха», долго не могут оправиться от этого физически и морально подавляющего ощущения леденящего душу ужаса перед тем, что ждет их в случае, если их имя попадет в черные списки. Обыкновенной, заурядной женщине, служащей государственного учреждения Фейт Ванс, из романа Джея Дайса «Вашингтонская история», помогает отрешиться от унизительного ощущения

страха участие в ее судьбе адвоката, борца против сил реакции. Бывает и так, что чувства страха и отчаяния вытесняются мощной волной гнева против свершаемого над людьми насилия.

И вот наступает момент, когда ощущение страха полностью исчезает. Что же происходит дальше? Чаще всего рождается гнев, негодование против несправедливости толкает человека на лихорадочную деятельность, на сопротивление. Эта смена смиренного страдания живой деятельностью—наиболее интересный и всегда очень индивидуально окрашенный этап развития характера. Именно это качественное изменение становится кульминацией сложного, порою длительного процесса становления нового в характере человека.

У молодого адвоката Спенсера Донована, героя романа Джексона «Да поможет мне бог», этот процесс существенно отличается от того, что происходит с героями других названных книг. Это обусловливается своеобразием ситуации. Донована решительно ничего не угрожало, беда не надвинулась на него извне — он сам ее создал, сознательно пошел на риск, не очень ясно представляя себе сначала масштабы этого несчастья, но уже тогда готовый к расплате за собственный поступок. Правда, вера в американскую демократию была настолько сильна в нем, что внушала ему надежду на то, что его донос на самого себя будет оставлен без последствий. Очень скоро, впрочем, он убеждается в том, что петля уже накинута, и подготавливает себя к худшему. В минуты, когда его охватывает чувство страха, он говорит себе — у тебя один путь теперь, когда ты все это сам начал. Надо идти до конца. Отчасти благородство души, отчасти ложная щепетильность заставляют его проделывать весь этот нелегкий путь в полном одиночестве. Он отрешается ото всех, он совершает героический, с его точки зрения, шаг публичного разоблачения комиссии по расследованию, возбудившей против него дело, опорочившей его в печати и поставившей его в положение отверженного на основе пустых, вздорных поклепов, содержащихся в его собственном анонимном доносе и решительно ничем не подкрепленных. Он знает, что ему грозит тюремное заключение, но ради спасения американской демократии, ради ограждения в будущем невиновных от подобной судьбы он идет на это.

Нет надобности говорить о том, как наивна его позиция, как неэффективен избранный Донованом путь столь неравного единоборства с мощным аппаратом полицейского государства. Скорее всего герой романа пал здесь жертвой искреннего заблуждения честного либерала — автора, ибо трудно себе представить, какими иными мотивами могла быть продиктована эта горькая по своему содержанию и очень острая по затронутому в ней конфликту книга.

В других случаях герои волею обстоятельств оказываются в стане борющихся против сил реакции. Там их протест принимает более осознанный, осмысленный характер. Важно другое: важно, что в какой-то мере уже ставшая банальной схема, в которой отдельная личность падает жертвой социальных сил, начинает успешно преодолеваться пока еще отдельными американскими писателями. Постепенно исчезая, этот мотив жертвенности, страдания начинает сменяться мотивами гнева, оформленного в сознании протеста, а порою и элементами организованной борьбы со злом. Именно эти качественно новые элементы пока еще немногочисленных произведений американской прозы наряду с заметным расширением круга интересующих писателя тем свидетельствуют о том, что в литературе США все отчетливее обозначается здоровая реалистическая струя. Правда, среди литературных героев подавляющего большинства американских романов нет ни одного пролетария, ни одного непосредственного создателя материальных богатств нации, и это существенный недостаток литературы (у Олгрена, при всем его глубоком знании жизни, показаны судьбы деклассированных слоев американского общества).

Но возникая в той части литературы, которая сумела уберечь себя от гнилостного влияния декаданса и сохранить верность старым, наиболее ценным традициям критического реализма, эта струя нового сулит оздоровить литературу США и обогатить ее тем, что наиболее характерно для нынешнего этапа исторического развития общества, раскрыть те еще не осознанные художниками слова процессы, какие происходят в недрах американского общества, где формируются молодые силы и закладываются основы будущего.

В. Балахонов

Человек приходит в мир

Пожалуй, ни в одной из современных западноевропейских литератур не изучены так тщательно различные стороны сложного процесса «прощания с прошлым», постепенного приобщения интеллигента-индивидуалиста к общественной жизни, как во французской. От «Огня» и «Ясности» Барбюса к «Коммунистам» Арагона идет линия своеобразного «романа воспитания» и вместе с тем романа-эпопеи, в котором судьбы отдельных людей переплетаются с судьбами всего народа.

Перед нами семь томов большого романа Андре Вюрмсера «Человек приходит в мир» — еще одно произведение об исканиях человека и его победе. Еще одно — не значит такое же, как и другие, и может быть, одним из важнейших достоинств романа является то, что даже искушенный во французской литературе читатель, познакомившись с ним, увидит новые стороны жизни людей Франции, многое поймет правильнее и глубже.

Начатый еще до второй мировой войны роман «Человек приходит в мир» — история, или, точнее, предыстория одной жизни. Жюльен Дюброк родился дважды: в 1899 году, в соответствии с обычными законами природы, а затем — в 1934 году, когда, собственно, и началась его настоящая жизнь. В шестой книге романа автор лишь немного приоткрывает завесу над этой новой жизнью Жюльена Дюброка: служение своему народу и партии, участие в движении Сопротивления — путь всех честных людей Франции, путь коммуниста. Но «коммунистами не рождаются. Коммунистом нужно стать, и путь, который ведет к пониманию, всегда более или менее труден», — пишет Вюрмсер в «Запоздалом предисловии» к роману *. Об этом рождении человека-коммуниста и рассказывают все семь томов его произведения.

«Быть может, — продолжает Вюрмсер свою мысль о пути, которым люди приходят в ряды коммунистов, — ни для кого он не труден в такой степени, как для скромного, несчастного мелкого буржуа, который рождается в заключении, в мире старом, жалком и дряблом, без неба, без надежды». Показать этот мир и показать его таким, каков он есть, показать, как из него уходят люди, разрывая сковывающие их цепи, — такую задачу вслед за многими своими предшественниками взял на себя и Вюрмсер. Хотя роман повторяет многие моменты жизни автора, он автобиографичен лишь в той мере, в какой правдиво и точно рассказывает о целом поколении французской молодежи, в какой он является романом самокритики, глубокого анализа этой «освободительной борьбы,— как пишет Вюрмсер, — против моей семьи и за то, чтобы заработать на хлеб, против моего класса и против моего прошлого, чтобы построить домашний очаг и чтобы написать книгу».

Первая часть романа, «Ребенок в оковах», — описание среды, в которой проходят ранние годы Жюльена Дюброка. Здесь почти нет развития действия, нет сколько-нибудь значительных событий. Как и в последующих книгах, Вюрмсер находит особые формы повествования, особые композиционные приемы, наилучшим образом отвечающие характеру изображаемого. «Ребенок в оковах» — обширное исследование одной из ячеек мира мелкой буржуазии — семьи потомственных коммивояжеров Маркаде, и пролог к нему называется «Нравы и обычаи моих близких».

Жизнь Маркаде однообразна, убога и уныла. Она замкнута и отделена от остального мира, в котором где-то совсем рядом живут многие тысячи таких же Маркаде, невежественных и тщеславных, сентиментальных и жестоких.

Несомненно, у Бальзака, одного из самых любимых своих писателей, унаследовал Вюрмсер интерес к характерной детали, умение подать отдельные, казалось бы несущественные, мелочи так, чтобы позволить читателю самому почувствовать, увидеть обстановку, в которой живут его персонажи. Но здесь незначительностью вещей, деталей повседневной жизни, описы-

* Предисловие открывает пятый том романа — «Дениза, обретенная вновь», и было написано для чешского издания.

ваемых автором, еще более подчеркивается убожество существования Маркаде, для которых все внешнее по отношению к ним как бы не существует или не признается ими. Вюрмсер находит точные штрихи, выразительные черточки, позволяющие проникнуть в психологию мелкого буржуа, в сферу его настроений и переживаний.

«У Маркаде не было никакой жизни. Они не вкушали никаких наслаждений, кроме наслаждения плакаться». Не было у Маркаде и никаких интересов, что даже составляло предмет фамильной гордости. О своем образе жизни и даже о наиболее странных своих обычаях они говорили: «как у всех». Вюрмсер очень тонко подмечает характерную черту мелкого буржуа: стремление, с одной стороны, быть, «как все», с другой — обособить себя от «остальных», от «мебели», как говорят Маркаде, отгородиться особым, «своим» жаргоном, «своими» обычаями и порядками. И то и другое — попытка утвердить свою мнимую независимость в шатком и ненадежном мире, где человек не может быть уверен в завтрашнем дне.

Наряду с представителями «семьи» уже в первых книгах появляются многие персонажи, судьбы которых автор прослеживает позже на протяжении ряда лет. Под пером Вюрмсера они обретают живые, конкретные черты. Стремясь вслед за Бальзаком к максимальной полноте охвата жизни, Вюрмсер, пожалуй, слишком перегружает страницы романа большим числом персонажей (около 200), список которых приложен к последнему, седьмому тому. Здесь фигурируют писатели, художники, ученые, журналисты и целая династия промышленников, подлинных правителей Франции; рабочие и «деловые» люди, биржевики, банкиры, политические деятели всех оттенков и рангов. Вюрмсер рисует их в разных условиях, изучает их поведение в различные моменты их жизни, их отношение к реальным историческим событиям, показывая, как изменяются эти люди, из которых одни оказываются в стане врагов народа, другие — среди его друзей и защитников. Но есть и такие, что стремятся занять удобную — до поры до времени — «среднюю» позицию пассивных созерцателей. Маркаде относятся к числу последних.

Маркаде изображены автором иначе, нежели другие герои романа. Шарль, Люсьен, Пьер Маркаде, мать Жюльена, Селина — все они раскрываются как бы сразу, целиком. Вюрмсер подробно описывает их уже в самом начале повествования, и до конца его они, в сущности, почти не изменяются. Семья распадается, Маркаде стареют, но сохраняют неприкосновенными свои мелкие добродетели, и маленькие пороки, и свой традиционный образ жизни. В этой их статичности нет отступления от принципов реалистического изображения, ибо в самом мире Маркаде нет развития, нет настоящей жизни.

Мирное течение жизни Маркаде изредка прерывается событиями, которые служат поводом для общей семейной скорби или радости: умирает глава семьи, дед Жюльена; дядюшка Шарль изменяет своей жене; Жюльен оканчивает школу и поступает в институт, готовясь к коммерческой деятельности...

Если в «Семье Тибо» Роже Мартен дю Гара или «Очарованной душе» Ромена Роллана, в «Ясности» Анри Барбюса или «Фешенебельных кварталах» Арагона дыхание войны еще задолго до начала ее определяет поведение героев, то для живущих в блаженном неведении Маркаде события 1914 года разражаются почти внезапно. Война вызывает у Маркаде только одно чувство: страх за своих близких. Между тем война поглощает все новые и новые тысячи жертв и начинает угрожать самому существованию Маркаде. Жизнь, несшаяся до сих пор мимо Маркаде, наконец врывается в их замкнутый мир со всей своей неприглядностью и ужасами.

Как бы пассивно ни относился Жюльен к социальным проблемам, к войне и ее причинам, именно война, усилившая общую тревогу за существование, впервые пробуждает в нем мысль о несправедливости и неравенстве. Борьба за хлеб насущный становится первой школой социального воспитания, помогает познакомиться с новыми сторонами жизни. «Я изучаю больше, чем ремесло, я изучаю Париж и его рабочие кварталы», — говорит Жюльен о своей работе в качестве коммивояжера.

И все же еще не пришел день его нового рождения. Ужасы войны избавили Маркаде от многих иллюзий и предрассудков, но лишь для того, чтобы породить другие. Жюльен верит в «независимость» искусства от политики, в превосходство поэзии над гнетущими мелочами жизни. Две стороны жизни Жюльена вступают в драматический конфликт. С одной стороны — непрерывные скитания коммивояжера, ночи в гостиницах, днем беготня по конторам; с другой — вечера на квартире у его нового друга, Никола Верже, споры о поэзии, первые литературные опыты. «Моя постоянная драма, — говорит Жюльен, — борьба, которую вопреки преувеличенной чувствительности Маркаде я веду против самих же Маркаде, против моей матери. Моя настоящая драма — суровая борьба за литературу, борьба, в которой я не оставляю битвы за хлеб насущный. Моя настоящая драма — мое одиночество».

Кончается война. Возвращаются фронтовики. Одни, как Роже Мейергут, полны стремления решительно переделать жизнь, другие подавлены и разочарованы, но все уже видят Францию новыми глазами.

Начинается «крушение старого мира». Революция в России содействует решительному пробуждению революционных сил французского народа, вызывает страх среди тех, кому нужна была война. «Они чувствуют, как поднимается волна, — говорит бывший фронтовик социалист Стефан Борель своему другу Роже Мейергуту. — Они боятся, говорю тебе. Им не удастся опро-

кинуть Советы: вспомни твой учебник по истории, подумай о Вальми. Это мы утвердим здесь Советы».

С большим мастерством воспроизводит Вюрмсер обстановку Франции после первой мировой войны. Замедленный темп первых книг, посвященных преимущественно жизни Маркаде, сменяется более динамичным. Эпизоды следуют один за другим, перед читателем проходит напряженная жизнь Франции послевоенных лет.

Жюльен Дюброк, вступивший на путь коммерческой деятельности, не раз испытывает превратности судьбы, которые также очень хорошо отражают общее положение мелкого буржуа во Франции грандиозных финансовых афер и головокружительных спекуляций. К тому времени, когда положение Жюльена в деловом мире несколько упрочилось, он перестает уже быть настоящим Маркаде; то, что для его близких должно было стать пределом желаемого в жизни, не удовлетворяет его самого. Он еще долго бродит по торным дорогам литературы, становление Жюльена-писателя дано Вюрмсером как большая и сложная проблема, в которой находят выражение исторические трудности становления всей французской прогрессивной литературы. Постепенно несовместимые, как кажется Жюльену, вещи — повседневный утомительный труд делового человека и литературное творчество в его сознании оказываются тесно связанными. И если для окружающей Жюльена литературной молодежи, исповедующей глубокое отвращение к политике, «Цветы зла» Бодлера неизмеримо выше «Декларации прав человека», то теперь сам Жюльен вынашивает план романа в духе Бальзака, романа о коммивояжере, о жизни маленьких людей Франции, о виденном и пережитом.

Особое место занимает пятая книга — «Дениза, обретенная вновь», в которой мастерство Вюрмсера открывает перед читателем свои новые стороны. «Дениза, обретенная вновь» — роман воспитания чувств, духовного очищения и возвышения героя. Аморализм послевоенной молодежи не проходит бесследно и для Жюльена Дюброка. Вюрмсер не щадит своего героя, описывая иногда, может быть даже с излишними подробностями, его любовные похождения. Атмосфера принципиальной, если так можно выразиться, безнравственности, выдающей себя за крайнюю антибуржуазность и даже революционность, передана очень ярко и верно. Есть подлинный драматизм в отношениях Жюльена и Сесиль, настоящая поэзия в описании трудной любви Жюльена и Орели Верже, которой посвящены страницы, полные человеческой теплоты. Внутренний мир героев Вюрмсера, их переживания и личные драмы не противопоставлены их социальному бытию, а, напротив, находят в нем глубокое и верное объяснение.

В этой книге повествование несколько неожиданно возвращается к подруге детства Жюльена — Денизе Казан, но глава, которая посвящена ей, не кажется лишней. Читатель вновь встречается с Денизой, теперь — молодой женщиной, в Москве, в 1924 году. За плечами ее — годы революции, гибель мужа, замученного белогвардейцами. Дениза — коммунистка, жизнь ее была суровой и тяжелой. Но в отличие от той молодежи, которую Вюрмсер показал в послевоенной Франции, Дениза, как и ее друзья, исполнена глубокой веры в будущее. В день, когда умирает отец Денизы, весь мир облетает весть о смерти Ленина. Прекрасно написана сцена, в которой Дениза, провожающая отца на кладбище, встречается с толпами народа, идущими в Колонный зал Дома Союзов проститься с вождем.

С каждым новым событием, с каждым жизненным испытанием растет политическая зрелость Жюльена Дюброка, укрепляются его связи с окружающей жизнью, происходит сближение с коммунистами. Этой эволюции героя посвящены пятая и шестая книги романа, которые подводят к событиям, изображенным в последней, несомненно наиболее острой и яркой части — «Шесть, девять, двенадцать».

Шестое, девятое и двенадцатое февраля 1934 года — важные вехи современной истории Франции: «фашистский путч, ответ рабочих, единство народа» — дни, с которых, наконец, началась настоящая жизнь Жюльена Дюброка.

В февральских событиях 1934 года до конца раскрываются характеры многих героев и происходит решительное размежевание: вместе с народом или против него. Терпит крах пытавшийся занять «промежуточную» позицию начальник канцелярии министра и романист Жан Керкардек; отдает свое перо на службу французским фашистам «независимый» памфлетист Дидье Бриден; друг детства Жюльена Жорж Левро, ставший заурядным обывателем, отвергнут любимой девушкой, которую он зовет в выдуманный им мир прекраснодушной мечты; окончательно встает на путь предательства бывший социалист адвокат Бремонтье; на баррикаде погибает коммунист Стефан Борель.

Последовательное изложение опять сменяется чередованием отдельных эпизодов, в которых Жюльен Дюброк несколько отступает на задний план. С первых же страниц романа читатель попадает в сложную политическую атмосферу Франции тридцатых годов. Громкое дело аферист Ставиского, в которое оказались вовлеченными министры, депутаты, промышленники, обнаружило глубокое разложение буржуазной демократии Третьей республики. В соседней Германии к власти пришли фашисты, в самой Франции с ведома и поощрения наиболее реакционных кругов буржуазии возникают и развиваются фашистские организации.

Вюрмсер разоблачает будущих могильщиков Франции, тех, кто рассматривал Гитлера как оплот против народных масс и Советского Союза. Он делал это еще в

тридцатые годы как боевой журналист-коммунист, он делает это теперь пером художника и историка-коммуниста, показывая преступный сговор представителей двухсот семейств с правящей верхушкой гитлеровской Германии, который привел Францию через несколько лет к национальной катастрофе.

Крупный промышленник Аллюэн отправляется в Германию, где встречается с гитлеровским советником фон-Марбургом, а затем получает аудиенцию у самого Гитлера. Фон-Марбург поучает Аллюэна: «Пришествие фюрера освободило нас от коммунистической опасности и избавило от многих ужасов вашу родину. Что стало бы с вами, если бы мы не выдержали, если бы мы не подняли гитлеровского ополчения, если бы большевики восторжествовали в Германии». Он же, во время ответного визита в Париж, развивает перед французскими слушателями идеи «интернационализма» «деловых» людей. Этот «интернационализм», как показала история несколько лет спустя, в годы второй мировой войны не позволил английским и французским самолетам бомбардировать ряд промышленных объектов в Германии и, в свою очередь, немецким самолетам — разрушать многие предприятия французских военных магнатов.

Эти и другие эпизоды первой части романа, отображающие глубокий раскол во французском обществе, взаимосвязаны не случайно; они подчинены общему замыслу. Каждая из глав посвящена какой-либо части общества, группе, которая принадлежит к одному или другому лагерю или стремится остаться на «нейтральной» почве. Таковы, например, главы: «Общество писателей», «Немецкий народ», «Министры», «Гитлер», «Маркаде», «Поджигатели». Содержание их помогает понять, в какой обстановке могли произойти события 6 февраля, описанные в первой части книги.

Вюрмсер показывает и обличает тех, кто несет ответственность за фашистскую вылазку. Это прежде всего буржуазные правители Франции, министры и крупные чиновники, покровительствующие фашистским организациям, и люди, прямо заинтересованные в том, чтобы поставить у власти современного Кориолана, фюрера, диктатора, способного расправиться с народом. Это также замкнувшиеся в своем бесплодном искусстве писатели и художники, чье «невежество в области социальной и экономической было умопомрачительным».

Шестого февраля 1934 года на улицы Парижа вышли фашистские банды — это была первая во Франции большая репетиция боевых действий пятой колонны. Эти и предшествующие им события в основном переданы опять-таки через восприятие их участников, и повествование построено по принципу быстро сменяющих друг друга на протяжении более ста страниц эпизодов фашистского путча и сопротивления рабочих. В действии, которое происходит то на улицах Парижа, то в кабинете министра, то в редакции «Юманите», участвуют многие десятки персонажей.

Единственной силой, которая оказала решительный отпор фашистам, был революционный рабочий класс Франции, французские коммунисты. Перед напуганными депутатами Национального собрания звучит уверенный голос Тореза: «Мы призываем всех рабочих и наших братьев, рабочих-социалистов, чтобы они вышли на улицы и очистили их от фашистских банд, которые вы не хотите потревожить».

Классовые бои в феврале 1934 года — мощный толчок к сплочению, единству рабочих. Демонстрация 9 февраля, всеобщая забастовка и митинг 12 февраля — последовательные этапы на пути к созданию Народного фронта. В схватках с классовым врагом рождается тесное единство рабочих-коммунистов и социалистов.

Предметный урок, преподанный историей, заставил значительную часть мелкобуржуазной интеллигенции «определиться», примкнуть к рабочему классу. Вюрмсер не упрощает процесса «прощания с прошлым», сложного и большей частью не столь быстрого, как этого нам хотелось бы. Иллюзии и предрассудки, порождаемые самим положением мелкой буржуазии в современной классовой борьбе, слишком сильны. Перелом в сознании Жюльена Дюброка начинается с тревожного ощущения необходимости определить свое место в развивающихся событиях, с возникновения чувства ответственности и вины за то, что происходит кругом. «В чем могут меня упрекнуть? — спрашивает он себя.— Но никто ни в чем не упрекал. Оправдывать, защищать себя я должен был перед самим собой. И я бы не пытался оправдываться, если бы не чувствовал себя виновным». Так Жюльен, подобно многим другим, приходит к неопровержимому выводу: не идти вместе с народом — значит идти против него.

И вот Жюльен — на массовом митинге в Венсенне, плечом к плечу с рабочими парижских предместий, коммунистами и социалистами, среди тех, кто дает торжественную клятву: «фашизм не пройдет». Только теперь ближайший друг и учитель коммунист Роже Мекергут обращается к нему с суровыми, но справедливыми словами. Только теперь — потому что наступило, наконец, рождение нового человека. «Ты воображаешь,— говорит он,— что совершил блестящий подвиг? Что ты последователен в своих поступках, если тебя не было на площади Согласия, а сейчас ты здесь, с нами? Да, ты не был с фашистами. Ты взвешивал за и против... А был ли ты на своем месте? Разве ты не интеллигент, разве ты не должен размышлять, не должен думать и действовать? Или: мысль — для тебя, а действие — для других?»

Заново родившись и прозрев, человек должен проделать еще очень большой путь,

чтобы окончательно связать воедино мысль и действие, стать настоящим членом общества и настоящим борцом.

Заключительная сцена всего романа носит почти символический характер. Над толпой Жюльен видит Вайяна-Кутюрье, держащегося одной рукой за фонарь, с которого он произносит речь: «Толпа двигалась медленными волнами, и Вайян гремел, стоя, зацепившись за столб, склонившись под порывами ветра, с простертой рукой и горящим лицом, словно никогда не теряющий присутствия духа часовой, над всеми этими людьми, наконец собравшимися вместе, он видел, как в лучах зари показалась Индия, и словно то, что он кричал, было: «Земля! Земля! Земля!»

В автобиографическом цикле Вюрмсера сочетается стремление использовать, разрабатывать традиции реалистической литературы прошлого века (в первую очередь Бальзака) и поиски своего собственного стиля, своих приемов изображения действительности.

«Человек приходит в мир»,— говорит сам Вюрмсер,— это хроника моей первой жизни, моей жизни в то время, когда я еще не жил. Это — длинная цепь сражений». Это — роман, который имел все данные для того, чтобы стать историей одного героя, но не стал им, а, напротив, вырос в широкое полотно французской жизни, охватывающее около 25 лет.

В предисловии Вюрмсер подчеркнул, что не собирался описывать борьбу французского пролетариата, как ни нужны произведения на эту тему. Разумеется, право художника — писать о том, что он считает в данный момент наиболее важным, что особенно близко его сердцу. И все же к этому следует добавить несколько замечаний.

В самом деле, речь идет о необычайно сложной, трудной эволюции человека, о длительном процессе его прихода к новой жизни. Чтобы подчеркнуть эту сложность, Вюрмсер избрал вполне возможный и плодотворный способ показать действительность через восприятие своего героя, в точности воспроизводя его поступки, мысли, взгляды в каждый момент его жизни, нигде ничего не прикрашивая и не смягчая Роман, который подчас приобретает черты правдивой исповеди, воздействует на мысль читателя, вызывает в нем размышления самокритического характера, и в этом его сильная сторона. Но Вюрмсер, создающий свой роман в наше время, пережил уже свое «второе рождение», стал интересным писателем-коммунистом, который и видит дальше, и понимает глубже, чем его герои. И вполне возможно, что повествование выиграло бы, если бы уже в первых книгах автор хотя бы приподнял занавес, отделяющий семью Маркаде от всего окружающего их мира, показал то, что видит сам, а не только то, что видел Жюльен Дюброк.

«Человек приходит в мир» — роман,— замечает сам Вюрмсер.— Это также и страница истории. Как и подобает книге писателя-коммуниста». Действительно, в лучших своих частях произведение Вюрмсера — подлинная история Франции, история борьбы ее народа, написанная рукой большого мастера. Однако там, где Вюрмсер предоставляет судить о событиях только своим персонажам, он нередко обедняет повествование и нарушает связь между отдельными эпизодами.

Эволюцию героя автор справедливо объясняет не только воздействием больших событий, значение которых Жюльен не всегда в состоянии правильно оценить, но и воздействием окружающих людей — отца Жюльена, Роже Мейергута, Орели и многих других. Роже — коммунист, и именно как коммунист он оказывает влияние на молодого Дюброка. Однако он почти не показан в сфере практической общественной деятельности, тогда как его личная жизнь, его отношения с Терезой Борель, любовь к Антуанетте Маркаде раскрыты обстоятельно. Речь идет не о том, чтобы добиться соблюдения некой «пропорции» личного и общественного в характере и деятельности человека, а о том, чтобы сделать более полным и разносторонним изображение всей совокупности жизни, в которой так, а не иначе складываются судьбы людей, в том числе и Жюльена Дюброка.

Каковы бы ни были эти и другие недостатки романа «Человек приходит в мир», автор его обладает своей собственной манерой, своим видением мира. Роман построен на драматических положениях, острых конфликтах, общественных и личных, тесно сплетающихся друг с другом и взятых из внимательного наблюдения жизни. Вдумчивый исследователь действительности, Вюрмсер не «изобретает» ситуации, в которые он ставит своих героев. Жизненность показываемых им драматических конфликтов заставляет читателя волноваться, сочувствовать, негодовать. Перед нами развертываются драмы разных масштабов, но каждая из них по-своему значительна — будь то борьба Жюльена Дюброка против всего строя жизни Маркаде, горе покинутой женщины или же эпизод современной классовой борьбы.

Мы не остановились на многих темах, поднятых Вюрмсером в его романе, на многих существенных сторонах его творческой манеры. Да это и невозможно сделать в статье, цель которой — дать читателю лишь общее представление об этом романе. «Человек приходит в мир» — значительное произведение современной литературы Франции; «в той мере, в какой оно соприкасается с историей,— говорит сам Вюрмсер,— оно защищает или хочет защищать дело пролетариата».

С. Иванько

Книга по истории китайской литературы

Огромен интерес советского народа к братскому китайскому народу. Он еще более усилился после провозглашения Китайской Народной Республики. Тиражи произведений китайских писателей, издаваемых в СССР, стали расти год от года. Миллионы советских читателей познакомились с плеядой молодых китайских писателей, узнали всю прелесть классических литературных произведений, изданных в новых переводах, над которыми работали и работают и опытные, и молодые китаеведы. Но, к сожалению, по-прежнему мало выходит серьезных исследований по истории китайской литературы, монографий о творчестве отдельных писателей. Такие работы можно, буквально, пересчитать по пальцам. А читатели интересуются и биографиями писателей, и судьбой их книг, и особенностями творчества, и глубоким анализом того огромного своеобразия художественных форм и приемов, которые с давних пор используются в китайской литературе. На все эти вопросы призваны дать ответ литературоведы.

Поэтому с большим интересом встретили читатели выход в свет недавно опубликованной книги профессора Н. Федоренко «Китайская литература»*. В своем исследовании автор прослеживает историю китайской литературы от «Книги песен», «Шицзина»— древнейшего китайского литературного памятника и одного из наиболее ранних памятников мировой литературы, до наших дней. Первая глава книги посвящена литературному наследию великого Китая. Эпиграфом к ней автор взял строки замечательного китайского поэта Го Мо-жо:

> Нашу литературу мы создавали
> Четыре тысячелетья,
> Неповторимую на планете...

Почти четверть своего объемистого труда Н. Федоренко посвятил замечательной истории китайской литературы.

Это вполне закономерно. Богатейшая сокровищница древней китайской литературы еще недостаточно знакома нашему читателю, и обстоятельный рассказ о ней поможет ему многое узнать о писателях и поэтах древнего Китая, подтолкнет к более полному знакомству с их творчеством, безусловно побудит прочесть те книги, что уже изданы на русском языке (например, «Троецарствие» Ло Гуань-чжуна, «Речные заводи» Ши Най-аня, «Избранное» Сыма Цяня, «Шицзин», стихи Ду Фу, Бо Цзюй-и и другие).

Основная часть книги Н. Федоренко посвящена современной китайской литературе, рассказ о которой начинается с главы, посвященной описанию и анализу литературной революции в Китае, начавшейся широко известным «движением 4 мая».

«Движение 4 мая,— говорит Мао Цзэ-дун, — явилось ответом на призыв мировой революции, призыв русской революции, призыв Ленина».

Органической частью «движения 4 мая» является культурная революция, которая по своему размаху и последовательности, как указывал Мао Цзэ-дун, не имеет равных себе в истории Китая. Под нажимом народных масс правительство в 1920 году объявило национальным языком «байхуа», в основу которого был положен понятный широким народным массам разговорный язык. Язык «байхуа» заменил господствовавший до этого в литературе книжный, оторванный от живой речи, невоспринимавшийся на слух «вэньянь».

В известной работе «О новой демократии» Мао Цзэ-дун пишет, что «после событий 4 мая в Китае родились совершенно новые культурные силы: коммунистическая культура и идеология, направляемые китайскими коммунистами, т. е. коммунистическое мировоззрение и общественная революционная теория».

Именно «движение 4 мая» положило начало борьбе за новую культуру Китая, которую Мао Цзэ-дун определил как «национальную по форме и народную по своему содержанию». В основу искусства и литературы были положены принципы служения народу, настойчивости в постановке насущных и основных вопросов жизни, раз-

* Н. Федоренко. «Китайская литература. (Очерки по истории китайской литературы)», М., 1956, ГИХЛ.

вития и популяризации доступной народным массам литературы. Автор подчеркивает, что «движение 4 мая» превратилось в мощную культурную революцию, вдохновляющуюся новыми социальными идеями, только благодаря влиянию Октябрьской социалистической революции.

В главе о литературной революции читатель находит обстоятельный рассказ о становлении новой китайской литературы, о той борьбе, которую вели Ли Да-чжао, Лу Синь, Го Мо-жо, Мао Дунь и другие против выразителей интересов крупной буржуазии в литературе, таких, как лидер правой группы в журнале «Синьцинянь» («Новая молодежь») Ху Ши, позднее скатившийся на путь предательства родины. В книге подчеркивается огромная роль, которую сыграла молодая Коммунистическая партия Китая в деле создания новой культуры, новой литературы. «Благодаря выходу на политическую арену новой социальной силы — китайского пролетариата и Коммунистической партии Китая — новая армия культуры, по выражению Мао Цзэдуна, в новых доспехах и с новым оружием, объединившись со всеми возможными союзниками, начала наступление развернутым фронтом на культуру империалистическую и феодальную».

И это наступление дало свои результаты. В области литературы оно велось самыми различными литературными группами, среди которых необходимо назвать прежде всего «Общество изучения литературы», руководимое Мао Дунем, и группу «Творчество», возглавляемую Го Мо-жо. Автор подробно рассказывает о деятельности и составе этих групп, а также о деятельности Лиги левых писателей, в которой в 1930 году объединились под руководством КПК ряд писателей из «Общества изучения литературы» и группы «Творчество».

В работе Н. Федоренко большое внимание уделено обзору литературного движения. Читатель найдет в очерках интересные сведения о жизни и деятельности многих видных китайских писателей и литераторов. В них, в частности, рассказывается о творческом и жизненном пути крупного деятеля КПК, известного литературоведа и критика Цюй Цю-бо, который, как справедливо отмечает автор, сыграл выдающуюся роль в деле распространения в Китае марксизма-ленинизма и особенно марксистско-ленинской эстетики.

Большое внимание автор уделяет вопросу о связях китайской литературы с жизнью, об отношении литературы к действительности, к общественной практике народных масс. На конкретных примерах в книге показана тесная связь лучших произведений китайской литературы с жизнью народа, с его чаяниями и надеждами. Автор рассказывает о той гигантской работе по руководству литературой, которую проводила и проводит Коммунистическая партия Китая. Показательны в этом отношении страницы, рассказывающие о совещании по вопросам литературы и искусства, проведенном по инициативе ЦК КПК в мае 1942 года в Яньани, являвшейся в то время центром политической и культурной жизни страны.

Как известно, выступая на этом совещании, Мао Цзэ-дун указал, что литература, представляя собой могучее средство социально-политического, культурного и эстетического воспитания народа, является мощным рычагом в борьбе за его освобождение от пережитков старого общества, является частью общепролетарского дела. Мао Цзэ-дун призвал писателей глубже изучать жизнь трудящихся и лучше отражать ее в своем творчестве.

Центральная задача творческой деятельности писателей, подчеркивал Мао Цзэ-дун, это решение проблемы создания литературы для масс. «Это означает, что мысли и чувства наших работников литературы и искусства должны слиться воедино с мыслями и чувствами широких масс рабочих, крестьян, солдат».

В книге подробно и обстоятельно рассказывается о том, как писатели Китая справляются с этой задачей. В главах «Тема преобразования деревни», «Тема рабочего класса», «Стихи и песни», «Драматургия» и других автор на большом фактическом материале дает обзор основных произведений китайских писателей, рассказывает о творческом пути таких крупных писателей, как Чжоу Ли-бо, Лю Бай-юй, Цао Мин и другие. Вместе с тем в очерках достаточно места уделено и творчеству молодых писателей: Чэнь Дэн-кэ, Нань Дина, Чжан Дэ-юя и других. На их примере автор показывает, что народ повседневно выдвигает из своей среды «творчески одаренных людей, способных воплотить в художественной форме то новое, что создается ими самими в процессе преобразования жизни. Рабочие и крестьяне, живые и непосредственные участники великих перемен в своей стране, сами становятся писателями и создают интересные литературные произведения».

В последних главах книги рассказано о творчестве крупнейших мастеров китайской литературы — Лу Синя, Го Мо-жо, Мао Дуня, Лао Шэ и других. Из этих глав читатель может составить довольно полное представление о творческом и жизненном пути этих писателей, о том вкладе, который они внесли в создание новой китайской литературы.

Вполне закономерно, что наиболее крупная из этих глав посвящена основоположнику новой китайской литературы Лу Синю. Лу Синь, по выражению Мао Цзэ-дуна, «был не только великим писателем, но и великим мыслителем и великим революционером... Лу Синь был самым безупречным, самым отважным, самым решительным, самым преданным, самым пламенным, невиданным дотоле национальным героем, который, представляя большинство народа, штурмовал позиции врага на фронте культуры».

И глава книги, посвященная Лу Синю, раскрывает перед читателем замечательный

образ этого великого реалиста, вся творческая деятельность которого была проникнута верой в силы китайского народа, была подчинена единой патриотической задаче— служению народу.

Большой интерес представляет глава «Русская и советская литература в Китае», хотя по своему содержанию она, на первый взгляд, как бы выпадает из общего плана очерков. Нам кажется, что наличие этой главы вполне закономерно, ибо советский читатель проявляет большой интерес к тому, какие произведения русской и советской литературы пользуются успехом у наших зарубежных друзей. С большой теплотой автор говорит о гигантской работе тех скромных тружеников-переводчиков, которые внесли огромный вклад в дело ознакомления китайского народа с творчеством дорогих нашему сердцу писателей — А. Пушкина, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, В. Маяковского, М. Шолохова и многих других. Советский читатель узнал имена таких известных в Китае переводчиков, как Цюй Цю-бо, Гэн Цзи-чжи, Гэ Бао-цюань, Цао Цзин-хуа, и многих других. Замечательным пропагандистом и переводчиком русской литературы был Лу Синь.

«Борьба против буржуазного влияния на литературу и литературоведение в народном Китае» — так называется глава, рассказывающая об острой борьбе литераторов Китая с чуждой, враждебной народу буржуазной и феодальной идеологией, с ее влиянием на литературу и литературоведение, со всякими попытками увести литературу от участия в общенародном социалистическом строительстве, толкнуть ее в болото формализма, безыдейности и натурализма. На конкретных примерах автор показывает, как чуждые народу тенденции получали достойный отпор со стороны подавляющего большинства китайских литераторов. Эта глава особенно интересна тем, что она подводит читателя к пониманию той линии в литературе и искусстве, которая проводится под руководством КПК в наши дни и известна под названием курса «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ».

Вместе с тем, обширный фактический материал этой главы поможет читателю лучше разобраться и в той борьбе, которую ныне писатели Китая под руководством КПК развернули против возглавлявшейся Дин Лин и Чэнь Ци-ся антипартийной группы в литературных кругах. Участники этой группы Дин Лин, Чэнь Ци-ся, Фэн Сюэ-фэн, Цзян Фэн, Чжун Дянь-фэй и другие в области литературы и искусства придерживались буржуазных правых взглядов, рассматривали литературу и искусство лишь как средство к достижению славы и положения, подрывали руководство партии в области литературы и искусства, распространяя всевозможные антипартийные, антинародные, антимарксистские взгляды. Разоблачение антипартийной группы в литературных кругах, безусловно, будет способствовать дальнейшему расцвету китайской литературы.

Одним из недостатков книги, на наш взгляд, является то, что автор не выделил в самостоятельную главу тему освободительной борьбы китайского народа. А ведь на эту тему написано большое количество произведений самых различных жанров. Китайский народ более двух десятилетий вел вооруженную борьбу против иностранных (в первую очередь японских) захватчиков и гоминдановских реакционеров. Естественно, что эта борьба нашла широкое отражение в китайской литературе. Материал об освободительной борьбе широко представлен в книге, однако было бы вполне закономерно посвятить специальную главу этой теме.

Другой недостаток заключается в том, что автор слишком мало места уделил современной китайской поэзии. Это тем более непонятно, что поэзия занимает очень большое место в современной китайской литературе. Без обстоятельного рассказа о поэтических произведениях современного Китая очерки многое теряют.

Книга Н. Федоренко насыщена большим фактическим материалом и, несмотря на указанные недостатки, позволит советскому читателю составить довольно полное представление о замечательной литературе братского нам великого китайского народа. Всяческого одобрения заслуживает то, что книга снабжена указателем имен, библиографическим списком избранных работ советских и китайских авторов о китайской литературе, опубликованных на русском языке, а также библиографическим списком переводов художественных произведений с китайского языка на русский, причем многие переводы снабжены указателем опубликованных рецензий. Книга хорошо оформлена.

Опубликовав работу Н. Федоренко, Гослитиздат сделал хороший подарок советским читателям.

Вл. Кривцов

О китайской литературе наших дней

Семнадцать лет назад большой китайский писатель и ученый Го Мо-жо заметил в одной из своих статей, что литературу Советского Союза, поступающую в Китай, можно сравнить с широким и стремительным потоком, в то время как из Китая в Советский Союз течет лишь узенький ручеек. Приятно видеть, что ныне этот узенький ручеек, если и не превратился еще в стремительный и широкий поток, то стал все же более бурным и полноводным. За последние годы на многих языках народов СССР вышло свыше сотни книг китайских писателей. Эти книги как бы распахнули перед нами окно в жизнь нового Китая, дали нам возможность увидеть, как совершаются те великие исторические процессы, которые на наших глазах чудодейственно быстро изменили облик огромной страны.

Совершенно естественно, что широкие круги советских читателей, проявляющих столь живой и закономерный интерес к жизни и культуре своего великого друга и союзника, давно ждали от советских литературоведов освещения тех основных процессов, которые характеризуют развитие современной китайской литературы. В последнее время у нас предпринят ряд шагов в этом направлении. Одним из первых является книга Л. Эйдлина «О китайской литературе наших дней»*.

Автор поставил своей задачей на примере некоторых характерных произведений китайской прозы и драматургии 1942—1955 годов показать основное направление в развитии китайской литературы, борьбу китайских писателей за овладение методом социалистического реализма. Вполне правомерно, что в качестве отправного пункта в книге взят 1942 год. Весной этого года в Яньани, столице демократических районов Китая, Центральным Комитетом Коммунистической партии Китая было проведено совещание по вопросам развития литературы и искусства. Самый факт созыва такого совещания в разгар войны против японских империалистов свидетельствует, какое огромное значение придавала Коммунистическая партия литературе и искусству С особой силой подчеркнул это в своих выступлениях на совещании товарищ Мао Цзэ-дун. Он показал, что литература и искусство являются одним из важнейших участков общего революционного фронта, сильнейшим оружием, воздействующим на духовную жизнь народа.

В центре внимания участников совещания стал вопрос о связи литературы с жизнью, о служении литературы и искусства широким массам трудящихся. Значение этого совещания и выступлений на нем Мао Цзэ-дуна, представлявших собой блестящий образец применения марксистской теории к конкретным историческим условиям китайской действительности, невозможно переоценить.

В специальной главе автор дает по необходимости сжатую, но обстоятельную характеристику основных проблем, поднятых на совещании и особенно в выступлениях Мао Цзэ-дуна, справедливо подчеркивая, что эти выступления непосредственно примыкают к таким его работам, как «О новой демократии», «Относительно практики», «Против шаблонных схем в партии», что они вытекали из всей политики Коммунистической партии Китая и положили начало новому этапу культурной революции.

Обращенный к деятелям литературы и искусства призыв Мао Цзэ-дуна овладевать методом социалистического реализма, как и все его выступление, проникнутое идеей служения народу, стали боевой программой для китайских писателей. Но для того чтобы осветить борьбу китайской литературы за овладение методом социалистического реализма, ее успехи на этом пути, раскрыть перед советским читателем ее характерные особенности, крайне важно было показать, какими же предпосылками для создания литературы социалистического реализма Китай располагал, каковы были прогрессивные реалистические традиции, которые имелись в китайском литературном наследстве.

Вполне естественно поэтому, что автор посвящает этим богатейшим литературным

* Л. Эйдлин. О китайской литературе наших дней. Москва, «Советский писатель», 1955.

традициям, пронесенным китайским народом сквозь многие столетия, и в частности наследию основоположника современной китайской литературы Лу Синя, специальную главу. Это тем более необходимо, что до сих пор даже среди известной части деятелей литературы и искусства в Китае не изжито пренебрежение к национальным традициям, высокомерное отношение к ним, распространяются неверные представления о том, что новая литература и искусство, рожденные «движением 4 мая», пришли будто бы из-за границы, предпринимаются обреченные на неудачу попытки механического перенесения на китайскую почву западного опыта и западных образцов. Как бы логическим завершением этой главы о предпосылках создания литературы социалистического реализма в Китае является раздел, посвященный связям новой китайской и советской литератур. Ведь книги советских писателей получили такое распространение и такое признание в Китае, что можно без всякого преувеличения сказать: советская литература стала неотъемлемой частью духовного достояния китайского народа. Таким образом, первые две главы представляют собой как бы своеобразное, широко задуманное введение к книге.

Последующие главы — это сжатый очерк, характеризующий китайскую литературу наших дней. Расширяя по необходимости этот очерк в некоторых частных деталях, автор вместе с тем постоянно имеет в виду главные линии, наиболее крупные и значительные моменты ее развития. В книге Л. Эйдлина нашли свое отражение и такие крупные вехи в развитии китайской литературы, как Первый (1949 г.) и Второй (1953 г.) Всекитайские съезды работников литературы и искусства, и наиболее примечательные произведения китайской прозы и драматургии 1942—1955 годов, и развернувшаяся с особой силой в 1954—1955 годах борьба против буржуазной идеологии и ее влияния на развитие литературы и литературоведения. Характеристика сложной идеологической борьбы против рецидивов буржуазных и мелкобуржуазных тенденций в литературе и искусстве, борьбы Коммунистической партии за идеологическое воспитание художественной интеллигенции составляет содержание специальной главы. В этой главе, основанной на внимательном изучении широкой полемики, развернувшейся на страницах китайской печати, читатель видит, как боевая принципиальная критика неверных, буржуазных взглядов Сяо Цзюня, Ху Ши, Ху Фына, а затем и разоблачение контрреволюционной деятельности последнего служат дальнейшему развитию литературы и искусства социалистического реализма.

На основе глубокого анализа большого числа произведений китайской прозы и драматургии последних лет автор прослеживает постепенное формирование образа положительного героя в китайской литературе Это, пожалуй, самая сильная сторона книги.

Автор убедительно показывает, что партия и народ в их неразрывной связи стали героями лучших произведений китайской литературы. В лучших книгах последних лет писатели сумели в образах воссоздать бурное развитие революционной действительности, изобразить народ, как творца истории, разглядеть приметы нового там, где оно еще только нарождается. Читатели видят, как разными путями идут китайские писатели к этой единой для них центральной теме формирования нового человека, перестраивающего мир.

Пожалуй, наиболее ярко и убедительно показывает это автор на примере произведений, посвященных китайской деревне. В специальной главе читатель найдет вдумчивый разбор повестей, рассказов, романов Чжао Шу-ли и Чжоу Ли-бо, созданных народным творчеством пьес «Радость бедняков» и «Лю Ху-лань», музыкальной драмы «Седая девушка», написанной молодыми писателями Хэ Цзин-чжи и Дин И по мотивам народной легенды.

Отметив, что уже в произведениях, посвященных борьбе крестьян за переустройство деревни, выступают представители рабочего класса как посланцы Коммунистической партии, автор переходит к теме рабочего класса, посвящая ей отдельную главу.

Выбрав из всех повестей, рассказов и пьес, в которых нашла отражение эта тема, наиболее характерные и показательные (рассказ «Два красных флажка» Лу Мэя, повесть Цао Мин «Движущая сила», рассказ Ли На «Уголь», пьеса «Песнь о красном знамени»), автор подчеркивает, что во всех этих произведениях на первом месте — проблема воспитания нового человека со свойственным ему новым отношением к труду.

Останавливаясь и на достоинствах и на недостатках этих произведений, автор подчеркивает, с какими трудностями сталкиваются китайские писатели, берущиеся за тему о рабочем классе — главной силе в строительстве нового Китая. Здесь писатели в полном смысле слова поднимают целину, ибо китайская литература не знала прежде произведений о героическом рабочем классе.

Для современной китайской литературы характерно то, что огромное количество произведений пишется сейчас не профессиональными литераторами, а людьми из народа. Все чаще на страницах китайских газет и журналов печатаются рассказы, стихи, пьесы рабочих, крестьян, бойцов Народной армии. Их произведения подкупают своей непосредственностью, богатством жизненного содержания. Творчеству таких писателей из народа, как Чэнь Дэн-кэ и Гао Юй-бао, которые еще вчера и не помышляли о литературе, а сегодня стали известными литераторами, полюбившимися народу, автор посвящает отдельную главу

К сожалению, в книге Л. Эйдлина не нашла достаточно полного отражения одна из важнейших тем китайской литературы наших дней — тема освободительной борьбы. Восьмилетняя война китайского народа против японских захватчиков, четырехлетняя освободительная война против гоминдановской реакции и ее заокеанских вдохновителей, наконец героическая борьба китайских народных добровольцев против американских агрессоров и их лисынмановских марионеток дают китайским писателям благодарный материал для художественного обобщения и создания крупных произведений литературы и искусства. Этой важнейшей теме в китайской литературе посвящены сотни произведений. Однако в книге о ней говорится лишь вскользь, мимоходом. Автор дает, правда, краткую характеристику повести Лю Бай-юя «Заря впереди», разбирает рассказы Лу Чжи, Хань Фына, пьесу Ху Кэ, очерки Вэй Вэя, но всего лишь несколько строк уделяет таким крупным произведениям китайской прозы, как романы Лю Цина «Несокрушимая стена» или Ду Пэн-чэна «Битва за Яньань», и не находит места даже для простого упоминания о таких романах, как «Пламя на равнине» Сюй Гуан-яо, «Горы и реки на три тысячи ли» Ян Шо, и о многих других.

Однако эти частные недостатки не могут умалить неоспоримые достоинства книги в целом. Она показывает читателю, какой огромный путь прошла за эти годы литература Китая, запечатлев в своих произведениях великие революционные свершения народа. Начав с изображения маленького простого человека, униженного и угнетенного феодалами и империалистами, с обличений, в которых звучал призыв к борьбе за освобождение народа от физического и духовного порабощения, современная китайская литература пришла к изображению нового героя, победившего ненавистный ему эксплуататорский мир и идущего к социализму.

Читатель закрывает книгу, убежденный в том, что китайские писатели вносят новый и самобытный вклад в сокровищницу мировой культуры.

Творческая ТРИБУНА

П. Палиевский

Встреча молодых литераторов

Международный семинар студентов, изучающих литературу, состоялся в Москве со второго по четвертое августа. Это была небольшая ассамблея юных филологов, начинающих писателей и поэтов, собравшихся во время VI фестиваля на свой собственный праздник — подобно любителям почтовых марок, музыкантам или историкам, — с той лишь, может быть, разницей, что поднятые проблемы, как это всегда бывает с литературой, далеко выходили за рамки специального интереса. Тема собрания «Традиции и новаторство в современной литературе» давала простор для выражения самых различных мнений, в то же время она затрагивала один из самых наболевших и нерешенных вопросов в искусстве наших дней. Дискуссия оказалась очень интересной.

Чтобы спорить — нужно знать, и вполне понятно, что первые часы семинара ушли на взаимное знакомство. На трибуну поднимались представители всех пяти континентов: кореец Хан Ук, албанец Вангьюш Зико, сириец Абд ар-Газзак Джафар, гватемалец Мигель Анхель Астуриас и другие. Перед глазами участников медленно вращался «литературный глобус», приоткрывая далекие страны, напоминая о тысячелетних культурах. И надо сказать, это было поучительное зрелище. Ведь нередко еще мы, литературоведы, глядим на мир с высоты письменного стола. Когда делегаты, сменяясь, рассказывали о зарождении, расцвете, о временном, но длящемся иногда веками замораживании их литератур, о богатстве и многослойности традиций, то все эти выступления на фоне друг друга начинали звучать как-то особенно, невольно оттеняя точки совпадений и различий, складываясь в движение целого. Конечно, это не был мировой литературный процесс, а только его первый и робкий пунктир, смутные очертания, не больше. Однако и этого было уже довольно, чтобы почувствовать грандиозность общей картины — той самой, которую каждая эпоха должна писать заново. И прежде всего, разумеется, наш XX век — время, когда литература и жизнь испытали на пути друг к другу особые трудности.

Именно о них говорили в своих докладах и сообщениях молодые литераторы разных стран. В сложном сплетении традиций и новаторства, в небывалом сочетании имен и названий, произносимых в микрофон на разных языках, среди отрывков из произведений разных поэтов и писателей, быть может никогда не подозревавших о существовании друг друга, стал постепенно замыкаться — вспышками — общий круг проблем. Хотелось говорить о многом. Мнения не совпадали: это видно было по аудитории, когда аплодисменты разлавались попеременно в разных концах зала; студенты то бурно одобряли, то молча, целыми группами выжидали «своего» оратора. Но это ничуть не мешало атмосфере дружбы. Желание понять было сильней предубеждений, и каждый довод, пусть самый запальчивый, находил себе внимательных слушателей.

В первый день дискуссии с большим докладом о новаторстве выступил молодой французский поэт, лауреат премии Варшавского фестиваля Шарль Добжинский. Еще и сейчас, несколько месяцев спустя, я с большим удовольствием перечитываю этот доклад. Свежие мысли, смелый и впечатляющий язык. Главная идея Добжинского заключалась в том, что новое в поэзии, даже в самых тонких и хрупких ее созданиях, всегда возникало из глубинных, подземных толчков нового в жизни. Внешний покров поэзии, ее «ослепительный наряд» не существует сам по себе — его можно лишь искусственно «снимать»; поэт иногда способен обмануться, увидев в нем свою цель,— и тогда, как прекрасный мираж, поиски чистой формы увлекают его в бесплодную пустыню. «Поэзия, не ставящая перед собой иной цели, кроме себя самой, неизбежно порывает большинство невидимых токов, которые соединяют поэта и мир».

Конечно, любой нетерпеливый скептик мог бы возразить, что это банальность, и доклад Добжинского, остановись он на этом голом утверждении, действительно был бы очень плох. Однако основная ценность его была как раз в умении провести эту истину сквозь все блуждания современной французской поэзии и обозначить ее — вполне непроизвольно — как путеводную

нить. Следуя за ней, можно было понять и трагическую судьбу Бодлера, и неустанные поиски Рембо, который, по собственным словам, «возвратился на землю, считая своим долгом сжать в объятиях грубую реальность», и безнадежное словотворчество Тристана Тцары, и, наконец, возрождение искусства у Луи Арагона, прошедшего сквозь сюрреализм к реализму нового, высшего типа.

И не только у Добжинского: как правило, любое выступление на этом собрании становилось интересным и вызывало отклик тогда, когда оно задевало близкую многим тему своим «далеким» примером. Эта невольная дистанция как будто насильно толкала в сторону широких обобщений, спор переходил в область теории, дискуссия разгоралась. Так получилось, например, когда француженка Бабетт Лисек заговорила о Сартре и Камю. В аудитории раздались слова «смысл жизни». Лерви Анжель (Франция) полагал, что эти писатели как нельзя лучше передали «смысл жизни» современного человека. Тамара Балашова (СССР) выступила с иной точки зрения. У Сартра и Камю, заметила она, речь идет скорее о бессмыслице, чем о смысле жизни. Человеческая душа выглядит у них, как черный провал, на дне которого живут низменные желания, темные инстинкты. Этот безотрадный пессимизм вряд ли может питать подлинное новаторство, вряд ли ответит он на вопрос, как и для чего жить людям нашего поколения. Современная литература способна найти другие дороги, чтобы увидеть в этом мире и смысл и цель. «Я думаю, друзья,— сказал, завершая этот спор, чехословацкий делегат Станислав Нейман, — что в веках живет традиция, общая для всех литератур, для всех великих творений человеческого гения, для всего прекрасного, подлинно благородного и гуманного, что когда-либо было создано человеком. Вы найдете эту традицию и в возвышенных стихах Данте, и в сцене, изображающей Гарпагона, который пересчитывает деньги, и в Пятой симфонии Бетховена, и в картине Страшного Суда на стене Сикстинской часовни. На мой взгляд, эта традиция заключается в глубокой любви к человеку, ко всему гуманному, в неспособности оставаться безразличным к людскому горю, в страстном стремлении изменить условия человеческого существования, в том, чтобы всеми силами и средствами помогать людям обрести, наконец, счастливую жизнь. Только в атмосфере этой традиции могут рождаться истинные таланты, и ее-то мы все, независимо от наших споров, можем и должны наследовать и неустанно обновлять».

Да, конечно, мы должны это делать. Но как, в каких формах — в этом была вторая часть проблемы. Чтобы быть современным, нельзя попросту «наливать молодое вино в старые мехи». Двадцатый век требует нового видения; литература, приспособляясь к новым и необычным явлениям жизни, переживает изменения в самом своем художественном строе. Старые формы взламываются, новые рождаются на свет. Искусство живет в состоянии вечной весны, и в этом залог его бессмертия. Но в наши дни этот процесс во многом утерял свою стихийность. Мысль новаторов — и подлинных, и мнимых — забегает далеко вперед, разведуя пути и намечая вехи; споры о дальнейших судьбах художественного сознания, о том, как выразить «дух эпохи», не затихают нигде. Возникли они и на нашем семинаре.

Когда норвежский делегат Мартин Наг сказал: «Некоторые из наших молодых писателей пишут хорошо, иногда виртуозно, но в их книгах нет ничего, о чем стоило бы писать, нет содержания»,— он ухватил тем самым одну из опаснейших болезней века. Это — вирус «техницизма». В самом деле, на рубеже двух столетий, когда начался дележ «классического наследства», многие из новых писателей успевали захватить только что-нибудь одно; цельное искусство классиков как бы растаскивалось по частям. Появились писатели-мастера, холодные виртуозы-формалисты. Такой высококвалифицированный ремесленник, резчик по слову, как будто снимал «верхний слой» с искусства старого реализма и продолжал только одну, узкую линию. В то же время появились и другие неудачливые «наследники»; они не смогли продолжить глубокие и сильные идеи, находимые классиками в самой жизни, и стали искусственно сочетать разного рода «вопросы» с видимыми человеческими поступками, не ощущая на деле их внутренней, живой связи. История советской литературы знает, как был преодолен этот кризис и как в лице Горького, Маяковского, Шолохова и других искусство возвратилось к новой цельности и поднялось на новую ступень. История западных литератур знает, как писатели реализма критического, «неореалисты» и другие разными путями старались и стараются преодолеть этот разрыв. Однако есть и течения, которые как раз в этом распаде усматривают проявление высшей современности. Против такого искусства выступали на семинаре члены советской делегации, делегаты стран народной демократии, Латинской Америки и другие.

Реализм — в разных его современных формах — подвергали сомнению некоторые польские товарищи. Так, по мнению Е. Брошкевича, Т. Древновского и других, наше время настолько сложно, человеческий характер так утончен и изощрен, что передавать их нужно с помощью других методов, других средств. Реальность сера и непроницаема; чтобы прорваться сквозь эту кору, необходим сюрреализм, экзистенциализм и т. п. Искусство будущего, как сказал Е. Брошкевич, должно будет стать «развернутой метафорой», и короткий рассказ возобладает над другими жанрами.

В этом недоверии польских товарищей к реализму многое показалось нам странным. Приятно, разумеется, бороться со схемой, но стоит ли ставить на ее место другие, худшие догмы? Никакие заклинания не помогут художнику, если он

не в силах угадать глубинное течение жизни, тем более напрасно призывать ему на помощь бессильных духов модернизма. Мелкие, пессимистические «системы», слишком уродливо и односторонне отражающие мир, способны только изломать и погубить всякий тянущийся к знанию талант. Модернистские школы, замкнувшиеся вокруг мелких, давным-давно сделанных открытий и стилизовавшие их в мертвый, условный код, — есть насильственная конструкция и духовный эрзац для людей, которым жизнь представляется хаосом. Существует такой пример, который любят приводить философы: орел может увидеть на огромном расстоянии маленькую вещь, но зато человеческий глаз различает в ней сотни исполненных смысла примет, недоступных птице. Так, вероятно, и художник. Тысячи невидимых связей, которые сходятся в характере современного человека и уходят другими концами в общество, природу, весь мир, — связей, действующих подспудно, пока писатель их не обнаружит, — разве не в открытии их величие искусства? Разве не обладает колоссальным преимуществом реализм как художественный метод, который сознательно стремится вскрыть эти связи, а не изобретает, подобно модернистам, условный и узкий мирок и не выдает его за картину вселенной? Наши польские друзья ссылались на то, что нужно быть до конца «современным» и в жизни и в искусстве. С этим вряд ли кто будет спорить. Но современность можно понимать по-разному. Не помню, кто именно из выступавших сказал, что, летя в Москву на ТУ-104, он пожалел о том, как медленно развивается в наш бурный век искусство. И тогда болгарский делегат Георгий Германов так откликнулся на эту мысль: «Я согласен, что литература в наше время должна ехать не возом, запряженным быками, а самолетом ТУ-104. Но этот самолет все-таки, при всем его совершенстве, взлетает с земли и возвращается опять на землю. Пусть же писатель и тогда, когда он улетает в небеса воображения, помнит о земле и человеческой правде».

Встречалась на семинаре и другая крайность — чересчур узкое понимание реализма. Так например, во время дискуссии мне, как одному из докладчиков, была подана записка от английского студента Уильяма Мура; Мур спрашивал, почему я назвал Шоу «бессмертным». Он считал это неправильным. «Не является ли Шоу скорее просто прогрессивным публицистом и не значит ли он слишком мало как художник?» Признаюсь, я был смущен тем, что мне пришлось защищать Шоу от его соотечественника. И все же, как мне представляется, Мур был неправ. Конечно, Шоу был превосходным публицистом. Но мировое значение его совсем не в этом. Как драматург, как художник Бернард Шоу избрал себе манеру, которая встречалась кое-где и раньше, но у него проявилась особенно: он стал вторгаться мыслью в художественную ткань своих собственных созданий; на мгновение оторвав идею от образа, он тут же возвращал ее обратно, как бы просветляя и разворачивая изнутри этот сырой материал. Получалась крайне обогащенная смесь; как творческий процесс — это была серьезная и временами опасная игра, доставляющая, однако, непередаваемое наслаждение читателю именно этой своей двойной пляской, взаимным напряжением факта и мысли. Его «публицистика» здесь, в драме, как бы теряет «чистое» качество и занимает свое место в общем художественном эффекте; «чистые мысли», как электронный поток, падают на образный экран, высекая из него недостижимые другим путем огоньки и добиваясь тем самым именно *художественных* откровений. Нет, Шоу, конечно, не порывал с действительностью — наоборот, он поднимался на «чистой мысли» лишь затем, чтобы шире ее захватить и разглядеть в глубине ее парадоксальные, диалектические законы. Вот почему мне всегда казалось, что Шоу не «просто прогрессивный публицист», а великий художник, раздвинувший пределы реализма и обогативший этот метод.

Примечательным своеобразием нашей дискуссии — вообще очень представительной — было активное участие в ней делегатов стран Азии и Африки, переживающих ныне подъем своих национальных литератур. Выступления и доклады этих делегатов — Абд ар-Газзак Джафара (Сирия), Кали Камара Базиля (Союз студентов Западной Африки) и других — показали, что проблема традиций и новаторства не может быть теперь решена вне широкого изучения действительно мировых, интернациональных связей между культурами народов земного шара. «Раньше думали, что традиции это только Запад — греки, римляне, Ренессанс,— сказал почетный гость семинара Назым Хикмет.— Забывали, что очень большая часть человечества живет в Азии и Африке. А между тем многие и многие явления западного искусства связаны так или иначе с Востоком. Импрессионизм, Матисс — это очень сильное влияние Азии. Мощное негритянское влияние чувствуется во всей современной музыке». Вопросы эти были слишком сложны, чтобы решить их сразу. Но, впрочем, на это никто и не претендовал. Семинар, который столкнул столько разноречивых мнений, выявил и «познакомил» между собой столько проблем, выполнил свое назначение. Мысли, возбужденные им, не исчезли бесследно; мы узнаем их вновь и вновь в живом потоке литературных явлений.

Этот семинар был, несомненно, одним из самых интересных событий, по крайней мере для нас, филологов, на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мне кажется — и, я надеюсь, это мнение разделяют мои зарубежные друзья, участники семинара,— он хорошо послужил основной идее фестиваля — идее мира и дружбы между народами.

ЧЕЛОВЕК покоряет КОСМОС

Тауфик аль-Хаким

Великая надежда

Известие о запуске искусственного спутника потрясло меня — обрадовало и вместе с тем испугало. Я обрадовался победе человека, но у меня возникло опасение, что он не сумеет воспользоваться плодами этой победы. Мое состояние в тот момент напоминало состояние заключенного, которому удалось, наконец, вырваться на волю,— он тоже охвачен радостью и тесним страхом. Он рад освобождению, но боится, что чья-то рука настигнет его и втолкнет обратно в темницу.

Чувства человека, томящегося в мрачной пещере или заточенного в темницу, неизменно присутствуют во всех драматических произведениях, написанных мною за тридцать лет. В них всегда человек стремится к тому, чтобы выбраться из своей темницы, но враждебные силы мешают ему, и он вступает с ними в единоборство. И хотя я не знал, каким же образом человеку удастся побороть эти враждебные силы, я никогда не позволял ему впадать в отчаяние, каков бы ни был исход этой борьбы. Мои пьесы всегда кончались так, что становилось ясно — борьба продолжается. Человек не мирился с поражением, однако отчетливо понимал, насколько опасны силы, стоящие на его пути. Эти огромные, страшные силы законов и обычаев, традиций и инстинктов сковывают человека, притягивают его к себе, подобно тому, как земля притягивает тела, стремящиеся от нее оторваться.

И потому так велика была моя радость, когда я узнал, что одному из тел удалось, наконец, преодолеть силу земного притяжения и вырваться в космический простор. Великая радость породила в моей душе великую надежду. Ведь несомненно, что если разум человека сумел преодолеть силу земного притяжения, он сумеет также преодолеть и другую тяготеющую над ним силу, ту, которая скрывается в глубине его души. И в этом человеку должны помочь писатели.

Ученые добились значительного успеха в овладении некоторыми из сил природы. Ну а писатели? Сумеют ли и они добиться успеха там, где требуется помочь человеку подняться до такой степени сознания и мудрой зрелости, при которой он станет властелином своих душевных сил?

Непрерывные успехи науки, несомненно, дают повод надеяться и на успех литературы. Но возможно ли дальнейшее развитие науки, если на земле не будет мира?

Мир — вот необходимое условие для освобождения человека из мрака его темницы, тогда как войны и вспышки злобных страстей разрушают плоды человеческого разума и возвращают его вновь во мрак заточения.

Тысячи лет назад человек создал пирамиды — эти удивительные творения инженерного искусства, узнал тайны химии, позволяющие сохранять путем бальзамирования тела умерших, украшать стены храмов росписями, которые не блекнут от времени. Все это говорит о том, что наука еще в те далекие времена, за тысячи лет до нашей эры, достигла в своем развитии результатов, достойных удивления и восхищения. Но что же произошло потом? Что случилось с наукой? История говорит, что последовавшие затем войны уничтожали то, что было достигнуто прогрессом, и останавливали развитие науки. А жаль!.. Ведь если бы достижения науки не забывались, если бы наука непрерывно развивалась все эти тысячелетия, трудно даже представить, как далеко вперед ушло бы сегодня человечество. Судьба науки и человеческих знаний всегда зависела от мира на земле.

И если есть на свете гвардия, стоящая на страже мира и ответственная за его сохранение, то это, на мой взгляд, писатели. Это их перья образовали прочную стену, призванную охранять сад мира. И если им удастся сохранить мир, то тем самым им удастся обуздать силы разрушения. Но тут встает важный вопрос — как, каким образом смогут писатели добиться этого?

Однако прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, необходимо рассмотреть один момент, особенно важный сегодня, когда

мы стоим на пороге выхода из сферы земного притяжения.

Успешный запуск искусственного спутника в космическое пространство дал простор человеческой фантазии. Люди стали говорить, что недалек тот день, когда человек полетит на другие планеты. Немало в эти дни слышно разговоров об одежде, которая будет необходима ему там, и о воздухе, которым придется запастись, и о прочих средствах, которые дадут человеку возможность жить в других условиях.

Все это возможно. И вероятнее всего, ученым удастся разрешить большинство этих проблем и человек сможет переселиться на другие планеты. Но какое влияние окажет это на его натуру? На его душу? Характер? Останется ли он человеком в том смысле, который вкладывается в это понятие на Земле? Или бытие человека есть категория чисто земная, которая изменится, если он будет жить на другой планете? Может быть, человек — после того как он завоюет космос и проникнет на другие планеты — изменится сам, станет чем-то отличным от того существа, которое обитало на Земле, перестанет быть собственно человеком? И нужно ли радоваться этому?

В моей пьесе «Шехерезада» человек пожелал избавиться от своей сущности, от своих страстей и оков и вознестись на небеса. Однако он не смог взлететь достаточно высоко и повис между небом и землей. И ему пришлось вернуться на землю.

Я склонен думать, что человек, поднявшись, наконец, ввысь, не захочет терять свои человеческие качества, потому что с ними он потеряет всё. Человек не захочет быть не чем иным, кроме как человеком.

Источником вечного движения человечества вперед является борьба со злом, со своими слабостями. Ведь человек не есть совершенное божество, восседающее в горделивом молчании на Олимпе. Человек, тщеславно вообразивший себя божеством, неминуемо погибнет, потому что утратит свое основное человеческое свойство — стремление бороться и побеждать свои слабости. Божества не борются со своими недостатками, потому что они не способны сознавать их. Человек же вечно борется, побеждает и терпит поражения. И хотя поражений больше, чем побед, он не прекращает борьбы.

Я думаю, что человек останется человеком, на какие бы планеты он ни поднялся. Он просто не согласится стать божеством, потому что потеряет тогда способность наслаждаться жизнью, ее движением и развитием, борьбой и победами.

Нет, человечество никогда не согласится стать чем-то иным, ибо оно сможет получить радость победы только в том случае, если сохранит свое нынешнее «я». И космическое пространство человечество будет завоевывать от своего нынешнего, земного, имени! Вот почему значение литературы не претерпит больших изменений, а задача писателя во все времена будет неразрывно связана с природой человека.

Единственное изменение, которое должно произойти, это рост силы воздействия литературы, необходимой для подавления духа разрушения*. Если писателям удастся овладеть этим духом разрушения, подчинить его себе, подобно тому как ученым удалось подчинить страшную энергию атома и направить ее в русло, полезное человеку, — если писателям удастся сделать это, они выполнят свой долг, возлагаемый на них новой эпохой.

После сказанного остается спросить — окажет ли огромный прогресс в области научной мысли влияние на развитие «техники» литературы? Останутся ли прежними литературные формы в поэзии, прозе и драматургии или некоторые из них исчезнут и уступят место новым?

Несомненно, изменения произойдут, и это будет обусловлено переменами в жизни человеческого общества. На своем веку мы уже видели, как изменилась наша жизнь с появлением автомобиля или аэроплана. И вместе с этим разве не изменились литературные формы? Исчезла литература риторическая, строившаяся на красоте звучания. На смену ей пришла литература, основанная на молниеносной смене мыслей и образов, что привело писателей к поискам новых форм и средств, способных выразить динамику нашего времени. Теперь писатели не только пишут книги, но прибегают к помощи и радио, и телевидения, и кино...

Сегодня мы стоим на пороге новой эры — эры, в которой скорость автомобиля и самолета отойдет в прошлое. Скорость, которой человечество достигло при запуске искусственного спутника, настолько велика и поразительна, что мы еще не знаем сами, как повлияет она на нашу сегодняшнюю жизнь. Однако уже сейчас мы можем сказать, что уклад нашей жизни неизбежно должен измениться.

Но бывает, что и литература, подобно науке, прокладывает дорогу новой жизни. Ведь писатели острее других реагируют на окружающую их среду и яснее ощущают дыхание будущего. Поэтому я считаю, что очень скоро будут сделаны первые попытки создать новую литературу, которая как по форме, так и по содержанию сможет в большей мере отвечать запросам человека, вошедшего в новую эру — эру завоевания космоса.

Каир.

---

* В пьесе «Соломон Мудрый» автор этих строк показал разгул разрушительных страстей и попытку человека обуздать их (Прим. автора).

Фрэнк Харди

Первый шаг

Запуск «маленькой Луны» — искусственного спутника Земли — первый решительный шаг к покорению космоса, к межпланетным путешествиям. Огромное значение имеет тот факт, что это достижение принадлежит советской науке.

Как случилось, что наука социалистической страны опередила науку стран империалистических и первой осуществила запуск спутника?

Ответ на этот вопрос следует, по-моему, искать в том, что в Советском Союзе придерживаются совершенно иных взглядов на науку, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Начиная с первых послереволюционных лет, советские ученые, усилия которых были направлены преимущественно на мирные цели, мечтали о покорении космоса и работали над проблемой межпланетных путешествий. Империализм же, напротив, посвятил главные научные исследования военным нуждам. Межконтинентальная ракета была для Советского Союза лишь побочным продуктом в деле изучения космического пространства, а для империалистических стран изучение космоса было подчинено военным исследованиям. Президент Эйзенхауэр недавно признал этот факт в отношении американской науки.

Реакция империалистических кругов на запуск спутника очень показательна. Они не могут не признать величия этого достижения и вынуждены делать вид, что восхищаются им. Если советское сообщение о межконтинентальной ракете они пытались вначале представить как военный блеф, то теперь они туманно пишут о том, что советские ученые владеют секретом запуска такого снаряда. Из достоверных источников я узнал также, что радиостанция «Свободная Европа» воскресила старую «утку», будто бы Советский Союз использовал для запуска спутника научные данные, захваченные в конце войны в Германии. Фактически же дело обстоит совсем наоборот: западным ученым не удалось до сего времени запустить спутник, потому что они целиком восприняли нацистскую идею «секретного оружия» и поставили свои исследования на службу военным нуждам.

Общеизвестно, что не Советский Союз, а Америка захватила — или ей были выданы — основные научные секреты Германии. Но империалисты не считаются с фактами, ибо факты говорят не в их пользу.

Один американский журналист сделал фантастический вывод, будто Советский Союз смог осуществить запуск спутника лишь благодаря сведениям, полученным якобы от супругов Розенберг. Я уже не говорю о явной невиновности Розенбергов, но такое «объяснение» может вызвать только смех. Если американцы владели какими-то секретами в области изучения космоса уже в 1950 году, то почему же им не удалось запустить спутник? Только с отчаяния можно выдвинуть такой нелепый довод.

Капиталистическая пресса повсеместно признает, что престижу Запада нанесен значительный урон. Было объявлено о том, что назначен специальный помощник президента США; он должен, по-видимому, помочь правящим кругам Соединенных Штатов оправиться от серьезного политического поражения. Но более всего западные державы обеспокоены, разумеется, тем, что очевидное превосходство советской науки нанесло серьезный удар их военным планам.

Совершенно по-иному реагировали на испытания межконтинентальной ракеты и запуск искусственного спутника Земли простые люди всего мира. Это известие дало им уверенность в мирных намерениях СССР. Когда появилось сообщение о ракете, я был в Австралии. У нас в стране почти все восхищались этим событием, и никто, кажется, не опасался, что Советский Союз использует ракету для военных целей, — разве только для самообороны.

Когда был осуществлен запуск спутника, я был в Восточной Европе и там встретил подобные же настроения. Советская наука прокладывает новые пути, говорили люди, и она использует свое превосходство для мирного развития. Мирная сущность советской науки была продемонстрирована и в прошлом. Примеры тому — автоматизация промышленности, применение атомной энергии в мирных целях, постройка пассажирских реактивных самолетов и т. д.

Из-за враждебного империалистического окружения — СССР вынужден, разумеется, вести научные исследования и в военной области, но, к счастью для человечества, это делается в рамках гуманной в своей основе науки и политики мирного сосуществования, освященной временем.

Было бы сектантством доказывать, что только благодаря советским ученым стал возможным запуск спутника; очевидно, что ученые многих стран внесли свой вклад в общее развитие науки. Но в мире, разделенном надвое, наука социалистической страны вновь продемонстрировала свое превосходство.

Недавно я видел пьесу «Кремлевские куранты», из которой можно составить представление о невероятной отсталости России до революции. И вот за эти сорок нелегких лет с помощью советской науки была электрифицирована вся страна, расщеплен атом, создана межконтинентальная ракета и осуществлен запуск искусственного спутника Земли.

Пусть и друзья и враги социализма задумаются над этим.

Сидней.

Гордон Шаффер

Великая идея объединяет

Я много беседовал о разоружении с самыми различными людьми: с писателями, актерами, учеными, с политическими деятелями из числа консерваторов, лейбористов и либералов, с руководителями профсоюзов, с коммерсантами, с крупными представителями клерикальных кругов и с рядовыми гражданами всех сословий. Некоторых я просил поделиться со мной своими соображениями относительно конкретных способов преодоления разногласий между державами. Я надеялся таким образом показать, как формируется общественное мнение в Англии, для которой разоружение — вопрос жизни и смерти.

Все единодушно требуют серьезного обсуждения вопроса о разоружении. Эти настроения тесно связаны с общим для представителей различных партий убеждением, что Англия просто не в состоянии более выносить бремя расходов на вооружение.

Как показывает опыт многолетней борьбы за мир в Англии, самым плодотворным и в то же время самым трудным оказалось привлечь к движению сторонников мира писателей, художников, актеров и других деятелей культуры. В большинстве профессиональных организаций существует традиция избегать политических споров, и поскольку протесты против применения ядерного оружия, требование переговоров между главами государств и призыв к разоружению считаются областью политики, то подобные вопросы не ставились в этих организациях.

Что касается журналистов, то у нас, в Англии, имеются две журналистские организации — Национальный Союз журналистов и Институт журналистов, но обе они провозглашают лозунг «никакой политики» и не допускают официальной деятельности, связанной с борьбой за мир, среди своих членов. Национальный Союз журналистов входит в состав Конгресса тред-юнионов, и его делегаты участвуют в работе ежегодных съездов Конгресса, но Союз не имеет возможности обсуждать различные взгляды на международные вопросы, встающие перед профсоюзами. Все это привело к тому, что борьба за мир среди журналистов у нас ведется скорее отдельными лицами, нежели организациями.

Писатели еще в большей степени были склонны уединяться в башне из слоновой кости и отказывались считать движение за мир своим делом. Даже беглый взгляд на книжные рецензии в любой английской газете или журнале дает представление о том, как большинство современных писателей старательно ищет хоть какое-нибудь убежище от действительности. Современный рядовой английский роман, изображая аспекты жизни середины двадцатого века, включая тщательное исследование вопросов пола, как чумы бежит страшной реальности — подготовки к атомной войне. Историки снова и снова штудируют документы ушедших поколений; жизнеописание маршала Нея и очерки по истории суфражизма считаются бестселлерами. Лишь немногие авторы затрагивают проблемы сегодняшнего дня, и еще реже можно найти издателей, которые отважились бы выпускать такие книги.

В первые годы движения сторонников мира в Англии была основана организация «Призыв писателей к миру». Организация получила достаточно широкую поддержку и достигла известных результатов, но теперь прекратила свою деятельность.

В какой-то степени борьба за мир ведется в английском ПЕН-клубе. Обращает на себя внимание заявление, сделанное в прошлом году президентом международного ПЕН-клуба М. Шамсоном на последнем заседании конференции. М. Шамсон сказал: «На наших собраниях всегда возникают два основных течения. В последние дни они вежливо противостояли друг другу, но их различие снова выявится на будущих конгрессах. Одни говорят: «Мы — писатели, и потому должны говорить только о литературе. Когда мы начинаем говорить о том, что выходит за рамки нашей профессии, мы отклоняемся от цели и подрываем самый принцип, на котором основаны наши собрания». Я бы сказал, что те, кто высказывается подобным образом, в значительной степени правы. Но другие отвечают им: «Вы — писатели, но писатели тоже люди, их нельзя отделять от других людей. Вы живете в этом мире. Вы принадлежите к своей нации, к своей стране. Проблемы и изменения, происходящие в

мире, касаются также и вас. Вы хотите думать только о литературе, но разве литература может оставлять без внимания жизнь всего человечества, разве она может молчать о делах людей?» Я полагаю, что те, кто так говорит, также правы в значительной степени».

Это заявление передает те настроения, которые я обнаружил, когда по просьбе журнала «Иностранная литература» спросил мнение ряда писателей по вопросам мира, разоружения, сосуществования и культурных контактов. Некоторые из них искренне верят, что писатель «должен принимать во внимание жизнь всего человечества».

Джек Линдсей, автор романов «Весна, которую предали» и «Прилив поднимается», стоящих среди лучших образцов реалистического изображения борьбы английского народа в послевоенный период, выразил свое твердое убеждение в том, что писатель должен активно участвовать в борьбе за мир. К этому мнению присоединился и Седрик Белфрейдж, высланный из Америки редактор «Нью-Йорк нэшнл гардиан», автор прекрасных романов из английской и американской жизни, а также книги «Испуганный гигант», рисующей сегодняшнюю обстановку в США.

Группа писателей-пацифистов во главе с Этель Мэннин, объединившихся вокруг журнала «Пис ньюз», придерживается того взгляда, что полный отказ участвовать в войне или в приготовлениях к войне является лучшим из возможных средств для решения международных проблем. Эта точка зрения получила в Англии широкое распространение среди тех, кто поддерживает сэра Стефена Кинг Холла, который заявил, что в век водородной бомбы единственным решением для Британии является невооруженная оборона.

Некоторые писатели придерживаются позиции «чистого гуманизма». Таков, например, Эрнест Реймонд, романы которого, рисующие первую мировую войну и ее последствия, считаются «малой классикой». В ответ на мою просьбу Э. Реймонд писал: «Мне уже давно стало до ужаса ясно, что нечего надеяться на подлинное разоружение, если оно не начинается в сердце. Мне кажется, что пока не совершится это желательное, но весьма сомнительное изменение, все соглашения по разоружению останутся в лучшем случае полумерой, которая временно прекращает рост ядовитых сорняков, но не вырывает их с корнем. Пока большинство людей, в том числе государственные деятели, считают, что жестокость и мстительность — это сильное, мужское качество, и не понимают, что это всего лишь слабость и ребячество, пока человечество не дорастет до великодушной и терпимой зрелости, до тех пор почти нет надежды, что атомные бомбы не начнут рано или поздно рваться. Временные соглашения по разоружению — это лучше, чем ничего, но яд все еще не обезврежен».

Высказывания писателей были, правда, более субъективны и интроспективны, чем мнения людей других профессий; однако все сходятся на том, что простое прекращение испытаний ядерного оружия явится предварительным шагом к разоружению.

Когда я обратился к работникам театра, то обнаружил приблизительно ту же картину, но в их позиции играет роль еще одно особое обстоятельство. Многие актеры театра и кино в какой-то степени зависят от контрактов в США. Если актер или актриса связаны с движением за мир, то при выдаче визы американское посольство в Лондоне может устроить допрос и отказать в разрешении на въезд. Несмотря на это многие артисты упорно поддерживают движение сторонников мира. Самая крупная из них — Сибил Торндайк, жена видного актера сэра Льюиса Кэссона, создавшая незабываемый образ святой Иоанны во время первой постановки шедевра Б. Шоу. Когда я обратился к С. Торндайк, они с мужем собирались уезжать в Австралию, но актриса нашла время для ответа.

«Будьте добры, — писала она, — перешлите это письмо в журнал «Иностранная литература». Я считаю, что лучшим решением споров между нациями является разоружение. Всем людям нужно одно и то же, чтобы жить культурно, — комната, образование, пища и тепло. Я верю, что может быть создана международная организация, которая была бы способна разрешать споры. Я все более и более убеждаюсь в том, что производство оружия порождает подозрительность между народами. У нас могут быть различные формы правления, но необходимо развивать взаимопонимание и симпатии, а вооружение не способствует этому».

Я спросил, не хочет ли сэр Льюис что-нибудь добавить к ее словам. С. Торндайк передала мне его ответ: «Он согласен со мной, но говорит, что я упрощаю вопрос».

Профсоюз актеров «Эквити», подобно журналистской и писательской организациям, не выходит за рамки профессиональных проблем, но и здесь многое свидетельствовало о том, что общие принципы движения в защиту мира получают поддержку и одобрение.

Самым ярким, пожалуй, свидетельством стремления улучшить положение в мире явилась широкая кампания среди писателей, актеров, музыкантов и других деятелей культуры Англии в поддержку «Национального комитета Поля Робсона», созданного для того, чтобы помочь П. Робсону получить паспорт и иметь возможность выступать в Англии: Робсон был приглашен по просьбе многочисленных организаций сыграть заглавную роль в новой постановке «Отелло» и дать ряд концертов.

Приведу несколько писем, присланных в этот Комитет.

Филлис Боттом (писательница): «Как христианка, либерал и демократ я удивлена, более того — мне стыдно, что мы так слабо верим в эти большие принципы и боимся присутствия у нас в стране тех, кто

не придерживается таких же убеждений, как мы, или истолковывает их иначе».

Розамунд Джон (актриса): «Пусть крепнут и ширятся ваши протесты, и пусть это будет продолжаться до тех пор, пока поток их не разорвет цепи, которые держат вдали от нас этот великолепный голос».

Сэр Комптон Маккензи (писатель): «То, что мы допускаем по отношению к Полю Робсону, превращает слова «свободный мир» в скверную шутку. Так мог бы поступить Гитлер».

Огастес Джон (художник): «Многие рады приветствовать Поля Робсона в Англии, где большинство людей все-таки уважает принципы личной свободы и честной игры».

Сэр Артур Брайант (писатель и историк): «Хотя мои политические взгляды далеки, по-видимому, от взглядов Поля Робсона, я целиком поддерживаю вашу кампанию во имя свободы этого очень большого артиста».

Можно было бы привести множество других писем. Но тот факт, что люди, которые единодушны в таком вопросе, как выдача паспорта Робсону, колеблются выбрать определенную позицию в проблемах разоружения и мира, отражает определенные трудности, встающие перед прогрессивным движением Англии. И все же силы мира становятся все более значительными.

Ученые гораздо охотнее склонны покинуть башню из слоновой кости — может быть, потому, что атомная бомба затрагивает их совесть и в более узком, личном плане. Есть ученые, которые выступают за бомбу и за испытания; но растет число тех, кто предупреждает своих соотечественников и весь мир об угрожающей опасности.

Я хотел бы привести здесь мнение члена Лондонского королевского общества профессора Бернала, одного из самых замечательных ученых Англии, вице-председателя Всемирного Совета Мира. Профессор Бернал, вероятно, самый крупный в Англии авторитет в вопросах разоружения. Прежде всего он подчеркнул, что поскольку английские военные эксперты считают наиболее эффективным ядерное оружие, то министр обороны получает из Америки атомное снаряжение и намерен предоставить на территории Англии базы для американских управляемых ракетных снарядов. Это, как отметил Бернал, еще теснее свяжет Англию с Америкой и в случае войны не может не превратить ее в объект ответной бомбардировки. Бернал прямо заявил, что, если мы дадим этим кошмарным событиям произойти, все население нашего маленького острова окажется под угрозой уничтожения.

Большинство англичан разделяет точку зрения Бернала. Однако до последнего времени правительство реагирует на эти очевидные факты лишь дальнейшей гонкой вооружения.

Между тем из всех стран мира на Даунинг-стрит поступают потоки писем протеста. Во главе этого движения идет народ Японии, пострадавший от первой атомной бомбардировки и ставший затем жертвой испытаний американского атомного оружия. Эти протесты достигают Англии как раз в тот момент, когда ученые приходят к выводу, что опасность атомной радиации, вызываемой взрывом, гораздо большая, чем считалось прежде. За несколько дней до известного выступления Макмиллана в палате общин, когда он отстаивал целесообразность испытаний, цитируя заключение Комитета медицинских исследований, где утверждалось, что стронций-90, выделяющийся в результате взрыва, не представляет непосредственной опасности, один из экспертов, подписавших это заключение, выступил перед группой в 250 депутатов парламента с признанием, что недооценил опасность радиации. Этот ученый — профессор Хэддоу, один из крупнейших наших специалистов.

При поддержке многих известных деятелей, ранее не принимавших участия в движении сторонников мира, в Англии создан Национальный Совет борьбы за прекращение испытаний атомного оружия. Совет обратился ко всем сторонникам мира с призывом посетить своих депутатов и потребовать от них необходимых действий с тем, чтобы Англия обеспечила успех переговоров и, в качестве первого шага, добилась запрещения испытаний атомного оружия.

Наиболее активную деятельность в борьбе за мир развернули сейчас группа «Наука — для мирных целей», к которой принадлежат многие наши выдающиеся ученые, и «Ассоциация ученых-атомников». Физики, доктора медицины, хирурги, химики и биологи выступают перед различными собраниями — от больших митингов до маленьких дискуссионных кружков — и в популярной форме объясняют людям, какую угрозу представляет ядерная война для человечества и будущих поколений.

Скоро, по-видимому, писатели и деятели искусства проникнутся таким же чувством ответственности: они не могут отмахнуться от проблем разоружения и мира, и именно на них лежит обязанность сохранить наследие прошлого и обеспечить расцвет будущего.

Картину движения за мир в Англии нельзя рисовать только белой и черной красками. Многие честные люди из среды писателей и деятелей культуры, так же как и миллионы людей других профессий, чувствуют растерянность перед лицом совершающихся событий. Но они все яснее понимают некоторые очевидные вещи и прежде всего необходимость прекращения атомных испытаний, необходимость соглашений о прекращении гонки вооружений и начале разоружения.

Я не ошибусь, если скажу, что хотя еще не все готовы покинуть свои башни из слоновой кости и принять участие в борьбе, но по основным вопросам большинство согласно с участниками движения сторонников мира.

Лондон.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Л. Кацошвили

ЧАРЛЬЗ УАЙТ

Работы прогрессивного американского художника Чарльза Уайта посвящены жизни негров, их труду, истории, искусству. В них — чувство большой национальной гордости за свой народ, самоотверженное и бескорыстное желание служить его интересам.

Сын рабочего-негра, Чарльз Уайт вынужден был с раннего детства зарабатывать себе на хлеб. Он брался за любую работу: прислуживал в кухне, был на побегушках в отеле, чистильщиком сапог, а вечерами менял сапожную щетку на кисть и карандаши. Лишь в эти короткие часы счастливый обладатель ящичка с красками предавался любимому занятию.

С детства Уайт жил среди рабочих, видел их нелегкую жизнь; это наложило свой отпечаток на восприятие им окружающего мира. Не случайно первой его значительной работой был рисунок «Измученный рабочий». Когда Чарльзу исполнилось пятнадцать лет, его приняли в «Группу негритянских художников»; именно здесь он впервые услышал о законах живописи. Молодому худож-

Чарльз Уайт *(фото)*

Музыканты

нику помогают устроить маленькие выставки его работ; ему удается продать некоторые свои картины, и вскоре у него накапливается достаточно средств, чтобы внести плату за посещение вечерних лекций в Академии художеств.

Уайт не раз задумывается над разительными социальными контрастами американской жизни. Все свое свободное от занятий и работы время он посвящает изучению материалов по истории негров, которые он тщетно искал в школьных учебниках. «Это ужасно,— писал Уайт, — когда детей восстанавливают против родителей, лишают наследства и богатства их истории, заставляют убивать мысль об отце и матери».

Знакомство с историей родного народа во многом определило дальнейшее направление творчества Уайта: тема борьбы негров за свободу глубоко входит в содержание его картин.

На одном из художественных конкурсов в штате Иллинойс работы Уайта были признаны лучшими, и его премировали стипендией, позволившей ему учиться в Чикагской Академии художеств.

Активная участница движения за свободу негров Роза Ли Ингрэм и ее сыновья Сэмми и Уоллес

Исполнители религиозных гимнов

Песни жизни

Мать

Окончание Академии не принесло ему радости. Началась жизнь, полная нужды, безработицы, мучительных творческих исканий. Наконец ему удается найти работу в отделении художественного планирования города Чикаго. Он не забывает и о своих творческих планах: много работает, ищет новых путей. Серия картин начала сороковых годов дает представление о его исканиях.

Два года он путешествует по странам Южной Америки, самозабвенно изучая поэзию, танцы, музыку негров, которые в Мексике и Бразилии гораздо самобытнее, нежели в США. Здесь же он встречается с творчеством своих идейных единомышленников. Взгляды на живопись портретиста Эмилиано ди Кавальканти, Тарсила ду Амарал и других прогрессивных бразильских художников, выступивших еще в начале двадцатых годов против заимствования европейских и американских форм, чуждых национальному искусству, были глубоко понятны Уайту. Знакомство с мексиканскими художника-

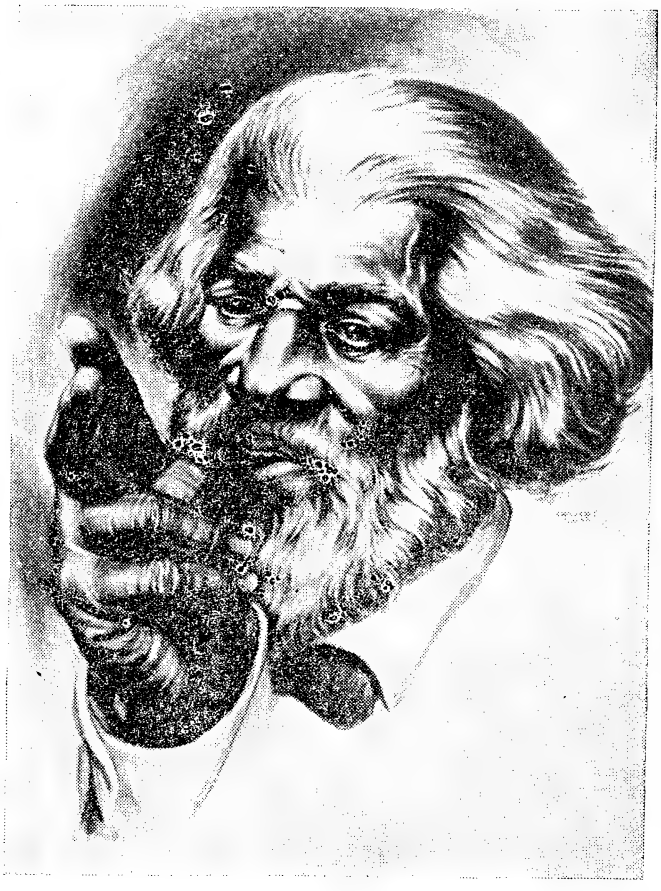
«Вы будете наследниками своей земли!»

ми и, в частности, с художниками «Мастерской народной графики» сыграло исключительно важную роль в творчестве Уайта. У мексиканцев он воспринял не только некоторые технические приемы, но и целеустремленность, злободневность их работ. В сущности, это была его вторая академия. Такие работы Уайта, как «Пять великих американцев», в которой он соединяет историческую борьбу негритянского народа с делами Вашингтона, Дугласа, Трута и призывает народ восстановить в памяти «Забытую историю»; «Негритянская пресса и ее основатели», прославляющая победу негров в длительной борьбе за право иметь свои национальные газеты и издания; «С образом Фредерика Дугласа» и многие другие картины, написанные художни-

Гарриет Табмен и Соджернер Труз — известные деятельницы движения за свободу негров

Любящие

Фредерик Дуглас



ком в тридцатых-сороковых годах, говорят нам о том, что главным в его творчестве этого периода было воссоздание великого прошлого своего народа.

В 1946 году Уайт вторично посещает своих мексиканских друзей, с которыми он не прерывал творческой связи. «Мастерская народной графики» избирает Уайта своим почетным членом. Через некоторое время художник едет в Европу. Он побывал на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине, затем в Чехословакии, Польше, Советском Союзе. Какое большое значение имели эти поездки, можно понять, увидев его замечательные рисунки 1949—1953 годов, а также картину «Мы будем маршировать вместе». Все они ярко отображают пробуждающееся движение цветных народов за свою независимость, свободу и равенство, за мир и дружбу на земле.

Разговор во время жатвы

Крестьянин

Уайт много экспериментирует, ищет различные стилевые формы, старается придать своим работам глубокое содержание. Он внимательно и долго изучает героев своих картин, буквально вживается в них. Именно поэтому его можно смело назвать одним из знатоков истории негров, их обычаев, фольклора, культуры. Обобщая свои знания, он добивается в своих произведениях большой жизненной правды и выразительности. И это богатое знание жизни не оставляет зрителя безучастным к его картинам. Изображение людей труда, их печалей и радостей, их борьбы стало его творческим кредо.

Художник разрешает ряд важных проблем. Мастерство его как рисовальщика уходит далеко вперед. Работы Уайта становятся более эмоциональными, он расширяет рамки содержания своих картин путем тонкой передачи богатства человеческой души. Таковы, например, «Пе-

Молодой рабочий

вец блюза», «Негритянская мать с детьми», «Вы будете наследниками своей земли!», «Мать». Последняя особенно запоминается: на листе изображена женщина, вернее голова и руки женщины. Как замечательно показаны руки, не знавшие ни одной минуты покоя, огрубевшие от непосильного труда! Сколько ласки, нежности и тревоги в ее глазах, большой материнской тревоги за судьбу своих детей!

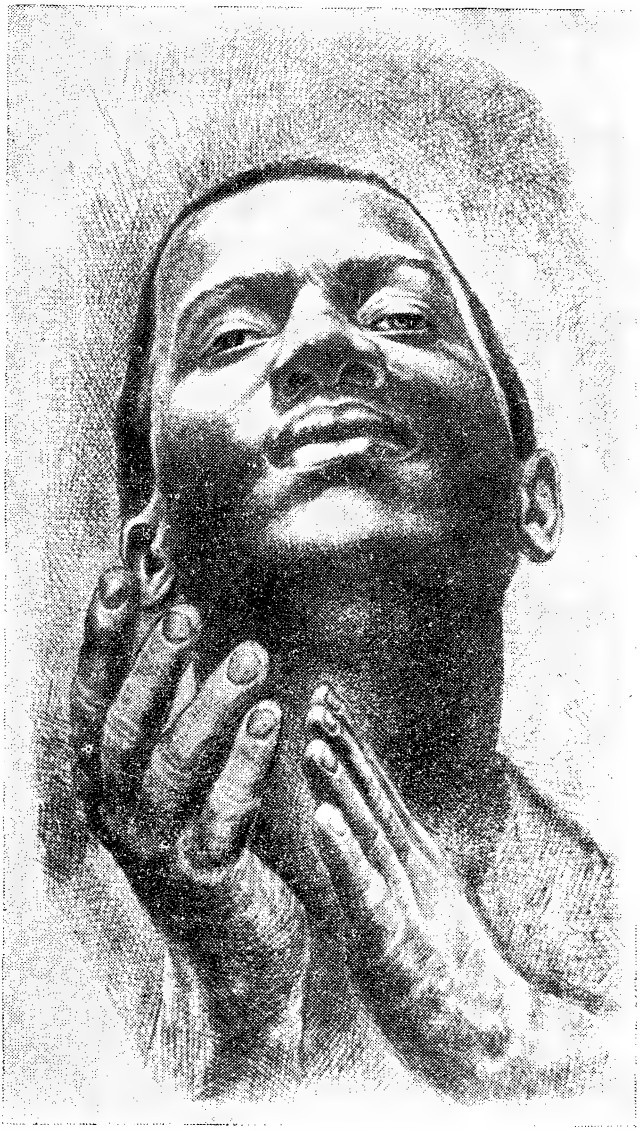
Еще в начале сороковых годов Уайт высказывается за то, чтобы деятели искусства объединились с людьми, борющимися с реакционным миром, ибо искусство должно помочь народу победить темные силы. Позднее, в конце того же десятилетия, он приходит к выводу — художник должен играть прогрессивную роль в жизни общества, его произведения должны быть связаны с запросами его времени, с трудящимися людьми, рабочим классом. Им и должно

«Свобода!»

Заря жизни

принадлежать творчество художника. «Произведение искусства не должно быть собственностью какой-нибудь одной персоны, оно должно принадлежать народу»,— говорит Уайт. Он ратует за то, чтобы творения художников, писателей, музыкантов широко вошли в жизнь народа, ибо подлинный художник помогает массам разобраться в окружающей действительности, повышает их духовный уровень. «Искусство,— писал он,— должно занять такое же место в нашей жизни, какое занимает пища, одежда и жилище».

Уайт подчинил свое творчество служению народу, его взгляды на назначение искусства — это взгляды подлинного реалиста, продолжателя традиций прогрессивной национальной культуры своего народа.



Народный певец

СЕКРЕТ НЕУВЯДАЮЩЕЙ МОЛОДОСТИ

□

Arnold Zweig. Früchtekorb jungste Ernte. Rudolstadt, Greifenverlag, 1956.

□

Если бегло перелистать новую книгу Арнольда Цвейга «Плоды последнего урожая», то может показаться, будто собранные в ней статьи, очерки, эссе 1955—1956 годов объединены лишь по случайному, формально-хронологическому признаку. Заметка о Франце Вайскопфе и пролог к «Димитрию» Шиллера, высказывания по теории романа и автобиографические наброски, воспоминания об Альберте Эйнштейне и письмо президенту Пику — в самом деле, что объединяет такой разнообразный материал?

Но стоит углубиться в чтение книги, как тотчас же становится ясным, что камешки этой пестрой мозаики органически слиты. Целостность и завершенность сборника обусловлены главным образом той аудиторией, к которой обращается художник. В театры Германской Демократической Республики, в ее знаменитые музеи, богатые библиотеки, ее старые университеты пришел новый, жадный до знаний человек — это рабочие, крестьяне, трудящаяся интеллигенция и, прежде всего, надежда нации — молодежь, воспитанная Социалистической Единой партией. К ним-то и обращается автор. Для них воскрешает он буйный и радостный мир Шекспира; им рассказывает он о великом Гейне, «герольде грядущих поколений», о том самом Гейне, чье имя фашисты пытались каленым железом выжечь из памяти немецкого народа; их знакомит он с большим художником Томасом Манном, с неповторимо своеобразным творчеством Бертольта Брехта; им с едва заметной иронией скромного человека повествует он о себе.

Основная тема книги — проблемы искусства. Но та красота, постигать которую учит он своего читателя, не скрывается в сумеречном и пустынном храме, не рождается из бездумных сочетаний красок и холодного совершенства форм. Эта красота — красота реалистического искусства — живет среди шумного потока повседневности, она создается в упорных боях нового со старым.

Вот отчего в книге нашлось место для раздела о тлетворном влиянии абстрактной живописи, которую автор называет «свободное дитя бескультурья». Вот почему Арнольд Цвейг вступает в горячий спор с английским критиком Гарольдом Никольсоном, утверждающим, будто роман как жанр реалистического

искусства — мертв. «Нет, — восклицает Цвейг, — роман не мертв; он лишь теперь начинает по-настоящему выполнять свои задачи!» В литературе появился новый могучий поток; и «так как в нем утверждает себя ранее угнетенный класс, сначала как объект изображения, а затем как его субъект и создатель, он, этот поток, получил наименование социалистического реализма», который должен показывать пути положительного развития будущего.

Но со страниц этой тоненькой книжечки встают образы не только многих художников прошлого и настоящего, но и самого Арнольда Цвейга — писателя, неразрывными узами связанного с народом, человека, который сказал о себе так:

«...Расцвет ленинской го-

сударственной системы... в борьбе против фашизма укрепил мое убеждение в том, что лишь благодаря этому новому повороту спираль моей жизни достигла своей истинной вершины, откуда я, оглядываясь назад, смог убедиться: несмотря на окольные дороги, я шел не по ложному пути».

Арнольду Цвейгу семьдесят лет. На своем долгом жизненном пути он создавал талантливые рассказы и полные пафоса пьесы, лирические стихи и страстные публицистические статьи и, конечно в первую очередь, романы большого социального звучания. Его творчество не только входит в золотой фонд немецкой национальной литературы, но, как отмечает Вилли Бредель, — «принадлежит уже к мировой литературе».

Арнольд Цвейг сегодня полон творческих планов, полон идей и смелых, далеко идущих замыслов, ибо твердо знает, ради чего и для кого он пишет. В этом секрет его неувядающей молодости.

Д. Затонский

ЗА БОЛЬШУЮ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

□

Marie Majerova. O dětské literatuře. Praha, Statní nakladatelství dětské knihy, 1956.

□

Писатель ответствен перед обществом за будущее, за культуру всей нации. Наше будущее — это наши дети, и поэтому нет звания почетнее, чем звание детского писателя. С таким призывом обратилась М. Майерова к художникам слова Чехословакии.

Советский читатель знает М. Майерову как автора ряда романов и рассказов, но ее деятельность в области теории детской литературы до сих пор не освещалась. А между тем, почти всю жизнь писательница занималась этим вопросом.

Среди книг, изданных в Чехословакии к семидесятипятилетию М. Майеровой, обращает на себя внимание сборник «М. Майерова о детской литературе». Он примечателен не только тем, что здесь впервые собраны многочисленные выступления писательницы перед родителями, детьми и издателями, статьи и рецензии на отдельные книги, материалы, опубликованные в различных журналах и газетах в период с 1920 по 1940 год, рукописи, которые в свое время не были напечатаны из-за цензурных рогаток, но и тем, что перед читателем по-новому вырисовывается образ писательницы-коммунистки, мужественно и смело прокладывающей новые пути в детской литературе.

«Утопающий хватается за соломинку, тонущий мир — за детей, но молодежь — это уже не соломинка, а серьезная опора. Ведь речь идет о целом поколении»,— писал Ю. Фучик в 1933 году. Во имя победы пролетарской демократии над силами реакции и борется М. Майерова за новое поколение. Она требует от детской литературы реалистического изображения жизни, раскрытия той правды, которую пытались затушевать представители различных школ и направлений либерального толка. Она требует, чтобы книги для детей перестали быть ремесленными поделками неудавшихся поэтов. «Поэзия — это не только рифмы, не бездушные краски и не дутый пафос,— пишет она.— Поэзия — это красота». Здесь нет и не может быть разницы между книгами для взрослых и книгами для детей. Писательница борется за тенденциозность и беспощадно обличает убожество идей и художественную скудость реакционной детской литературы.

Еще в тридцатых годах, когда Чехословакия была буржуазной республикой, М. Майерова пропагандировала лучшие образцы советской детской литературы, указывая на нее, как на пример литературы нового типа, прославляющей подлинно прекрасные отношения между людьми.

Сборник составил Фр. Тенчик, ему же принадлежит довольно обстоятельное предисловие, где автор систематизирует и комментирует многие статьи, освещает исторический фон, оценивает значение деятельности М. Майеровой как критика и теоретика детской литературы.

К сожалению, в сборник не включены более поздние работы М. Майеровой в этой области. нет, например ее доклада о детской литературе на II съезде чехословацких писателей (1956 год) И, как справедливо упрекает составителя журнал «Ческа литература», в сборник не вошли даже некоторые статьи двадцатых-сороковых годов, в частности небольшая, но интересная статья «Вопросы фотографии в детской книге» (1935 год).

Книга «М. Майерова о детской литературе» вышла в серии «Библиотека теории детской литературы» и без сомнения является очень ценным пособием как для литературоведов, так и для писателей. Хотя, на первый взгляд, в ней отражены события литературной борьбы в определенный исторический период, но по существу поднимается много вопросов, волнующих современных писателей и педагогов

И. Чернявская

ВОСПОМИНАНИЯ О СИНКЛЕРЕ ЛЬЮИСЕ

□

Grace Hegger Lewis. With Love from Gracie. Sinclair Lewis: 1912—1925. New York, Harcourt, Brace and Company, 1955.

□

Эта книга о Синклере Льюисе, одном из самых известных представителей американской литературы XX столетия, написана его первой женой. Как и следовало ожидать, воспоминания Грейс Льюис пронизаны субъективизмом; есть в них немало случайного, поверхностного. И все же ее книга имеет существенное значение. Ценны публикуемые впервые письма Льюиса. Заслуживают внимания некоторые фактические данные, сообщаемые автором. Грейс Льюис также запечатлела, хотя и несколько тенденциозно, отдельные черты характера своего мужа тех лет, когда он создавал такие шедевры, как «Главная улица», «Бэббит» и «Мартин Эроусмит».

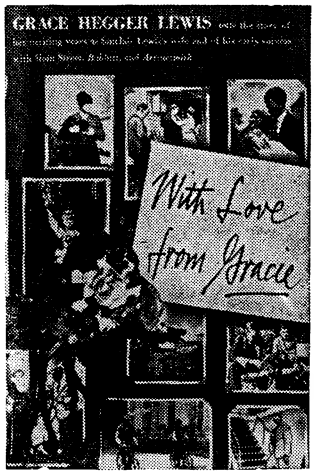
К началу двадцатых годов Синклер Льюис пережил большой творческий взлет. В течение предшествовавшего десятилетия он написал целую серию романов и много рассказов, отмеченных печатью дарования, но все же достаточно близких к жанру развлекательной литературы, чтобы находить себе место на страницах «Сэтердей ивнинг пост» и других пустых, а то и реакционных журналов. Но вот осенью 1920 года появился роман «Главная улица», и читатели в США, а вскоре и в других странах мира увидели как будто нового писателя — крупного мастера критического реализма, продолжателя традиций Марка Твена.

Любопытно, что сам Льюис не сразу осознал все значение происшедшей в его творчестве перемены. В книге Грейс Льюис рассказывается, что уже после выхода в свет «Главной улицы» он принялся за очередной развлекательный роман для «Сэтердей ивнинг пост», но в конце концов от него отказался. Позднее Льюис писал, что после появления его больших реалистических книг редактор «Сэтердей ивнинг пост» Лоример публично выдвинул против автора, которого он недавно так охотно печатал, обвинение в «антипатриотизме». Добавим, что еще позднее, когда появился роман «Додсворт», в котором уже не было такой острой критики американской капиталистической действительности, какая звучала в его предыдущих книгах, Льюис снова временно вернул себе расположение этого журнала.

Что же все-таки помогло писателю в конце второго десятилетия века стать на путь подлинного реализма, что сделало тогда взгляд художника несравненно более проницательным и придало ему смелость рассказать непривлекательную правду о жизни родной страны? В книге Грейс Льюис можно обнаружить материал, бросающий свет на эту сложнейшую проблему.

Конечно, еще в ранней молодости Льюис сумел в какой-то мере осознать убожество духовной жизни в маленьком американском городке Сок Сентр штата Миннесота (прообразе Гофер Прейри из «Главной улицы»), где он провел свою юность. Поэтому не приходится спорить с утверждением писателя, что замысел «Главной улицы» возник у него еще в 1905 году. Но факт таков, что он приступил к работе над книгой лишь тринадцать лет спустя. Среди бумаг, сохранившихся у жены Льюиса, есть заметки, озаглавленные «Тезисы «Главной улицы» и включающие начальные строки самого романа. Заметки эти возникли только в 1918 году, когда Синклер Льюис уже был автором многих романов. Над «Главной улицей» он работал на протяжении всего 1919 года и завершил книгу следующим летом.

То было время, когда с каждым месяцем значение Октябрьской революции становилось все более очевидным для американцев. Льюис не принадлежал к числу активных участников политической борьбы в Америке (и далеко не всегда был последователен в своем отношении к СССР). Но он не был сторонником вступления США в первую мировую войну и с живым интересом отнесся к событиям русской революции. По свидетельству автора книги, зимой 1918—1919 годов Льюис даже вызвал неудовольствие консервативных элементов города Миннеаполиса своим присутствием на лекции об Октябрьской революции жены Джона Рида. Грейс Льюис упоминает также «поджигательные речи» мужа, «сочувственные ссылки» на «большевистскую Россию».



В 1921 году Льюис послал экземпляр «Главной улицы» Дебсу — одному из виднейших деятелей американского социалистического движения, находившемуся тогда в тюрьме за антивоенную деятельность. Год спустя состоялось личное знакомство Дебса и Льюиса, о чем писатель сообщил жене в самых восторженных выражениях. К этому же времени относится начальный этап работы Льюиса над задуманным им романом о рабочем движении, который, однако, не был закончен.

Синклер Льюис так и не осознал роли рабочего класса в деле переустройства общества на справедливых социальных основах. Но по-

чти все его зрелое творчество — от романов «Бэббит» и «У нас это невозможно» до «Гидеона Плениша», «Королевской крови» и последнего романа «Мир так широк»—в той или иной степени говорит о тревоге писателя перед лицом наступления фашизма и об его ненависти к фашистским нравам. Традиционное представление, будто в «Бэббите» Льюис вел борьбу лишь со стандартизацией жизни в США и с духовным оскудением своих соотечественников, не исчерпывает проблематики романа. В заключительной части «Бэббита» возникает новая важнейшая тема, которой не было в «Главной улице». Льюис рассказывает, как фабриканты, крупные торговцы и т. д. силой подавляют забастовку рабочих, с упоением размахивают оружием и даже стремятся спровоцировать волнения, чтобы можно было пролить побольше крови.

Почему же Льюис сумел в романе, опубликованном еще в 1922 году, так выразительно показать фашистские тенденции? Ответ на этот вопрос надо, конечно, искать, прежде всего, в событиях американской жизни. Ведь как раз незадолго до создания книги реакция в США наглядно продемонстрировала свою готовность использовать самые жестокие средства для подавления партии революционного пролетариата. Но интересен также и следующий факт, о котором мимоходом сообщает жена Льюиса: в период работы над «Бэббитом» писатель прожил некоторое время в Италии, где фашизм уже рвался к власти.

Если отмести все второстепенное, предвзятое, производное, о чем повествует автор, рассказывая о том, как назревал конфликт между нею и Льюисом, то с полной очевидностью вырисовывается следующая картина: при всей своей любви к мужу Грейс Льюис с ее аристократическими претензиями, жаждой светской жизни и буржуазного благополучия плохо его понимала и не могла примириться с тем, что в период создания Синклером Льюисом лучших книг в его душе царила всесильная жажда творчества. Мы узнаем, как упорно отказывался писатель приобрести комфортабельный дом и зажить жизнью процветающего бюргера, как любил он переезжать с места на место в поисках новых жизненных впечатлений, как мало радовали его светские обязанности.

Автор воспоминаний справедливо подчеркивает некоторые слабости Льюиса как художника, и в первую очередь недостаточно глубокое раскрытие им внутреннего мира, психологии многих его персонажей. Но Грейс Льюис необоснованно пытается объяснить это тем, что-де писатель был «перекати-поле», не мог «пустить корни». Синклер Льюис, пожалуй, действительно был неуютен в быту, и личная жизнь его сложилась несчастливо. Но характерное для него (по крайней мере, в первой половине двадцатых годов, о которой больше всего говорится в книге) пренебрежение к буржуазной респектабельности не обедняло, а обогащало его творчество.

М. Мендельсон

НОВАЯ БОЛГАРИЯ

□

Боян Болгар. Слънчев прозорец. Пътни бележки. София, Български писател, 1956.

□

«Солнцем озаренное окно» — так назван автором этот небольшой, скромно изданный сборник путевых очерков по новой Болгарии. Читая его, словно видишь залитую солнцем, озаренную светом свободы страну. Добруджа, Лудогорие, Стара-Планина, Средна-Гора, Тракия, Родопы... Где только не побывал автор во время своих поездок по стране, с волнением отмечая то новое, что принесла с собой в Болгарию народная власть! Талантливый рассказчик, он вводит читателя в близкий, родной ему мир. Он знакомит нас с обаятельной двадцатилетней учительницей Халифе, с лауреатом Димитровской премии пастухом-овцеводом Петром Чимишановым, с депутатом околийского совета агрономом Димитром Сюлемезовым, бригадиром цыганской льноводческой бригады Назифом депутатом Народного собрания турчанкой Пакизе Мехмедовой из села Джебел и многими другими. Нет, Боян Болгар не просто регистрирует их трудовые успехи; несколько скупых, но выразительных штрихов — и перед нами живые люди из плоти и крови, со своей, часто нелегкой, судьбой, со своими чертами характера. И это не герои-одиночки. Со страниц книги встает обобщенный образ народа, преображающего свою землю. Новая жизнь проникает в самые глухие уголки, в самые отдаленные горные селения.

Вот автор рассказывает о самодеятельном коллективе «Яне Сандански» — желанном госте в каждом македонском и помашском селе. Кое-где, правда, гостей встречали недружелюбно. «Когда, например, участники коллектива впервые посетили помашское село Кочан, жители его попрятались по домам. Девушки — участницы самодеятельности — оделись в помашскую одежду и пошли по деревне приглашать женщин на спектакль. Но помашки были так напуганы, что многие из них бросились бежать за деревню, волоча за собой детей Даже сельские коммунисты побоялись привести на концерт своих жен и детей. Причина этого стала ясна участникам самодеятельности позже: кто-то сказал, будто в Коране написано, что с танцами и песнями явятся дьяволы в пестрых одеждах, дабы искушать правоверных; они бу-

дут клеймить лбы, и все заклейменные после смерти будут отправлены в ад. Зрителей собралось немного, но коллектив все же показал танцевальную сценку «Дебренская свадьба», поставленную по мотивам местных бытовых обрядов. Кочанцы впервые видели театральное представление, и оно поразило их. После окончания «свадьбы» крестьяне постарше обступили «новобрачного» и, пожимая ему руку, озабоченно осведомлялись, где он поселится с «молодой женой».

Когда на следующий год коллектив вновь посетил село Кочан, деревенская площадь была полна народу. На третий год кочанцы вышли с фонарями за семь километров встречать участников самодеятельности, а потом старые и молодые крестьянки обступили приезжих девушек и наперебой угощали их, приглашали к себе...»

Болгарская печать упрекала Бояна Болгара в недостаточной эмоциональности, в некоторой книжности языка, в стремлении подменить описания людей и характеров описаниями природы, лирическими отступлениями, авторскими рассуждениями. Вряд ли эти упреки вполне справедливы. Конечно, не все одинаково хорошо в сборнике, встречается скороговорка, простое перечисление: столько-то новых школ, больниц, детских садов и т. д. Но можно ли упрекать в недостаточной эмоциональности, взволнованности автора таких очерков, как «Очарование Копривштицы», «В Балчик», «Калиакра», «Снова в Несебыре», «Второе июня», и многих других? Со страниц этих мастерски написанных очерков-миниатюр веет дыханием тысячелетней истории болгарского народа, его славных подвигов.

«Когда вы покидаете Софию... и оказываетесь в таком городке, как Копривштица, притаившемся на высоте 1100 метров среди горных складок Средна-Горы, вы погружаетесь в историю. Маленький городок, который возник четыре столетия тому назад как становище каракачанов, пришедших сюда, чтобы пасти свой скот на мягкой зелени холмов у Тополницы, в прошлом веке стал родником революционной борьбы в Болгарии. История здесь во всем, на каждом шагу... Вот дом Тодора Каблешкова, который двадцатитрехлетним юношей возглавил отряды копривштинцев в Апрельском восстании. Вот место, где грянул первый ружейный выстрел и пролилась кровь, которой было написано воззвание повстанцев. Вот дома Любена Каравелова, Бенковского—бессмертные имена. И совсем близкие нам имена борцов за свободу и правду — имена Антона Иванова, Яко Доросиева, Салчо Василева, Ивана Кривиралчева — все местные уроженцы, люди с чистым сердцем, «честнейшие болгары», как еще сто лет тому назад назвал копривштинцев Константин Фотинов» («Очарование Копривштицы»).

Путевые очерки Бояна Болгара имеют большое познавательное значение. Читатель почерпнет в них много сведений по географии, истории, этнографии, экономике страны. Он познакомится и с ее чудесной природой, переданной в книге с истинной поэтичностью.

М. Михелевич

КНИГА ОБ ИСЛАНДСКИХ РЫБАКАХ

□

Jónas Árnason. Sjór og menn. Reykjavík, Heimskringla, 1956.

□

Молодой прозаик Ионас Арнасон во многих отношениях занимает особое место среди современных исландских писателей. По окончании факультета журналистики одного из университетов США он начал работать в разных прогрессивных журналах и газетах Исландии. Арнасон завоевал большую популярность своими интервью с рабочими и рыбаками и в особенности своими живыми статьями о детях. Об этих маленьких друзьях писателя написана половина тех очерков, которые составили его первый сборник «Люди».

Четыре года назад Арнасон снова стал рыбаком, одновременно преподавая в средней школе. Он также продолжает литературную работу. Недавно вышла его вторая книга «Море и люди».

В этой книге Арнасон остается верным своему любимому жанру — очерку. В ней есть только одна повесть, которая носит название «На кладбище все тихо». Он рассказывает о непрерывной борьбе рыбака Эйрика с купцом Лангдалем, борьбе, которая продолжается даже на кладбище. В этом рассказе много хорошего, твердость и непокорность старого рыбака отлично переданы живым и сочным языком. Но все же

нельзя не признать, что Арнасон еще не вполне владеет формой повести. В очерках же он настоящий мастер. В них он рассказывает о своих товарищах по экипажу, знакомит нас с их тяжелой жизнью, с их твердым характером, с их грубоватым юмором и добрым сердцем. Писатель, в частности, бичует тех, кто по праздникам чествует рыбаков в многословных речах как «героев моря» и «спасителей народа», а в будни готов отвергнуть любое требование рыбаков об улучшении условий жизни.

Два последних очерка — «Холодная капля» и «Будь человеком» — имеют более широкий политический смысл. Они рассказывают об исландских рабочих, которые покинули свои деревни и поселки и отправились в поисках заработка на американские военные базы, расположенные в Исландии. Вследствие этого стал ощущаться недостаток рабочей силы на рыболовных судах, что поставило в очень затруднительное положение рыболовство, которое является главным промыслом страны (рыбные продукты составляют более 90 процентов экспорта Исландии). Кроме того, близкое знакомство с американской армией отрицательно сказалось на многих исландцах, работающих на базах; расцветает спекуляция, уменьшается роль профсоюзных организаций. Арнасон говорит, что тот, кто сегодня бросает нужный и честный труд для того, чтобы поискать себе легкий заработок на иностранной базе, наличие которой угрожает самому существованию исландского народа, совершает непростительную и преступную ошибку. Писатель считает, что даже те политики, которые честно и самоотверженно боролись против американской военщины и ее исландских ставленников, не осмеливались высказать всю правду тем рабочим, которые поддались влиянию идеологии доллара. Арнасон утверждает, приводя множество аргументов, что работать на постройках иностранной военной базы — позорное занятие для исландцев. Он еще раз говорит своим землякам о красоте и величии честного труда, о необходимости быть человеком, а не рабом золота.

Арнасону чужда сухое повествование, которое мы часто наблюдаем у очеркистов, ему чужда и всякая неестественная оригинальность, к которой многие молодые исландские писатели испытывают некоторую слабость. Он рассказывает живо и с большим юмором, широко пользуясь языком рыбаков, который он знает прекрасно.

Арни Береманн

ПОД КАМУФЛЯЖЕМ

□

***. Einen bessern findst du nicht. München, Kindler Verlag, 1952.

□

Книга «И лучшего ты не найдешь...» издана давно, в 1952 году, но до сих пор широко рекламируется в Западной Германии. Действие романа начинается нападением фашистской Германии на Польшу в 1939 году и заканчивается разгромом фашизма в 1945 году. Книга написана от первого лица. Издательство называет это произведение «Bericht», то есть документальный очерк. Автор предпослал книге следующее вступление: «В книге кое-где изменены имена людей и названия населенных пунктов. Зато все образы жизненно достоверны, а все события изображены правдиво».

Издательство в аннотации подчеркивает, что книга рассказывает о «неизвестном солдате, который прошел сквозь адское горнило второй мировой войны». Автор тоже пожелал остаться неизвестным: три звездочки на обложке заменили его имя.

На первых же страницах романа неизвестный автор множество раз пренебрежительно отзывается о «фюрере»; рассуждает о том, как странно, что ему приходится стрелять в людей, которые не сделали ничего плохого; с неприязнью говорит об эсэсовцах, с иронией о Кейтеле и Иодле. Устами одного из персонажей он называет «самой лучшей и самой честной книгой о войне» роман Ремарка «На западном фронте без перемен».

Словом, неискушенному читателю может показаться, что перед ним книга, написанная с антифашистских и антимилитаристских позиций. На самом деле, все это, выражаясь военным языком, не более как камуфляж. Что же скрывается под камуфляжем?

Народам Европы хорошо известно, как гитлеровцы обращались с военнопленными. Этого никто не забыл. Этого никто не забудет. Почва Освенцима, камни Майданека вопиют о злодеяниях. Бесстрастные тома документов Нюрнбергского процесса запечатлели эти злодеяния для истории. Анонимный автор книги «И лучшего ты не найдешь...» хочет доказать читателям, что всего этого попросту не было. Если верить ему, гитлеровская армия не только не совершала никаких злодейств, но, напротив, была образцом гуманности и мягкосердечия. С этой целью в роман введены отвратительно сусальные картинки, изображающие, например, как гитлеровские солдаты и офицеры празднуют рождество вместе с русскими пленными, или рассуждения о «маленьких любезностях», которыми герои романа встречали каждого пленного. Солдат Курт Цех, доктор философии и приват-доцент Гёттингенского университета,

читает своим однополчанам лекцию на тему «Германская армия и пленные». «Во всех войнах, которые мы вели, — заявляет он, — мы всегда хорошо обращались с пленными, разве что икрой их не кормили». Свою речь о гуманных традициях германской армии он, разумеется, заканчивает рассуждением о «зверствах русских». Эти абзацы в книге вполне выдержаны в духе материалов геббельсовских «рот пропаганды».

В умиленно сентиментальном тоне рисует господин *** отношение гитлеровских армий к населению оккупированных стран Европы. Чего стоит хотя бы картинка, когда гитлеровский солдат на глазах огромной колонны французских беженцев кормит шоколадом французского мальчика, а мать мальчика требует, чтобы ребенок сказал «мерси» доброму дяде! Навязчивый образ гитлеровского солдата с шоколадкой в руках полюбился автору и проходит через многие страницы книги.

Что делают германские солдаты в Париже? О, всего лишь подбирают беспризорного котенка и под руководством высокообразованного лейтенанта осматривают достопримечательности города, невинно наслаждаясь разлитым в воздухе «истинно парижским обаянием».

Что они делают в Югославии? Наивно недоумевают, почему население, с которым они были так милы, уходит к партизанам.

Столь же непринужденно снимаются с мундира гитлеровской армии прочие позорные пятна. Немецкие пикирующие бомбардировщики уничтожили беженцев на французских дорогах? Что поделать! Зачем население, вместо того чтобы дожидаться «освободителей», покинуло город и хлынуло на дороги, которые были нужны для движения немецких танков? Вот и пришлось освободить шоссе. Суровая военная необходимость, не более того!

Речь заходит о прусской военной муштре, которую гитлеровский вермахт взял на вооружение у кайзеровской армии. Щекотливая тема! Когда перед западногерманской молодежью встает перспектива рекрутчины, ее воображению предстает призрак этой муштры. Недаром такой успех имели и имеют в Западной Германии книги, правдиво показывающие бесчеловечную плац-парадную дрессировку, при помощи которой гитлеровский солдат превращался в послушный автомат.

Все это не так страшно, силится убедить своих читателей автор романа. После нескольких иронических замечаний о прусском парадном марше слово берет главный герой книги. «Скажи-ка,— говорит он своему товарищу,— когда ты вместе со всеми маршируешь парадным шагом, разве в тебе, в ногах или вообще где-то внутри, не возникает какой-то импульс, доставляющий тебе наслаждение?» И далее оказывается, что прусский парадный шаг есть выражение некоего внутреннего человеческого ритма, а прусские военные марши столь же бессмертны, сколь бессмертны войны, потому что они отвечают внутреннему «инстинкту» человека.

Герой книги, от лица которого идет повествование, чем дальше, тем больше ощущает прелесть солдатчины, торжествует, когда его производят в унтерофицеры, ликует, получая Железный крест, и постепенно приходит к выводу, что независимо от того, какова та война, в которой он участвует, все окружающие люди ценны только постольку, поскольку они хорошие солдаты. Так возникает образ героического ландскнехта, который, по словам автора книги, «никогда не подводил», то есть всегда слепо исполнял свой долг, не размышляя о том, кому он повинуется и во имя чего он совершает преступления.

Но больше всего автор книги озабочен созданием героического образа гитлеровского офицера. За исключением двух-трех трусов все изображенные в романе офицеры не только смелые воины, но и истинные, несмотря на молодость, отцы своим солдатам. Они делят с ними все тяготы, подбадривают шуткой, угощают вином из личных запасов, скрывают от начальства их маленькие проделки и даже покрывают политическую неблагонадежность! Венчает этот угоднический гимн во славу офицерства гитлеровского вермахта образ лейтенанта, затем обер-лейтенанта Шлейермахера. Нет такой добродетели, какой не обладал бы Шлейермахер, нет такого положения, в котором он потерял бы голову, нет такого начальника, которому он не сказал бы правду в глаза, нет такого солдата, который не был бы готов в любой момент прикрыть господина Шлейермахера своим телом. Слезы умиления звучат в голосе рассказчика, когда он сообщает, как они расцеловались с обер-лейтенантом.

Именно в уста Шлейермахера вкладывает автор романа конечный политический вывод книги. Это он, Шлейермахер, говорит своим солдатам, что гитлеровская армия спасала Запад от Востока, Европу от большевизма. «Американцы тоже напрасно вели эту войну,— говорит он в конце книги.— И англичане напрасно вели эту войну, и французы».

Вот оно, оказывается, в чем дело! Вот для чего весь этот камуфляж! Сотни страниц умилительных картинок из жизни идеальных солдат и офицеров гитлеровского вермахта нужны автору для того, чтобы протащить идею «угрозы с Востока», «европейской общности» и призвать страны Западной Европы к военному сотрудничеству против СССР.

Название романа — «И лучшего ты не найдешь...» — это рекламная надпись под рекламным муляжем гитлеровского офицера и покорных ему солдат, обращен-

ная к новым покупщикам пушечного мяса. Это вместе с тем и рекламный призыв, обращенный к западногерманской молодежи. Вглядись в эту фигуру: «лучшего ты не найдешь!» Быть под его командой — величайшее счастье!

Вполне возможно, что над пухлой книгой трудился не один, а несколько человек. Но принадлежность этой личности или этих личностей к пропагандистскому аппарату, готовящему кадры боннского вермахта, представляется достаточно очевидной. Однако какой невольный просчет заключен в самой фамилии столь возвеличенного в романе обер-лейтенанта Шлейермахера! Ведь «шлейермахер» — означает «набрасывающий покров».

Сколько бы господа шлейермахеры и господа *** ни набрасывали покров антифашизма на сочинения, подобные этой книжке, ее милитаристский дух бьет в нос, не оставляя никакого сомнения в том, из каких источников почерпнули авторы свое вдохновение.

Сергей Львов

ПРЕДСМЕРТНОЕ СЛОВО АСУЭЛЫ

□

Mariano Azuela. Esa sangre. México, Fondo de Cultura Economica, 1956.

□

Роман Мариано Асуэлы «Эта кровь», изданный посмертно, стал заключительным звеном в сложной творческой эволюции большого художника-реалиста, основоположника современного мексиканского романа.

Около полстолетия назад начался творческий путь М. Асуэлы. Его творчество с полным основанием может быть названо зеркалом мексиканской революции.

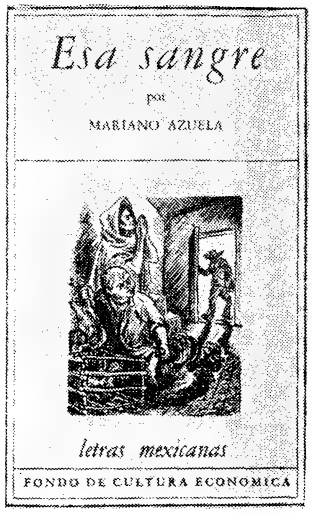
Роман «Эта кровь» является продолжением романа «Бурьян» (1909 г.), запечатлевшего картину феодального произвола в мексиканской дореволюционной провинции. Посмертно изданная книга содержит ключ к раскрытию идейной эволюции писателя, которого неоднократно обвиняли в непонимании характера происшедшей в Мексике революции. Роман «Эта кровь» — прекрасное доказательство необоснованности этих обвинений.

В образе Хулиана Андраде, центрального героя романа «Бурьян», Асуэла воплотил типические черты помещиков-феодалов — главной опоры диктатуры Порфирио Диаса. Семья Андраде — это семья убийц, достойных потомков испанских колонизаторов. Когда Андраде покупали свое поместье, то платили за него звонким золотом, награбленным по дорогам Мексики. «Андраде,— говорит автор,— превратили всю провинцию в свое феодальное владение». В романе «Бурьян» Асуэла вскрывал причины того мощного крестьянского движения, которое было основной силой революции 1910 года.

В романе «Эта кровь» мы встречаемся с Хулианом Андраде спустя 30 лет. Прожив все это время в Аргентине, куда он бежал во время революции, и десять лет просидев в тюрьме, Андраде возвращается в Мексику. Годы изгнания и заключения превратили его в дряхлого старика, но не сбили с него былую спесь: по-прежнему стучит в его жилах кровь самодуров Андраде, а рука привычно тянется к пистолету.

Вернувшись на родину, он не желает замечать происшедших перемен, не хочет примириться со своим униженным положением, но его надежда на то, что ему вернут конфискованное поместье, разбивается об упорное сопротивление крестьян. Попытка силой восстановить былой авторитет, нагнать страху на крестьян кончается плачевно. Жизнь немилостива к старому Андраде: даже девчонка Марсела, внучка бывшего батрака, дерзко ударив его, с хохотом убегает прочь, а старик, поднимаясь из придорожной грязи, в бессильной злобе смотрит ей вслед.

Многие годы на творчество Асуэлы падала тень пессимизма, но в этой книге жизнь под его пером вновь засверкала чудесными красками, правда, не для старого помещика, а для босоногой крестьянской девчонки: в ослепительном сиянии солнечных лучей беззаботно сидит юная Марсела на полуразрушенной стене бывшей усадьбы Андраде. Мотивы жизнеутверждения и радости — вот то новое, что вносит этот роман в картину мексиканской действительности, созданную мастерской кистью Асуэлы.



В романе «Эта кровь» Асуэла достигает необыкновенной четкости и тонкости психологического рисунка. Пожалуй, впервые в истории мексиканского романа с таким мастерством и сдержанностью и в то же время так полно раскрыто в образе Хулиана Андраде бессилие человека, пыта-

ющегося повернуть вспять историю.

Таково предсмертное слово Асуэлы, который на протяжении полувека был строгим судьей мексиканского общества, который никогда не шел на компромиссы, был непримирим к недостаткам и скуп на похвалы. Впервые за много лет писатель, взглянув на родную землю, ясно увидел путь из мрака феодализма, и это новое мироощущение выливается у него в радостный, солнечный пейзаж, которого мы не найдем в прежних его романах: «Все вокруг было залито солнцем, хрустальная пыль поднималась над склоном возвышенности, в яркой синеве небес таяли облака. Свет, красота, радость! Потоки солнечных лучей, прорываясь сквозь легкую дымку тумана, стекали на бескрайние поля, зажигая миллионы ослепительных бриллиантов в траве и на вершинах холмов, покрытых резным узором кустарника».

Асуэлу как художника можно сравнить с человеком, который с трудом прокладывает себе дорогу в непроходимой чаще тропических зарослей. Каждый новый роман писателя был подобен удару мачете, который рассекает сплетение лиан, закрывающих доступ солнечному свету. Временами силы покидали его, казалось, не было выхода из удушающих объятий мрачной действительности. Но вот еще несколько ударов— и перед глазами обессиленного труженика забрезжил свет человеческого счастья. «С бурьяном покончено»— эти заключительные слова романа звучат как вздох облегчения писателя, уходящего из жизни с верой в лучшее будущее своего народа.

И. Винниченко

„ВЫСШИЕ ЖИВОТНЫЕ"

□

Pierre Courtade. Les animaux supérieurs. Paris, Réné Julliard, 1956.

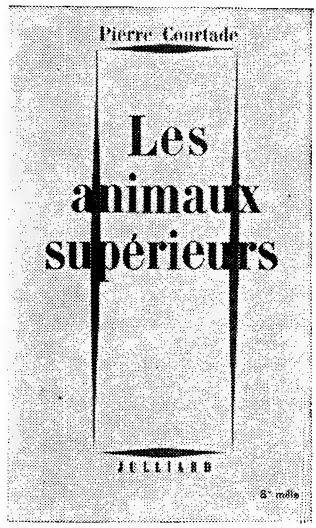
□

В своих новых рассказах, составивших сборник «Высшие животные», Пьер Куртад пытался, как он сам говорит, раскрыть мелкобуржуазную психологию, ту, которую знает лучше всего. Правильнее сказать, что этими рассказами писатель борется за неокрепшее еще сознание «маленького человека», старается внушить ему чувство собственного достоинства, вызвать к жизни стремление к активным действиям на благо своего народа и родины. Одних героев он будит от мещанской спячки, другим помогает сбросить с плеч тяжелый груз страха, третьих заставляет отказаться от рабской привычки идти на компромисс со своей совестью. В большинстве рассказов Куртада звучит твердая уверенность в возможности «взлета» его героев; даже если это не раскрывается в сюжете, то в подтексте, в общей атмосфере рассказа читатель видит того полноценного человека, которому должно принадлежать будущее.

Вот, например, рассказ «Дух Гакома», где Куртад с большим мастерством и искренностью пишет о пробуждении человеческого достоинства в мелком буржуа, который привык приспосабливаться к обстоятельствам. Он устраивается на работу, которая дает ему возможность жить спокойно вместе с любимой женщиной. Однако элементарная честность побуждает его признать, что требования бастующих рабочих справедливы, и он теряет работу. Первый раз в жизни поднял он голос протеста, и неожиданно это принесло ему большое облегчение: «Он больше не боялся. Он был совершенно спокоен и уверен в своем будущем».

Куртад постоянно подчеркивает обычность своих героев, и в то же время он убеждает нас, что эти простые, бесхитростные люди могут быть сильными и что их пробуждение совершается ежечасно, ежеминутно. Толчком к этому могут быть и мелочи, и серьезные события.

В каждом отдельном случае остро чувствуется отношение автора к своим персонажам, даже в том случае, когда он раскрывает «изнутри» психологию писателя - коллаборациониста перед освобождением



Парижа от немцев («Танки и мысли»), или когда он издевается над разбогатевшим американским выскочкой («Рояль»). Основное достоинство книги заключается в той страстности, с которой Куртад то бичует, то жалеет, то ненавидит, то любит. Это постоянное присутствие автора чувствуется несмотря на то, что он не всегда и не все договаривает до конца; почти во всех рассказах есть подтекст, который и составляет, так сказать, «мораль» произведе-

ния. Как раз этот «второй план» и придает рассказам Куртада своеобразный аромат.

Писатель часто обращается к внутреннему монологу, который позволяет читателю близко увидеть духовный мир героев, разобраться в их психологии, понять, что́ их побуждает действовать так, а не иначе. Иногда для той же цели автор раскрывает перед читателем страницы из записной книжки действующего лица, иногда для этого служит очень интимный и откровенный разговор двух приятелей, из которого, собственно, и состоит весь рассказ.

Сюжет чаще всего не играет решающей роли в рассказах Куртада. В рассказе «Все дело в сердце» автор подробно описывает состояние своего героя, пристально следит за ходом его мысли и как бы сам ищет разгадку, ответа на вопрос, откуда берутся силы у этих людей, которые кажутся такими маленькими и неуверенными. В большинстве случаев ответ бывает один и тот же: познание своей связи с окружающим миром раскрепощает человека, делает его по-настоящему свободным, способным бороться за лучшую судьбу. У героя одного из рассказов, молодого человека Шарля Петреля, инфаркт, ему грозит смерть, но не страх перед ней занимает его мысли, когда он лежит в полном одиночестве в клинике и борется с болезнью. В его уме проносятся картины прожитого, картины мира, столь изменившегося на протяжении его жизни. И в его памяти случайно всплывает читанная где-то фраза: «в 1970 году Сибирь даст 1000 миллиардов киловатт-часов...» Он прикидывает, что к тому времени ему будет всего пятьдесят пять лет. «Он смотрит на красные розы. Он думает: «Это от Анисет». Он думает о любви. Думает о любви в чудесном мире. Кровь стучит в аорте. Сердце держится».

В прошлом боец движения Сопротивления, Пьер Куртад не складывает оружия. Своими романами, рассказами и публицистическими произведениями Куртад борется за человека.

М. Кавтарадзе

ТАЛАНТЛИВЫЙ ХУДОЖНИК ПРОЛЕТАРИАТА

□

Georg Weerth. Sämtliche Werke in 5 Bnd. Berlin, Aufbau—Verlag, 1956—1957.

□

На протяжении почти целого века буржуазные историки литературы стремились предать забвению творчество смелого и оригинального художника, пролетарского революционера Георга Веерта.

Сам Веерт о своих рукописях не заботился. Его стихи и проза публиковались только в газетах и альманахах. Отдельных изданий произведений Георга Веерта в XIX веке, за исключением романа «Жизнь и подвиги знаменитого рыцаря Шнапганского», вышедшего в 1849 году в издательстве Гофмана и Кампе,— не было. Некоторые интересные работы Веерта, многие его стихотворения, письма вообще не публиковались и хранились в различных государственных и частных архивах.

Маркс и Энгельс, считавшие Георга Веерта своим лучшим другом, не только сумели сохранить часть литературного наследства этого мастера революционной литературы, но в тяжелых условиях реакции, наступившей после разгрома революции 1848—1849 гг., популяризировали его творчество.

В нашей стране неоднократно публиковались отдельные произведения и сборники Георга Веерта, статьи и монографии о его творчестве. Наши читатели знают яркие «Песни из Ланкашира», глубоко лирические «Песни подмастерья», блестящую антикапиталистическую повесть «Юмористические сцены из немецкой торговой жизни», замечательный роман «Жизнь и подвиги знаменитого рыцаря Шнапганского», а также острые революционные фельетоны писателя. И все-таки творчество Георга Веерта в полном объеме не было известно.

В настоящее время Бруно Кайзер издает в Берлине пятитомное собрание сочинений Георга Веерта. Три тома уже вышли из печати.

В первый том включены мало известные у нас стихотворные циклы «Любовь» и «Вино». Уже в этих ранних произведениях Веерт выступает как оригинальный писатель. Жизнерадостность, светлый оптимизм пронизывают эти юношеские опыты Веерта, в которых он с большой симпатией рисует народ.

В первом томе напечатаны также неизвестные советскому читателю стихотворения на библейские сюжеты «Как бог отец мир создал», «Соломон» и «Господин Иосиф и фрау Потифар». В «библейских романсах», как поэт определил

эти стихотворения, Веерт ясно выражает материалистические и атеистические идеи. Он называет небо сералем, а бога — великим султаном, который мечтает о том, чтобы Христа сделать вице-королем.

Во втором томе помещены ранние прозаические произведения Георга Веерта: «История одной бабочки», яркий рассказ о крестьянах Тевтобургской равнины и очерк о ярмарке в Йоркшире.

Острые, талантливые памфлеты «Добрые дела герцога Мальборо», «Джозеф Райнер Стефенс, проповедник из Стальбриджа, и движение английских рабочих в 1839 году» до сих пор были совершенно неизвестны. А они раскрывают не только своеобразные черты веертовской публицистики, но и выражают всю силу его революционных убеждений.

В памфлете «Джозеф Райнер Стефенс, проповедник из Стальбриджа, и движение английских рабочих в 1839 году» Веерт, основываясь на выводах Энгельса, разоблачил лживость мальтузианства и ярко показал звериный облик некоего Маркуса, который рекомендовал убивать детей рабочих при помощи воздуха, смешанного с газом. Этот памфлет весьма живо звучит сегодня, когда реакционеры разных мастей вытащили на свет пресловутую теорию Мальтуса и требуют истребления «избыточного» населения земного шара.

В 1843 году Веерт начал писать большое произведение, в котором он задумал создать образы первых представителей немецкого капитализма. Роман, к сожалению, не был закончен. Большой отрывок из этого романа ныне опубликован во втором томе его сочинений. Фрагмент показывает, что Георг Веерт хорошо знал жизнь самых различных слоев немецкого общества. Он талантливо изобразил непрактичного барона д'Эйнкурта, его мечтательную дочь Берту, старого слугу Жана Баптиста, энергичного и жестокого капиталиста Прейса, адвоката-проходимца, бухгалтера, рабочих. Изумительный по глубине и яркости образ революционера Эдуарда, вылепленный Веертом, является одним из первых положительных образов рабочего в немецкой, да, пожалуй, и во всей европейской литературе того времени.

Во втором томе опубликована хорошо известная у нас повесть «Юмористические сцены из немецкой торговой жизни». Главы «Путешественник как он есть и каким должен быть», «Маклер», «Спекуляция» напечатаны впервые по материалам архива Амстердамского института социальной истории. Расширенная редакция повести усиливает сатирическое звучание этого выдающегося произведения.

Сто девять лет лежала в архиве интересная во многих отношениях рукопись «Очерков из социальной и политической жизни британцев». Сейчас Бруно Кайзер полностью напечатал ее в третьем томе

Выход трех томов сочинений Георга Веерта имеет большое значение. Творчество Веерта революционно и высоко идейно. Он был первым и самым значительным поэтом немецкого пролетариата, как назвал его Энгельс, одним из предшественников социалистического реализма в немецкой литературе.

В. Буняев

НЕСКОЛЬКО ПОЛЬСКИХ ВОПРОСОВ

□

Jerzy Kirchmayer. 1939 i 1944. Kilka zagadnień polskich. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957.

□

За последнее время на страницах различных польских газет и журналов вновь появляются статьи, выходят в свет брошюры и книги, посвященные вопросам выяснения причин сентябрьского поражения буржуазной Польши (1939), значения Варшавского восстания в 1944 году и роли Армии Крайовой. Из последних работ на указанные темы польская критика выделяет книгу Е. Кирхмаера «1939 и 1944. Несколько польских вопросов». Следует отметить, что, кроме интереса к самой книге, привлекает внимание и личность ее автора. Е. Кирхмаер, будучи штабным офицером армии Пилсудского, принимал участие в сентябрьской кампании. Во время гитлеровской оккупации Е. Кирхмаер был одним из видных офицеров Армии Крайовой. После окончания второй мировой войны он вступает в возрожденное Войско Польское, назначается начальником военно-исторического отдела Генштаба, а вскоре ему присваивается звание генерала.

Книга Е. Кирхмаера носит военно-исторический и публицистический характер, в ней затрагиваются важные и мало освещенные в польской литературе вопросы недавней истории Польши.

В первом разделе речь идет о 1939 годе. В главе об английских гарантиях автор подробно излагает перипетии англо-французских переговоров с Польшей нака-

нуне вторжения гитлеровских армий и разоблачает политическое двурушничество тогдашних союзников Польши, которые в решающую минуту бросили ее на произвол судьбы.

Следующие главы посвящены анализу сентябрьских событий, в них рассказывается о некоторых внутренних причинах поражения Польши в 1939 году. Одной из таких причин автор считает то, что польское верховное командование, имея разработанный план войны против СССР, не принимало никаких мер обороны против гитлеровской Германии, несмотря на явную угрозу военного вторжения с ее стороны. По этому поводу автор пишет: «...В конце 1935 года Смиглы (Рыдз-Смиглы, главнокомандующий вооруженными силами страны.—*М. Р.*) правильно понял вырисовывающуюся немецкую опасность, однако до февраля 1939 года никакого решения по вопросу разработки плана войны с Германией не принял, и никакого плана подобного рода в это время не существовало». И это явилось, утверждает автор, без сомнения, одной из главных причин сентябрьской катастрофы

Много нового и интересного есть в главе, разбирающей сущность польской военной доктрины того времени. В частности, автор развенчивает Пилсудского как вождя и организатора польских вооруженных сил. По этому вопросу Е. Кирхмаер замечает: «Интересно, что Пилсудский в своей военной деятельности самым широким образом пытался применять опыт войны 1918—1920 гг., причем в мирное время он повторял те же ошибки, которые совершал тогда». И дальше продолжает. «Однако самым важным был тот факт, что Пилсудский оставил после себя катастрофическое наследие в деле вооружения и материальчого оснащения армии С этой точки зрения наша армия в 1935 году, то есть в год смерти Пилсудского, ничем не отличалась от армии 1920 года».

В двух последующих главах — «Гданьская интервенция» и «Концепция битвы над Бзурой» — автор выступает не только как историк, но и как непосредственный участник описываемых событий; он довольно подробно излагает ход сражений польских войск с гитлеровскими армиями, происходившими на западе Польши в 1939 году. В результате неподготовленности верховного командования польских вооруженных сил и ошибок, допущенных в ходе военных операций, были разгромлены две лучшие польские армии. Таков бесславный итог польской военной доктрины, не выдержавшей первого испытания.

Второй раздел книги посвящен Варшавскому восстанию и начинается с разбора причин неудачи повстанцев в первый же день их выступления, 1 августа 1944 года. Указывая на недостаток вооружения у повстанцев, автор резко критикует допускавшиеся командованием Армии Крайовой просчеты в плане восстания, что уже в начальной стадии обрекало восстание на поражение. Интересно написана глава «Варшавское восстание в немецком освещении», в которой автор ставит вопрос: чем объяснить тот факт, что немцы не подавили восстания в первый же день, почему оно могло длиться в течение 63 дней? «Объяснять подобное положение лишь героическим сопротивлением варшавян было бы только половиной правды, вторая же половина правды, и причем важнейшая, заключается в той военно-политической обстановке, которая сложилась к этому времени в Германии; в частности необходимо учитывать ее положение на Восточном фронте».

По поводу роли Советской Армии Е Кирхмаер делает следующее категорическое заявление: «...Нужно полностью отбросить домыслы чисто пропагандистского характера о том, что Советский Союз по политическим соображениям не был якобы заинтересован в оказании помощи восстанию... Если бы позволяла обстановка,— продолжает автор,— Советская Армия продвинулась бы на Одер и еще дальше как можно скорее». Трудно что-либо добавить к этому верному замечанию Е. Кирхмаера; она является еще одним ударом по клевете, распространяемой реакционными кругами как внутри страны, так и за ее пределами, по клевете, направленной на то, чтобы подорвать дружбу между польским и советским народами.

Переходя к рассмотрению вопроса о политическом значении Варшавского восстания, автор довольно подробно останавливается на характеристике так называемой «западной» идеи, которая ориентировала Польшу на союз с западными государствами, и вскрывает ее историческую несостоятельность. Кирхмаер пишет, что реализация «западной» идеи явилась одной из главных причин падения страны и неисчислимых бедствий польского народа. Но несмотря на это, в период гитлеровской оккупации реакционные круги в Польше вновь поднимают ее на щит. Лондонское эмигрантское правительство и главное командование Армии Крайовой строили свою политику в расчете на то, что Польша будет освобождена армиями западных государств. И вновь «западная» идея терпит крах. Освобождение Польше приносит Советский Союз и его героическая армия. По поводу «западной» идеи автор заключает: «Польша должна искать решение своего политического и экономического существования на направлении Москва—Варшава—Берлин». Таковы уроки истории.

Книга Е. Кирхмаера не является капитальным исследованием, исчерпывающим весь круг затронутых вопросов, но она, тем не менее, представляет большой интерес как одна из первых попыток объективно разобраться в сложнейших воп-

росах недавней истории Польши. Большим достоинством книги является богатство фактов, увлекательность изложения и простой, точный язык. Работа Е. Кирхмаера получила большой общественный резонанс в Польше — книга разошлась в один день. Но, как справедливо заметил один польский критик, с автором не во всем можно согласиться. Например, вряд ли можно оценивать исторические события только с точки зрения действий правительств, игнорируя влияние общественных движений и классовых сил. Можно сделать и ряд других возражений, но это не отменяет значения труда Е. Кирхмаера.

М. Рымжа

„СТРАНА ПОДНЯЛАСЬ"

□

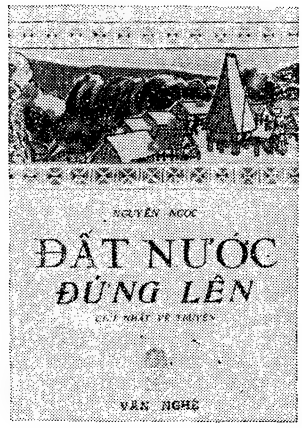
Nguyễn Ngọc. Đất nước đứng lên. Hà-nội. Nhà xuất bản văn nghệ. 1956.

□

Писатель Нгуен Нгаук вошел во вьетнамскую литературу не совсем обычно: его первая повесть «Страна поднялась» была удостоена премии литературы за 1954—1955 годы тогда, когда она была в рукописи. В годы Сопротивления Нгуен Нгаук долгое время работал корреспондентом военной газеты в горных районах Центрального Вьетнама, населенных национальными меньшинствами. В его повести и рассказывается о борьбе горного племени бана против французских колонизаторов.

Жители селения Конг-хоа, узнав о приближении французских солдат, поспешно скрываются в горах, считая белокожих сверхъестественными бессмертными существами, которые летают на чудовищных птицах-самолетах и извергают смертоносный огонь из оружия. Лишь один юноша Нуп дерзает остаться в селении и из засады пронзает стрелой вражеского солдата. Когда в Конг-хоа из долины приходят бойцы Народной армии, мужчины селения создают с их помощью партизанский отряд. Нуп начинает понимать, что раньше «его племя боролось против французов так, как течет ручеек: течет среди древних джунглей и теряется где-то...»; он узнал, что страна его велика и что малые ручейки сливаются в мощный поток, который может смыть врагов. Нуп становится партизанским вожаком. Высоко в горах жители Конг-хоа основывают новое селение. Колонизаторы блокируют горные тропы, ведущие из долины к непокорным горцам, непрерывно нападают на партизан. Однажды врагам удается ворваться в селение, они грабят и сжигают его. После поражения часть горцев решает покориться французам, но большинство уходит вместе с Нупом еще дальше в горы и создает там новое, партизанское Конг-хоа. Партизаны окружают свое селение хитроумными ловушками и западнями. Когда вражеские солдаты пытаются приблизиться к Конг-хоа, они попадают в тигровые ямы, утыканные ядовитыми шипами; натыкаются на согнутые деревья, которые, подобно пружине, распрямляются при одном неловком движении; целый горный обвал обрушивается на колонизаторов.

Своим мужеством и изобретательностью Нуп спасает отряд в самые тяжелые моменты. Сурова и трудна борьба патриотов: партизаны нередко голодают, вместо соли им приходится класть в пищу золу. Когда над жителями Конг-хоа нависает угроза голодной смерти, Нуп «наперекор велению Неба» решается сеять маис в первый месяц года, чтобы получить урожай весной. Когда между горцами разгораются межплеменные распри, во время которых «люди племени бана сражались с людьми племени зарай, люди племени зарай сражались с людьми племени эдэ», Нуп убеждает их отказаться от братоубийственной резни. К партизанской борьбе жителей Конг-хоа присоединяются горцы других селений. Непреклонное мужество партизан приносит им победу.



Влияние фольклора горных племен Вьетнама на повесть проявляется не только в том, что писатель говорит колоритным языком народных сказаний, но и в том, что вся книга насыщена мотивами народного творчества горцев. Основную идею произведения подчеркивает легенда о мече сказочного героя Ту, к которой автор обращается дважды. Когда-то герой Ту вступил в единоборство с тропическим ливнем, который грозил залить маисовые поля. В разгаре сражения клинок волшебного меча Ту отделился от рукояти. Звонкий поток унес клинок в долину, а рукоять осталась у горных племен. Чтобы меч вновь обрел свою сокрушающую силу, надо

соединить рукоять и клинок, надо объединить силы вьетнамцев — жителей долины и горных племен.

Задумав свою книгу как биографическую повесть о герое — этот жанр был широко распространен во Вьетнаме в период Сопротивления,— писатель положил в основу ее действительные события: существует селение Конг-хоа, живет и работает в демократическом Вьетнаме товарищ Нуп. При этом писатель сосредоточил свое внимание почти исключительно на образе Нупа. По выражению критика Чан Тхань Мая, Нгуен Нгаук слишком близко поднес свой факел к фигуре Нупа: главный герой оказался освещенным светом ярко горящего пламени, а остальные персонажи лишь смутно виднеются в тени, которую отбрасывает эта могучая фигура.

Повесть Нгуен Нгаука отличается красочным своеобразием авторской манеры, искренней симпатией к отважным жителям гор Вьетнама. Книга «Страна поднялась» — несомненная удача молодого писателя.

Н. Никулин

МНИМЫЕ ПРОТИВНИКИ

□

«Too Late the Mavericks». The Times Literary Supplement, London, March 8, 1957.

□

В литературном приложении к газете «Таймс» появилась статья, где дается сравнительная характеристика двух поэтических сборников — литературных манифестов двух новых направлений в современной английской поэзии.

В первую группу, называющую себя «Мувмент» (англ. — движение, направление), входит девять поэтов, произведения которых печатались в периодических изданиях или в университетских брошюрах. В 1956 году они издали антологию поэзии под многозначительным заглавием «Новые строки». Сюда вошли стихи Кингсли Эмиса, Филиппа Ларкина, Дональда Дэйви, Элизабет Дженнингс, Тома Ганна, Д. Инрайта, Дж. Холоуэя. Предисловие, написанное поэтом Робертом Конкестом, явилось манифестом новой литературной группы.

«Мувмент» выступают против поэзии последних десятилетий, обвиняя все существующие литературные школы в расплывчатости, многословии и сентиментальности, что, по их мнению, объясняется как «общественным давлением», так и субъективистскими настроениями поэтов.

Представители «Мувмент» не скрывают неприязни к существующему порядку вещей и противопоставляют «общественному давлению» свое индивидуальное суждение.

Называя себя эмпириками, они уходят от важных и актуальных тем к спасительным частностям и случайным фактам, слагая звучные, гладкие, но холодные и философичные стихи в духе классицизма. Их Елены Прекрасные, Юлианы Отступники, раковины и пейзажи очень далеки от современности.

Даже у наиболее талантливых из них — и за классической прозрачностью стихов Филиппа Ларкина, и в мужественном голосе Тома Ганна, и в утонченной поэзии Элизабет Дженнингс — ощущается безучастная рассудочность и нарочитая отвлеченность от жизни.

Еще до появления сборника «Мувмент» критика отмечала, что стихи представителей этого направления менее ярки, выразительны и менее актуальны, чем произведения тех поэтов тридцатых годов, которые глубоко и непосредственно реагировали на современные события, пусть даже иногда в трудной для понимания форме.

Самоуверенный и менторский тон манифеста «Мувмент» вызвал резкий ответ другой группы поэтов, выступивших с антологией под названием «Маверикс»*.

В предисловии к сборнику сторонники «Маверикс» обрушиваются на поэтов «Мувмент», называя их «принципиально антипоэтичными» и обвиняя в недостатке «внутреннего горения». Поэты «Маверикс» — «романтики», они противопоставляют эмпиризму «Мувмент» свой эмоциональный «внутренний опыт», а их рационалистической поэзии — романтическую поэзию «тайны, общающейся с тайной».

Полемика между двумя группами, начавшись с манифестов, была продолжена на страницах газет и приобрела настолько резкий характер, что, по словам одного из критиков, «манифест мистера Конкеста может послужить сигналом для литературной резни». Но до резни дело не дошло, и объяснение этому можно найти в вышеупомянутой статье, помещенной на страницах приложения к газете «Таймс».

В наиболее интересной, критической части статьи автор* на основе обстоятельного анализа творчества и теоретических положений этих борющихся групп доказывает, что различие между ними мнимое, а вся полемика ведется лишь по второстепенным вопросам. Автор статьи подчеркивает, что сходство их заключается в одинаковом отношении к действительности, в том, что обе группы не высказывают своего суждения по поводу явлений современной жизни, не желают отражать «события и чаяния окружающих их людей». «Уютный эмпиризм «Мувмент» экви-

• В группу «Маверикс» входят поэты Дж. К. Холл, Дейвид Райт, Майкл Хэмбургер, В. Скеннел, Дейви Эбс, Дж. Силкин и У. Р. Тернер. Они называют себя «Маверикс» по имени американского фермера, отказавшегося клеймить свой скот,— намек на то, что поэты «Маверикс» не составляют школы и никому не противостоят.

* Редакционные статьи в литературном приложении к «Таймс» даются без подписи.

валентен тихой концентрации внутреннего опыта «Маверикс»,—пишет автор. В то время как «Маверикс» признают только субъективное содержание поэзии, «Мувмент» отвергают и личный опыт, и влияние «общественного давления». Но отрицание всякого опыта, как и утверждение только субъективного опыта, одинаково приводит поэтов к социальному «вакууму», в котором, как указывается в статье, и оказались оба направления английской поэзии.

Под разными соусами они проповедуют позицию «непричастности» к животрепещущим проблемам современной жизни. «Отказываясь принимать участие в делах людей, сосредоточивая все свое внимание лишь на поэтической технике, считая поэзию непричастной к действительности, они лишаются права претендовать на глубину мысли и, таким образом, не выполняют своих обязательств и становятся реакционными, поддерживая тот status quo, к которому они выражают презрение в своей поэзии».

Позиция «непричастности», аполитичности является, по мнению автора, типической чертой современного поколения английских писателей. И в этом отказе от общественного служения кроется причина слабости английской литературы сегодняшнего дня. Когда «внутренний опыт», чистый эмпиризм или «тайна, общающаяся с тайной» становятся основными факторами творчества, тогда само творчество, лишенное главного — изображения живой жизни,— сводится к формальному мастерству. Незначительность тематики и отказ от прямых суждений о жизни «приводит к тому, что их стихи так похожи друг на друга,— пишет автор статьи,— что пропадает та индивидуальность, ради которой эти поэты готовы все принести в жертву, погибает и самая поэзия,— жалея перья, они забывают об умирающей птице».

Может быть, автор слишком суров по отношению к некоторым из упоминаемых поэтов, но нельзя не согласиться с ним, когда он говорит об опасной тенденции в произведениях ряда молодых писателей и стремится предостеречь их.

Жаль только, что положения его собственной статьи настолько общи, что в них легко вложить любое содержание. Каким общественным идеалам призывает он служить талантливую молодежь? Если автор имеет в виду прогрессивные идеи, то нам остается только присоединиться к заключительным словам статьи — «наше время требует целеустремленной поэзии, которая участвует в жизни».

С. Майзельс

ГОЛОС ЮНОСТИ

□

玉門詩抄

李季著

作家出版社

一九五六年·北京

□

Первым крупным произведением, с которым выступил молодой двадцатипятилетний поэт Ли Цзи, была поэма «Ван Гуй и Ли Сянсян», написанная в 1946 году и принесшая автору известность. Это было эпическое повествование о пробуждении крестьянства к новой жизни, о появлении новых людей, олицетворявших собой будущее Китая.

Сравнительно быстрое признание рождало некоторые опасения: сможет ли поэт и дальше создавать равноценные произведения, будет ли расти его мастерство, не окажется ли, как это часто бывает, что автор исчерпал запас жизненных впечатлений, а с ними и свою тему?

Теперь, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что творчество Ли Цзи за десять лет стало более зрелым и что поэт утвердил свою тему в поэзии— тему преобразующего труда китайской молодежи.

Неоценимую услугу в этом оказали Ли Цзи поездки на новостройки, в районы геологических изысканий и т. д. И всюду вместе с Ли Цзи ездит по стране его лирический герой — молодой строит...ь социализма.

Этот новый герой появился еще в ранних произведениях Ли Цзи, например в стихотворении «Черный шрам» (юноша, работающий на строительстве плотины на реке Цзинцзян, разбивает себе лицо, на лбу у него остается глубокий шрам; любимая девушка пишет ему хорошее письмо и обещает любить по-прежнему).

Лирический герой Ли Цзи — это юноша-патриот, идущий в первых рядах строителей, смело преодолевающий любые трудности, полный боевого задора и жизненных сил.

С большим интересом читается последний сборник стихов Ли Цзи, озаглавленный «Юймыньский дневник».

Поэт долгое время жил среди рабочих юймыньских нефтяных промыслов. Личные наблюдения дали Ли Цзи богатый материал для глубоких обобщений, для

создания ярких образов молодых нефтяников. Ли Цзи зорко вглядывается в окружающих его людей, умеет подмечать тонкие психологические детали и красоту души человека. Стихи этого цикла в большинстве своем — лирические зарисовки, написанные в мягких, часто юмористических тонах; читая их, чувствуешь теплую, дружескую улыбку поэта. Запоминается образ девушки-шофера, живо и ярко нарисованный автором в стихотворении «Красный платок». Стихи эти чем-то напоминают легкий рисунок пастелью, в них подкупают лаконичность и простота:

Машину ведет на гобийском плато
Девчонка — шофер усталый,
И вьется и вьется по ветру платок,
Как солнце пустыни, алый *

Умение схватить переживания героя, с подкупающей доверчивостью рассказать о пережитом, описать впечатление от мимолетной встречи — все это делает стихи Ли Цзи похожими на записи из личного дневника, оправдывая название сборника.

К таким стихотворениям можно отнести «Тополь», «Пекину», «Директор завода», «День цветения».

Самобытность поэзии Ли Цзи состоит еще и в том, что он обладает редким талантом вдохнуть в обыденность подлинную поэзию и правду человеческой жизни. Таково стихотворение «Старик», где поэт рисует образ пожилого рабочего, не желающего отставать от молодежи, или «Наши нефтепромыслы», в котором Ли Цзи рассказывает о городе нефти, что «молодому тополю ровесник».

Особенно хороши стихи, относящиеся к циклу о Цайдамской впадине — наиболее зрелые, по нашему мнению, произведения, которые также опубликованы в рецензируемой книжке. Страна сказала: больше нефти — и тысячи отважных устремились в непроходимые медвежьи углы на поиски новых месторождений нефти. Вместе с первыми отрядами геологов, своих будущих героев, в Цайдам приехал и Ли Цзи.

В стихотворении «Юноша из Цайдама» Ли Цзи рассказывает о тех трудностях, с которыми столкнулись молодые рабочие:

В полдень здесь жарко,
как дома в июле,
В полночь здесь холодно,
как в январе.
Ночью от стужи мы на руки дули,
Днем посылали проклятье жаре.

Суровую школу мужества проходит здесь юноша-геолог. Спасая ценные приборы от ночного мороза, он накрывает их своим ватником:

Утро пришло — уцелели приборы.
Несколько дней пролежал он в бреду...
Вот она — новая юность, которой
Горе не в горе, беда не в беду!

Из цикла стихов о Цайдаме обращают также на себя внимание «Флаги», «Озеро Досыху», «На могиле героев Аларского восстания».

Немало творческих задач предстоит еще решить поэту; пока некоторые его стихотворения грешат схематичностью, длиннотами, верная мысль не всегда еще воплощается в яркий образ. Бесспорно одно: мужают герои Ли Цзи — и вместе с ними растет автор, воспевающий новую юность, которая:

Хочет — и сталь выплавляет каленую.
Хочет — и делает зиму весной.

Р. Белоусов

* Стихи в переводе В. Кунина.

АВСТРАЛИЯ

В ЗАЩИТУ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Журнал «Оверлэнд» опубликовал недавно редакционную статью, посвященную защите демократических традиций национальной литературы Австралии.

В статье говорится, что создатели национальной австралийской литературы — Генри Лоусон, Фёрфи, Уильям Лейн, Мэри Гилмор, Майлз Фрэнклин, Стил Радд, Бернард О'Дауд — всегда находили своих героев среди простого народа: ссыльных, золотоискателей, мелких фермеров, стригальщиков овец; они посвящали свои книги рабочему классу, его жизни и борьбе. «Отличительными чертами австралийской литературы становились демократизм, гуманизм, национальный дух, народность, а главное — правдивость в изображении жизни страны. Эти черты стали традицией, которая сохранилась по сей день.

Именно против этой традиции и ополчились сейчас определенные круги».

«Оверлэнд» указывает, что ряд органов буржуазной прессы, в частности «Каррент аффэрз бюллетин», стремится ориентировать современных австралийских писателей на создание литературных произведений, оторванных от народа, неправильно освещающих социальные проблемы. Так например, газета «Сидней морнинг геральд» недавно присудила премию в 2000 фунтов сиднейскому бизнесмену Джону Макги за роман «Средний путь», который, по мнению «Оверлэнда», задуман как иллюстрация декларируемого премьер-министром тезиса о «бесклассовой Австралии». Творчество, оторванное от истинных национальных традиций, характерно, по словам «Оверлэнда», и для группы сиднейских писателей, воспевающих «романтику» трущоб и «живописность» нищеты. Все эти писатели нашли пристанище в новом литературном журнале «Куадрант», финансируемом американцами.

Журнал «Оверлэнд» призывает литературную общественность отстаивать народные традиции — «духовную сущность австралийской литературы». В статье говорится далее, что за 75 лет своего независимого существования литература Австралии не только необычайно выросла количественно и качественно, но и заслужила признание, «несмотря на финансовые трудности, с которыми сталкивается австралийское книгоиздание, несмотря на узкий рынок сбыта и стену замалчивания, воздвигаемую большинством газет и журналов между австралийскими писателями и читателями».

Итальянские зарисовки австралийского художника Ноэла Кунайена.

(Журнал «Оверлэнд»)

Статья заканчивается словами о том, что можно гордиться растущей австралийской литературой, в основе своей демократической, реалистической, национальной и народной.

Однако, предостерегает «Оверлэнд», «нельзя забывать и об опасности, угрожающей нашей литературе, так как атака на демократическое и гуманистическое содержание литературы ведется сейчас не только у нас в стране, но и в международном масштабе при щедрой финансовой поддержке определенных социальных и политических сил...

Наши писатели должны создавать новые произведения для народа, правдиво отображающие его жизнь, пробуждающие сознание, необходимые ему, как хлеб».

КТО ТАКОЙ «БРЕНТ ИЗ БИН БИНА»?

Многие годы австралийские литературоведы не могли открыть тайну псевдонима «Брент из Бин Бина», хотя и полагали, что под ним иногда выступала в печати одна из крупнейших австралийских писательниц Майлз Фрэнклин.

Ее роман «Моя блестящая карьера», изданный в 1901 году с предисловием Генри Лоусона, рассматривается многими критиками как первый национальный австралийский роман и пользуется большой популярностью у читателей Австралии.

Майлз Фрэнклин, умершая в 1954 г., отрицала свою причастность к произведениям, подписанным «Брент из Бин Бина». Однако недавно исследователь австралийской литературы д-р Колин Родерик опубликовал в «Мельбурн эйдж» статью, в которой на основе обнаруженных после смерти писательницы материалов доказал, что произведения Майлз Фрэнклин и «Брента из Бин Бина» принадлежат одному перу.

Майлз Фрэнклин оставила после себя большое состояние и завещала его на ежегодное присуждение премии в 500 фунтов стерлингов за «лучший роман года, отображающий жизнь Австралии в любых ее проявлениях». Первая премия будет присуждена за произведение, написанное в этом году.

АНГЛИЯ

«ДИККЕНС ЗА РАБОТОЙ»

Недавно вышла в свет книга Джона Батта и Кэтлин Тиллотсон «Диккенс за работой», которая значительно отличается от существующих литературных трудов о великом английском реалисте. Ее авторы впервые использовали для анализа произведений Диккенса творческую лабораторию писателя: черновики, планы, записные книжки и переписку, сообщает рецензент Дж. Гриттен в «Дейли уоркер».

Такой подход помогает по-новому осветить отдельные стороны творчества писателя и выяснить, что именно сам Диккенс считал наиболее важным в своих произведениях. Авторы отмечают, например, что исторический роман «Барнейби Радж» о народных волнениях XVIII в. написан с мастерством блестящего журналиста, словно автор сам был очевидцем этих народных выступлений.

В одном из писем Диккенс пишет, что в «Давиде Копперфильде» он специально затронул проблему проституции, чтобы «заставить людей увидеть многое в новом свете, взволновать их и постараться принести этим какую-то пользу». В другом письме он писал о значении Крымской войны для Англии: «Пушечный дым и кровавый туман заслоняют несправедливости и страдания людей на родине» (то есть в Англии).

Эти и ряд других остававшихся неизвестными высказываний Диккенса дают дополнительный материал для оценки социальной заостренности его творчества.

Авторы исследования показывают удивительное умение Диккенса вводить в свои романы большое количество актуального фактического материала, не нарушая цельности художественного произведения. А. Кеттл, рецензируя в «Дейли уоркер» книгу «Диккенс за работой», отмечает, что авторы в одном только «Холодном доме» обнаружили десятки мест, свидетельствующих о том, как живо откликался автор на актуальные политические события пятидесятых годов прошлого века. «Это должно устыдить наших малокровных современных романистов,— пишет Кеттл,— которые так заняты работой для вечности, что считают вульгарным упоминать о насущных проблемах, волнующих людей...

Новое исследование о Диккенсе,—продолжает Кеттл,— не меняет существующей точки зрения на творчество Диккенса в целом, но в книге содержится богатый материал о писателе, выявляются интересные особенности его мировоззрения: в то время как писатели-викторианцы, критиковавшие буржуазное общество в голодные сороковые годы, заняли примиренческую позицию в период процветания и с энтузиазмом воспевали капиталистический порядок, Диккенс с годами относился к этому порядку все более и более критически».

«СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ» ТЕАТРА «ЮНИТИ»

По английским законам совершеннолетие наступает с достижением 21 года. «Таким образом,— пишет журнал «Уорлд ньюс»,— театр «Юнити», которому в 1957 году исполнился 21 год, может праздновать свое совершеннолетие». Однако, по сообщению журнала, праздник «Юнити» не будет веселым, ибо театр, как и большинство других лондонских театров, переживает тяжелые финансовые затруднения.

Майкл Льюис в статье, опубликованной в «Уорлд ньюс», подчеркивает, что этот театр всегда уделял особенное внимание пьесам на темы из жизни рабочего класса Англии.

«Театр «Юнити»,— пишет Льюис,— родился в тридцатые годы, в период подъема рабочего движения в Лондоне, когда возникла необходимость отразить в драматических постановках грандиозные темы дня: борь-

Сцена из пьесы «Цианамид» в постановке театра «Юнити». *(Газета «Дейли уоркер»)*

бу против массовой безработицы и против фашизма, могучее движение солидарности с испанским народом в его битве с фашистами и т. п. Более того, театр с самых же первых шагов стремился показать характер, мечты и жизнь, энергию трудового человека».

Последней постановкой театра «Юнити» является пьеса американского драматурга Берта Марника из жизни рабочих США. Пьеса называется «Цианамид», ее действие происходит на крупном химическом заводе. «Основные проблемы, стоящие перед героями пьесы,— это те проблемы,— отмечает Майкл Льюис,— которые теперь часто возникают в жизни каждого американского рабочего. Рано или поздно перед каждым встает вопрос: что делать? Действовать ли в собственных материальных интересах или идти в ногу с товарищами и бороться за свои человеческие права, за права всех рабочих... Сила и значение театра «Юнити» заключаются именно в том, что он ставит и доносит до зрителя пьесы на актуальные социальные темы».

Характеризуя творческий путь и цели театра, Майкл Льюис в заключение статьи пишет: «Мы считаем, что у этого театра есть своя задача и теперь и в будущем; он органически связан с рабочим движением, и долг «Юнити» — пережить нынешний тяжелый период, чтобы выполнить свое назначение».

АРГЕНТИНА

ОРТИС О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Известный аргентинский писатель и экономист Р. Ортис опубликовал в журнале «Ке» статью, в которой отмечает огромные успехи, достигнутые советским народом за сорок лет советской власти. «В то время как русские создают великую страну,— подчеркивает он,— мы продолжаем оставаться в сетях колониализма».

Касаясь запуска первого искусственного спутника Земли, автор статьи пишет: «Русские добились фантастических успехов, свидетельствующих о том, что их цивилизация достигла самого высокого уровня развития в современном мире».

АФГАНИСТАН

АНТОЛОГИЯ СТИХОВ

В Кабуле вышел сборник народных стихов на языке пушту, составленный поэтом Нестан Махкум-е Хамзе-йе Шинвари. Поэт собирал стихи в течение многих лет в различных районах Афганистана. По словам рецензента газеты «Анис», опубликованная антология имеет очень большое значение для всех, интересующихся афганской литературой.

«ЛИТЕРАТУРА НА ЯЗЫКЕ ПУШТУ»

Так называется недавно изданная в Кандахаре книга молодого афганского ученого Абд ал-Хади Ашна Кандахари. Этот труд, по сообщению газеты «Анис», посвящен исследованию различных периодов развития литературы на языке пушту в сопоставлении с развитием литературы западных стран.

БЕЛЬГИЯ

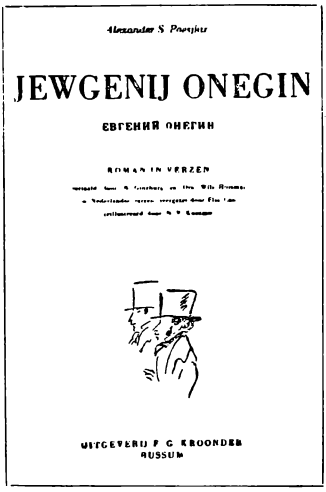
ДИСКУССИИ О ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНЦА ЭЛЛЕНСА

Общество друзей Франца Элленса — известного писателя, семидесятипятилетие которого было широко отмечено в прошлом году бельгийской общественностью,— организовало в библиотеке Академии выставку, посвященную его жизни и творчеству. Следует отметить, что среди литературоведов различных направлений до сих пор продолжаются дискуссии о философских истоках творчества Элленса, о природе фантастического в его произведениях. В связи с открытием выставки, посвященной Элленсу, в бельгийской печати появились многочисленные статьи, по-разному оценивающие и трактующие его творчество, в частности его основное произведение «Мелузина». Некоторые буржуазные критики стремились предста-

вить Элленса только как идеалиста и мистика. Так например, Марсель Лобе опубликовал в журнале «Синтез» статью, посвященную творчеству писателя, под названием «Один на пути к вершине просветления». Автор пытается изобразить Элленса в качестве писателя, отрицающего реальность объективного мира. Лобе утверждает, что Эллену присуще «имманентное свойство души — одиночество» и что «фантастика влечет писателя в область сверхъестественного... уводит его от будничной реальности, открывает путь к вершине просветления, где писатель стоит над всеми, одинокий в своем величии».

По-иному характеризует творчество Ф. Элленса Андре Клод, опубликовавший в газете «Драпо руж» статью «Франц Элленс — его творчество и его легенды». «Нимфа Элленса,— пишет Андре Клод, упоминая произведение Элленса «Мелузина»,—не похожа на обычных нимф, заманивающих в свои сети доверчивых юношей и живущих в искусственном раю, созданном наподобие рая Бодлера; она участвует в жизни простых людей и ненавидит существующую несправедливость, глупость, злобу... Писатель искал в жизни счастье, но нашел страданье. Служил свободе, а познал тяжесть цепей. Искал любовь—и встретил на своем пути ненависть. В этом и состоит драма писателя Франца Элленса, и Максим Горький сумел это почувствовать...

Хорошо, — продолжает Андре Клод,—что Бельгия чествует этого мага пера, который сумел связать фантастику с реальностью, этого Фауста наших дней, которому всегда нравились метаморфозы... В преклонном возрасте, когда каждый имеет уже право на покой, он показывает нам, что глубочайшее удовлетворение дает не только представление о чудесном будущем, но и созидание этого будущего, смелое и пламенное. Это отличает настоящих, больших людей».



На снимке — обложка вышедшего в переводе на голландский язык романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Роман издан с иллюстрациями советского художника Н. В. Кузьмина.

БИРМА

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПРОТИВ ИСПЫТАНИЙ АТОМНОГО ОРУЖИЯ

По сообщению бирманской прессы, популярные бирманские артисты — У Цейя, Ко Мио Чит и композитор Маунг — опубликовали протест против продолжения испытаний атомного и водородного оружия.

Они заявили, что опытные взрывы атомных и водородных бомб являются подготовкой к новой мировой войне и поэтому представляют собой смертельную угрозу всему миру. «Мы призываем великие державы во имя мира на земле, во имя человечества прекратить эти испытания».

С аналогичным заявлением выступил целый ряд бирманских деятелей культуры. Среди них известные бирманские писатели, удостоенные литературных премий,— Дагон Нат Шин и Ма Ма Лей, писатели У Нианна Тука и Дагон Тейар; художники У Нгве Гейнг и У Он Лвин; композиторы У Хан Па, У Ба Тан и другие.

КНИГИ РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

За последнее время в Бирме издано большое число произведений русских и советских авторов. Среди них произведения Пушкина, Тургенева, Н. Островского, Бажова, Фурманова и других.

Газета «Бёман» регулярно публикует отрывки из книг советских писателей. Недавно газета познакомила бирманских читателей с творчеством Горького и Цвирки.

БОЛГАРИЯ

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЬЕСА НИКОЛЫ ВАПЦАРОВА

Седьмой номер журнала «Септември» целиком посвящен творчеству известного болгарского поэта Николы Вапцарова, расстрелянного фашистами 15 лет тому назад. В этом номере впервые опубликована пьеса поэта «Когда волна шумит». В статье «Неизвестная пьеса Вапцарова» Камен Зидаров рассказывает о том, как было найдено это произведение:

«Пьеса Николы Вапцарова «Когда волна шумит» известна в рукописи очень ограниченному числу друзей и знакомых поэта. Впервые Вапцаров дал прочитать эту пьесу, называвшуюся первоначально «Девятый вал», Г. Караславову... Когда я начал исполнять обязанности директора Народного театра «Крыстю Сарафов», при разборе ящиков директорского стола среди книг, фотографий и программ я неожиданно обнаружил пьесу Николы Вапцарова «Девятый вал».

«Написание пьесы,—сообщает Зидаров,— относится примерно к 1934—1935 годам, и поэтому ясно, что Вапцаров, учитывая драконовские цензурные условия того периода, внес определенные коррективы в сюжет пьесы».

В заключение статьи К. Зидаров обращается с призывом ко всем, кому известны какие-либо подроб-

ности, связанные с историей написания этой пьесы поэтом-патриотом, поделиться своими воспоминаниями. Это, по его словам, принесет пользу болгарскому литературоведению и прольет новый свет на творчество Вапцарова.

В настоящее время оригинал пьесы находится в доме-музее Н. Й. Вапцарова в Софии, куда он был передан в 1955 году братом поэта.

«ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ НАУКИ СЛУЖАТ ДЕЛУ МИРА»

«Искусственный спутник Земли — это не только величайшая победа советской науки. Основное значение этого события — запуска искусственного спутника Земли советскими учеными — состоит, по-моему, в другом. В то время как империалисты и их сообщники думают только о войне, об изобретении нового, несущего гибель миллионам людей оружия, достижения советской науки служат делу мира, способствуют осуществлению заветной мечты великих умов человечества»,—заявил гостивший недавно в Москве известный болгарский поэт Давид Овадия, автор популярных стихотворных сборников «Стихи о партизанском отряде», «Дом» и других.

ВЕНГРИЯ

РОМАН БЕЛЫ ИЛЛЕША «ТИССА ГОРИТ»

В ряде венгерских газет помещены рецензии на роман Белы Иллеша «Тисса горит», недавно впервые изданный в Венгерской Народной Республике. Этот роман, переведенный и опубликованный во многих странах, был запрещен в хортистской Венгрии.

По словам рецензента газеты «Элет эш иродалом» Шетера, автор повествует о лучших традициях пролетарского революционного поколения Венгрии. Бела Иллеш рассказывает о самопожертвовании коммунистов, об их стойкости и героизме в последние дни существования Советской Венгерской республики. Книга, говорит Шетер, «является одним из волнующих документов о революционном рабочем движении».

Однако, называя Иллеша «вечным романтиком», рецензент упрекает его в том, что роман изобилует «ненужными приключениями» и что иногда «нагромождение событий заслоняет в книге ее основную идею».

Иное мнение о романе Белы Иллеша «Тисса горит» высказывает Петер Реньи, выступивший с рецензией в газете «Непсабадшаг»: «Это роман о пролетарском движении, о славных событиях 1917—1919 годов. И Шетер неправ, когда он пишет, что в романе героика оттесняет действительность... Каждый писатель имеет право на свои творческие приемы, на творческую индивидуальность». Петер Реньи считает роман Белы Иллеша большим успехом писателя и высказывает уверенность, что венгерский рабочий класс радушно примет это произведение.

РАССКАЗЫ ДЬЕРДЯ МАТЭ

«Непсабадшаг» сообщает о выходе в свет сборника Дьердя Матэ «Ретезар и другие рассказы». Это—собрание очерков и коротких рассказов Дьердя Матэ, написанных им с 1947 по 1955 год. «Автор всегда выступал по актуальнейшим политическим вопросам, отображая различные фазы классовой борьбы,— пишет газета.— Основное его оружие — сатира, юмор и просто веселая насмешка. В своих очерках Матэ всегда шел в ногу со временем, громя перерожденцев и врагов народной власти: оптовиков, банкиров, фабрикантов, католических священников... Часть этих очерков в настоящее время потеряла свою актуальность, но все они принесли большую пользу в борьбе с бюрократизмом, с равнодушием, с зазнайством и карьеризмом... Матэ создал такие прекрасные сатирические образы, как Янош Хари, Киклиш и Ретезар, чьи имена стали нарицательными».

ГАИТИ

РОМАН ГАИТЯНСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Жак Стефен Алексис опубликовал недавно роман «Музыкальные деревья». Это вторая книга молодого гаитянского писателя. Так же, как и его первый роман «Наш общий друг — солнце», она посвящена жизни народа Гаити, борющегося с колонизаторами. Алексис пишет на французском языке. Однако, как отмечает «Леттр франсез», тематика, форма и источники его творчества глубоко национальны.

В новом романе Алексиса рассказывается о трагедии крестьян, сгоняемых со своих земель американской каучуковой компанией. Деятельность американцев поддерживается католической церковью, представленной в романе священником-гаитянином, предателем своего народа. «Роман отражает тревогу народа Гаити перед лицом нового наступления империализма и церкви,— пишет газета «Юманите».— Единые цели в общей борьбе объединяют коммуниста Рубеля, рабочего Мелона, крестьянина Гонаибо и других. Борьба становится общенародной. «Жизнь начинается» — такими словами заканчивается эта книга, являющаяся как бы свидетельством того, что народ Гаити может отстоять свою землю».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

«Война без битвы» — так называется новая книга Людвига Ренна, изданная в Берлине. Вольфганг Иохо в рецензии, помещенной в

Зарисовки типажей из спектакля М. Горького «На дне», поставленного к 40-летию Великого Октября берлинским театром имени Горького.

(Газета «Дер морген»)

еженедельнике «Зоннтаг», дает этой книге высокую оценку.

Тео Ланг, герой романа, до войны жил в маленьком восточногерманском городке, работал декоратором. Когда его в 1942 году призвали в армию, он был далек от правильного понимания хода современной истории.

Ланг побывал в Греции, на Крите, на Додеканесских островах, но он оказывался повсюду уже после битв и решающих боев. Волею случая Ланг стал участником «войны без битвы»: ему не пришлось ни убивать, ни попадать под пули. Но даже такая, казалось бы, удивительная судьба не помешала Лангу понять, что такое германский милитаризм.

«Мне кажется, что именно здесь и надо искать ключ к необычному, не выступающему на первый план замыслу произведения: на примере такой судьбы особенно ярко можно показать, до какой степени бесплодна и бессмысленна — и, само собою разумеется, антигуманна по своим целям — вся эта солдатчина, вся эта служба в немецко-фашистском вермахте; именно при такой подаче этой темы с особой наглядностью и отчетливостью проявляется чудовищный характер нацистской захватнической войны»,— отмечает Вольфганг Иохо.

Роман написан в обычной для Людвига Ренна форме и напоминает дневник. Герой романа, постепенно прозревая, ищет свою большую цель жизни. «Нельзя же продолжать бесполезное существование, которое мы влачили до сих пор»,— говорит он.

К СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЮ ЛЕОНГАРДА ФРАНКА

Общественность ГДР широко отметила 75-летие со дня рождения Леонгарда Франка.

Имя этого писателя связано с борьбой прогрессивного человечества против войны. Еще в 1915 году Франк, противник кровавой империалистической бойни, покинул родину и переселился в Швейцарию. Позднее, после прихода гитлеровцев к власти, Франк снова эмигрировал. Во Франции его бросили в концентрационный лагерь, откуда ему удалось бежать. За годы второй эмиграции Франк создал множество книг, которые стали вехами на пути писателя-гуманиста.

«Творчество Леонгарда Франка тесно связано с жизнью нашего народа и посвящено обыкновенному, маленькому человеку»,—пишет «Берлинер цейтунг».— Это гуманистическое творчество нашей эпохи, когда человечество отправилось в путь, чтобы сбросить с себя гнет и обрести свободу и счастье в социализме... Его кредо заключается в том, что «человек лишь тогда сможет стать и станет человечным, когда ничто не будет принуждать его к бесчеловечности».

«Слева, где сердце» (см. «Иностранную литературу» №№ 7 и 11, 1956 г.)—это роман, работа над которым совпала с возвращением Франка на родину. Писатель живет в Мюнхене, но его книги оценены по достоинству в ГДР, а не в ФРГ. Два года назад ему была присуждена Национальная премия Германской Демократической Республики. К 75-летию со дня рождения Леонгарда Франка в ГДР издается шести-

томное собрание его сочинений.

«Понятно, почему в той части Германии, где проживает Франк, он не пользуется заслуженным почетом. Это свидетельствует лишь о том, что люди, дискредитирующие его, вовсе не оригинальны. У них были предшественники при фашистском режиме»,—пишет «Берлинер цейтунг».

Гамбургская газета «Вельт» вынуждена признать, что именно издатели ГДР—в отличие от их западногерманских коллег — широко познакомили немецких читателей с творчеством Франка.

Гюнтер Каспар, один из сотрудников издательства «Ауфбау», пишет в «Зонн-таг», что если в ФРГ Леонгард Франк не считается сейчас «персона грата», то в ГДР его произведения обрели настоящую родину.

ПАУЛЬ ВИНС — ОБ ИСКУССТВЕННОМ СПУТНИКЕ ЗЕМЛИ

Немецкий писатель Пауль Винс побывал недавно в Советском Союзе. Сообщение о запуске первого искусственного спутника Земли застало его в Москве. В еженедельнике «Зонн-таг» опубликован его очерк, в котором П. Винс делится своими впечатлениями о дне 4 октября.

«Как и миллионы моих современников, я хотел бы быть одним из советских изобретателей звезды, одним из тех изобретателей, которые отправили в путь первого созданного человеческим разумом и человеческими руками спутника нашей родной Земли»,— заявляет писатель.

ПЬЕСА ГАШЕКА И КИША

В 1930 году Ярослав Гашек и Эгон Эрвин Киш вместе написали комедию под названием «Путешествие вокруг Европы в 365 дней». Это произведение впоследствии нигде не было опубликовано. Лишь одну сцену Киш включил в книгу «Ярмарка сенсаций», значительно переделав ее по сравнению с оригиналом.

Журнал «Ауфбау» недавно впервые опубликовал «Путешествие вокруг Европы в 365 дней». Комедия будет также включена в том драматургических произведений, который входит в готовящееся в ГДР издание полного собрания сочинений Э.Э. Киша.

КНИГА ХУДОЖНИКА

Ганс Грундиг—известный дрезденский живописец. Книгу воспоминаний, написанных им, газета «Нейес Дейчланд» справедливо называет «историей мужественной жизни».

Сын ремесленника, Ганс Грундиг стал не только талантливым художником, но и убежденным революционером. Своему передовому мировоззрению он остался верен и тогда, когда гитлеровские фашисты бросили его в концентрационный лагерь Саксенхаузен. «Книга художника представляет собой отличающийся пафосом простоты и правды отчет коммуниста о прожитой им жизни», — пишет Герман Вернер Кубш на страницах «Нейес Дейчланд».

Книга, иллюстрированная Гансом и Леей Грундиг, тепло встречена немецкими читателями.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

УМЕР АЛЬФРЕД ДЁБЛИН

Недавно в возрасте семидесяти девяти лет скончался Альфред Дёблин. Писатель прожил большую, нелегкую, полную исканий жизнь. Ему дважды приходилось покидать родину. Впервые он эмигрировал после переворота, совершенного гитлеровскими фашистами. Когда вторая мировая война закончилась разгромом фашизма, Дёблин вернулся в Западную Германию, где его, однако, встретила нищета, и был вынужден эмигрировать снова.

«Называя мое имя, обычно добавляют: «Берлин, Александерплатц». Но с той поры я прошел долгий путь». Эти слова сказаны Дёблином два года назад в послесловии к новому изданию в ГДР его романа. «Впервые опубликованный в 1929 году роман «Берлин, Александерплатц» более, чем все другие произведения Дёблина, прославил его имя в Германии и во всем мире, — сообщает «Зонн-таг». — Между тем этот роман знаменует собой только один, хотя и значительный, этап долгого и мучительного пути, пройденного Дёблином — человеком, мыслителем, писателем и искателем».

«Наша забота — человек» — так озаглавил Дёблин одну из своих книг. «Как писатель и как врач, он всю жизнь думал о человеке. Альфред Дёблин был гуманистом, неустанно искавшим путей к лучшему будущему, но он часто заблуждался в выборе этих путей,— пишет «Нейе дейче литератур».— Он, крупный эпический писатель, был вечным странником в поисках правды».

Начав с увлечения социализмом, Дёблин пришел к католицизму. «Земное и потустороннее, примирение с судьбой и протест против нее — эти постоянные противоречия подхлестывали его, гнали вперед, к новым поискам других путей, которые опять оканчивались тупиками,— замечает «Нейе дейче литератур».— Двойное предательство в начале и конце Веймарской республики воспрепятствовало полному созреванию его могучего реалистического таланта».

«Гамлет, или долгой ночи приходит конец» — последнее произведение Альфреда Дёблина. В этом романе решаются актуальные вопросы, в частности вопрос о причинах войн. Мать героя романа находит утешение в католицизме. Но сам герой все же мыслит по-иному. «Эта чудовищная жизнь, тесно связанная со мной, с человеком, с внутренним существом моим,— наконец-то я ее вижу, наконец-то я чувствую себя ее частицей»,—говорит он.

Этот роман опубликован

в ГДР. Западногерманский литературовед Вальтер Мушг выразил в журнале «Тексте унд цейхен» свои сожаления по поводу того, что в ФРГ эта книга не издается. Мушг нашел возможным добавить, что последний роман Альфреда Дёблина вообще еще не издавался на немецком языке. «Берлинер цейтунг» в связи с этим задает вопрос: «Где же, по мнению Мушга, находится издательство Рюттен и Лёнинг? На луне?..»

«Зоннтаг» называет Альфреда Дёблина «гражданином без отечества», который провел свою жизнь в поисках духовной родины. «Но если Дёблин так и не нашел родину, то иногда он очень ясно ощущал, где ее можно было бы найти»,—пишет «Зоннтаг».— Недаром Дёблин в одной из своих книг высказался с достаточной ясностью: «В конце концов... я исторически определил, где в современной Германии истинное место интеллигенции: на стороне трудящихся. Интеллигенты, заняв такую политическую позицию, не будут повинны в ренегатстве; напротив, они покинут свой ренегатствующий класс и примкнут к широкой платформе, оставленной их классом и защищаемой трудящимися в борьбе».

ГРЕЦИЯ

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРЕЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Газета «Авги» сообщает о том, что в Греции за последнее время появился ряд книг, «проникнутых духом нашей эпохи, отображающих труд и чаяния всего человечества».

Среди этих книг в первую очередь назван сборник рассказов Стратиса Циркаса «Нуреддин Баба». «Какая красота и какая человечность! На семидесяти страницах—вся жизнь арабов Египта...— пишет рецензент Ириникос.— Голод, нищета, английская и королевская тирания — на такую страшную жизнь были обречены люди в этой стране, где они родились и трудились веками. И так было до той поры, пока в молчаливой толпе, одетой в рубища, не зародился живой дух борьбы». В рассказах С. Циркаса повествуется о Нур-Бабе — арабском народном герое, о том, как «открыл себе путь к независимости гордый арабский народ...»

Стратис Циркас написал и другие произведения, отмечает Ириникос, которые «сыграли бы большую роль в нашей литературе, если бы их напечатали».

По словам рецензента «Авги», большой интерес представляет поэма Янниса Рицоса «Прощание», посвященная последним часам жизни кипрского юноши Григория Авксендиу. «Это не плач, а героический гимн подвигу. Автор раскрывает образ вчерашнего шофера, простого человека, знающего, за что борется его народ, в камере смерти думающего о больших мирных делах людей».

В газете «Авги» положительно оцениваются также стихи поэта Никифороса Вретакиса, которые «будят народ, зовут его на путь борьбы против применения атомной бомбы».

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАЗЫМА ХИКМЕТА

Недавно в Греции был издан сборник стихотворений Назыма Хикмета, переведенных на греческий язык. В связи с этим в газете «Авги» выступил поэт Тасос Ливатидис, заявивший следующее: «Даже политические противники признали большой поэтический талант Назыма Хикмета. Творчество поэта, горячее и полнокровное, очень быстро сделалось известным за пределами его родины и стало всемирным достоянием. Не напрасно Хикмет считается сегодня одним из лучших поэтов мира. Его поэзия, одновременно доступная и глубокая, современная и в то же время передающая давние поэтические традиции народа, ясная и конкретная, знаменует собой то, что называют «величием поэтической простоты». Издание стихов Назыма Хикмета в переводе Георгоса Папалеонардоса является событием большого значения для греческих читателей».

ЕГИПЕТ

«КУЛЬТУРУ — В НАРОД»

Как сообщает журнал «Ас-Сакафа аль-Ватания», известный египетский критик Махмуд Амин аль-Алям выступил в Александрийском университете с лекцией о путях развития египетской национальной культуры.

Аль-Алям подчеркнул необходимость тесной связи культуры с общественной жизнью.

«В настоящее время,— сказал он,— мы идем к единению патриотических группировок в египетском обществе, к сплочению борющихся арабских народов. Национальная культура является орудием укрепления этого единства.

Как может содействовать развитие культуры укреплению нашего национального единства? Для этого,— заявил Аль-Алям, — прежде всего мы должны нести культуру в народ. Это не значит, что мы обращаемся к народу только за тем, чтобы его учить. Мы также учимся у него, используем богатейшее народное творчество».

Далее Аль-Алям сказал, что контакт деятелей культуры с народом особенно укрепился во время недавней борьбы Египта против империалистической агрессии и в последующий период. Это выразилось, в частности, в поощрении народного египетского песенного творчества, в постановке пьесы по мотивам народной легенды «О, Лейл, о, Айн», а также в организации радиопередач, создании драматических произведений, рассказов и стихов для народа.

«Хотя в результате египетской революции,— отмечает критик,— у феодализ-

ма были вырваны когти, был положен конец господству монополий над государственным аппаратом и завоевана независимость нашей страны, пережитки феодализма, монополизма и империализма продолжают еще бытовать в нашей национальной культуре». К числу таких пережитков относится, с одной стороны, распространение суеверий в народе, а с другой — реакционные буржуазные учения, вроде прагматизма и экзистенциализма в философии, сюрреализма и дадаизма в искусстве.

«Чтобы противостоять всем этим «учениям», мы должны,— сказал Аль-Алям,— создавать нашу национальную культуру, опираясь на подлинно научную материалистическую теорию».

В заключение Аль-Алям призвал к укреплению культурных связей со странами всего мира и, в частности, со странами — участницами Бандунгской конференции.

ТРУДЫ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ

Газета «Аль-Маса» сообщает, что известный египетский писатель Абд ар-Рахман аль-Хамиси готовит к печати новую книгу, которая называется «Искусство и политика». Аль-Хамиси рассматривает различные вопросы литературы и искусства современного Египта в тесной связи с политической жизнью страны.

В последнее время в Египте происходят оживленные дискуссии о путях развития поэзии. В центре дискуссий стоит проблема — должна ли новая поэзия сохранять старые традиционные формы или видоизменять их в соответствии с новым содержанием. Этому вопросу, по сообщению газеты «Аль-Маса», посвящает свою книгу «Поэзия и обновление» Мухаммед аль-Хаваджа. Книга содержит также стихи современных египетских поэтов, творчество которых анализирует автор.

ИНДИЯ

НОВЫЕ КНИГИ О ГАНДИ

В связи с отмечающимся в этом году десятилетием со дня освобождения Индии недавно вышли в свет две новые книги о Махатме Ганди.

Первая книга — «Мое детство в доме Ганди»,—изданная в Ахмадабаде, написана родственником и воспитанником Махатмы Ганди — Прабхудасом Ганди.

Вторая книга — «Жизнь Махатмы Ганди» К. Т. Нарасимхачара вышла в Мадрасе. В ней собраны наиболее яркие эпизоды из жизни Ганди и популярно изложены принципы его учения.

ИНДИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ВОССТАНИИ 1857 ГОДА

В этом году Индия отметила столетие восстания 1857 года против английского владычества.

Недавно в Индии, как сообщает «Хинду уикли ревью», вышли две новые книги, посвященные событиям 1857 года. Это «1857 год» доктора Сурендра Нат Сена и «Восстание сипаев и мятеж 1857 года» профессора Маджумдара. В предисловии к первой книге критик Молана Азад пишет, что завоевание Индией независимости создало ныне условия, в которых «народное движение 1857 года может рассматриваться с беспристрастных и объективных позиций, что дает возможность пролить новый свет на эту героическую страницу борьбы индийского народа за освобождение от колонизаторов».

«В книгах доктора Нат Сена и профессора Маджумдара проводится одна и та же основная мысль,—указывает газета.—Несмотря на трагический конец, восстание 1857 года вдохновило индийский народ на борьбу за свободу, обогатило опытом и создало исторический базис для дальнейшего освободительного движения, которое развернулось с новой силой через полвека после первой героической, но неудачной попытки сбросить цепи иноземного рабства».

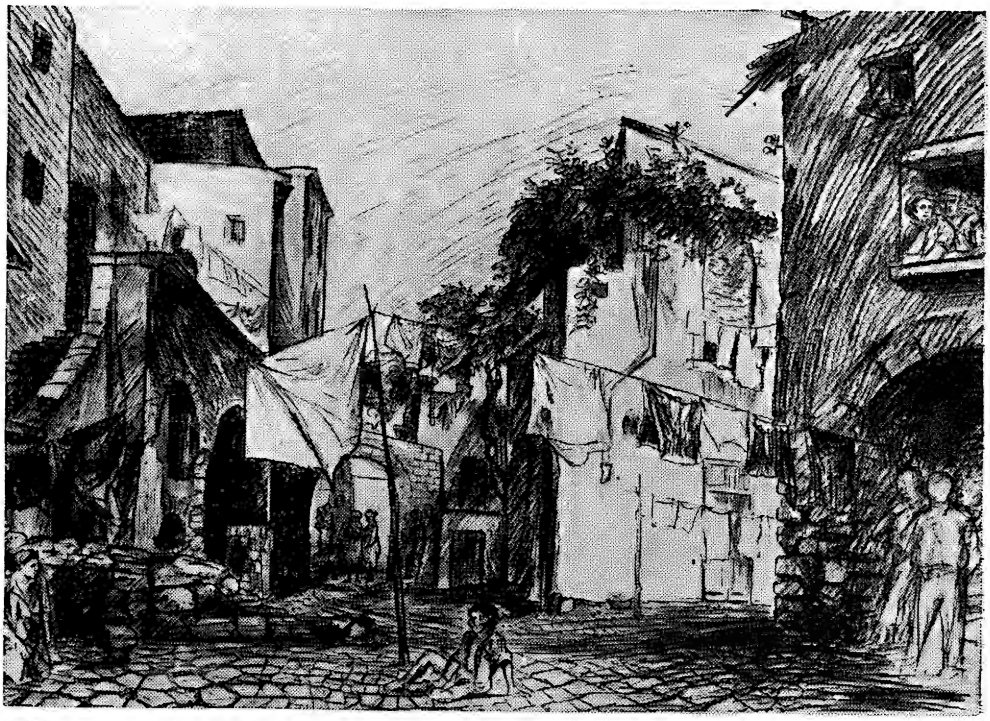
Новые книги, по словам «Хинду уикли ревью», явились произведениями, правдиво и объективно отразившими героическую борьбу индийского народа за свою независимость.

ИТАЛИЯ

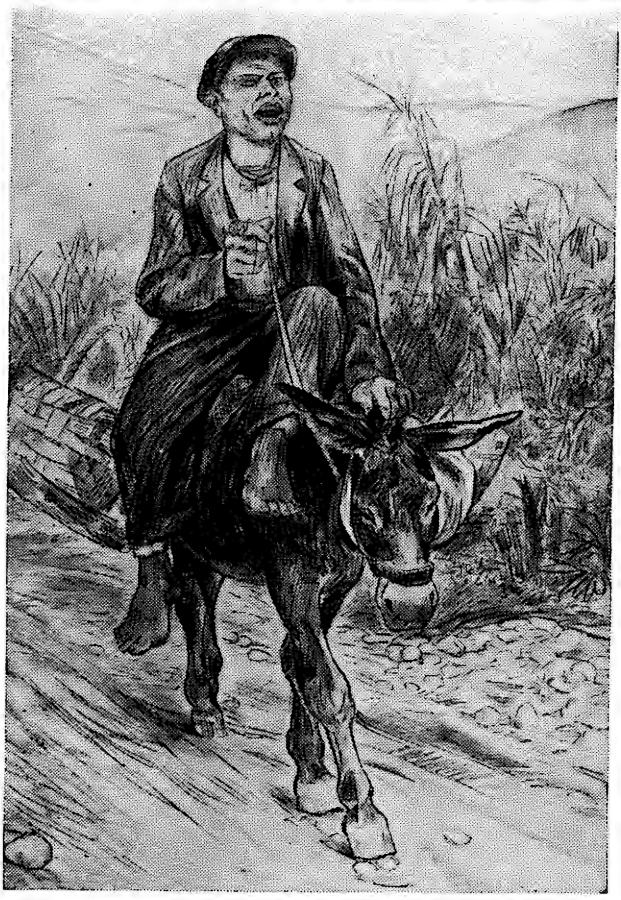
ПРЕМИИ «ВИАРЕДЖО» ЗА 1957 ГОД

Итальянская печать уделяет большое внимание результатам присуждения премии «Виареджо» (одной из основных итальянских литературных премий) за 1957 год. Авторы статей, посвященных этому событию в литературной жизни Италии, несмотря на их различные политические и литературные позиции, сходятся в мнении, что в этом

Лауреат премии «Виареджо» за 1957 год поэт Паоло Пазолини.
(Еженедельник «Контемпоранео»)



А. Боргондзони. «Пейзаж».



А. Боргондзони.
«Крестьянин из Сарно».

«Тематика моих картин,— рассказывает итальянский художник Альдо Боргондзони,— отражает борьбу крестьян за свои интересы. Эта борьба в Эмилии имеет давние традиции и ведет свое начало от рабочего и крестьянского движения в годы после воссоединения Италии.

Боевой дух Эмилии проявился в подвигах братьев Черви, батрачки Марготти и других героев. После разгрома фашизма рабочие партии вновь восстановили Палаты труда, профессиональные союзы, кооперативы и т. д.

В 1948 году Палата труда в Медичине поручила мне роспись стен в зале заседаний.

В 1950 году я был приглашен в Виньоле (провинция Модена) для работы по художественной росписи клуба, носящего имя Антонио Грамши, где я выполнил серию картин, посвященных истории классовой борьбы. Чтобы еще теснее связать свое творчество с жизнью народа, я некоторое время прожил вместе с крестьянами-испольщиками провинции Перуджи, черпая из окружающей действительности темы для своих работ. Я писал сборщиц риса у себя в Медичине, а затем в Мортаре (Верчел-

году присуждение премии «Виареджо» носило компромиссный характер. Ожидалось, что этой авторитетной премией будет отмечено одно наиболее выдающееся произведение в каждом жанре, которое намечало бы определенные тенденции развития данного жанра. Однако премия «Виареджо» была разделена между тремя поэтами, тремя авторами художественных произведений и тремя публицистами. В области поэзии премия присуждена Паоло Пазолини — автору поэмы «Прах Грамши», лирическому поэту Сандро Пенне и, к удивлению многих, Альберто Мондадори, который является крупнейшим книгоиздателем, опубликовавшим в этом году первый сборник своих стихов.

Журнал «Фиера леттерариа» опубликовал интервью с Пазолини, где поэт, сообщая о своем новом произведении, заявил следующее: «Я отверг вычурный язык эстетов, он не годится для выражения идеологического накала моей поэмы». Говоря о молодых итальянскнх поэтах, Пазолини отметил, что в их стихах нередко еще преобладают «иррациональные, лирико-религиозные мотивы».

Премия «Виареджо» в области художественной прозы была поделена между Артуро Тофанелли, Наталией Гинзбург и Итало Кальвино.

В числе трех авторов, награжденных за публицистические произведения,— сицилийский католический писатель Данило Дольчи (см. «Иностранную литературу» № 2, 1957 г.).

На протяжении последних лет он неоднократно выступал с разоблачениями тяжелых условий, в которых живут крестьяне и рабочие на юге Италии. Его литературная деятельность вызвала нападки со стороны реакционных католических кругов.

Газета «Аванти» сообщает, что летом этого года Данило Дольчи был подвергнут судебному преследованию за опубликование отрывка из своей книги «Расследование в Палермо» в журнале «Нуови аргоменти». Премия «Виареджо» тем не менее присуждена Данило Дольчи, но не одному, а в числе других публицистов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «РИНАШИТА»

Журнал «Ринашита», редактируемый Пальмиро Тольятти, недавно выпустил специальный юбилейный номер, посвященный 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В номере помещена серия статей, в которых рассказывается о славном пути, пройденном советским народом и КПСС с 1917 года до наших дней. Одна из статей посвящена влиянию Октябрьской революции на итальянское рабочее движение. Номер закрывается статьей, озаглавленной «Грандиозные культурные преобразования, осуществленные в СССР с Октября по настоящее время».

В выпуске юбилейного номера участвовали Пальмиро Тольятти, Мауро Скоччимарро, Эмилио Серени и другие руководящие деятели КПИ, видные публицисты и журналисты-коммунисты.

В юбилейном номере помещены переводы стихов В. Маяковского, С. Есенина, Н. Тихонова, П. Антокольского, М. Светлова, Л. Мартынова.

ФИЛЬМ ЛУИДЖИ КОМЕНЧИНИ

Итальянские кинокритики отмечают выход на экран нового фильма режиссера Коменчини «Окно, выходящее в Луна-парк», подчеркивая, что этот фильм «является значительным вкладом режиссера в «неореалистическое» киноискусство». В этом фильме Луиджи Коменчини, отойдя от сомнительных сюжетов своих прежних фильмов «Закрытые ставни» или «Торговля женщинами», а также и от таких тем комедийного плана, как «Хлеб, любовь и фантазия», рассказал простую и правдивую историю из повседневной жизни одной семьи, раскрыл сложные взаимоотношения между отцом и подростком-сыном, которые долго не могли понять друг друга.

КИТАЙ

«УДВОИМ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С ПРАВОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ»

В Союзе китайских писателей подведены итоги борьбы против антипартийной группировки Дин Лин—Чэнь Ци-ся. С сообщениями по этому вопросу выступи-

---

ли), стремясь создать серию картин из их жизни.

Воспроизводимый в журнале «Иностранная литература» рисунок «Крестьянин из Сарно» представляет собой одну из двадцати работ, выполненных мною в сельскохозяйственном кооперативе в Барабане. События в Барабане представляют яркий пример классовой борьбы, которую ведут батраки с сельскохозяйственной буржуазией, не желая уступать политике дискриминации, проводимой правящими кругами Италии и направленной к уничтожению демократических свобод, завоеванных силами мира и труда. В этом кооперативе штрейкбрехеры под охраной полиции незаконно захватили землю, принадлежащую сельскохозяйственным рабочим, и тем самым обрекли на безработицу две тысячи человек, заставив голодать их семьи. Когда я работал в Барабане, батрачка Мари Сарти сказала мне: «Мы никогда не отступим. Мы будем бороться до тех пор, пока нам не вернут землю и не дадут возможности снова приняться за работу. Ни полиция, ни холод, ни жара не смогут нас сломить».

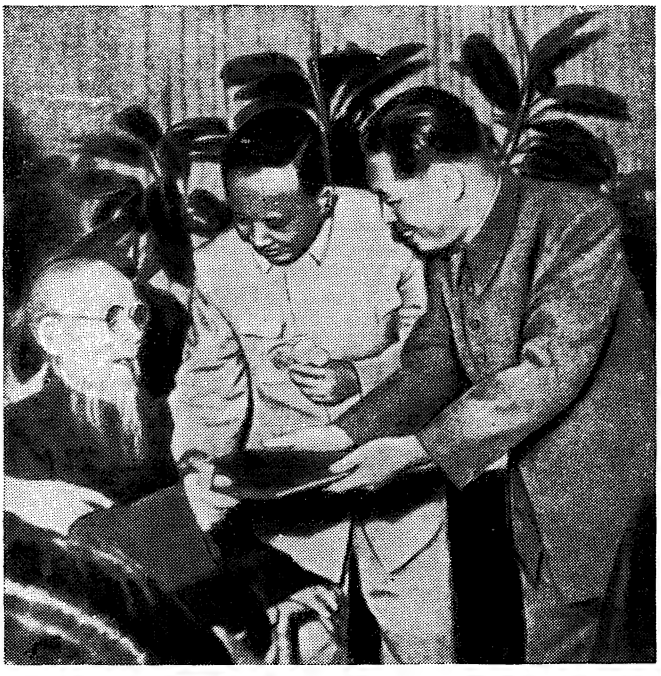
Моим глубочайшим убеждением является то, что путь социалистического реализма в искусстве самым непосредственным образом связан с реальной действительностью и предполагает глубокое знание ее проблем. Как пролетарский художник я избрал этот путь в своей творческой работе и стараюсь идти нога в ногу с моим народом, чтобы выразить его материальные и духовные потребности».

Народный художник Китая Ци Бай-ши за работой. Снимок сделан незадолго до смерти художника.

(Газета «Гуанминжибао»)

Го Мо-жо и Мао Дунь вручают художнику Ци Бай-ши Международную премию мира (1956).

(Газета «Гуанминжибао»)



ли заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПК Лу Дин-и, его заместитель, критик и литературовед, Чжоу Ян; председатель Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства Го Можо, председатель Союза китайских писателей Мао Дунь, писатели Ба Цзинь и Лао Шэ. В своем выступлении Лу Дин-и сказал:

«Правые выдвигали литературу на первое место, считали, что политика должна подчиняться литературе. Они отвергали служение рабочим, крестьянам и солдатам. Это антипартийная, антисоциалистическая, антинародная линия в литературе. Борьба против этой линии очень важна для дальнейшего развития и укрепления литературы, для укрепления руководства партии в области культуры». Говоря о социалистическом реализме, Лу Дин-и сказал: «Мы выступаем за курс «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», пусть свободно соревнуются между собой различные творческие методы, произведения, разные по тематике и стилю. Мы считаем, что социалистический реализм не единственный, но лучший творческий метод».

Чжоу Ян в своей речи заявил: «Борьба против правых элементов — это борьба в защиту социалистического направления в литературе и искусстве». Опровергая измышления правых об «отсутствии свободы творчества», Чжоу Ян продолжал: «Писать против партии и социализма — это не свобода. Самым высоким проявлением свободы является служение народу. Наши писатели полностью свободны в выборе материала, метода и художественного стиля».

Мао Дунь в своем выступлении говорил о том, что правые элементы в литературе действуют, прикрываясь знаменем борьбы с догматизмом. Он призвал работников культуры удвоить свои усилия в борьбе с буржуазной правой идеологией, крепить единство сво-

их рядов, развивать социалистическую литературу и искусство.

Го Мо-жо, говоря о значении борьбы против правых элементов в области культуры, подчеркнул, что победа на этом фронте будет способствовать развитию и углублению социалистического сознания в народе.

Писатели Ба Цзинь и Лао Шэ осудили деятельность Дин Лин, Чэнь Ци-ся, Фэн Сюэ-фэна и других, призвали извлечь уроки из борьбы против правых, полностью ликвидировать результаты их пагубного влияния.

ФОТОАЛЬБОМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЛУ СИНЮ

Издательство «Народное искусство» выпустило комплект фотографий, посвященных жизни и творчеству Лу Синя; в комплект входят редкие фотографии, хранящиеся в музеях Лу Синя в Пекине, Шанхае и Шаосине, а также находящиеся у вдовы писателя Сюй Гуан-пин. Эти материалы представляют большой интерес для литературоведов, изучающих творчество великого китайского писателя.

ИЗДАНИЕ ЛУЧШИХ ПЬЕС

В текущем году исполняется пятьдесят лет китайской разговорной драме. По сообщению «Жэньминьжибао», в целях дальнейшего развития лучших традиций китайской драматургии театральное издательство Китая выпускает в свет лучшие пьесы драматургов, выдержавшие испытание временем и до сих пор с успехом идущие на сценах драматических театров. Уже опубликованы пьесы: «Под крышами Шанхая» Ся Яня, «Гроза» Цао Юя, «Цюй Юань» Го Можо, «Туман над Чунцином» Сун Чжи-ди и другие. До конца года будут изданы драматические произведения Оуян Юй-цяня, Тянь Ханя, а также другие пьесы Го Мо-жо и Цао Юя.

ЛИВАН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА «АР-РИСАЛЯ»

Прошло немногим больше года с тех пор, как в Бейруте стал издаваться новый литературный журнал «Ар-Рисаля» («Послание»). За это время журнал приобрел популярность. Редакция журнала выпустила несколько специальных номеров, каждый из которых был посвящен одному из выдающихся арабских писателей или поэтов. Специальные номера были посвящены ливанскому писателю и мыслителю Джубрану, представителю прогрессивной арабской литературы Омару Фахури, известному поэту Ливана Ильясу Абу Шабка и великому арабскому писателю-гуманисту Амину ар-Рейхани. В скором времени, как сообщает ливанская печать, выйдет номер «Ар-Рисаля», посвященный известному арабскому поэту Халилю Мутрану.

ЖУРНАЛ ПОЭТОВ

В Бейруте начал выходить журнал «Аш-Шаар» («Поэзия»). По сообщению редакции, в нем будут публиковаться стихотворения арабских поэтов и переводы стихов с других языков. В журнале также будут помещаться критические статьи об арабской поэзии и творчестве зарубежных поэтов, различные сообщения о литературной жизни арабских стран.

Первый номер «Аш-Шаар» вызвал живой отклик среди арабской общественности. По инициативе редакции начали проводиться регулярные встречи ливанских поэтов с читателями.

ПОЛЬША

К ДИСКУССИИ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

В литературных кругах Польши продолжается дискуссия о методе социалистического реализма.

В статье Стефана Жулкевского «К вопросу о социалистическом реализме», опубликованной в еженедельнике «Политика», социалистический реализм характеризуется как метод, отличающийся современностью, новаторством и отвечающий высшим требованиям литературы XX века.

По мысли Жулкевского, только литература социалистического реализма воссоздает художественными средствами картину мира, отражает далекие перспективы общественного развития и исторические судьбы человечества.

Жулкевский приходит к выводу, что вера в высокое назначение человеческого разума, подтверждаемое исторической практикой,— основное достоинство социалистического реализма.

«Социалистический реализм является основой литературы, борющейся на стороне современного разума, то есть марксизма, на стороне революционной практики за выполнение исторических задач пролетариата в XX веке»,—заявляет Жулкевский.

В журнале «Мысль философична» со статьей о теории социалистического реализма выступил Стефан Моравский. По мнению Моравского, будущее покажет «великую жизнеспособность социалистического реализма».

«ПЛАНЕТА СМЕРТИ»

Советскому читателю знаком научно-фантастический роман молодого польского писателя Станислава Лема «Астронавты», недавно вышедший в переводе на русский язык, где рассказывается о полете людей на Венеру.

Задачу экранизировать это произведение взял на себя коллектив польской студии «Иллюзион» в сотрудничестве с киностудией «ДЕФА» (Германская Демократическая Республика). Постановщик фильма, названного «Планета смерти», — немецкий режиссер Курт Метциг. Съемки будут производиться на студии «ДЕФА».

Ноктюрн Шопена в исполнении солистов Варшавской оперы Ольги Савицкой и Богдана Бульдера.
(Журнал «Стэлица»)

Фильм «Планета смерти» задуман как научно-фантастическое кинопроизведение. По мысли постановщиков, при реализации фантастического сюжета романа будут использованы данные новейших достижений астронавтики.

В фильме будут сниматься киноактеры многих стран, в том числе СССР, Индии, Польши, Китая, ГДР, США, Франции. Совместную работу над фильмом «Планета смерти», знаменующую собой начало активного творческого сотрудничества польских и немецких киноработников, намечено закончить в конце 1957 года.

ИНТЕРВЬЮ ЛЕОПОЛЬДА ИНФЕЛЬДА В «ПШЕГЛЁНД КУЛЬТУРАЛЬНЫ»

В связи с успешным запуском в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли корреспондент еженедельной газеты «Пшеглёнд культуральны» обратился с рядом вопросов к известному польскому ученому Леопольду Инфельду. «С каким техническим достижением в прошлом,— спросил корреспондент,— можно сравнить запуск искусственного спутника?»

«Это событие,—сказал Леопольд Инфельд,—может быть поставлено в один ряд со взрывом первой атомной бомбы. Однако между этими событиями имеется принципиальное различие. Первый взрыв атомной бомбы был произведен в военных целях, в то время как запуск спутника носит характер мирных научных исследований».

РУМЫНИЯ

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ХУДОЖНИКА НИКОЛАЕ ГРИГОРЕСКУ

Румынская общественность широко отмечает пятидесятилетие со дня смерти известного румынского живописца и графика Николае Григореску.

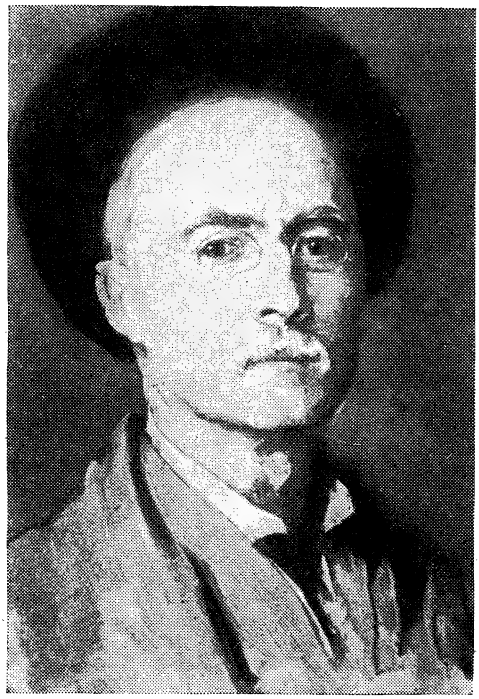
«Григореску,— пишет журнал «Газета литерарэ»,— принадлежит к числу тех художников, слава которых не меркнет. Подобно поэту Эминеску и композитору Энеску, он вечно будет жить в памяти народа... Каждый из них отражал историю нашего народа, его горе и радости, стремление к лучшей жизни. Григореску так близок каждому из нас, что порою кажется странным отмечать пять десятилетий со дня его смерти».

В статье, опубликованной в газете «Скынтейя» и посвященной Григореску, академик Г. Опреску пишет, что восьмидесятые годы прошлого века знаменуют собою вершину творчества живописца. В этот период появились его лучшие картины на самые различные темы: пейзажи, жанровые произведения из крестьянской жизни и т. д.

В статье, помещенной в журнале «Контемпоранул», Йон Фрунзетти отмечает, что румынский крестьянин изображен в картинах Григореску таким, каков он был, со своими думами и заботами. Выходец из самой гущи народа, художник знал душу народа, подчеркивает автор.

Творчество Григореску всегда служило предметом изучения и источником вдохновения для последующих поколений румынских художников. «Я обязан ему всем, что знаю»,— говорил известный художник Румынии Штефан Лукьян.

Неизмеримо возрос интерес к наследию Григореску в Народной Румынии, где полотна художника занима-



Н. Григореску (автопортрет).

Н. Григореску. «Молодой крестьянин».

ют почетное место в национальной галерее страны. Центру художественного воспитания молодежи — Бухарестскому художественному институту присвоено имя Николае Григореску.

«ПЛАНЕТА МОИХ РУК»

Румынские газеты «Скынтейя» и «Газета литерарэ» публикуют высказывания румынских литераторов, посвященные большой победе советских ученых — запуску искусственного спутника Земли.

«Я думаю, — пишет румынский поэт Дан Дешлиу,— что все эти поразительные события вполне закономерны и логичны: народ, который 40 лет назад открыл человечеству путь к счастью здесь, на земле,— сегодня на основе законов движения планет и законов революции открывает путь к звездам».

Поэт Миху Драгомир в стихотворении «Планета моих рук», написанном им в день запуска спутника, 4 октября 1957 года, прославляет «великое деяние свободного человека, который сегодня начал строить планеты». (См. настоящий номер «Иностранной литературы», стр. 4).

Гордостью за человеческий гений и мечтой о братстве всех людей проникнуто стихотворение «Призыв к соревнованию» румынского поэта, известного переводчика стихов Маяковского, Чичероне Теодореску, посвященного советскому искусственному спутнику Земли.

СИРИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ЛИГИ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СИРИИ

Лига арабских писателей Сирии обратилась к писателям всего мира с обращением, в котором говорится:

«Нашей стране угрожает опасность заранее подготовленной агрессии, о чем свидетельствует кампания клеветы, угроз и провокаций, затеянная против нас США, а также Турцией и Израилем, идущими в фарватере американской политики, и рядом других государств — участников Багдадского пакта, принявших доктрину Эйзенхауэра.

Единственной причиной этой, развернутой США, кампании является то, что Сирия стала свободной страной, что она укрепляет свою независимость, верит в арабский национализм и служит делу укрепления всеобщего мира, проводя политику позитивного нейтралитета.

Именно такое прочное положение Сирии приводит в бешенство американский империализм, который стремится подавить освободительное движение. В

борьбе с освободительным движением американский империализм применил такие средства, как экономический нажим, холодная война, интриги, клевета. Эти коварные методы потерпели крах, натолкнувшись на сознательность сирийского народа и его решимость защищать свою независимость. Тогда американский империализм, стремясь задушить Сирию и силой привязать ее к колеснице империализма, прибег к более агрессивным методам, к «закону джунглей», к угрозам вооруженного вмешательства...

Мы, писатели Сирии, призываем писателей всего мира поднять свой благородный голос в защиту нашей страны, поскольку угроза Сирии — это угроза всему миру, культуре и цивилизации всего человечества, так как даже нельзя представить себе те страшные последствия, к которым может привести новая мировая война.

Мы уверены, что вы горячо поддержите наш призыв, так как и вы несете ответственность за сохранение мира, защиту свободы, культуры и цивилизации».

США

МЕМУАРЫ АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИТИКА

Недавно в Соединенных Штатах Америки вышла в свет книга Дж. М. Керли, озаглавленная «Я сделал бы это снова». Журнал «Нью-Йорк таймс бук ревью», аннотируя книгу, характеризует Керли как «политического патриарха города Бостона». Керли в течение шестнадцати лет был мэром этого города, в течение двух лет — губернатором штата Массачусетс и восемь лет представлял Бостон в конгрессе США. Что же такое сделал этот политический деятель и что намерен он «сделать снова»?

В своих мемуарах Керли откровенно рассказывает читателю, как на протяжении всей своей карьеры он занимался взяточничеством, подкупом и вымогательством, используя для этого свое служебное положение. Он цинично сообщает о своих издевательствах над избирателями, повествуя о том, как ему приходилось ускользать через заднюю дверь от безработных, приходивших во время кризиса к его дому, чтобы требовать работы. Керли подробно рассказывает, как он шантажировал своих политических противников, а иногда и союзников, с целью получения крупных взяток или обеспечения большинства на выборах. О политических взглядах этого «деятеля» достаточно ясно свидетельствует его рассказ о том, как в 1931 году, во время поездки в Италию, он явился к «своему старому другу Бенито Муссолини», чтобы выразить фашистскому дуче «любовь и уважение, питаемые к нему его почитателями в Америке».

Заканчивая свою аннотацию, журнал «Нью-Йорк таймс бук ревью» рекомендует эти излияния американского политикана читателям как один из возможных «бестселлеров». Надо полагать, что в таком случае эта книга избавит конгрессмена Керли от необходимости когда-нибудь выступать перед избирателями. Его программа ясна...

«ШАГ ВПЕРЕД» ПОЛЯ ЭРИКСОНА

Одной из немногих книг, правдиво отражающих положение в американских профсоюзах, является роман «Шаг вперед» Поля Эриксона, изданный в этом году в США. В нем рассказывается о жизни американских сельскохозяйственных рабочих — белых и негров.

Действие романа развертывается на крупной апельсиновой плантации во Флориде в первые послевоенные годы. В книге разоблачается соглашательская роль правых профсоюзных лидеров, их борьба против прогрессивного рабочего движения, вскрываются подлинные истоки антикоммунизма в реакционных профсоюзах. Автор показывает, как борьба наймитов монополий против мнимой «красной опасности» выливается в прямые акты насилия над рабочими: расисты линчуют руководителя негров-батраков, который пытался организовать среди батраков профсоюз.

Давая оценку роману Поля Эриксона, газета «Дейли уоркер» пишет: «В своей книге Поль Эриксон следует традиции лучших американских романов... Он показал нам рабочих, которые сделали «шаг вперед» к братству и свободе и были снова отброшены назад с наступлением реакции и «холодной войны», но которые сохранили свой боевой дух».

БИОГРАФИЯ О. ГЕНРИ

Как сообщает журнал «Тайм», в США издана одна из наиболее полных биографий Уильяма Портера, известного под псевдонимом О. Генри, написанная профессором Техасского университета Джеральдом Лангфордом. Книга озаглавлена «Так называемый О. Генри». Автор описывает богатую событиями жизнь известного писателя, который создал на основе своего жизненного опыта около 300 рассказов, многие из которых носят автобиографический характер. Наиболее интересные страницы книги посвящены истории борьбы писателя с издателями, которые наживались на его произведениях. Книга Лангфорда заканчивается подлинными словами О. Генри, который умер в больнице, преследуемый кредиторами, словами, сказанными писателем перед смертью: «Зажгите свет. Я не хочу идти домой в темноте».

ФРАНЦИЯ

ПЬЕСА ОБ «АМЕРИКАНСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ»

Французский драматург Марсель Эме написал новую пьесу «Синяя муха», поставленную театром «Шанз-Элизе». Тема пьесы — образ

жизни и нравы современных американцев. В интервью с корреспондентами газет драматург рассказал о том, как была написана эта пьеса. Эме был приглашен в США редакцией одного журнала, вознамерившегося познакомить своих читателей с впечатлением, которое произведет на французского писателя американский образ жизни. «Однако, когда я откровенно поделился своими впечатлениями, журнал отказался напечатать их. Вот этот-то материал и послужил основой моей пьесы...— говорит Марсель Эме.— Она посвящена современным американцам, изображению того страха, какой они испытывают перед всем, что могло бы отвлечь их от бизнеса, от их механизированной жизни».

На кинофестивале в Карловых Варах с большим успехом демонстрировался франко-немецкий фильм «Салемские колдуньи», сделанный по пьесе Артура Миллера. В главных ролях снимались Ив Монтан и Симона Синьоре. На снимке — Ив Монтан в фильме «Салемские колдуньи».

(Журнал «Цейт им бильд»)

НОВЫЕ ЗАПИСИ СТЕНДАЛЯ

Некоторое время назад французский литературовед М. А. Рюфф обнаружил в университетской библиотеке Экс-ан-Прованса томик прижизненного издания «Истории живописи в Италии» Стендаля. Перелистывая книгу, найденную на верхней полке библиотечного шкафа, Рюфф обнаружил в ней записи, сделанные рукой Стендаля и оказавшиеся рукописью подлинного дневника писателя. Дневник, как и многие другие заметки Стендаля, был зашифрован. В связи с этим потребовалось проделать большую работу для прочтения текста, причем некоторые слова так и остались неразобранными.

Дневник, по сообщению «Нувель литтерер», содержит записи Стендаля с 21 февраля 1837 года по 9 января 1838 года, то есть относится к тому периоду, когда Стендаль жил в Париже и работал над «Воспоминаниями о Наполеоне». «В дневнике,— пишет «Нувель литтерер», — Стендаль записывал свои мысли о Наполеоне, о современниках, о французском национальном характере, о музыке, о женщинах. Его замечания, как всегда, остры и содержательны. Все это настолько современно, что кажется, будто чернила еще не успели высохнуть на пере, писавшем эти строки. Для тех, кто любит Стендаля, автора «Жизни Анри Брюлара» и «Воспоминаний эготиста»,— это подлинная находка».

Дневник Стендаля выпущен парижским издательством Жозе Корти.

«ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПЕРСОНАЖИ...»

Недавно вышел в свет новый роман Франсуазы Саган «Через месяц, через год». Это третья книга, написанная двадцатидвухлетней писательницей. Основной темой первых двух романов Франсуазы Саган — «Здравствуй, печаль» и «Смутная улыбка» — являются любовные интриги, душевные переживания и психологические самокопания героев.

Новый роман «Через месяц, через год» не отличается новизной темы и оригинальностью сюжета. «Что делают молодые люди, герои нового произведения

Франсуазы Саган? — пишет рецензент в литературном еженедельнике «Ар».—Чем они заняты в жизни? Это невозможно понять. Немного любви, которая им приелась, немного литературы и разговоров — таков этот маленький мирок бездельников». К этому мнению присоединяется и писатель Жан Дютур: «Позднее, когда эти молодые люди состарятся, они скажут, что прожили свою жизнь бесцельно, зря...» Иронизируя по поводу того, что основное содержание романа сводится к описанию поверхностных любовных увлечений, измен и разочарований, писатель Одуар пишет: «Новый роман Франсуазы Саган — лабиринт, в котором легко заблудиться. Мне кажется, что было бы полезно приложить несколько путеводителей по роману...»

Газета «Ар» опубликовала высказывания ряда писателей и деятелей искусств, посвященные новому роману Саган. Многие из них, считая, что молодой автор не лишен таланта, одновременно высказывают сожаление по поводу того, что писательница берет темы и создает образы, далекие от действительной, повседневной жизни. Киносценарист Жансон замечает, что «одни и те же персонажи кочуют из одной ее книги в другую». «С тех пор как мы виделись с героями романа «Смутная улыбка», прошел год. Теперь мы вновь застаем их в новом романе в том же положении... В «Смутной улыбке» разочарование, безразличие, печаль были полны какой-то, пусть «смутной», поэзии... На этот раз улыбка превратилась в гримасу»,— пишет критик Эке.

Литературный критик газеты «Юманите» Режи Бержерон отмечает, что Саган не удалось найти новой, более широкой, интересной темы. «Читатель вновь встречается с любовным хороводом, в котором партнеры меняются местами, но не находят счастья... Герои романа зря растрачивают свое время и свою жизнь. Франсуаза Саган замкнулась в кругу тем ее прежних романов; ей следовало бы вырваться из этого круга».

КОНЦЕРТЫ ИМЫ СУМАК

В Париже в концертном зале Аламбра недавно состоялись концерты популярной перуанской певицы Имы Сумак, известной нашим радиослушателям по исполнению народных перуанских песен. Парижская критика высоко оценила выступление певицы, отдавая дань ее исполнительскому мастерству и необычайному по красоте и диапазону голосу. «Летр франсез» пишет, что «феноменальный голос певицы буквально потрясает слушателя».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КНИГА АНТОНИНА ЗАПОТОЦКОГО

Товарищ Антонин Запотоцкий незадолго до смерти закончил книгу для детей — «Барунка». В произведении, отображающем период 40-х годов прошлого века и написанном в форме разговора дедушки с детьми, повествуется о детстве матери Антонина Запотоцкого.

ЮБИЛЕЙ ПЕВЦА «СИЛЕЗСКИХ ПЕСЕН»

Общественность Чехословакии широко отметила 90-летие народного поэта Петра Безруча. В день юбилея его домик в Костельце

Иллюстрация Карла Сволинского к одной из баллад Петра Безруча из цикла «Силезские песни».

(Газета «Руде право»)

Золотая медаль Петра Безруча, изготовленная по эскизу скульптора В. Гайды.

на Гане посетили делегации горняков Остравы, чью жизнь он воспевал в своих произведениях, делегации работников почты из Простёдова и Фридека—его бывших коллег, а также пионеры из Потешовиц. Министр просвещения вручил поэту орден Республики, которым Безруч награжден за свою поэтическую деятельность, и передал ему почтовую марку с его портретом, выпущенную в связи с юбилеем.

Делегация чехословацких писателей во главе с Марией Майеровой передала поэту послание Союза чехословацких писателей и специально отчеканенную «Золотую медаль Петра Безруча». Делегация приняла участие в праздновании юбилея писателя в Остраве и Опаве. На торжественном заседании в клубе писателей в Праге, открытом Марией Пуймановой, Франтишек Бурианек сделал доклад о творчестве юбиляра.

ЧИЛИ

ОБРАЩЕНИЕ ПАБЛО НЕРУДЫ К ПИСАТЕЛЯМ МИРА

Известный чилийский поэт Пабло Неруда обратился к писателям всего мира с призывом активно выступить против испытаний атомного оружия:

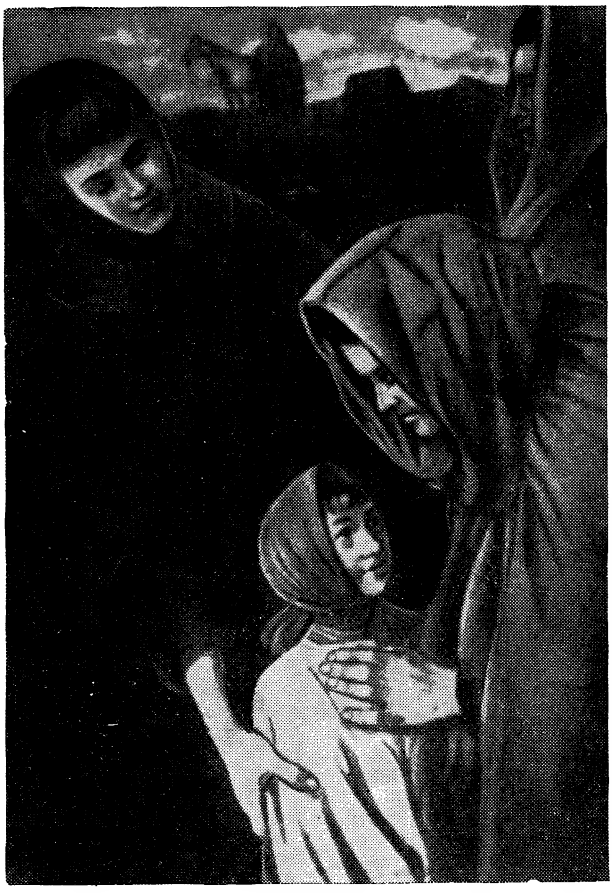
«С давних пор я слышал от друзей-писателей иронические замечания в адрес ученых. «Это люди не от мира сего,— говорили они.— Шляпу носят на свой манер, а в солнечный день ходят с зонтиком».

Мне кажется, что в мире произошло много перемен, и к ученым уже нельзя обращать эти иронические слова. В самом деле, мы все с большим волнением заслушали текст телеграммы известного ученого Швейцера, присланной в адрес сессии ВСМ. Протест 18 немецких ученых, потребовавших запрещения ядерного оружия, всколыхнул мир. Сотни ученых США, несмотря на преследования, выступили против политики правительства и ясно сказали: «Жизнь на нашей планете подвергается опасности. Надо приостановить испытания ядерного оружия».

Перед лицом этой всеобщей угрозы бóльшая часть современных писателей безмолвствует. В тишине, свидетельствующей о неблагоразумии и беспечности, а может быть, и о страхе, смолкли голоса тех, кто должен говорить, замерло перо тех, кто должен напоминать, оборвалась песня тех, кого надо слушать.

Должен признаться, что мне стыдно, как писателю, за таких людей. Правда, есть исключения. Благородные представители литературного мира сказали свое слово. Но ведь не только они, а все писатели, и притом всех стран, должны выступать

Работа известного чехословацкого художника Ладислава Гундеры — «Прощание партизана с семьей».



со всей силой страсти и всегда напоминать о грозящей опасности.

Большинство писателей хранит молчание. В наши дни ученые их опередили. И теперь уже не ученых, а писателей следует назвать людьми не от мира сего, людьми, которые носят шляпу не так, как надо, и ходят с зонтиком в хорошую погоду.

Американский писатель Хемингуэй написал прекраснейшую, исполненную драматизма повесть о рыбе и рыбаке, о силе стихии, о воле человека. Хемингуэй живет и работает на Кубе, его произведения блистательны и монументальны. И все же нам хотелось бы прочитать иную его книгу. Руками человека создана зловещая и роковая сила. Она наступает на рыбаков. Нам бы хотелось, чтобы американский писатель вступил в единоборство с атомной рыбой, хотелось бы, чтобы Хемингуэй рассказал простым американцам о том, что́ может произойти. Это так просто и вместе с тем так ужасно, что все они могут стать участниками разрушения, а с другой стороны — сами найти свою гибель.

Я верю в силу человеческого слова. Из всех сфер деятельности я избрал поэзию, так как еще в юности понял, что написанное слово тверже стали, что оно может жечь, как огонь, и может быть долговечнее, чем гранитные памятники. Наш долг — использовать силу человеческого разума и нашу волю в эти дни тяжелых испытаний, постигших человечество. В каждый критический момент истории именно писатели исполняли этот долг. Защита истины и мира всегда была делом интеллигенции. Можем ли мы предать забвению пример Уитмена? Или пламенную душу Максима Горького? Слова Ромена Роллана продолжают жить среди нас. Недавно отошел в вечность Томас Манн. Его жизнь была битвой во имя человеческого достоинства против насилия и произвола. Но как бы поступили все они в эти дни новой угрозы? Неужели остались бы безучастными? Мы знаем, что никогда опасность не была столь велика для человечества. Думаю, что Шекспир, Сервантес и Толстой выступили бы против этого призрака смерти.

Что касается меня, то я всего лишь поэт затерянной среди гор и скал маленькой страны, расположенной на самом юге нашей планеты. И разве я не имею права потребовать гарантий жизни, спокойного творчества и мира? От имени всех, кто имеет право на жизнь, от имени наших народов, больших или малых, древних или молодых, народов Запада и народов Востока, независимо от их политического строя и философских убеждений, я выступаю, используя такое оружие, как человеческое слово, и призываю писателей всех наций поднять свой голос против испытаний атомного оружия и подготовки атомной смерти.

Я призываю моих коллег из всех стран создать нашим словом и нашим творчеством оплот, который позволил бы человечеству жить в мире, богатстве и любви.

Только так мы сможем исполнить наш исторический долг людей и писателей».

Это обращение впервые было оглашено поэтом на сессии Всемирного Совета Мира, происходившей в Коломбо (о. Цейлон).

ЮГОСЛАВИЯ

СТОТОМНАЯ «АНТОЛОГИЯ СЕРБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Два сербских издательства «Матица Српска» и «Српска книжевна задруга» (Белград) предполагают издать «Антологию сербской литературы» в ста томах, которая охватит произведения сербской литературы от средних веков до нашего времени. Оба издательства будут ежегодно выпускать десять книг. Первые пять томов: «Антология народного творчества», «Мемуары Матие Ненадовича», «Стеван Митров Любиша», «Избранные произведения Бранислава Нушича» и «Йован Дудич» выйдут в свет в этом году.

Писатель Душан Матич, высказываясь в газете «Политика» о значении этого многотомного издания, пишет: «Я считаю, что после опубликования всех намеченных произведений каждому нашему читателю станут доступными и те тексты, которые до сих пор вообще не публиковались или входили в старые редкие издания... Многие из них будут настоящим откровением для читателей и покажут, что наша литература значительно богаче, чем мы думаем, что она вовсе не так скудна, как можно было бы заключить, судя по нашим школьным учебникам».

Интересной, по словам Душана Матича, является идея издателей опубликовать в рамках литературной антологии не только художественные произведения, но и все те тексты, которые так или иначе отражают деятельность данного писателя, то есть выдержки из дневников, писем, путевых заметок (как известных, так и неопубликованных), газетные статьи и т. д.

НОВЫЕ КНИГИ БРАНКО ЧОПИЧА

Писатель Бранко Чопич закончил два новых произведения — роман «Беззвучный порох», продолжение романа «Прорыв», и повесть для детей «Орлы вылетают рано», выходящую в издательстве «Народна просвета». Сюжетом повести, по сообщению «Борбы», служат события военных лет.

ЯПОНИЯ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ИСИКАВА ТАЦУДЗО

Издательство «Синтёся» издает собрание сочинений известного японского писа-

теля, председателя ассоциации японских писателей «Бунгэйка кёкай», Исикава Тацудзо. Намечено выпустить двенадцать томов, в которые войдут наиболее значительные произведения писателя.

Журнал «Ниппан цусин» отмечает, что в собрание сочинений будут включены произведения писателя, правдиво рисующие войну в Китае, которые ранее были запрещены японской военной цензурой, например «Живые солдаты».

АНТИВОЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Редакция журнала «Син нихон бунгаку» («Новая японская литература») организовала беседу о японских фильмах на военную тему. Выступавшие отметили, что японское послевоенное кино прошло в своем развитии ряд этапов. Первый этап — послевоенное пятилетие. Фильмы этого периода в основном посвящены разоблачению виновников войны. Второй этап совпадает с периодом создания в Японии американских военных баз и с корейской войной. Основная тема фильмов — преступления и ужасы войны. Такие фильмы, как «Башня Химэюри», «Стратосфера», созданы именно в это время. Третий этап относится к нашим дням. В основе таких фильмов, как «Последняя атака», «Повесть о рядовом солдате», лежат воспоминания о войне, как об ужасном прошлом.

Однако выступавшие в беседе отметили также проявление тенденции к отходу от прямой антивоенной темы и замене ее историей военных лет, преподносимой с индивидуальных, порою мелодраматических позиций.

Участники беседы говорили о необходимости создания новых фильмов, направленных против угрозы атомной войны.

СОБРАНИЕ ЯПОНСКИХ КИНОСЦЕНАРИЕВ

Недавно издательство «Ирония» начало выпуск двенадцатитомного собрания японских киносценариев. В него включены наиболее значительные произведения японской кинематографии, появившиеся на экранах после войны. Один том посвящен довоенным киносценариям.

Собрание содержит работы таких выдающихся японских кинодраматургов и режиссеров, как Яманака Садао, Одзу Ясудзиро, Итами Мансаку и других. В собрание включены наиболее популярные антивоенные кинопроизведения Яги Ясутаро и Ямагата Юсаку, в частности их сценарий по известному антимилитаристскому роману Хироси Нома «Мертвая зона».

Характеризуя это издание, журнал «Ниппан цусин» пишет, что оно интересно и дает представление о путях развития современного японского кино.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА" за 1957 год (№№ 1—12)

ЛЕНИН И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ В. И. ЛЕНИНА, № 4

В. И. Ленин — Заметка о книгах парижских коммунаров.
В. И. Ленин — Конспект первой части книги Г. Лефрансе «Очерк движения парижских коммунаров в 1871 году».
В. И. Ленин — Два письма директору Британского Музея.
И. Митчелл—Письмо директору Британского Музея.
В. И. Ленин — Список книг, журналов и газет.
Бернард Шоу — Дарственная надпись на книге «Назад к Мафусаилу».
В. И. Ленин — Пометки на предисловии Б. Шоу к драматической пенталогии «Назад к Мафусаилу».
В. И. Ленин — Записка в редакцию журнала «Красная Новь».
Дж. А. Гобсон — Проблемы нового мира (Отрывки).

ДОКУМЕНТЫ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС, № 11

Ленин и Рид

I

Джон Рид — Коммунистическое движение в Америке.
В. И. Ленин — Записки Л. А. Фотиевой и М. И. Гляссер.
В. И. Ленин — Товарищу Эдварду Мартину.
Джон Рид — Письмо В. И. Ленину.
В. И. Ленин — Записка Г. В. Чичерину.
В. И. Ленин — Записка М. В. Кобецкому.

II

В. И. Ленин — Записка секретарям о Луизе Брайант (Рид).

III

В. И. Ленин — Всем Народным Комиссарам и членам коллегий.
В. И. Ленин — Записки секретарям.

IV

В. И. Ленин — Письма Г. Б. Краснощековой.
Г. Б. Краснощекова — Бесси Битти у Ильича.
«Десять месяцев с Лениным».

Ленин и Уэллс

В. И. Ленин — Пометки на книге Герберта Уэллса «Россия во мгле».
Герберт Уэллс — Письмо А. М. Горькому.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ ЗА РУБЕЖОМ, № 4

Бойхлер Клаус — В Женеве.
Дезанти Доминика — В Париже.
Рассел Сэм — В Лондоне.
Яриш Милан — В Праге.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ПРИЗВАНЫ СЛУЖИТЬ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА

Н. Хрущев — За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа (Сокращенное изложение выступлений на совещании писателей в ЦК КПСС 13 мая 1957 года, на приеме писателей, художников, скульпторов и композиторов 19 мая 1957 года, на партийном активе в июле 1957 года), вкладка в № 9.

Зарубежные отклики на выступления Н. С. Хрущева, № 10

Алерамо Сибилла — Прошлое и настоящее.
Захир Саджад — Благородная задача советской литературы.
Радевский Христо — Партия всегда помогает.
Сэнгээ Дашцэвгийн — Высокий долг писателей МНР.
Хан Сер Я — Ради обогащения сокровищницы мировой культуры.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Астуриас Мигель Анхель — Все они были американцами! (Рассказ), № 12.
Бенюк Михай — Степь, № 11.
Бёль Генрих — Рассказы, № 5.
Болстад Эйвин — О том, как Рейнерт Мусебергет захотел прыгнуть выше головы (Рассказ), № 10.
Брехт Бертольт — Добрый человек из Сезуана (Пьеса), № 2.
Ван Юань-цзянь — Партийный взнос (Рассказ), № 9.
Выгодский Станислав — На вокзале, № 11.
Гамарра Пьер — Образ матери, № 11.
Грин Грэхем — Рассказы, № 10.
Диб Мухаммед — Книга, о которой я мечтаю, № 11.
Домбровская Мария — Ночная встреча (Рассказ), № 5.
Думитриу Петру — Буревестник (Роман), №№ 1, 2, 3, 4.
Залошния Мойси — Военный билет, № 11.
Зегерс Анна — Возвращение (Повесть), № 6.
Ивашкевич Ярослав — Рассказ из страны папуасов, № 4.
Когоут Павел — Такая любовь (Пьеса), Предисловие С. Образцова, № 12.
Колдуэлл Эрскин — Рассказы с Мексиканского залива, № 10.
Кручковский Леон — Великая Октябрьская, № 11.
Ландинес Луис — Дети Максима Худаса (Роман), №№ 7, 8.
Лану Арман — Майор Ватрен (Роман), №№ 8, 9, 10.
Лао Шэ — Чайная (Пьеса), № 9.
Майерова Мария — Баррикады в предместье, № 11.
Мастерс Декстер — Несчастный случай (Роман), №№ 4, 5, 6.
Миллер Артур —Вид с моста (Пьеса), № 4.
Моравиа Альберто — Рассказы, № 6.
Ойоно Фердинанд — Старый негр и медаль (Повесть), № 12.
О' Кейси Шон — Когда весть пришла в Дублин, № 11.
Олдридж Джеймс — Мальчик с лесного берега. Победа мальчика с лесного берега (Рассказы), № 4.
Олдридж Джеймс — Не хочу, чтобы он умирал (Роман), № 11.
Ржезач Вацлав — Семь танков (Рассказ), № 5.
Стоянов Людмил — Ладислас Ламот, № 11.
Сюй Хуай-чжун — Мы сеем любовь (Роман), №№ 9, 10, 11.
Урбан Эрне — Западня (Роман), №№ 7, 8.
Фейхтвангер Лион — Братья Лаутензак (Роман), №№ 1, 2, 3.
Фолкнер Уильям — Дым (Рассказ), № 12.
Харди Фрэнк — Из воспоминаний, № 11.
Цюй Цю-бо — Нескончаемые «противоречия» (Рассказ), № 9.

ИЗ НОВЫХ КНИГ

Лакснесс Халлдор — Герпла (Отрывок из романа), № 1.
Ремарк Эрих Мария — Черный обелиск (Отрывки из романа). Вступительная статья Сергея Львова, № 8.
Рютт Урсула — Дело о человеке (Роман), № 7.
Чопич Бранко — Случаи из жизни Николетины Бурсача, № 3.

СТИХИ

Айронбак — Моя родословная, № 10.
Арапи Фатос — Когда станешь матерью... № 1.
Божилов Божидар — Искусство, № 5.
Божилов Божидар — Светофор, № 7.
Брехт Бертольт — Ковровщики Куян-Булака чтят Ленина, № 4.
Бхаттачария Суканта — Ленин, № 4.
Вайнерт Эрих — Книга для гостей, № 11.
Гельстед Отто — Умные гномы, № 10.
Гилмор Мэри — Стихи, № 8.
Гильен Николас — Элегия на смерть Эммета Тилла, № 1.
Го Мо-жо — Стихи, № 9.
Гонсало Хуан — Маяковский, № 1.
Гора Иосеф — На Красной площади, № 4.
Гун Лю — В небе много звезд. Только один человек может ее разбудить, № 9.
Гьечи Вангель — Певец, № 1.
Гьечи Вангель — Спутники, № 12.
Добжинский Шарль — Письмо требовательному другу о требованиях любви, № 2.
Драгомир Миху — Планета моих рук, № 12.
Жаоцзебасан — Видеть еще острей, № 9.
Зико Вангьюш — Наша весна, № 1.
Коларов Иван — Советский человек, № 12.
Костра Ян — Слово благодарности, № 10.
Лабиш Николае — Познанье жизни, № 12.
Ламар — Из книги «Боевые песни», № 11.
Леон Карлос Аугусто — Слепые. С жизнью наедине, № 1.
Леон Карлос Аугусто — Я пришел к тебе, Москва, № 8.
Ли Цзи — Ленин, № 4.
Лоусон Генри — Стихи, № 7.
Малькольм Том — Братство, № 8.
Мао Цзэ-дун — Восемнадцать стихотворений. Переводы Н. Асеева, С. Маршака, А. Суркова. Примечания и послесловие Н. Федоренко, № 5.
Маршак С.— Из Вильяма Блейка, № 10.
Маршак С.— Новые переводы. Из Джо Уоллеса, № 3.
Мигалик Войтех — Октябрь, № 11.
Мигалик Войтех — Стихи, № 2.
Ан-Нади Мухтар Мухаммед — Канал наш, № 1.
Незвал Витезслав — Из родного края, № 7.
Неруда Пабло — Я знал художника из Никарагуа, № 1.
Пастернак Леон — Eppur si muove! № 12.
Де-Перес Матильда Эспиноса — Книга идет по свету, № 1.
Песни Ирландского сопротивления, № 3.
Ромеро Эльвио — Порт по вывозке таннина, № 1.

Се Ман Ир — Два стихотворения, № 7.
Сернэ Клод — Сила одного слова, № 4.
Силичи Драго — Дуб, № 1.
Уоллес Джо — Песнь о фестивале, № 8.
Фейхтвангер Лион — Песня павших, № 11.
Фодор Йожеф — Ленин, № 11.
Фэн Чжи — Песнь об ущелье Люцзя, № 9.
Хан Юн Хо — Азия и Африка сегодня, № 6.
Хан Юн Хо — Три встречи, № 4.
Хименес Хуан Рамон — Стихи, № 12.
Хьюз Лэнгстон — Ленин, № 11.
Цзан Кэ-цзя — Стихи с побережья, № 9.
Ша Оу — На берегу реки Цзялин, № 9.
Шотола Иржи — В космос! № 12.
Эредиа Эухенио Морено — Поэмы мира, № 1.
Явуухулан Бэгзийн — Весенняя песня, № 2.
Янь Чэнь — Звезды Кремля, № 12.
Яструн Мечислав — Ленин в Поронино, № 4.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Альвес Кастру — Поэмы. Вступительная статья и перевод И. Тыняновой, № 8.
Бодлер Шарль — Из «Цветов зла». Вступление и переводы с французского В. Левика, № 3.
Вийон Франсуа — Баллады и другие стихи. Вступительная статья и переводы Ильи Эренбурга, № 1.
Гете Иоганн Вольфганг — Параболы и эпиграммы, № 3.
Из китайской классической поэзии. Тао Юань-мин, Мэн Хао-жань, Бо Цзюй-и. Вступительная статья Л. Эйдлина, № 9.
Лонгфелло Генри Уодсуорт — Стихи, № 2.
Де Мопассан Ги — Три неопубликованные новеллы, № 1.
Мориц Жигмонд — Мадьярские новеллы. Вступительная статья Е. Кривякиной, № 5.
Немецкие народные баллады. Вступительная статья и переводы Л. Гинзбурга, № 6
Пиранделло Луиджи — Добрая душа (Новелла), № 6.
Поэзия средневековой Кореи, № 2.
Топырчану Джордже — Баллады. Вступительная статья Михая Гафицы, № 5.
Торговец маслом и фея цветов (Повесть XIV века), № 9.
Франс Анатоль — Мебель розового дерева. Вступительная статья и перевод В. Дынник, № 7.

ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ, №10

Василев Орлин — Корнейчук и болгарский зритель.
Го Бао-цюань — Поэт, которого хорошо знают в Китае.
Иваками Дзюнити — Писатель-революционер.
Лидзани Карло, Мида Массимо — Чему учит Довженко.
Нома Хироси — Книга, которая помогает нам в борьбе.

КРИТИКА

Андреев Л. — Музей обожествленного искусства, № 3.
Анисимов И. — Жизнь, отданная будущему, № 11.
Арагон — О советской литературе, № 3.
Балахонов В. — Человек приходит в мир, № 12.
Балашов П. — Свобода выбора и историческая необходимость, № 12.
Балашова Т. — Герои реального мира, № 10.
Беркин С. — Ханс Шерфиг, № 4.
Бернштейн И. — Заметки о современном чехословацком романе, № 2.
Великовский С. — Народный поэт перед судом критики и истории, № 7.
Вильмонт Н. — Трагедия композитора Адриана Леверкюна, № 4.
Габинский Н. — Рамон дель Валье Инклан, № 7.
Джорджеску П. — Михай Бенюк — народный поэт Румынии, № 12.
Доланский Юлиус — Великий Октябрь и чешская литература, № 12.
Долматовский Евг. — Стихи поэтов Египта, № 1.
Дьяконова Н. — О путях к свободе, № 6.
Егерман Э. — Антонио Грамши о литературе, № 1.
Елистратова А. — Поэт и его время, № 10.
Жантиева Д. — Ричард Олдингтон о полковнике Лоуренсе, № 1.
Злобин Г. — Суровое испытание, № 8.
Иванько С. — Книга по истории китайской литературы, № 12.
Исбах Александр — Тема «Гренады», № 6.
Кагарлицкий Ю. — О Джозефе Конраде, № 12.
Кадашев Л. — Открытое письмо американскому литературоведу, № 1.
Кин Ц. — Воинствующие католики на сцене, № 8.
Кривцов Вл. — О китайской литературе наших дней, № 12.
Лебедев А. — Ненужное сердце, № 10.
Мао Дунь — Китайская литература, ее прошлое, настоящее и будущее, № 9.
Маршак С. — Искусство поэтического портрета, № 3.
Мендельсон М. — Как доказывают недоказуемое, № 10.
Мэррей-Смит С. — Старейшая деятельница австралийской литературы, № 8.
Наркирьер Ф. — Коммунизм — это юность мира, № 11.
Осповат Л. — Исходя из потребностей искусства, № 1.
Романова Ел. — Заметки о современном американском романе, № 12.
Ромм А. — Книга о Байроне, № 8.
Савич О. — Моление о жизни, № 5.
Симонян Л. — От имени поколения, № 5.
Сурков А. — Наша дружба, № 9.
Таманцев Н. — Новое собрание сочинений Бальзака, № 2.
Топер П. — Две книги Митчела Уилсона, № 7.

Трифонова Т. — Не только для марсиан..., № 1.
Харди Фрэнк — Генри Лоусон, № 7.
Цао Цзин-хуа — О том, кто принес нам огонь с неба, № 9.
Штейн А. — «Избранные работы» В. Гриба, № 7.
Эренбург Илья — Уроки Стендаля, № 6.
Юзовский Ю. — Бертольт Брехт и его «Добрый человек», № 2.
Яковлев Б. — Ленин и Гете, № 3.

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Бялик Б. — Пора начинать!, № 2.
Драгомир Миху — Некоторые проблемы современной румынской литературы, № 3.
Дэкс Пьер — Письмо Морису Надо об интеллигенции и коммунизме, № 8.
Зихерл Борис — Искусство и идейность, № 8.
Лакснесс Халлдор — Проблемы художественной литературы в наше время, № 1.
Лю Бай-юй — Холодное течение правых элементов в литературе, № 9.
Макаров Александр — Письмо в редакцию, № 2.
Мотылева Т. — О некоторых вопросах реализма XX века, № 5.
Обсуждение романа Яна Отченашека «Гражданин Брих». Предисловие Б. Полевого, № 5.
Палиевский П. — Встреча молодых литераторов, № 12.
Стальский Н. — Об ответственности писателя и ясности мировоззрения, № 3.
Сытин В. — На втором съезде писателей новой Кореи, № 3.
Трифонова Т. — Время борьбы не миновало, № 3.
Чаковский А. — Что же дальше?.. (Польские литературные впечатления), № 10.

ПУБЛИЦИСТИКА

Анисимов И. — Советская литература сегодня и ее перспективы (Ответ на вопросы И. Силоне), № 2.
Ашкенази Людвик — Бабье лето, №№ 5, 6.
Бенюк М. — Новые побеги на старых корнях, № 9.
Бредель В. — Рассказ молодого поэта..., № 9.
Веркор — Один день в Пекине, № 9.
Гофмейстер А. — Спасибо за урок, № 9.
Деби М. — Первые впечатления на китайской земле, № 9.
Кольцов Михаил — На переднем крае (Из «Испанского дневника»), № 1.
Малапарте К. — Привет Китаю, № 9.
Нгуен Туан — Театральный Шанхай, № 9.
Оливер М., Фронтини Н. — В гостях у художника Ци Бай-ши, № 9.
Петров В. — В храме Юньган, № 9.
Саба Н. — «Пойди и посмотри», № 9.
Садат Анвар — Письмо сыну, № 7.
Симонов К. — Михаил Кольцов, борец против фашизма, № 1.
Уиннингтон Алан — Первая тибетская газета, № 9.
Аль-Хаким Тауфик — Великая надежда, № 12.
Харди Фрэнк — Первый шаг, № 12.
Чаковский Александр — Встреча в Цюрихе, № 2.
Эренбург Илья — Японские заметки, № 8.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Бенюк Михай — По возвращении из Венгрии, № 2.
Матэ Дьердь — «...Глядеть вперед, идти вперед» (Письмо из Будапешта), № 8.
Накадзима Кэндзо — Японо-советские отношения на новом этапе, № 3.
Харрисон Стэнли — События в Египте. Точка зрения англичан, № 1.

ИНТЕРВЬЮ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Аль-Каяли Мавахиб — Об укреплении связей между народами, № 5.
Морган Клод — Суждения трех французов об отношениях между Востоком и Западом, № 1.
Три интервью и комментарии к ним, № 1.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Виссинг Генри — Как опозорилось правление голландского ПЕН-клуба, № 7.
Сноу Чарльз П. — Английская литература сегодня, № 6.
Фревиль Жан — Некоторые проблемы французской литературы, № 3.
Шаффер Гордон — Великая идея объединяет, № 12.

Послание товарища Чжоу Энь-лая в связи с выходом в свет специального номера журнала «Иностранная литература», посвященного литературе и искусству Китая, № 9.

ОБЗОРЫ

Житков В. — Для всех, кому дорога национальная культура, № 1.
Левидова И. — На зеленой лужайке, № 1.
Львова И. — Заметки о современной японской литературе, № 7.
Розенцвейг Б. — Цветы поддельного оптимизма, № 4.
Служить народу! (Молодежные газеты о культуре и искусстве), № 8.
Тишков А. — Новый журнал «Жатва», № 9.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Абалкин Н. — На Венецианской выставке, № 2.
Кольцов Михаил — Памяти Матэ Залка, № 6.
Рейснер И. — После конференции писателей Азии, № 7.
Эйснер Алексей — Писатели в интербригадах, № 6.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Литературные журналы в 1957 году, № 3.
Нам отвечают деятели литературы и искусства Китая, № 9.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Ли Чао — В театрах Китая, № 9.
Мерль Робер — Несколько слов о современном французском театре, № 4.
О'Кейси Шон — «Вы построите новую большую жизнь», № 2.
Прийоно — Кукольный театр в Индонезии, № 1.

НА КИНОЭКРАНАХ

Раго Родольфо Г. — О положении в аргентинской кинематографии, № 7.
Садуль Жорж — Имена, которыми мы гордимся, № 5.
Чжан Цзюнь-сян — Кино служит народу, № 9.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Ван Сунь — Традиции и формы национальной живописи, № 9.
Иогансон Б. — Ренато Гуттузо, № 1.
Кассиль Лев — Адам познаёт мир, № 6.
Кацошвили Л. — Чарльз Уайт, № 12.
Муен А. — Эдвард Мунк и его искусство, № 7.
Сидоров А. — Графика Тадеуша Кулисевича, № 3.
Фрид Норберт — Искусство мексиканских графиков, № 5.
Цвейг Стефан — Франс Мазереель, № 10.
Шмаринов Д. — Подвиг японских художников, № 8.
Шоу Бернард — Венгерский скульптор Кишфалуди-Штробл, № 2.

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Беккер М. — Книги Джона Хирна, № 8.
Белоусов Р. — Голос юности, № 12.
Бергманн Арни — Книга об исландских рыбаках, № 12.
Богемский Г. — Народные итальянские сказки, № 8.
Борисов В. — Книги о детстве, № 10.
Брагинский А. — Киноповесть Федерико Феллини, № 2.
Брагинский А. — Откровения бывшего писателя, № 8.
Буняев В. — Талантливый художник пролетариата, № 12.
Ваксмахер М. — Остров железных птиц, № 4.
Великовский С. — Жизнь Эжезиппа Моро, № 2.
Винниченко И. — Предсмертное слово Асуэлы, № 12.
Владимиров Я. — Смех и слезы Черной Африки, № 5.
Гинзбург Л. — «Слова времени», № 7.
Григорьева Т. — Избранное Куникида Доппо, № 6.
Девекин В. — Голоса дружбы, № 6.
Девекин В. — Интересная пьеса, № 10.
Елагина Е. — Рассказы о безвестных героях, № 9.
Елисеева Т. — Болгарские поэты о Китае, № 9.
Елистратова А. — Джек Линдсей об английской литературе, № 2.
Затонский Д. — Секрет неувядающей молодости, № 12.
Злобин Г. — Справочник по американскому театру, № 10.
Злыднев В. — Избранные произведения Л. Стоянова, № 2.
Зонина Л. — Сент-Экзюпери о себе самом, № 5.
Кавтарадзе М. — «Высшие животные», № 12.
Караганов А. — Очевидец, ничего не увидевший, № 6.
Карпов В. — Вьетнамские ка зао, № 10.
Кин Ц. — Поэзия итальянского Сопротивления, № 7.
Косов М. — «Зверобои из бухты Мелвилл», № 10.
Крымова Н. — «Волшебный свет», № 10.
Кулаковская И. — «Красный священник», № 10.
Ладинский Ант. — Двадцать пять лет парижской литературной жизни, № 10.
Левидова И. — О позах и позициях, № 4.
Лунгина Л. — Кукольник Лю, № 9.
Лунгина Л. — Эжен Ле Руа, № 7.
Львов Сергей — Вокруг романов Гюнтера Вайзенборна, № 4.
Львов Сергей — Под камуфляжем, № 12.
Майзельс С. — Мнимые противники, № 12.
Майзельс С. — Рассказы современных английских писателей, № 7.
Марцина И. — «Три мастерских рассказа» Пентти Хаанпяя, № 7.
Мелещенко З. — Книга о мужественной жизни, № 7.
Мельников А. — Они думали, что были свободными, № 2.

Мельников А. — «Тень липовой аллеи» Адама Климовича, № 6.

Мендельсон М.— Воспоминания о Синклере Льюисе, № 12.

Миллер-Будницкая Р. — Певец шахтерского труда, № 8.

Михайлов А. — Письма Вольтера, № 6.

Михелевич М. — Новая Болгария, № 12.

Назарова Л. — Сборник малоизвестных работ Лиона Фейхтвангера, № 4.

Никулин Н. — Роман о старой вьетнамской деревне, № 5.

Никулин Н.— «Страна поднялась», № 12.

Олонова Э. — На берегу прозрачной реки, № 4.

Осповат Л. — Чилиец в стране своего будущего, № 9.

Панов Н. — Не подходите близко к воде, № 8.

Плавскин З. — Новая книга Рауля Ларры, № 5.

Померанцева Е. — «— Береги его, моя страна...», № 5.

Раевский М. — «Новинки скандинавской литературы», № 7.

Романова Ел. — «Рассказы с побережья» Эрскина Колдуэлла, № 6.

Рымкя М.— Несколько польских вопросов, № 12.

Салганик М. — Среди друзей, № 9.

Сергеева Е. — Стихи героических будней, № 8.

Сорокин В. — Молодые писатели Китая, № 9.

Старцев А. — Проблема «ворстселлера» и «устная книга», № 2.

Фиш Р. — Путешествие в страну осуществляемой мечты, № 9.

Фиш Р. — Река, нашедшая свое русло, № 8.

Фридман М. — «Я был в новом Китае», № 9.

Хавревольд Финн — Человек в стеклянном яйце, № 2.

Хамадан А. — Рассказ о великом пути, № 9.

Черная Л. — Кино в боннской республике, № 5.

Чернявская И. — За большую литературу для маленьких, № 12.

Чернявская И. — Рождение нового человека, № 8.

Шкунаева И. — «Странная женщина» Жюля Ромена, № 10.

Шлапоберская С. — «Письма из Китая», № 9.

Шлапоберская С. — «Свадебная песня для Свантье», № 5.

Шнеерсон Г.— Книга Мариан Андерсон, № 10.

Шнеерсон Г. — Письма Мориса Равеля, № 4.

Эйшискина Н. — Новая пьеса Жоржа Сориа, № 2.

Эйшискина Н. — Три рассказа, № 5.

Яхнина Ю. — Мечты и разочарования, № 6.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

Анциферов Н. — Герцен и Гарибальди, № 7.

Говорит Бернард Шоу, № 5.

Несобранные строки Марка Твена, № 6.

НАША ПОЧТА, № 7.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Иржи Шотола — Jiří Šotola (род. в 1923 г.) — чехословацкий поэт, член редколлегии журнала «Кветы». Печатаемое стихотворение взято из газеты «Литерарни новины» от 12 октября 1957 г.

Миху Драгомир — Mihu Dragomir (род. в 1919 г.) — румынский поэт и драматург. См. о нем «Иностранную литературу» № 3, 1957 г. Печатаемое стихотворение взято из «Газета литерара» от 10 октября 1957 г.

Иван Коларов — молодой болгарский поэт. Помещенное в этом номере стихотворение взято из газеты «Работническо дело» от 9 октября 1957 г.

Леон Пастернак — Leon Pasternak (род. в 1910 г.) — польский поэт. Печатаемое нами стихотворение взято из газеты «Трибуна литерацка», № 1 от ноября 1957 года.

Вангель Гьечи — Vangjel Gieçi (род. в 1930 г.) — албанский поэт. О нем см. «Иностранную литературу» № 1 за 1957 год. Печатаемое стихотворение получено редакцией в рукописи.

Мигель Анхель Астуриас — Miguel Angel Asturias (род. в 1899 г.) — гватемальский поэт и писатель, автор сборников стихотворений «Сонеты», «Звездный луч», а также романов о жизни гватемальского народа «Господин президент», «Сильный ветер», «Его зеленое святейшество».

Рассказ «Все они были американцами!» ("¡Americanos todos!") взят из сборника «Уик-энд в Гватемале» ("Week-end en Guatemala", 1956).

Янь Чэнь — 嚴辰 (род. в 1919 г.) — китайский поэт, побывавший недавно в Советском Союзе. Печатаемое нами стихотворение взято из журнала «Шоуху» («Жатва»), № 1, 1957 г.

Николае Лабиш — Nicolae Labiş (1935—1956) — румынский поэт. В 1955 году вышли сборники его стихотворений «Смерть лани» ("Moartea căprioarei"), «На вершинах Стынишоары» ("Pe obcinele Strînişoarei"). Печатаемая нами поэма взята из сборника «Первая любовь» ("Primele inbiri", 1956).

Уильям Фолкнер — William Faulkner (род. в 1897 г.) — американский писатель. См. о нем «Иностранную литературу» № 1, 1956 г., а также статью о его творчестве в № 6, 1955 г. Печатаемый нами рассказ взят из сборника «Гамбит коня» ("Knight's Gambit"), Нью-Йорк, 1956 г.

Пауль Джорджеску — Paul Georgescu — румынский литературный критик. Печатаемая нами статья получена от автора в рукописи.

Юлиус Доланский—Julius Dolanský (род. в 1903 г.) — доктор филологических наук, профессор Карлова университета в Праге, член-корреспондент чехословацкой Академии наук и директор Славянского института в Праге. Занимается историей славянских литератур и литературной критикой. Ю. Доланский — автор книг: «Влияние Мицкевича на чешскую литературу» (1930), «Русские основы сербского реализма» (1933), «Литературные языки в Югославии» (1937), «Завещание Юнгмана» (1948), «Петефи, поэт венгерского народа» (1950) и др. Публикуемая нами статья получена от автора в рукописи.

Тауфик аль-Хаким (род. в 1898 г.) — египетский писатель и драматург, автор романов «Возвращение духа» (1933), «Записки провинциального следователя» (1937), а также многих пьес, первую из которых он написал в 1918 году. Произведения Тауфика аль-Хакима переводились на многие языки, в том числе и на русский. Печатаемая нами статья получена от автора в рукописи.

Фрэнк Харди — Frank Hardy (род. в 1917 г.) — австралийский писатель. О нем см. «Иностранную литературу» №№ 7 и 11 за 1957 г Печатаемая статья получена редакцией в рукописи.

Гордон Шаффер — Gordon Shaffer (род. в 1905 г.) — английский публицист и общественный деятель, председатель Исполкома английского комитета защиты мира, член Всемирного Совета Мира, член редакционного совета журнала «В защиту мира». В 1946 году побывал в СССР, после чего издал книгу «Россия сегодня» ("Inside Russia now", 1947). Печатаемая статья получена редакцией в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 10516. Сдано в производство 24/X 1957 г. Подписано к печати 16/XI 1957 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл.
Зак. 2352. Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.